

ФИНЛЯНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
И РОССИЯ



SOOME KIRJANDUS JA VENEMAA

DEN FINSKA LITTERATUREN OCH  
RYSSLAND

ЭЙНО КАРХУ

ФИНЛЯНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
И РОССИЯ  
1800—1850

E. KARHU

SOOME KIRJANDUS JA VENEMAA  
1800—1850

TOIMETANUD V. POHLJOBKIN JA I. KÄIVÄRÄINEN

E. KARHU

DEN FINSKA LITTERATUREN  
OCH RYSSLAND  
1800—1850

RED. AV W. POHLJOBKIN OCH I. KÄIVÄRÄINEN

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS  
TALLINN 1962

DET ESTNISKA STATS FÖRLAGET  
TALLINN 1962



ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
„СКАНДИНАВСКИЙ СБОРНИК“

---

ЭЙНО КАРХУ

ФИНЛЯНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
И РОССИЯ  
1800—1850

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
В. В. ПОХЛЕБКИНА и И. И. КЯЙВЯРЯЙНЕНА

ЭСТОНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ТАЛЛИН 1962



Toimetuskolleegium:

P. Ariste, L. Eringson, E. Karhu, L. Loone, J. Madisson,  
H. Moora, H. Moosberg (esimees), H. Piirimäe, L. Roots.

Redaktion:

P. Ariste, L. Eringson, E. Karhu, L. Loone, J. Madisson,  
H. Moora, H. Moosberg (förenståndare), H. Piirimäe, L. Roots.

Редакционная коллегия:

П. Аристе, Э. Карху, Л. Лооне, Ю. Мадиссон, Х. Моора,  
Г. Моосберг (председатель), Х. Пийримяэ, Л. Ротс,  
Л. Эрингсон.

Kaane kujundanud G. Pant

Omslag av G. Pant

Оформление Г. Панта

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя работу Э. Карху, сотрудника Института языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР, редакция «Скандинавского сборника» учитывает то обстоятельство, что до настоящего времени на русском языке нет обобщающих исследований по финляндской литературе, тогда как интерес к ней в Советском Союзе заметно возрастает, особенно в последние годы.

В работе ставится двоякая задача: излагая свое понимание основных моментов истории литературы Финляндии, автор вместе с тем уделяет внимание русско-финляндским литературным связям и детально исследует их возникновение и развитие.

Публикуемая работа охватывает первую половину XIX века. В дальнейшем редакция намерена издать продолжение, посвященное последующим историческим периодам, включая XX век.

## ВВЕДЕНИЕ

### 1

Финляндская литература первой половины XIX века развивалась в весьма своеобразных условиях, и к ней не всегда можно подходить с критериями и представлениями, сложившимися при изучении крупнейших европейских литератур. Это необходимо учитывать и при изучении русско-финляндских литературных связей интересующего нас периода. Если, например, французская или английская литературы вступили в XIX век, имея уже богатейшую историю и насчитывая десятки имен мирового значения, то Финляндия к тому времени почти совершенно не располагала еще литературными традициями. На финском языке имелись только редкие образцы светской поэзии, близкой к устной традиции. Что же касается тех писателей XVIII века, которые родились в Финляндии и писали на шведском языке (Крейц, Францен, Кореус), то о их творчестве еще трудно говорить как о собственно финляндской литературе, — в меньшей мере оно принадлежит и к литературе Швеции.

Но уже творчество Арвидссона, Рунеберга и их современников явилось новым этапом — «национальным романтизмом», как принято говорить в Финляндии. Хотя они и писали по-шведски и в значительной степени учитывали в своем творчестве шведские литературные традиции, однако это была уже финляндская литература исходившая из финляндской действительности и потребностей финляндского общества. Она не только опиралась на шведскую литературу, но и противостояла ей, отстаивая свое право на национальную самобытность.

Эта новая, национально-финляндская литература имеет ряд особенностей. Прежде всего, она создавалась представителями недворянских сословий — крестьянства, бюргерства, отчасти духовенства, то есть тех социальных слоев, где находило опору финское национальное движение, антифеодалное по своему характеру. Дворянство, как привилегированное сословие, не было заинтересовано ни в поддержке этого движения, ни в развитии демократической национальной культуры.

Создание национальной литературы Финляндии теснейшим образом связано с национальным движением. Более того, это движение в первую половину XIX века и проявлялось только в литературе и науке, поскольку иные формы гласной общественно-политической деятельности в ту пору были невозможны.

Между тем, проблема национальной консолидации была для финнов настолько важной, что накладывала особую печать на всю общественную жизнь. Проблема эта имела свою социально-экономическую и классовую подоплеку, речь шла о формировании буржуазной нации, о ликвидации феодальных институтов и сословного неравенства. Однако своеобразное национальное положение Финляндии (как финской автономной провинции в составе России, но с преобладающим влиянием шведского национально-культурного элемента) приводило к тому, что национальные моменты в сознании финнов долгое время довлели над вопросами чисто социальными. По этой причине финны обнаруживали гораздо больше сочувствия именно к национально-освободительным движениям других народов (поляков, греков, венгров), нежели к социально-революционным событиям в тогдашней Европе.

Злободневность национального вопроса придавала специфическую окраску идеологической борьбе в Финляндии, очень отсталой в ту пору стране, где классовые противоречия не могли проявляться в обнаженном виде. Аграрные отношения там не были столь обостренными, как в коренных русских губерниях, где господствовало крепостное право. Финляндия в первую половину XIX века не знала значительных крестьянских волнений. С другой стороны, финляндская буржуазия была очень малочисленной, экономически слабой и политически трусливой. Революционность была ей чужда. Подобно многим немецким идеологам конца XVIII — начала XIX века, оправдывавшим французскую революцию для Франции, но отрицавшим даже возможность революции в самой Германии, финляндская буржуазия в лучшем случае позволяла себе мечтать лишь о плодах революции, но не о ней самой. И если уже в головах немцев французские политические теории из оружия практической борьбы превращались зачастую в туманные абстракции, то финны с еще большей охотой при обсуждении социальных вопросов оперировали лишь категориями абстрактной морали, чаще всего страшась самого слова «политика». Кроме того, споря по своим внутренним делам, финляндская буржуазия должна была учитывать, как на это будет реагировать царское правительство. Проблема противодействия царизму в первой половине XIX века для нарождавшейся финляндской буржуазии практически еще не возникала по целому ряду причин — и в первую очередь по причине неразвитости политической жизни в Финляндии.



Финляндская литература первой половины XIX века отличалась большой пестротой, а вместе с тем и неопределенностью направлений. Она испытывала множество разнородных влияний, подчас таких, для глубокого восприятия которых она еще не созрела. Например, в развитых европейских литературах смена романтического направления реалистическим стала в 30-е годы уже актуальной, тогда как для Финляндии она была еще преждевременной и потому не могла быть успешно разрешена. Хотя Рунеберг и утверждал в начале 30-х годов, что романтическая школа уже исчерпала свою положительную роль и должна была уступить место более «естественному» направлению, однако романтизм в Финляндии вплоть до 60—70-х годов развивался по восходящей линии и только затем ведущим направлением стал реализм.

В развитии финляндской литературы на шведском языке, с одной стороны, и на финском — с другой, наблюдалась некоторая неравномерность, особенно в первой половине XIX века. В шведоязычной литературе уже в 10-е годы обнаружилось романтические веяния, известные под названием «або-романтизм». В финской же литературе вплоть до середины века преобладали просветительские традиции. Литераторы, писавшие на финском языке (Ютейни, Готлунд, Ханникайнен), имели мало общего с романтической эстетикой. Даже их увлеченность фольклором несла на себе печать просветительского рационализма.

Известный разрыв между шведоязычной и финноязычной литературой Финляндии во многом объяснялся различным состоянием этих языков. Шведы обладали уже вполне развитым литературным языком, тогда как финский литературный язык еще не сложился. Шведский язык господствовал в образованных кругах финляндского общества, а финский оставался языком крестьянских масс. Интеллигенты владели им лишь в редких случаях, и потому разговор на нем в образованной среде казался чем-то необычным и экзотическим. Когда П. А. Плетнев, описывая обед русских и финляндских литераторов в Гельсингфорсе, мимоходом заметил, что, кроме ряда европейских языков, в дружеской беседе звучала «даже финская» речь, то этому «даже» не следует особенно удивляться: более удивительным в ту эпоху действительно было то, что на званом обеде в Финляндии говорили по-фински!

На финском языке в первой половине XIX века писали очень немногие литераторы, причем их творчество в значительной степени носило характер языкового экспериментаторства. В истории финской литературы это был такой период, когда самой нужной книгой оставалась нормативная грамматика, и ето и пытались создать эти писатели. Едва ли не каждый из них был одновременно и языковедом. В стране шла борьба диалек-

тов, нужно было ускорить развитие общенационального литературного языка. Крупные художественные успехи финноязычная литература одержала лишь во второй половине XIX века.

## 2

По финляндской литературе первой половины XIX века имеется немало исследований. Большинство их опубликовано в Финляндии, некоторые в Швеции, особенно работы о финляндских литераторах, писавших на шведском языке. Творчество наиболее крупных шведоязычных писателей Финляндии обычно рассматривается также в общих курсах истории литературы Швеции.

Для позднейших периодов истории финноязычной и шведоязычной литератур Финляндии характерно раздельное их изучение, а в работах по ранним периодам, примерно до 60-х годов XIX века, часто рассматриваются вместе как финноязычные, так и шведоязычные писатели.

Первой крупной работой по истории древней и новой финской литературы явилась книга Ю. Крона — «История финской литературы по периодам» (1897), подготовленная к печати его сыном К. Кроном и вышедшая в свет уже после смерти автора<sup>1</sup>. Ю. Крон наметил следующую периодизацию истории литературы Финляндии: период реформации (1542—1642), который начинается деятельностью М. Агриколы, «отца финской литературы», и завершается годом полного издания библии на финском языке; затем следует «феннофильский период» (1642—1809), охватывающий полтора столетия, вплоть до присоединения Финляндии к России; и, наконец, «национальный, или фенноманский период», подразделяемый на два этапа — «борьба диалектов» (1809—1844) и затем начало эпохи «новой Финляндии», условно приуроченное к 1844 году, когда стала выходить газета Снельмана «Сайма».

Книга Ю. Крона, особенно с точки зрения последовательного изложения фактов, не потеряла своего значения и до сих пор, и сравнительно недавно, в 1954 году, вышло ее новое издание. Но многое в ней, конечно, устарело. В частности, автор, являясь одним из поздних романтиков в финской литературе, не смог правильно оценить ни европейского реализма, ни творчества первых критических реалистов Финляндии.

Уже Ю. Крон связывал историю литературы Финляндии первой половины XIX века с этапами развития национального движения. В последующих работах это отразилось в самих названиях литературных периодов, причем учитывались также

<sup>1</sup> J. Krohn. Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet. Helsinki, 1897.



литературные направления. В своей «Истории финской литературы» (1934) <sup>1</sup> В. Таркиайнен дает следующую периодизацию финляндского романтизма, охватывающего 10—70-е годы XIX века: «або-романтизм и первое национальное пробуждение» (10—20-е годы), «гельсингфорский романтизм и второе национальное пробуждение» (30—50-е годы) и «поздний романтизм» (60—70-е годы).

Такая периодизация является распространенной в финляндском литературоведении, и в принципе ее можно считать приемлемой, хотя она и требует уточнения реального содержания используемых терминов.

Следует подчеркнуть, что в финляндском литературоведении главный упор делается не на изучение общих проблем истории национальной литературы в целом, а на монографические работы о творчестве отдельных писателей. Это весьма характерное явление, бросающееся в глаза при первом же знакомстве с литературоведением Финляндии. По литературе первой половины XIX века обобщающих исследований совсем мало, хотя существует множество монографий, посвященных писателям этого периода.

Думается, что такое положение отражает известное пренебрежение финляндских исследователей к общим историко-литературным проблемам, к фундаментальному анализу литературных явлений в их социально-исторической обусловленности и широкой перспективе, с учетом истоков и следствий, взаимосвязей и внутренних противоречий. Литературная борьба и особенно ее общественный смысл изучаются весьма слабо.

Из значительных исследований периода «або-романтизма» следует упомянуть книгу В. Сёдерельма «Або-романтики и их связи с зарубежными идейными течениями» <sup>2</sup>, и две относительно недавние работы Л. Кастрен об А. И. Арвидссоне, наиболее выдающемся деятеле «первого национального пробуждения» <sup>3</sup>.

Значительно больше работ посвящено периоду «гельсингфорского романтизма». Общее представление об этом периоде можно получить из книги И. Хаву «Кружок Субботняя Беседа и его члены» <sup>4</sup>. Из всех «гельсингфорских романтиков» более всего изучен Ю. Л. Рунеберг, крупнейший поэт этого времени. О нем имеются десятки книг и сотни статей исследовательского характера. Довольно обширна также литература о З. Топелиусе, причем о нем написана самая объемистая в финляндском лите-

<sup>1</sup> V. Tarkkainen. Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki, 1934.

<sup>2</sup> W. Söderhjelm. Abo-romantiken och dess samband med utländska ideströmmingar. Borgå, 1915.

<sup>3</sup> L. Castrén. Nuori Arwidsson ja hänen ympäristönsä. Helsinki, 1944. — A. I. Arwidsson isänmaallisenä herättäjänä. Helsinki, 1951.

<sup>4</sup> I. Havu. Lauantaiseura ja sen miehet. Helsinki, 1945.



ратуроведении монография — шеститомное исследование Вальфрида Васениуса, изданное сначала (1914—1928) на шведском, а затем и на финском языках. Сравнительно меньше работ о других представителях «гельсингфорсского романтизма» — Фр. Сигнеусе и Ю. В. Снельмане, особенно о литературно-критической деятельности последнего, хотя она имеет первостепенное значение для понимания общественно-литературной борьбы того времени.

Здесь затруднительно дать представление о всех этих работах, написанных в разное время и с разных точек зрения. Русскому читателю мало известны не только они сами, но и литература, которая в них исследуется. Сколько-нибудь аргументированная их характеристика требует предварительного ознакомления с предметом исследования, с литературным материалом и всей вытекающей из него проблематикой, и потому удобнее будет время от времени обращаться к упомянутым работам в ходе последующего изложения.

Работы эти не равноценны. Одни для своего времени явились шагом вперед в исследовании вопроса (например, первая крупная монография Т. Рейна о Снельмане или упомянутые книги Л. Кастрен об Арвидссоне), другие обнаруживают тенденцию ревизовать установившуюся точку зрения, в том случае, если идеи, высказанные в прошлом, кажутся буржуазным авторам этих работ радикальными и опасными в настоящее время.

Идейно-литературная борьба, протекавшая в первой половине XIX века, имеет свое продолжение и в современном литературоведении. Вот почему защита «старых» прогрессивных идей является не только одной из принципиальных, но и актуальных задач марксистского исследования.

Однако это не значит, что работами буржуазных литературоведов следует пренебрегать. За многие десятилетия своего существования финляндское литературоведение накопило огромное количество фактов и наблюдений, привело в известную систему историко-литературный материал, выдвинуло множество проблем и в лице своих лучших представителей содействовало их разрешению.

Но использование опыта прошлого предполагает критическое его освоение. Для исследователей-марксистов работа эта в основном еще впереди. Хотя демократическая печать Финляндии и стремится уделять внимание истории национальной культуры, но, чтобы воссоздать полную картину литературного процесса, нужны усилия многих исследователей, вооруженных марксистской методологией.

В первой половине XIX века, когда национальная литература Финляндии только складывалась, особое значение для ее развития приобретал опыт зарубежных литератур. Наиболее доступной и известной в Финляндии оставалась литература Швеции, игравшая также роль литературного посредника. Часто через шведскую литературу финны впервые узнавали о новых идейно-литературных веяниях в зарубежных странах.

Наряду с англо-французским просветительством и немецким романтизмом, влияние которых в Финляндии было значительным, финны постепенно знакомились также с русской литературой.

В развитии русско-финляндских литературных связей были свои приливы и отливы, периоды подъема и спада, в зависимости от исторической обстановки. Взаимные литературные интересы у русских и финнов оживились в начале 20-х годов XIX века, когда имели место отдельные случаи непосредственного научно-литературного сотрудничества. В дальнейшем, по мере своего развития, финляндская литература, естественно, все более привлекала внимание русской общественности, равно как и у финнов усиливался интерес к русской литературе, несмотря на то, что во второй половине 20-х и в 30-е годы давали о себе знать затруднения, вызванные усилением общей политической реакции в стране.

Следующий плодотворный этап в развитии литературных связей совпадает с пребыванием Я. К. Грота в Финляндии, в течение двенадцати лет (1841—1852) преподававшего русскую словесность в Гельсингфорском университете. В русской и финляндской печати стало появляться больше статей друг о друге, усилилась взаимная переводческая деятельность, особенно развернувшаяся уже во второй половине XIX века.

В интересующий нас период литературные связи складывались в условиях, когда демократическое движение в Финляндии было еще слабым, «национальное пробуждение» только началось. Вследствие неразвитости классовых противоречий в стране большинство финляндских литераторов первой половины XIX века было убеждено, что царизм не будет препятствовать культурному развитию финского народа. Так полагали и русские, хорошо знавшие Финляндию, например, Я. К. Грот. Он и его финляндские друзья надеялись, что русско-финляндское культурное сотрудничество будет процветать под опекой правительства, покровительствовавшего в тот период финскому национальному движению. Правда, Снельман в Финляндии и Белинский в России, каждый со своих точек зрения, критически относились к подобным иллюзиям, но рассеялись они лишь после того, как в финском национальном движении обнаружи-



лись тенденции, пришедшие в столкновение с интересами самодержавия. В конце 40-х годов, в связи с европейскими революциями, правительство усилило нажим на Финляндию, стремясь подавить в ней оппозиционные настроения. Вместе с тем упал престиж правительственной политики, финны заметно разочаровались в ней, а Грот, положение которого в Финляндии значительно осложнилось, решил покинуть страну.

Это обоюдное разочарование в былых иллюзиях некоторые финляндские исследователи расценивают как крах всех надежд, как доказательство того, что русско-финляндское культурное сотрудничество вообще невозможно. Но говорить так — значит пренебрегать исследованием фактов, отказаться от исторического взгляда на проблему.

Как с финляндской, так и с русской стороны взаимное культурное сотрудничество в первой половине XIX века мыслилось еще вне сколько-нибудь ощутимой связи с общерусским освободительным движением. Именно это обстоятельство, так сказать, «облегчало» в ту пору осуществление русско-финляндских культурных контактов, обеспечивая им благоволение правительства. Это многократно сказывалось и на установлении литературных связей, хотя, с другой стороны, политика самодержавия в Финляндии одновременно оставалась и определенным пределом для их развития, тем рубежом, который был преодолен лишь во второй половине XIX века, когда культурное сотрудничество стало осуществляться вопреки рогаткам царизма.

#### 4

Уже в начале 40-х годов XIX века появилось первое исследование в области истории русско-финляндских литературных связей. Мы имеем в виду статью П. А. Плетнева «Финляндия в русской поэзии», опубликованную в «Альманахе в память двухсотлетнего юбилея императорского Александровского университета» (1842) на русском и шведском языках. В ней рассматривается финляндская тема в творчестве К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина.

Однако на этом изучение русско-финляндских литературных связей фактически оборвалось — почти на целое столетие<sup>1</sup>. Лишь в 30—40-х годах XX века в Финляндии вышел ряд работ,

---

<sup>1</sup> Эпизодически финляндские исследователи творчества Ю. Л. Runeберга обращались к отзывам Я. К. Грота о нем, а в 1912—1915 гг. была опубликована в шведском переводе переписка Грота с П. А. Плетневым, касающаяся Финляндии и ее литературы (Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet, I—II. Helsingfors, 1912—1915). Можно еще упомянуть, что в 1916 г. в Гельсингфорсе вышла на русском языке брошюра А. Вознесенского «К. Н. Батюшков в Финляндии».



имеющих отношение к этой проблеме. Было обращено внимание на личные связи некоторых финнов с Россией, в частности, на пребывание финляндских студентов в Московском университете, где они изучали русскую словесность. «Первые финские стипендиаты в России» — так называется статья И. Миккола<sup>1</sup>, а Г. Топелиусу принадлежит книга «Наши молодые соотечественники в России в 40-е годы XIX века»<sup>2</sup>.

В 1937 г. финский славист С. Халтсонен опубликовал статью «Пушкин в литературе Финляндии»<sup>3</sup>, где сообщаются довольно обстоятельные сведения о переводах русского поэта сначала на шведский, а затем на финский язык. Отметив, что Пушкина в Финляндии переводили сравнительно много, С. Халтсонен писал по этому поводу: «Можно с уверенностью сказать, что в числе финляндских читателей Пушкина были и многие писатели, ознакомившиеся таким образом с творчеством великого русского поэта. О прямом влиянии Пушкина в настоящее время говорить еще рано, у нас нет пока детальных исследований, наша наука не успела еще выяснить русско-финляндские литературные отношения». Автор смог сослаться лишь на одну небольшую статью Х. Энквист «Русское влияние на поэму Рунеберга «Надежда», в которой делаются предположения и относительно влияния Пушкина на Рунеберга.

После статьи С. Халтсонена появились работы В. Кипарского, посвятившего финляндской теме в творчестве русских писателей (включая первую половину XIX века) две книги<sup>4</sup> и ряд статей<sup>5</sup>. В них привлечен дополнительный фактический материал и сделаны новые наблюдения. В. Кипарский, например, указывает, что хотя в поэзии Пушкина финны упоминаются не часто, однако, в сознании русского читателя Финляндия долгое время ассоциировалась именно с пушкинскими стихами — такова была сила их поэтического воздействия. «Печальный пасынок природы» — эта характеристика финского рыбака в «Медном всаднике» оказалась очень устойчивой.

В советском литературоведении финляндскому периоду твор-

---

<sup>1</sup> J. J. Mikkola. Ensimmäiset suomalaiset stipentiaatit Venäjällä. — В книге того же автора: *Hämärän ja sarastuksen ajoilta*. Porvoo, 1939, s. 206—229.

<sup>2</sup> G. Topelius. *Unga landsmän i Ryssland på 1840-talet*. Tammerfors, 1935.

<sup>3</sup> S. Haltsonen. *Puškin Suomen kirjallisuudessa*. — *Valvoja-Aika*, 1937, s. 73—92.

<sup>4</sup> V. Kiparsky. *Suomi Venäjän kirjallisuudessa*. Helsinki, 1945. (1:nen pain. v. 1943). — *Norden i den ryska skönlitteraturen*. Helsingfors, 1947.

<sup>5</sup> Finland och finnarna i den ryska skönlitteraturen. — «*Finsk Tidskrift*», bd. 131, 1942, s. 166—183. — *La Finlande et deux femmes de lettres*. Madame Khvostova et Madame de Stael. — «*Neuphilologische Mitteilungen*», 1941, S. 118—135. — *Finland and Sweden in Russian literature*. — «*The Slavonic Review*», bd. 26, London, 1947, p. 174—186. — *Puškinin suhde Suomeen*. — «*Neuvostoliittotieteiden tutkimuskeskus*», N. 1, Helsinki, 1950, s. 30—36.

чества Баратынского посвящены статьи П. Бейсова, использовавшего воспоминания Н. Коншина о поэте<sup>1</sup>.

И все-таки приведенные слова С. Халтсонена о слабой изученности русско-финляндских литературных связей остаются в силе и сегодня. Все упомянутые работы, включая отдельные книги, посвящены более или менее частным проблемам, между тем как обобщающих исследований нет. Кроме того, в названных работах многие давно известные, равно как и вновь привлекаемые факты часто не получают убедительного историко-литературного объяснения, поскольку они исследуются вне достаточной связи с особенностями литературного процесса и идейно-литературной борьбы в России и Финляндии.

Если речь идет, скажем, о взаимных художественных переводах, то сразу же возникает ряд вопросов. Почему, например, имела известная очередность в появлении переводов? Почему финляндских литераторов в определенное время интересовали именно эти, а не другие произведения русских авторов? И наоборот, чем объяснялся интерес к Финляндии и ее литературе в России, почему он был различным у Пушкина и Булгарина, Грота и Белинского? Эти вопросы, как и многие другие, до сих пор остаются без ответа.

Проблема русско-финляндских литературных связей, если подойти к ней с этой стороны, представляется сложной, но именно на этом пути следует, на наш взгляд, искать ее решения. Многие факты литературных связей можно правильно понять только с учетом развития самих литератур и общественно-литературной борьбы в той и другой стране.

Вот почему в данной работе уделяется внимание не только эпизодам русско-финляндских литературных связей, но и их историко-литературному и общественному фону. В особенности это касается финляндской литературы, сравнительно мало известной русскому читателю.

---

<sup>1</sup> Бейсов П. Из истории Вольного общества. — Сб. «Литературный Ульяновск», 1955, стр. 188—221. — Воспоминания Н. Коншина о Баратынском. — «Русская литература», 1959, № 3, стр. 126—132.



## Глава первая

### ФИНЛЯНДСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И «АБО-РОМАНТИЗМ». РУССКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

#### 1

В условиях общего упадка феодальной системы в Швеции второй половины XVIII века получили распространение просветительские идеи, охватившие и Финляндию, где зрело глухое недовольство внутренней и внешней политикой шведских правителей.

В этот период в Финляндии появляются первые последователи философского рационализма. Более практическое направление принимает университетская наука. Пишутся диссертации о сельском хозяйстве, о рыбной ловле и других промыслах, испытываются новые сельскохозяйственные культуры и орудия труда. Вместе с тем постепенно становилось ясным, что одного научно-технического прогресса недостаточно, чтобы вывести страну из нищеты и прозябания. Наиболее прогрессивные люди все острее осознавали необходимость социальных реформ.

Господство феодализма в аграрных отношениях, сохранение цеховой системы в промышленности, запрет сельской торговли, лишение большинства финляндских городов права вести внешнюю торговлю, минув Стокгольм, расстройство государственных финансов, постоянная инфляция, а вместе с тем увеличение налогового бремени — все это тормозило общественно-экономический прогресс, вызывая недовольство широких слоев населения Швеции и Финляндии.

Когда шведская Академия наук объявила в 1763 году конкурс на лучшее сочинение о причинах эмиграции из страны, на него откликнулись двадцать восемь авторов, в их числе финляндский пастор Андерс Чудениус (1729—1803), прославившийся затем как выдающийся политический деятель и один из наиболее значительных представителей финляндско-шведской общественной мысли XVIII века.

В первом же своем сочинении на тему, предложенную швед-



ской Академией наук, Чудениус дал широкую критику феодальных порядков, опираясь на учение французских просветителей, в частности на Монтескье и экономическую теорию физиократов. Если некоторые авторы конкурсных сочинений пытались объяснить хроническую эмиграцию значительной части трудового населения Швеции и Финляндии «падением нравов» и недостатком патриотизма, то Чудениус выдвигал социально-экономические причины, в силу которых тысячи безземельных крестьян, рабочих и ремесленников, после того как общество отвергло их, вынуждены были покинуть родину в поисках лучшей доли.

Чудениус подчеркивал нелепость такого положения, когда огромные территории Швеции, особенно ее окраины, оставались в запущении из-за упадка промыслов, а правительство упрямо продолжало придерживаться завоевательной политики, стремясь прихватить чужие земли. «Сколько тысяч шведов погибло на войне ради того, чтобы расширить наши границы? И как мало людей по-настоящему думает о том, чтобы заселить уже имеющиеся земли. Время от времени мы захватывали обширные территории соседей, но не успевали еще завершить игру, как победа чаще всего доставалась им, а мы терпели поражение. Мы воюем за землю, которой у нас и без того довольно, но в то же время мы пренебрегаем тем, что для нас действительно необходимо»<sup>1</sup>.

Шведский народ прежде всего нуждался в общественных реформах, в установлении гражданских свобод. Он страдал не от притеснений внешних врагов, а от несправедливых внутренних порядков в стране, от социального неравенства и угнетения. Чудениус приводил слова Тита Ливия о бесправии римского плебса: «На внешних рубежах, — говорил он, — тщетно драться за свободу и государство, когда дома нас угнетают свои же сограждане. Свобода наша в меньшей опасности во время внешних войн, чем в дни мира; для нее безопасней среди врагов, чем среди сограждан»<sup>2</sup>. Прославляя гражданские свободы и борьбу за них, Чудениус с сочувствием писал о тираниборстве Брута, о восстании немецких крестьян под водительством Томаса Мюнцера, о буржуазной революции в Нидерландах.

Истинный патриотизм, по мнению Чудениуса, неотделим от стремления к свободе. Без нее слово «отечество» теряет смысл. Швеция была чужбиной для тысяч ее обездоленных граждан. В числе их были сельские батраки, торпари, мелкие арендаторы, категория малоземельных крестьян, равно как и ремесленники, страдавшие от гнета привилегированных классов сословного общества. Что могла предложить этим людям родина? «Рабски

---

<sup>1</sup> A. Chydenius. Valitut kirjoitukset. Porvoo, 1929, s. 15.

<sup>2</sup> Там же, стр. 41.

трудиться на других до тех пор, пока есть силы, а затем, под старость лет, быть изгнанным, чтобы умереть в нищете, — вот та награда, ради которой трудящиеся массы должны любить свое отечество. Они отлично знают, что Швеция не та благословенная страна, о которой писал Платон. Они мечтают о свободе, они часто слышат рассказы мореплавателей о красотах южных стран, они не в силах противиться искушению, и сами становятся моряками, чтоб расстаться с родиной; они не останавливаются, пока не прибывают в какую-нибудь иностранную гавань, где можно обрести свободу. Они готовы жить скорее среди народа, который с трудом понимают, но среди которого могут свободно передвигаться, нежели среди своих братьев, где все скверно и безжизненно. И во всех их действиях можно прочесть приговор: отечество без свободы и работы — это большое слово с ничтожным значением»<sup>1</sup>.

Чтобы из Швеции прекратилась эмиграция, продолжал Чудениус, необходимо было положить конец тому положению, когда вместо равноправных граждан существовали рабы и господа. Нужно было дать землю тем, кто ее обрабатывает, отменить ограничения в промышленности и торговле, повысить заработную плату рабочим, изменить налоговую политику, обеспечить свободу передвижения, свободу слова и печати. Надо было научиться по-настоящему уважать труженика и судить о нем не в духе идиллических пасторалей, где воспевались любовные игры поселян и поселянок, а с полным сознанием всей суровости его трудовых будней. В людях из народа надо видеть тех, «кому мы обязаны каждым куском своим; их подачами и трудами мы одеваем и украшаем свое тело, которое в наготе своей, даже при всей славе предков и дворянском происхождении, не отличимо от тела трудового человека»<sup>2</sup>.

Народные массы, писал Чудениус в другой своей статье, легко обвинять в лениности, считая ее признаком упадка нравов. Но сама эта «леность» нуждалась в объяснении. «Чем больше в обществе возможностей для одних его членов жить трудом других и чем меньше эти другие могут сами пользоваться плодами собственных усилий, тем больше страдает трудолюбие. Первых одолевает спесь, вторые впадают в отчаяние, и все вместе предаются апатии»<sup>3</sup>.

Особенно подчеркивал Чудениус необходимость просвещения народа. Недостаточно того, чтобы потребность в общественных реформах ясно осознавали только избранные личности. В свободных государствах «дела решаются большинством. Те, которые дальше ушли в своем развитии, стоят слиш-

<sup>1</sup> Там же, стр. 46—47.

<sup>2</sup> Там же, стр. 47.

<sup>3</sup> Там же, стр. 187.



ком высоко над простым народом; обеспечив своим рвением доверие государства, они под воздействием скрытого эгоизма скоро отступают от верного пути, и потому надобно уважать их без идолопоклонства, следовать им, но не слепо»<sup>1</sup>. А для этого народ сам должен быть просвещенным и разбираться в государственных делах.

В последующих своих сочинениях Чудениус развивал и пропагандировал эти идеи, отстаивая их также на заседаниях шведского риксдага, депутатом которого он был избран от словесия духовенства. Его настойчивые требования общественных реформ привели к тому, что в 1766 году духовное сословие, в согласии с желаниями правительственных кругов, лишило его места в риксдаге. Но это не заставило Чудениуса молчать. Он по-прежнему выступал за права угнетенных, иронизируя над теми ретроgrадами, которые изображали дело так, будто проведение реформ угрожает «потопом всему государству, хотя под этим следует разуметь лишь то, что аристократы лишатся некоторых незаконно захваченных ими привилегий, вследствие чего государство и граждане обретут свои права»<sup>2</sup>.

Другим выдающимся финляндским просветителем был Хенрик Габриель Портан (1739—1804). Он был филологом, профессором риторики Абоского университета. Исследователи справедливо отмечали, что на Портана значительное влияние оказал философский сенсуализм Локка. Вслед за Локком он считал источником познания ощущения. Но они могут быть обманчивы, и потому Портан призывал не торопиться с выводами, но прибегать к методу научного сомнения.

Хотя у Портана были попытки примирить религию с наукой, но вместе с тем он выступал против религиозного мракобесия, против мистического учения Сведенборга, отрицал достоверность библейских притч и позволял себе критиковать священное писание, видя в нем отражение древних обычаев, не обязательных для современных народов. О десяти заповедях Портан писал, что выведение из них всей христианской морали является абсурдом. Эта, пусть даже весьма робкая, критика церковного мировоззрения, сочетавшаяся с проблесками исторического мышления имела прогрессивное значение в Финляндии того времени.

Большое значение Портан придавал воспитанию, считая его средством борьбы с суевериями и предрассудками. Он был убежден в том, что люди, равные от природы, созданы для общего счастья на земле. Каждый человек должен быть полезен своему народу и человечеству. А тот, кто не приносит никакой

---

<sup>1</sup> A. Chydenius. Valitut kirjoitukset. Porvoo, 1929, s. 55.

<sup>2</sup> Там же, стр. 355.



пользы и проводит свою жизнь в праздности, — тот является тяжким бременем и для государства, и для человечества.

Портан не соглашался с утверждениями, что цивилизация, покончив с «естественным состоянием» и заменив его государством, принесла людям только зло. Портан полагал, что цивилизация и государство имеют и свою положительную сторону — они делают возможным мирный прогресс.

Портана часто называют отцом финляндской историографии. Он приложил много усилий, чтобы поставить разыскания в области национальной истории на научную основу. Прежние мнения о прошлом финнов, граничившие с мифологией, подвергаются тщательному пересмотру, разыскиваются и публикуются новые источники, начинается изучение родственных финнам народов. Опубликовав в течение 1784—1800 годов пятьдесят шесть выпусков так называемой «Хроники Юстена», Портан снабдил ее обширными комментариями, в которых изложил известные ему сведения по финляндской истории.

В своих исторических исследованиях Портан использовал в качестве источника язык и народную поэзию. Он утверждал, что язык не является результатом единовременного акта верховного существа, а имеет длительную историю развития от простого к сложному и отражает в себе прошлое народа. Портан написал особую статью «Об использовании языка как вспомогательного средства для изучения истории».

Портан, пожалуй, первый в Финляндии высказал мысль о связи между языком, мышлением и национальным складом народа. Отмечая, что книжный язык создается только на базе использования народных диалектов, Портан призывал и впредь обогащать его путем использования новых народных слов и оборотов. Это был путь к демократизации книжного языка.

В целях распространения просвещения, изучения прошлого и настоящего Финляндии и содействия ее материальному и духовному прогрессу, в 1770 году в Або было создано общество «Аврора», одним из основателей и активных деятелей которого был Портан. По своим организационным принципам и ритуалу общество напоминало масонские ложи и состояло из разнородных элементов — дворян, чиновников, духовенства, университетских ученых и т. д.

В 1771 году общество стало издавать газету, которая стремилась освещать вопросы экономики, науки и культуры Финляндии, информировала читателя о прогрессе знаний за рубежом. Газета выходила на шведском языке, а языком науки все еще оставалась латынь.

В 1775 году сын крестьянина А. Лицелиус (1708—1795) выпустил первую газету на финском языке, предназначенную для крестьянского читателя, но ее издание быстро прекратилось.

Деятельность финляндских просветителей второй половины

XVIII века означала собой важный этап в развитии общественной мысли Финляндии. Это была уже не только пропаганда пользы грамоты, сочетавшаяся с нападками на католических священников времен Агриколы, давшего финнам первые образцы церковной книжной литературы. Это был шаг вперед также по сравнению с Даниэлем Юслениусом (1676—1752), который из любви к угнетенному финскому народу правдами и неправдами хотел прославить его, утверждая, что финны являются прямыми потомками Магога и что им принадлежит слава зачателеев науки и просвещения.

В отличие от такого мифотворчества просветители второй половины XVIII века смотрели на вещи более трезво и, сдерживая полет своей фантазии, развивали критическое мышление в Финляндии, впервые заговорив о методах научного познания, о достоверности человеческих знаний, о критериях истины и о бесконечных возможностях человеческого разума. В итоге многие средневековые догматы и авторитеты были отвергнуты как противоречащие здравому рассудку. Рационализм просветителей был направлен против церковной идеологии с ее отрешенностью от «земной суеты». Просветители мечтали об усовершенствовании мира и были убеждены в том, что достаточно людям отказаться от вековых предрассудков, внять голосу просвещенного разума, как они вступят в новый мир, где все, как полагал Портан, будут заниматься общественно полезным трудом и где исчезнет противоречие между интересами государства и частной выгодой. В тех исторических условиях эта мечта о гармоническом обществе была прогрессивной, ибо она предполагала социально-экономические сдвиги и была связана с прославлением труда, с преодолением, выражаясь словами Маркса, «героической лени» феодального мира.

Финляндские просветители XVIII века не создали сколько-нибудь значительных художественных произведений. Но в литературной жизни этой поры наблюдается ряд новых явлений.

Выдвигается критерий истинности искусства. Вслед за французскими классицистами Портан утверждал, что поэзия должна выражать истину, причем в его рассуждениях и терминологии часто терялось различие между наукой и искусством. В согласии с классицистической поэтикой Портан говорил, что поэзия должна подражать природе, но из нее исключалось все «низкое». Для выражения высоких истин нужен был и особый стиль. По мнению Портана, из поэтического языка нужно было изгонять «тривиальные слова» и пользоваться лишь теми, которые «возвышались над повседневностью».

С критерием истинности поэзии у просветителей было тесно связано положение об ее общественной значимости. Поэт является рупором высоких гражданских идей, учителем общества. Устами поэта должна была говорить истина, просветляю-



шая тьму и невежество. В своих одах к университетским промощиям Портан прославлял науку и просвещение. В первом номере газеты, издававшейся обществом «Аврора», была помещена ода Портана и П. Гадда, авторы которой обращались к «потомкам древних скифов», т. е. финнам, особенно к молодому поколению, с призывом «вступить в рошу соревнующихся идей», обличать порок и почитать добродетель, развивать науку и искусство, «соединить силу правды с красотой», чтобы она оказывала большее воздействие на умы. Здесь же, в этой оде, авторы призывали использовать природные богатства Финляндии, создавать всевозможные промыслы и т. д. Заканчивая оду, Портан и Гадд выражали свою веру в будущий прогресс Финляндии при условии, если народ будет трудиться «под сенью мира» и если «почитание короля и закона лишь укрепит в нашей груди сознание свободы».

От второй половины XVIII века сохранились, правда, немногочисленные, но любопытные памятники финской светской поэзии. В них слышны отзвуки гедонизма, радостного восприятия жизни, что было реакцией на средневековый аскетизм. Человек уже не должен был жить одной надеждой на потусторонний мир, а наслаждаться своим счастьем здесь, на земле. Смерть не рассматривалась как избавление от земных мук, — в ней видели закон природы, следуя которому, каждый, отжив свое, уступал место другому. Бог создал человека для того, чтобы он плодился и радовался, говорит в своей «Свадебной песне» К. Ганандер, и людям не следует забивать себе голову схоластической мудростью, сильнее которой любовь и семейное счастье. Вводятся новые ритмы, легкие, бодрые, приближающиеся к темпу танца, а к некоторым стихотворениям их авторы непосредственно указывали популярные веселые мелодии.

Замечательными для Финляндии того времени произведениями являются стихотворения Г. Акрениуса (1739—1798). Сведения о нем весьма скудны. Размером «Калевалы» он перевел на финский язык несколько десятков басен, а также элегию Овидия. Интерес представляют его оригинальные стихотворения, в которых с веселым лукавством описываются незамысловатые бытовые сценки. Удивительно гибкими для современной ему финской поэзии стихами Акрениус живописует простонародную свадьбу («Пляска невесты») или посмеивается над радостью поповских жен по поводу того, что их мужья еще на два года обеспечены теплым местечком в своих приходах. Это внимание Акрениуса к «низким» жанрам в какой-то мере шло в разрез с классицистической эстетикой Портана. Но Акрениус был не только любителем бытового юмора: под свежим впечатлением французской революции он первый перевел на финский язык «Марсельезу».

Привлекает своей политической остротой также басня Акре-



ниуса «Ястреб и голуби». Ястреб, говорится в басне, предложил себя в короли в голубином царстве, с чем голуби и согласились. Вскоре обнаружилось, однако, что ястреб стал убивать своих подданных, питаясь их кровью. Один «разумный» голубь горько сетует на глупость своих собратьев, добровольно надевших на себя ярмо.

## 2

Финляндские просветители XVIII века находились, в основном, под влиянием англо-французского и отчасти немецкого просветительства. Но в этот же период некоторые из них стали время от времени обращать свои взоры не только на запад, но и на восток, в сторону России, вовлекая в круг своих научных и литературных интересов отдельные явления русской культуры.

Это внимание к духовной жизни России было, правда, еще эпизодическим и не очень глубоким, но вместе с тем симптоматичным на фоне русско-шведских политических отношений того времени. В Финляндии давали о себе знать сепаратистские настроения, причем в конце века они проявлялись уже в действии, а не только подспудно, о чем свидетельствует так называемый Аньяльский союз 1788 года, когда офицеры шведской армии из числа финляндских дворян, недовольные политикой Густава III, мечтали об отделении Финляндии от Швеции, рассчитывая при этом на помощь со стороны России.

Политическая ориентация на Россию получила в Финляндии уже известную почву, и пренебрегать этим фактом было невозможно, он побуждал финляндских литераторов интересоваться Россией, даже если они и не питали особых симпатий к господствовавшему в ней режиму.

Относительно возросший интерес к России имел, кроме того, еще одну, весьма существенную для финнов, причину. В их восприятии Россия была не только страной русских, но и родиной многих финно-угорских племен и народов. В поисках своей собственной прародины финны неизменно приходили к выводу, что она затерялась где-то на необъятных просторах России. По Портану, финны пришли из Прикаспия, Кастрён отыскивал их колыбель на Алтае. Менялись и уточнялись гипотезы, но Россия по-прежнему оставалась, по выражению Г. Паландера, «обетованной землей» финно-угорских народов. И естественно, что на заре национального пробуждения в Финляндии, когда финны все отчетливее стали осознавать свою этническую общность, возникла необходимость научно определить свое место среди родственных и соседних народов, а это требовало сравнительного изучения их истории, языка и культуры. Такое

изучение в конце XVIII века делало лишь первые шаги, но уже тогда постепенно прояснялось, что в подобных разысканиях небесполезно обращаться к русской науке и культуре.

Портан писал в 1778 году: «Шестому выпуску моей *«De poësi fennica»* я намерен, по совету камергера Буреншёльда, предпослать исследование в эпистолярной форме относительно происхождения и древности финского народа, равно как о некоторых других вопросах такого же характера. Если мне удастся найти несколько русских песен, подобных тем, о которых упоминается в предисловии к французскому переводу *«Чесмеского боя»* Хераскова, то по ним я смогу выяснить кое-что о возрасте финских рун, поскольку эти песни, как полагают, сходны с рунными и совершенно отличаются от современной русской поэзии. Бытующие среди православных карел плачи, которых у меня накопился целый сборник для последующих частей *«De poësi fennica»*, представляют собой, по-видимому, промежуточную форму между русскими песнями и финскими рунными»<sup>1</sup>.

Замысел Портана относительно сравнительного изучения карело-финских рун и русских народных песен не был осуществлен: увлекшись другими исследованиями, он уже не возвращался к *«Финской поэзии»*, и пятый ее выпуск (1778) остался вместе с тем и последним. Замысел этот примечателен, однако, тем, что здесь Портан почти на полстолетия предвосхитил до известной степени идею финно-угроведа Шёгрена о целесообразности изучения истории и культуры русского и финно-угорских народов не изолированно друг от друга, а во взаимопроникновении различных национальных начал.

Следует напомнить, что то предисловие к французскому переводу *«Чесмеского боя»*, на которое ссылался Портан, принадлежит перу самого Хераскова и является одним из наиболее значительных историко-литературных обзоров, оставшихся нам от русской литературы XVIII века. По свидетельству П. Беркова, объем сообщаемых Херасковым сведений в его *«Discours sur la poesie russe»* (1772) далеко превосходит более ранние обзоры и «даже ряд последующих по времени историко-литературных работ»<sup>2</sup>. Вместе с тем это *«Рассуждение о российском стихотворстве»*, как заметил М. К. Азадовский, представляет собой первый в русской литературе опыт включения народной поэзии в общее литературное развитие<sup>3</sup>. Всякая литература, по мнению Хераскова, начинается с фольклора, и русские в этом отношении не представляют исключения. «В про-

<sup>1</sup> G. Palander. H. G. Porthan. *Elämäkerran luonnos*. Helsinki, 1904, s. 49.

<sup>2</sup> «Рассуждение о российском стихотворстве». Неизвестная статья М. М. Хераскова. Публикация и перевод П. Беркова. — «Литературное наследство», т. 9—10, М., 1933, стр. 287—294.

<sup>3</sup> Азадовский М. К. *История русской фольклористики*. М., 1958, стр. 92.

исхождении своем стихотворство российское имеет начала, всем народам общие», у его истоков лежат древние песни, «кои от поколения поколению предавали памятные приключения победоносных рыцарей наших». В предисловии называются «песни об Илье Муромце, пирах Владимировых и им подобные». Упоминание о них и привлекло внимание Портана.

Херасков придерживался, однако, узкопросветительских взглядов на фольклор. Памятники народной поэзии ценны для него только с точки зрения их исторической достоверности, лишь в той мере, в какой они «повествуют нам о событиях древности». Эстетическим же значением народной поэзии он совершенно пренебрегает, считая ее проявлением низкой ступени культурного развития, продуктом эпохи, весьма неблагоприятной для расцвета поэзии. Бряцание оружием в ту пору «глас Муз заглушало. Посреди невежества, кое весь Север и всю почти Европу тогда помрачало, дух сих певцов-воителей ниоткуда не мог почерпать просвещения... Таковы были стези грубые, коими следовали Музы во времена сии отдаленные, дабы водрузиться в нашем отечестве». Татарское иго, указывал Херасков, надолго задержало развитие русской литературы, и даже после разгрома поработителей время еще не сразу стало «удобным для просвещения россиян». Науки ожидали воцарения Петра. С тех пор подвинулось вперед и развитие литературы. Симеон Полоцкий писал еще «безобразными стихами», Кантемир и Тредиаковский «исправили в некотором роде» русское стихосложение, и только великий Ломоносов обучил «россиян правилам истинного стихотворения». Далее следовали краткие сведения о Сумарокове, Майкове, Фонвизине.

Эта справка о русской литературе и позволила Портану заключить, что древние русские песни «совершенно отличаются от современной поэзии».

На народную поэзию Портан смотрел уже несколько иначе, чем Херасков. Правда, и ему был подчас присущ слишком рационалистический подход к фольклору, особенно к некоторым его жанрам — заклинательным рунам и народным мифам, но в целом Портан уделял уже больше внимания эстетической стороне фольклора. Недаром «Финская поэзия» стала главным трудом его жизни. В этом сочинении подробно рассматриваются особенности поэтики карело-финских народных рун (такие явления, как аллитерация, инверсия, повторы), описывается традиционная манера исполнения произведений различных фольклорных жанров и даются сведения об условиях их бытования. Сознывая, что древние руны — это уходящая культура, особенно в экономически наиболее развитых прибрежных районах Финляндии, Портан признает художественную ценность этой культуры, он видит в рунах прежде всего поэзию, а не проявление варварства, но ее гибель под давлением



новых обстоятельств он еще не воспринимает трагически и не оплакивает ее с той элегической грустью, какая была характерна позднее для некоторых романтиков. Херасков ставил «просвещенную» книжную поэзию выше народной, а романтики, напротив, подчеркивали превосходство последней. Что же касается Портана, то он, еще с почтением отзываясь о правилах поэтики классицизма, одновременно призывал также использовать опыт фольклора для развития национальной литературы. Он советовал рунопевцам читать древних и новых поэтов и усвоить общие теоретические принципы стихосложения, но наряду с этим он уже пытался из самого фольклора вывести некую систему эстетических правил, которая могла бы лечь в основу финской книжной поэзии. Фольклор древнее литературы, стало быть его художественным опытом нельзя пренебрегать — таков был основной довод Портана. Подчас он даже слишком прямолинейно и опрометчиво переносил принципы фольклорной поэтики на литературу. Поскольку в рунах рифма встречается редко, являясь скорее случайным исключением, чем правилом, то Портан на этом основании заключал, что рифма вообще чужда финскому языку и что книжная поэзия в ней не нуждается.

Но несмотря на отдельные неверные положения, в работе Портана содержится много здравых мыслей о роли фольклора в литературе. Он уже подходил к проблеме национальной самобытности словесного искусства и в этой связи подчеркивал, что близость к фольклору уберезет литературу от подражательности иноземным образцам. Он призывал финских писателей черпать «из чистого, ничем не замутненного источника» народной поэзии, доказывая, что рунопевцы, «эти сельские почитатели муз», сохраняют древний дух финской поэзии во всей ее естественной самобытности. «Они не знают строгих поэтических правил и все же соблюдают их довольно точно благодаря тонкому чутью и усердному упражнению, а также потому, что смутно догадываются, что есть прекрасного в этом искусстве ... Удивительно хорошо владея родным языком и пользуясь его богатствами, они не прибегают к наигранности и чрезмерной свободе. Потому их стихам придают особую прелесть чистота языка, подкупающая оригинальность выражения и знание тонкостей родной речи»<sup>1</sup>. Конечно, добавлял Портан, бывают и менее удачные руны, сложенные «в нарушение правил». Не удивительно, что крестьянские поэты иногда допускают промахи, ведь у них нет образования, «они не располагают необходимым досугом, им не благоприятствует, так сказать, попутный ветер, помогающий поэтам более могучих и известных на-

---

<sup>1</sup> H. G. Porthan. Tutkimuksia. Helsinki. 1904, ss. 63—64.

родов. Надо, напротив, удивляться тому, что они все же столь успешно справляются со своим делом»<sup>1</sup>.

Фольклористическая работа Портана «О финской поэзии» стала косвенно известна русскому читателю, хотя и без упоминания имени исследователя. В 1806 году в издаваемом Н. Остолоповым журнале «Любитель Словесности» (№ 6, стр. 179—188) появилась статья «О финляндской поэзии. (Из путешествия Ачерби)». Это был перевод из книги итальянца Джузеппе Ачерби «Поездка через Швецию, Финляндию и Лапландию до Нордкапа в 1798—1799 гг.», которая вышла на немецком (1803), английском (1804), французском (1804) и голландском (1804—1806) языках. Как указывает И. Хаутала, летом 1799 года Ачерби вместе со шведским путешественником А. Ф. Шельдебрандом, также опубликовавшим книгу, посетил Або, где они встречались с Портаном и под его руководством знакомились с библиотекой местного университета. В книгах обоих путешественников есть страницы о карело-финской народной поэзии, сведения о которой, как полагает И. Хаутала, они получили преимущественно из работы Портана и устных бесед с ним<sup>2</sup>.

В отрывке из книги Ачерби, напечатанном в «Любителе Словесности», говорится, что хотя «солнце словесности простерло слабый свет свой на финляндские горы» в еще очень давние времена, однако свет этот сохранился в одном лишь университете в Або. Финны часто страдали от войн, а «науки успевают только во времена мира». Положительно оценивая шведское завоевание Финляндии и введение христианства, автор писал, что с тех пор финны «стали приходить в лучшее состояние, и стихотворство, которое еще до сего посетило сию мрачную пустую землю, начало процветать более и более; под руководством наук финны упражняются теперь в оном с таким удивительным прилежанием и успехом, кои действительно во всяком отношении достойны самого внимательного замечания».

Финнам, продолжал автор, известны древние «рунические» стихи, для которых характерна аллитерация, но не рифма. «Стихи с рифмами введены гораздо позже, и если сами собою и без принуждения встречаются с руническими, то их употребляют, а нарочно об их не стараются». Ачерби искал в Финляндии рун, «в коих повествуется о смерти готических героев и коими можно было бы истолковать многие донныне существующие памятники». Но таких рун обнаружить не удалось, в связи с чем автор высказал мнение, что «из всех известных теперь рунических песен ни одна не простирается далее реформации Лютера». Более точны сведения о географическом бытовании

<sup>1</sup> Н. G. Porthan. Tutkimuksia. Helsinki, 1904, s. 66.

<sup>2</sup> J. Hautala. Suomalainen kansanrunouden tutkimus. Helsinki, 1954, s. 86.



рун, которые особенно пелись «жителями Восточной Ботнии и Кайанеборгской провинции», то есть на северо-востоке; напротив того, «на ближайших к Швеции морских берегах очень мало встречается финляндцев, знающих наизусть и поющих такие стихотворения, а еще и того менее сочиняющих оные». Ачерби сравнивал рунопевцев с итальянскими импровизаторами, отмечая, с какой легкостью крестьяне сочиняли стихи на разнообразные случаи жизни, на «общие и частные происшествия». Описывался также обычай петь руны: главный исполнитель и его «товарищ» садились друг против друга, взявшись за руки. Приводились образцы творчества народных певцов, в том числе отрывок из одной «Елегии, сочиненной Павлом Ремесом, финским крестьянином, на смерть своего брата». Вслед за Портаном Ачерби рассказывал о «мельничных песнях», которые пелись женщинами, когда они мололи зерно на домашних жерновах. Полностью дается прозаический русский перевод известной народной песни «Если бы вернулся милый», переведенной затем на десятки языков. Ачерби упоминает, что ее текст ему подарил Францен, поэт и профессор Абоского университета. Песня эта «особенно отличается сильным чувствием и смелыми выражениями, за которыми часто и безуспешно гоняются опытные стихотворцы».

Осведомленность Ачерби в карело-финском фольклоре несомненно восходила к финляндским литературным источникам, в основном к работе Портана. Таким образом, через Ачерби изыскания финляндского фольклориста стали известны и в России.

Некоторый интерес к русскому фольклору обнаруживал К. Ганандер (1741—1790), современник Портана, фольклорист и этнограф, известный прежде всего своим сочинением «Финская мифология». В 1787 году Ганандер напечатал на финском языке «Русскую свадебную песню». Как считают финляндские исследователи, это был первый перевод с русского на финский. Комментируя текст Ганандера, А. В. Коскимиес указывает, что он представляет собой перевод песни, «русский текст которой можно найти в сборнике Соболевского, т. II, стр. 112»<sup>1</sup>. К сожалению, это указание не подкреплено достаточной аргументацией, в которой оно, на наш взгляд, нуждается.

Дело в том, что Ганандер вместе с текстом финского перевода воспроизвел также русский оригинал, но знаками латинского алфавита. Издание Ганандера нам недоступно, но Э. Салокас замечает по этому поводу, что уже в самом переводе есть туманные места, а «оригинал» вообще представляет собою «удивительную мешанину» — русского языка Ганандер

---

<sup>1</sup> Agricolasta Juteiniin. Kirjallis- ja kielihistoriallisia näytteitä vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Toimittanut A. V. Koskimies. Helsinki, 1921, s. 372.



не знал, в чем чистосердечно признался в эпиграфе к песне<sup>1</sup>. При переводе он, очевидно, пользовался чьей-то помощью, а русский текст пытался, видимо, воспроизвести на слух, не понимая значения отдельных слов.

Повторяем, что изданием Ганандера мы не располагаем. Что же касается публикации Коскимиеса, то он приводит лишь перевод, без «оригинала». Если же исходить только из ссылки на Соболевского, то утверждение, что Ганандер сделал свой перевод именно с текста, адекватного указанной песне, требует некоторых пояснений. На наш взгляд, можно говорить лишь о сходстве основного мотива: с замужеством для девушки кончаются дни беззаботного веселья в родительском доме. Рядом с названной русской песней текст Ганандера выглядит скорее не переводом, а весьма вольной импровизацией на ту же тему. Вот песня, на которую указывает Коскимиес (во втором томе Соболевского она значится под № 132):

Соловей, мой соловеюшка,  
Соловеюшка, мой батюшка!  
Полети, мой соловеюшка,  
На родимую сторонушку;  
Принеси мне, соловеюшка,  
От милого друга весточку;  
Ты скажи, мой соловеюшка:  
Кому воля, кому нет воли гулять?  
— Воля в поле красным девушкам гулять,  
Нет волюшки молодущкам.  
У меня ли, у младешеньки,  
Три великие заботушки:  
Еще первая заботушка —  
Чужа дальняя сторонушка;  
А другая-то заботушка —  
Неудалый муж головушка;  
Еще третья заботушка —  
Что люта, люта свекровушка . . .

Не по камешку быстра река течет,  
Мой миленький по бережку идет,  
За собой он ворона коня ведет;  
Мой миленький рассердился на меня,  
Он седлает своего доброго коня:  
Прости, милая, хорошая моя!  
Западала путь-дороженька моя  
Ко моим, радость, широким воротам;

<sup>1</sup> E. Salokas. Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. Helsinki, 1923, s. 144.

Я не чаяла друга вовек не видать,  
Во сахарные уста не целовать,  
А ныне мил при ясных при очах . . .

Теперь приведем финский текст Ганандера с нашим переводом, более или менее точным по смыслу, но не претендующим на передачу языковой архаики.

Weisaan wirren Wenäjäksi  
Laulan Isäni luwalla  
Wirren wanhimman Wenäjän.  
Työnnän kohta terweyttä  
Tuttawalle tyttäreille,  
Jotta tulis tansihini  
Pelkäämätä pelihini  
Warsin tansihin wenäjän.

Terwe, terwe tuttawani  
Terwe tansijn tultuasi  
Josa olen ojwallinen  
Itte paras pelimanni.  
Wapa walta tyttäreillä  
Kisahani tulla walta:  
Mutta kuin on mjehen saanut  
Ej oo waltoa enämpi.  
Paljon waltoa Wenäjän  
Nuorella on neitosella  
Käydä kisahen kipaten  
Tulla leikkihin lujasti.

Walt' on nuorell' neittyellä  
Muttas kuinssas neito naiinet  
Saipa mjehelle akaxi  
Ej ole waltoa enemmän.  
Lojtto tje on lähte essä  
Muulle maalle wjerahalle  
Ruotzin rannalle rawata:  
Ej oo mulla ensingänä  
Tuttawoa toweria  
Ystäwätä yhtäkänä  
Täällä rannalla rakasta.

En oo täällä syntynynnä  
Tällä rannalla rotinut,  
Ej oo Isäni ikänä

Песню русскую спою я  
С позволения отцова, —  
Песню, что древней всех песен.  
Я спою ее во славу  
Девыцы, моей подружки,  
Чтоб плясать со мною вышла,  
Не боялась хоровода  
И старинной русской пляски.

Здравствуй же, моя подружка,  
В хоровод входи скорее!  
Сам плясать большой я ма-  
стер,  
Музыкант на редкость слав-  
ный.

Воля есть еще у девки  
Поплясать на играх вдоволь;  
Но как только выйдет замуж,  
Не видать ей больше воли.  
Эх, привольно жить в России,  
Коль еще ты в девках ходишь,  
Кружишься в веселой пляске  
И все водишь хороводы.

Жизнь девичья беззаботна,  
А когда ты замуж выйдешь,  
Станешь мужниной женою,  
То прощай бывшая воля!  
В дальнюю тебя дорогу  
Увезут в страну чужую,  
На далекий шведский берег.  
Вот и нет уже знакомых,  
Нет у меня подружек  
В этом крае чужедальнем,  
На сторонущке прибрежной.

Я не здесь на свет родилась,  
Далеко мой дом родимый.  
И не здесь меня зачали,

Tälle rannalle rotinut  
Eikä suonu syntywäni,  
Ej oo äjtini älynnyt  
Tänne mua synnyttöä.

Tähän maahan matkustelin  
Jossan käwelen katala  
Maalla mustalla matelen  
Käynpä täällä kässäelen.  
Täältä temmais kauny (!) tyttö  
Pojjes nouti neitoseni,  
Sulhas mjesi merkillinen  
Otti täältä taltehensa  
Jonga suojassa sujotan  
Istun ilmangin surua.  
Tuuli tukkan temmakkohon  
Ennen kuin man sijtä lähen  
Sijrryn suojasta hyvästä!!!

Не на этом бережочке.  
Батюшке того не снилось,  
Чтобы мною мать родная  
На чужбине разрешилась.

И приехала сюда я,  
Маюсь горемыкой горькой,  
На земле чужой стенаю,  
Света белого не вижу.  
Но пришел жених достойный  
За невестою своею  
И увел младу девицу,  
Чтоб беречь ее и нежить.  
Он теперь моя защита,  
С ним живу я беспечно.  
Пусть подует буйный ветер,  
Но ему не разлучить нас,  
Не лишить меня опоры!

Финский текст Ганандера, возможно, является сознательной импровизацией, с некоторым переосмыслением деталей, с привнесением особого «местного колорита». «Дальняя сторонущка», которая в русской песне может означать просто соседнюю деревню, куда девушка выдана замуж, оказывается у Ганандера действительно чуждеальной стороной, «шведским берегом». Возможно и другое: такое расширение поэтической «географии» могло явиться результатом особых условий бытования этой песни. Переосмыслил ее, возможно, не Ганандер, а народ, который, особенно в пограничных районах с различным по этническому составу населением, мог сталкиваться с подобными ситуациями. Во времена Ганандера, как и до того, русские общались с карелами, саами, финнами, включая также шведских финнов. Описывая ярмарку в Сортавале, известный путешественник по Карелии академик Н. Я. Озерецковский сообщал в 1785 году, то есть за два года до выхода публикации Ганандера: «На ярмарку, кроме россиян, съезжаются российские и шведские финны и карелы»<sup>1</sup>. Позже Ф. Глинка описал в поэме «Карелия» ярмарку в Шуньге. Карельские кузнецы, «потомки белоглазой чуди», везли туда свой «звонкий товар».

Там ярмарка. Там все пестро  
И все живет: там торг богатый  
Берет уклад за серебро;  
И мчит туда олень рогатый

<sup>1</sup> Н. Озерецковский. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. СПб., 1792, стр. 84.



Лапландца с ношею мехов,  
На ленты, зеркальцы, монисты  
У жен лесных кареляков  
Меняют жемчуг их зернистый  
Новгородцы-торгаши:  
И в их лубочны шалаши  
Несут и выдру, и куницу,  
И черно-бурую лисицу.  
И хвалятся промеж собой  
Карельцы ловкою борьбой . . .

Общение разноплеменного населения приводило иногда к смешанным бракам, что содействовало возникновению тех модификаций в народных песнях, особенно бытового характера, к числу которых можно отнести и текст Ганандера.

Более близкому знакомству финнов с русской культурой мешали языковые преграды. Характерно, что Портан читал Хераскова не в оригинале, а во французском переводе.

Но вместе с тем культурное значение русского языка становилось для финнов очевидным. Рассуждая о необходимости создания сравнительного словаря финно-угорских языков, Портан в 1782 году писал: «Первый шаг заключается в том, чтобы хорошо овладеть русским языком, ибо на нем появлялись грамматики и лексиконы тех финских наречий, на которых говорят многие финские народности, живущие в России; но чтобы разбраться в том, что действительно является финским, надобно знать также татарский, турецкий, монгольский и прочие языки»<sup>1</sup>.

Для Портана овладение русским и другими упомянутыми им языками так и осталось мечтой. Некоторое время финны вынуждены были еще переводить русских авторов не с русского, а с других переводов, пока не появилось новое поколение ученых и литераторов, знающих русский язык. В подготовке литературных переводчиков в Финляндии немалая заслуга принадлежит Я. К. Гроту.

Возвращаясь к Портану, необходимо подчеркнуть, что на его отношении к России лежала печать современной ему эпохи. Хотя он, как отметил еще Э. Салокас, «пристально следил за развитием науки и литературы в России»<sup>2</sup>, однако Россия для него все-таки оставалась «страной варваров», порядки в которой внушали ему ужас, как он сам признавался в этом. В 1795 году Портану предложили на средства из особого фонда Екатерины II совершить поездку в Россию в целях изучения

<sup>1</sup> G. Palander. H. G. Porthan. Helsinki, 1904, s. 165.

<sup>2</sup> E. Salokas. Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. Helsinki, 1923, s. 143.

финно-угорских народов, но он ответил отказом, а в частном письме мотивировал это свое решение не только преклонным возрастом, но и антипатией к России. В молодые годы, добавлял Портан, он бы еще принял это предложение, но теперь оно было уже не для него, и он уступал место другим.

Не удивительно поэтому, что Портан резко осудил Аньяльский союз. Он сам нередко возмущался политической шведского короля по отношению к Финляндии, но иного существования для нее, кроме как в составе Швеции, он себе не мыслил.

Тот «ужас», который Портан, по его словам, питал к России, был в значительной мере данью дурной традиции, укоренившейся в Финляндии вследствие многовековой вражды между Россией и Швецией. Однако не все здесь можно объяснить одними лишь предрассудками. Когда Портан с негодованием писал о замыслах Аньяльских заговорщиков, его прежде всего тревожила судьба финского крестьянства. Дворяне, по мнению Портана, исходили из эгоистических сословных интересов, они мечтали «превратить своих сограждан в рабов по примеру лифляндцев и курляндцев и обходиться с ними как со скотиной»<sup>1</sup>. Портан, следовательно, опасался, что в случае успеха заговорщиков финские крестьяне могут оказаться под ярмом крепостничества, подобно крестьянам прибалтийских губерний России.

Для Портана не было тайной, что и под шведской короной финским крестьянам жилось нелегко. Крестьяне давно ненавидели господ, а после дворянского заговора эта ненависть, писал Портан, «отнодь не уменьшилась. Когда знаешь, как зачастую обращаются с крестьянином, как его обируют, притесняют и обманывают, то не будешь удивляться такому направлению его мыслей»<sup>2</sup>.

Но при всей тяжести феодального гнета финский крестьянин все же не знал крепостной зависимости в ее «классической» форме, и этот момент во многом определял страхи и опасения Портана по отношению к России. Когда-то он был близко знаком с одним из главных участников Аньяльского союза Спренгтпортенем, являясь воспитателем его сына, но это не помешало Портану сурово осудить заговорщиков.

Однако вскоре после его смерти вспыхнула последняя война между Россией и Швецией, и по Фридрихсгамскому миру 1809 года Финляндия отошла к России. Хотя это событие и не имело никаких непосредственных социальных последствий для Финляндии, но постепенно оно наложило особый отпечаток на характер общественного движения в ней.

<sup>1</sup> G. Palander. H. G. Porthan. Helsinki, 1904, s. 128.

<sup>2</sup> R. Koskimies. Porthanin aika. Tutkielmia ja kuvauksia. Helsinki, 1956, s. 214.

Все сколько-нибудь выдающиеся финляндские деятели первой половины XIX века (например, Ютейни, Арвидссон, Готлунд, Шёгрэн, Поппиус, Лённрот, Снельман) считали, что по сравнению с прежним положением Финляндии ее присоединение к России сыграло в конечном счете положительную роль. Они ясно сознавали, что отрыв Финляндии от Швеции явился чувствительным импульсом для усиления финского национального движения, направленного на первых порах преимущественно против засилья шведской культуры, против угрозы шведской ассимиляции.

Эта точка зрения, затем неоднократно подтвержденная не только демократической, но отчасти и буржуазной финляндской историографией, определилась, однако, не сразу. Когда в 1808 году разразилась новая война, у финнов не могло быть особого доверия к русскому самодержавию. Крестьяне опасались, как бы им в результате русского завоевания не стало хуже прежнего.

Но уже вскоре отношение многих финнов к акту присоединения заметно изменилось. Финляндии была «дарована» автономия, стало ясно, что закрепощение ее крестьянам не угрожает. Характерно, что положительная оценка присоединения имела свои корни в народном мнении. Э. Салокас, автор монографии о светской лубочной литературе в Финляндии, приводит убедительные тому доказательства. На основании исследования исторических рун, вышедших лубочными изданиями в начале XIX века, он не без удивления пишет о характере тех настроений, которые возникли у рунопевцев в связи с присоединением Финляндии к России: «Поразительно, как скоро наш народ одобрил новые условия, сложившиеся в результате событий 1808—1809 годов, если учесть, что в течение пяти веков у нас было принято считать русских заклятыми врагами»<sup>1</sup>.

Между тем это не было столь поразительным, так как в сознании финнов все более укреплялась мысль, что только в составе России Финляндия обретет мир. Именно эта идея, как отмечает Э. Салокас, отразилась и в народных рунах, появившихся вскоре после присоединения Финляндии к России. Об этом же писал в 1810 году Ютейни (1781—1855) в обращении к финскому народу: «Теперь у нас появилась надежда скорее достичь общей цели народов — добиться прочного счастья. Разве прежде могла у нас быть уверенность в возможности мирно наслаждаться этим счастьем? Право же, тут была такая же неустойчивость, как и с прежней шведской государствен-

<sup>1</sup> E. Salokas. Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. Helsinki, 1923, s. 210.



ной границей в Финляндии. Для мира Финляндии представляется необходимым, чтобы граница между Швецией и Россией проходила по Ботническому заливу. Из истории и преданий предков мы хорошо знаем, какие ужасы выпали в прошлом на долю нашей страны и наших отцов в периоды войн и распрей, которые время от времени вспыхивали между Швецией и Россией. Через присоединение всей Финляндии к Русскому государству мы, надо полагать, будем избавлены от этих ужасов. Та обгаренная кровью предков земля, которую до сих пор терзала война, наконец-таки расцветет, возделанная радостным трудом потомков. И над Финляндией свободно взойдет солнце просвещения»<sup>1</sup>.

Русское правительство, учитывая стратегическое значение новоприобретенной страны и стремясь, как отмечал Ленин, привлечь на свою сторону ее жителей, бывших подданных шведского короля, проводило в Финляндии совершенно особую политику; оно сохранило финляндскую конституцию и посредством разнообразных уступок настойчиво внушало финнам мысль о преимуществах их нового положения. В секретном предписании финляндскому генерал-губернатору Штейнгелю от 14/26 сентября 1810 года<sup>2</sup> Александр I следующим образом разъяснил свою позицию: «Намерение мое при устройстве Финляндии состояло в том, чтоб дать народу сему бытие политическое, чтоб он считался не поработанным России, но привязанным к ней собственными его очевидными пользами». И надо сказать, что Александр I прослыл в Финляндии за истинного либерала, там верили в его «просвещенность», многие поддались его личному обаянию, в том числе Арвидссон, который даже после «высочайшего повеления» о запрещении его газеты все еще склонен был думать, что винить за это следовало не царя, а его слуг, превратно истолковавших ему суть дела. С Арвидссоном это случилось уже в начале 20-х годов, и потому неудивительно, если Ютейни десятью годами раньше еще без тени сомнения рекомендовал финскому народу царя как «князя мира», который «любит справедливость и охраняет благополучие своих подданных. Он издает разумные законы, основывает учебные заведения и с состраданием внемлет жалобам вдов и сирот. Он уважает человеческое достоинство, он избавляет рабов от рабства, под бременем которого они беспомощно вздыхали до сих

<sup>1</sup> К. А. Talvioja. J. Juteini ja hänen kirjallinen toimintansa, I. Heinola, 1914, s. LXXVII.

<sup>2</sup> Центральный Государственный Архив Военно-Морского Флота СССР (в дальнейшем сокращенно: ЦГАМФ), ф. 19, д. 24, лл. 74—78. В Финляндии этот документ уже публиковался — в частности, он приведен в книге: J. R. Danielson-Kalmari. Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18: nnellä ja 19: nnellä vuosisadalla. Aleksanteri I: n aika. Ensimmäinen osa. Porvoo, 1920, s. 7—12. Даниэльсон-Кальмари считает приводимый документ одним из самых любопытных во всей финляндской истории XIX века.

пор...»<sup>1</sup> Под избавлением «рабов от рабства» Ютейни, вероятно, имел в виду так называемый указ о свободных хлебопашцах (1803), согласно которому помещикам, если на то было их желание, не возбранялось отпускать на волю крепостных.

Надежды на то, что царь будет править «просвещенно», способствуя возрождению финской нации, отразились и в стихах Ютейни. Поэт был преисполнен самых добрых чувств к России. Примечательно, в частности, большое стихотворение Ютейни о борьбе русского народа с Наполеоном — «Песнь о северной войне, начавшейся в России и завершившейся в Париже на благо всеобщего мира». Ютейни написал эту песнь в 1815 году, по свежим следам событий, о которых он и хотел поведать «брату из России». Автор подчеркивал, что нашествие французов принесло много бедствий русскому народу, оно угрожало существованию России, а когда дело касалось национальной независимости, то финны, лишённые её сами, обычно обнаруживали в таких случаях понимание и сочувствие. Русские дрались за свое отечество, и вот почему:

Kansakunda kaikkialla  
näytti kowan kiiwarden,  
että suuret sotajoukot,  
paljoudet paisuneina,  
wiedyt maalle wierahalle  
waaran tähden wapisiwat,  
tutisiwat tuskassansa.

(Вся нация проявила такое упорство, что приведенные в чужую страну огромные полчища пришли в трепет при виде опасности.)

Французский император, по мнению поэта, был поработителем народов, гонителем свободы даже у себя на родине. Описание поражения французов в битве под Лейпцигом, Ютейни заключал:

Näin nyt näändyi Napoleon,  
waipui ales wallastansa,  
koska kukin kansakunda  
tunsi toiwon turhuudeksi  
päästä pauloista pahoista,  
kiukun alla kiiwahamman  
oli walmis wainottuna  
wainon maksamaan wihalla.

wendo wieraita majoinsa,  
näin nyt näändyi Napoleon,  
joka, kowa kotonakin,  
waadittaissa wapautta  
kiersi aina kiinitellen  
kahleita kamalasti,  
että oli ehdyttänyt  
wapauden waikutukset,

<sup>1</sup> K. A. Talvioja. J. Juteini ja hänen kirjallinen toimintansa. Heinola, 1914, s. LXXVII.



Näin nyt näändyi Napoleon,  
käytyänsä kutsumassa

wäsyttänyt, wähendänyt  
indoisuuden isän maasta.

(Так был низвергнут и лишен власти Наполеон, потому что все народы осознали необходимость освободиться из пут, чтобы обрести счастье; полные негодования, они были готовы отплатить за гнет ненавистью. Так был низвергнут Наполеон, вынудивший чужестранцев прийти во Францию. Так пал тот, кто и дома у себя был жесток, и хотя требовал свободы, но всюду приносил с собой оковы, противился влиянию свободы и погасил энтузиазм в своем отечестве.)

Радуюсь наступившему миру, Ютейни в 1815 году еще не мог предугадать, к чему приведет союз европейских монархов, восторжествовавших над Наполеоном. Поэт скорее выдавал свою мечту за действительность, когда писал, что после взаимных распрей «народы теперь уже объединяются в дружбе».

При всех слабостях своего мировоззрения Ютейни оставался идеологом крестьянства, наиболее ярким представителем того направления в литературе и идейно-общественной жизни Финляндии первой трети XIX века, которое можно назвать крестьянским просветительством. Эти литераторы выступали защитниками крестьянства и писали на его языке. В крестьянстве они видели основу финской нации, основу государства. В пьесе Ютейни «Семейство» старый пахарь с гордостью говорит, что «крестьянское сословие всему государству основа, и только глупцы до сих пор презирают его, хотя хлеб-то все едят». А в басне «Муравьи» поэт от имени тружеников с еще большей определенностью заявил:

Государство с древних пор уж  
С мельницею очень схоже:  
Мы — река! Мы жернов движем.  
Господа же — только пена;  
Легкая, белее снега,  
Поверху она кружится,  
Бойко скачет — ну, а все же  
Жернова она не вертит<sup>1</sup>.

Просветителем был и К. А. Готлунд (1796—1875), что наложило, в частности, отпечаток на характер его интереса к России.

Имя Готлунда довольно часто упоминается в переписке

---

<sup>1</sup> Перевод наш. Подробнее об этой басне и других произведениях писателя см. нашу статью: «О творчестве финляндского просветителя Я. Ютейни». — Ученые записки Петрозаводского государственного университета, т. VI, вып. 1, Петрозаводск, 1957.



Грота с Плетневым<sup>1</sup>. С ним Грот познакомился в Гельсингфорсе в тот самый день, когда впервые встретился с составителем «Калевалы» Э. Лённротом. Это случилось 18 июня 1840 года.

В письме к Плетневу Грот, рассказывая о своем посещении Лённрота, сообщал: «Теперь застали мы у него еще одного замечательного финна, Готлунда, который писал и ученые замечания о финнах и финские стихи; он долго жил в Швеции, но теперь опять поселился в своем отечестве. И у него та же неприглядная наружность, та же грубая одежда и та же скромная натуральность в обращении»<sup>2</sup>.

Работая в одном университете, Грот и Готлунд часто встречались. Случалось, что они проводили долгие часы во взаимных беседах. 10 сентября 1840 года Грот писал Плетневу: «После обеда пришел ко мне Готлунд; разговор коснулся прежде уже известных мне по слуху его приключений, и он рассказывал их мне с 4-х до 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. Какой замечательный человек, и как он много вытерпел!»<sup>3</sup>

В неопубликованных заметках Грота, носящих название «Практический журнал гельсингфорского жителя», есть довольно пространная запись — «Похождения Готлунда в Швеции»<sup>4</sup>. Запись эта представляется тем более любопытной, что она, по всей видимости, сделана со слов самого Готлунда.

Готлунд пришел в литературу на заре национального движения в Финляндии и принадлежал к наиболее демократическому его крылу. Во многих отношениях он является типичным представителем этого раннего периода «национального пробуждения», когда уже был выдвинут вопрос о развитии самобытной финской культуры в борьбе с феодальной идеологией.

Готлунд брался за очень многое, в его голове возникали самые неожиданные идеи, зачастую мало реальные. Долгое время он был, например, одержим честолюбивым замыслом «доразвить» финскую мифологию по образцу античной, чтобы привести ее в стройную систему и затем воздвигнуть на ее основе величественное здание финского Парнаса. Недостатком Готлунда была его чрезмерная прямолинейность, его неспособность критически пересмотреть однажды возникшую идею, если она потом оказывалась не вполне состоятельной. Это часто углубляло его заблуждения. В период «битвы диалектов» Готлунд защищал диалект Саво, полагая, что он может стать основой литературного языка. За это его нельзя было еще особенно упрекать, ибо в ту пору вопрос оставался неясным. Более

<sup>1</sup> Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, I—III. СПб, 1893. (При дальнейших ссылках сокращенно: Переписка).

<sup>2</sup> Там же, т. 1, стр. 5.

<sup>3</sup> Там же, стр. 49—50.

<sup>4</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 1, д. 37, лл. 6—10.

странным казалось современникам Готлунда то, что он упорно продолжал писать на диалекте Саво даже тогда, когда было уже очевидно, что развитие литературного языка твердо пошло по иному пути. Готлунд утверждал также, что Лённрот плохо составил «Калевалу», и, надеясь исправить дело, предложил свою «Рунолу», но это было опять-таки упрямое заблуждение, порожденное стремлением к соперничеству при недостаточности поэтического вкуса.

Все созданное Готлундом представляет исключительно лишь исторический интерес, причем самое примечательное в нем — это его личность на фоне времени. Во многом Готлунд жестоко ошибался, но он был демократ, оставаясь им даже в своих слабостях. Например, в упомянутом случае, когда Готлунд отстаивал диалект Саво, он обосновывал это тем, что все диалекты равноправны, все могут быть письменными, и только во взаимном их соперничестве выяснится, какой из них имеет право стать основой общенационального языка; а если предоставить какому-нибудь диалекту такое право как исключительную привилегию, то это уже будет произвол, это похоже на «деспотическую монархию» — таков был наивно-демократический ход рассуждений Готлунда.

Если бы в Финляндии того времени была возможна политическая деятельность, Готлунд, вероятно, никогда бы не писал стихов, на что у него не было особого дара. Всегда склонный к практической деятельности, он еще в молодости обнаружил, выражаясь современным языком, организаторский талант, способность быть вожаком масс.

В 20-е годы имя Готлунда получило довольно шумную известность в связи с его борьбой за права финских крестьян в Швеции и Норвегии. Об этой истории долго помнили в Финляндии, где жизнь была бедна значительными событиями политического характера. Деятельность Готлунда в Швеции стала известна и Я. К. Гроту. Именно она описывается в упомянутом «Практическом журнале гельсингфорского жителя», в разделе «Похождения Готлунда в Швеции».

В 1817 г., когда Готлунд учился в шведском университете в Упсале, он знал, что в лесах Далекарлии живут финны, переселившиеся туда несколько веков тому назад и, несмотря на всяческие гонения, сохранившие свой язык. Летом того же года Готлунд посетил Далекарлию, а в 1821 г. отправился в Верmland и пограничные районы Норвегии. Это были не просто научные поездки, хотя первоначально он намеревался преимущественно собирать научные материалы — этнографические, лингвистические, фольклорные. Материалов Готлунд собрал много; кроме того, воочию убедившись в плачевном положении шведских, а затем и норвежских финнов, он принял живейшее участие в их судьбе. Его борьба за их права продолжалась около



пятнадцати лет, однако он мало чего добился. Пожалуй, самым существенным результатом явилось то, что шведское правительство постаралось всеми мерами выпроводить Готлунда из страны. Он вернулся в Финляндию.

Проживавшие в шведских и норвежских лесах финны (их насчитывалось в обследованных Готлундом районах до 15 тыс.) были коронными арендаторами и с давних времен занимались подсечным земледелием. Но еще с XVII в. в этих местах стали возникать железоделательные заводы, которым нужен был лес, древесный уголь. По отношению к финским крестьянам правительство применяло жестокие меры: в середине XVII в. губернаторам было дано право выжигать крестьянские хозяйства вместе с постройками и посевами, если они мешали заводам<sup>1</sup>. Промышленники стремились подчинить себе крестьян, превратить их из коронных арендаторов в заводских торпарей, обязанных исполнять разные повинности, из которых самой обременительной и ненавистой для крестьян была поставка древесного угля по чрезвычайно низким ценам. О положении финских крестьян близ одного из заводов Готлунд писал: «Появление завода в этом крае стало гибелью для финнов. Подсек они уже почти совсем не рубят, зато они могут сколько душе угодно выжигать уголь, без всякого запрета. Чтобы дать представление о том, насколько скверно господа относятся к финнам, достаточно сказать, что они строго-настрого запрещают вспахивать даже те земли, где лес уже вырублен на уголь, и объясняют это тем, что после вспашки деревья на том месте больше не вырастут. . . Уже много раз случалось так, что на крестьян накладывались штрафы за попытку засеять рожью вырубленные на уголь участки. Каждому понятно, для чего это делается. Хотят, чтобы крестьяне доставали зерно не иначе, как покупая или занимая его у завода, а когда они уже залезут в долги, тогда их хозяйства переходят заводу. Такая несправедливость совершалась здесь всегда и все еще совершается»<sup>2</sup>.

Норвежские финны страдали, в свою очередь, от лесопромышленных компаний. Разорение финских крестьян под натиском капиталистических отношений сопровождалось усилением национального гнета. На некоторых заводах, по свидетельству Готлунда, финны опасались говорить при шведах на родном языке, ибо они и их предки много натерпелись за свою национальную принадлежность. Недоверие крестьян к господам первоначально распространилось и на Готлунда, но вскоре подозрения рассеялись, слух о нем прошел по многим финским селениям, крестьяне стали приходить к нему, просить у него

---

<sup>1</sup> I. Heikinheimo. K. A. Gottlund. Elämä ja toiminta, I. Porvoo, 1933, s. 411.

<sup>2</sup> Там же, стр. 411—412.



защиты, и Готлунд описывает ряд трогательных встреч с этими людьми, желавшими видеть в нем заступника за права угнетенных. Ко всему этому Готлунд не мог остаться равнодушным и в качестве необходимого шага попытался предать дело о «лесных финнах» общественной огласке. Уже после первой своей поездки в Далекарлию он посоветовал крестьянам обратиться с жалобой в шведский риксдаг. Некоторые материалы о положении финнов в Швеции Готлунд отправил в Финляндию, где они были опубликованы в сентябрьском номере журнала «Мнемозина» за 1821 г. О своей сопроводительной статье к этим материалам Готлунд писал редактору журнала Линсену: «В ней я, конечно, не милую шведских горнозаводчиков, но они гораздо более строги по отношению к нашим братьям, причем все сказанное мною я намерен доказать. Когда я писал это, у меня было две цели: во-первых, по мере возможности побудить правительство позаботиться о судьбе колонистов и, во-вторых, напомнить народу Швеции, что уж если там вечно ругают русских как угнетателей и похваляются либеральной свободой у себя дома, то не мешало бы им обратить внимание на то, чтобы в их собственных провинциях народ не страдал от тирании, а земля не превращалась в пустыню»<sup>1</sup>.

Готлунд проводил просветительскую работу среди шведских и норвежских финнов, учил их грамоте, доставлял финские книги, советовал им выписывать финскую газету из Финляндии. Постепенно он стал ходатаем этих крестьян, собирал их на сходки, выслушивал и записывал их жалобы, чтобы составить обстоятельный доклад для представления в риксдаг, и наконец в апреле 1823 года Готлунд во главе делегации крестьян прибыл в Стокгольм. Вскоре, однако, распространились слухи о бунтарстве крестьян, власти пришли в беспокойство, и Готлунд был внезапно арестован, а его бумаги конфискованы. После следствия ему предложили немедленно покинуть Стокгольм, предупредив при этом, что если он еще будет заниматься делами крестьян, его выдворят из страны.

Готлунд стремился к тому, чтобы для шведских и норвежских финнов была учреждена автономия. Он сумел увлечь этой идеей и многих крестьян, которым она показалась избавлением от всех социальных бед. В их воображении, равно как и в мечтах самого Готлунда, этот самоуправляющийся край будущего был сказочным крестьянским «Эльдорадо в тундре», где не будет ни горнозаводчиков, ни лесопромышленников, поскольку правительство, как надеялись крестьяне, могло при желании выкупить у компаний все земли и вернуть их обнищавшим земледельцам.

Но все окончилось ничем. После обсуждения дела о «лесных

---

<sup>1</sup> Heikinheimo K. A. Gottlund, I, ss 425—426.

финнах» в риксдаге была назначена комиссия, которая для одной лишь видимости обследовала эти районы, чтобы через год заявить, что ни в какой автономии финны не нуждаются. Комиссия порекомендовала только направить к финнам двух шведских капелланов, двух учителей и священные книги на шведском языке.

Еще до решения комиссии риксдага Готлунд выехал в Финляндию, чтобы опубликовать там материалы по делу шведских финнов и заручиться поддержкой влиятельных лиц, в частности графа Ребиндера, финляндского статс-секретаря. Готлунд отправил ему письмо в Петербург, а в январе 1824 года поехал туда сам. У него была также мысль посетить финно-угорские народы на территории России, о чем он сообщил в письме к Ребиндеру, оговорив при этом, что предполагаемая поездка будет носить научный характер. Однако у Готлунда было, кроме того, намерение выяснить условия жизни этих народов с тем, чтобы предать гласности действительное положение вещей и выступить с требованием социальных преобразований. Шведские власти были рады избавиться от Готлунда, и когда он в письме к Энгестрёму, шведскому министру иностранных дел, упомянул, что собирается после успешного завершения дела шведских финнов отправиться с той же целью в Россию, министр посоветовал сделать это побыстрее, не ожидая положительного решения риксдага.

Из рассказов очевидцев Готлунд уже слышал кое-что о крепостничестве в России. В Петербурге он встретился с другом своего отца, епископом Сигнеусом, ведавшим финскими приходами в русских губерниях, и узнал от него, что крепостных крестьян подвергают телесным наказаниям. Это, по-видимому, произвело впечатление на Готлунда. «Когда их раздевают, — записал он в дневнике, — то у каждого тело в рубцах, оттого что их били кнутом»<sup>1</sup>.

В Петербурге Готлунда встретили неприветливо. Для правительства он был человеком нежелательным. Епископ Сигнеус рассказал ему, что русским властям была известна его деятельность в Швеции. Если те хлопоты, которые Готлунд доставлял шведскому риксдагу, кронпринцу Оскару и самому королю, не беспокоили петербургские власти, то теперь его появление в русской столице показалось подозрительным. Сигнеус сообщил Готлунду, что его приезду «придают политическое значение». Во время аудиенции Ребиндер сразу же спросил, как долго Готлунд намерен оставаться в Петербурге. Ответ последовал: неделю. Для статс-секретаря это был слишком длительный срок, и он настоятельно предложил Готлунду как можно скорее

---

<sup>1</sup> I. Heikinheimo. K. A. Gottlund Pietarissa v. 1824. — Historiallinen aikauskirja, 1933, s. 308.



уехать, сославшись на то, что правительству было неуютно пребывание в столице «немецких и шведских» студентов, среди которых могли оказаться вольнодумцы. Власти знали о студенческих «беспорядках» в Германии и Швеции, Готлунд же был студентом Упсальского университета. Его помнили еще с тех пор, как он, приехав на каникулы в Або, попытался ввести среди финляндских студентов обычай петь на улицах города, как это делалось в Швеции, в той же Упсале. Уже этот случай дал финляндским властям повод расценивать всякую выходку студентов как результат дурного влияния иностранных университетов. Эта подозрительность еще более усилилась после того, как в Або в 1819 году произошли малозначительные стычки студентов с солдатами. В следующем году канцлер Абоского университета великий князь Николай, будущий император, запретил выдавать финляндским студентам заграничные паспорта для выезда в Швецию, объяснив это тем, что там «как при дворе, так и в народе господствуют дурные принципы»<sup>1</sup>.

Поскольку Готлунд не послушался совета статс-секретаря и не покинул столицу, его подвергли аресту и доставили в отделение тайной полиции для допроса. Когда Готлунд потребовал, чтобы о его аресте был поставлен в известность Ребиндер, ему ответили, что полиция действовала с ведома статс-секретаря. Как выяснилось позднее, распоряжение об аресте и высылке Готлунда из Петербурга исходило от императора. На запрос финляндского генерал-губернатора Закревского о причинах такого обращения с Готлундом Ребиндер в письме от 1 июня 1827 года объяснял, что у «этого известного интригана» были подозрительные связи с Финляндией. В свои приезды на родину из Швеции он уже давно распространял вольнодумные мысли, нелестно отзываясь о русском правительстве. В Петербург Готлунд приехал, по словам Ребиндера, с тайной целью связаться с разными лицами, в частности местными финнами, и через них собрать сведения о России, особенно о состоянии народного просвещения, чтобы затем опубликовать книгу, компрометирующую русское правительство. Когда царь узнал об этом, он распорядился изгнать Готлунда из столицы.

После допроса Готлунд в сопровождении жандармского офицера был направлен в Гельсингфорс. Через некоторое время ему удалось уехать в Швецию. На тот случай, если бы он захотел вновь вернуться на родину, было дано указание задержать на время выдачу ему паспорта с тем, чтобы местные власти в Финляндии успели организовать наблюдение за ним. Такое распоряжение отчасти было вызвано тем, что в это время в Финляндии неожиданно появилось другое подозрительное для властей лицо — изгнанный из страны Арвидссон.

<sup>1</sup> Historiallinen aikakauskirja, 1933, s. 303.



Из наблюдений за перепиской Готлунда (его письма вскрывал почтмейстер Ладау) стало известно, что он подготовил книгу на финском языке, которую намерен был распространять в Финляндии. Речь шла о сочинении «Отава», первая часть которого была в основном отпечатана еще в 1827 году, хотя в свет вышла двумя годами позже. Помимо прочих причин, задержка произошла еще и потому, что Готлунд вынужден был долго добиваться разрешения на продажу своей книги в Финляндии. Хотя он и заявлял, что в сочинении не было ничего оскорбительного для правительства, тем не менее у него были серьезные опасения, что отдельные места в книге могут дать повод для ее запрета, в особенности статья «О религии и просвещении», о которой подробнее будет сказано в дальнейшем.

Чтобы все же довести книгу до читателя, Готлунд решил посвятить ее князю Меншикову, финляндскому генерал-губернатору. Но когда он письменно испросил разрешения на это, ответа не последовало. Между тем, властям было повелено не допускать ввоза книги до тех пор, пока не будет проверено ее содержание. В конце концов разрешение было дано, тем более, что значительное количество экземпляров книги уже ранее проникло в Финляндию, в связи с чем запрет все равно не достиг бы своей цели.

Положительный ответ властей касательно «Отавы» имел большое значение для личной судьбы Готлунда, потому что при ином исходе дела он не захотел бы вернуться в Финляндию и принял бы шведское подданство. Теперь же у него вновь появилась надежда, что на родине ему удастся своими выступлениями помочь пробуждению финского народа, и Готлунд решил вернуться в Финляндию.

Однако, имея основание полагать, что для русского правительства он все еще оставался человеком подозрительным, Готлунд пытался через шведских официальных лиц рассеять эти сомнения русских властей в его политической благонадежности и даже обратился с такой просьбой к шведскому кронпринцу Оскару. Эту же цель преследовало и посвящение «Отавы» князю Меншикову. А когда Меншиков приехал с визитом в Стокгольм, Готлунд имел с ним беседу. В «Практическом журнале гельсингфорского жителя» Грот следующим образом рассказывает о том, как Готлунд добивался права вернуться в Финляндию: «Услышав от кронпринца о Готлунде, он (Меншиков. — Э. К.) призвал его к себе, поблагодарил за посвящение ему книги «Otava» и обещал оправдать Готлунда, между тем велел ему оставаться в Швеции до разреш[ения] на въезд в Фин[ляндию]. Однако ж приятель наш вслед за ним перебрался в свое отечество, и здесь, в Або, не знаю, через сколько времени, передал графу Ребиндеру все, что было. Гр[аф] в удостоверение слов его потребовал свидетельство кого-нибудь, знаю-

шего о том, и свид[етельство] это получил от Бодиско, бывшего секрет[аря] посольства в Ст[окгольме]. Так Гот[лунд] освободился от своего изгнания и попал в лекторы финского языка»<sup>1</sup>.

В Швеции Готлунд, как уже упоминалось, издал двухтомное сочинение на финском языке под общим названием «Отава» («Большая Медведица»). Эти два тома, вышедшие в 1829 и 1832 гг., включают полемику о финском языке, статьи по истории и этнографии финнов, народные руны и пословицы вместе с опытами фольклористического исследования, стихи самого Готлунда, а также его переводы древнегреческих и шведских поэтов. Предлагая вниманию финского читателя столь пестрые по содержанию книги, Готлунд прежде всего хотел оживить интерес к финскому языку, наглядно показать, что на этом языке можно обо всем писать, что он всюду хорош — и в прозе, и в стихах, и в науке, и в поэзии. Это был нелегкий труд, учитывая, что все в «Отаве» было сделано одним человеком, вплоть до собирания рун и пословиц. Здесь, как и в заступничестве Готлунда за «лесных финнов», пригодилась его завидная настойчивость, его бескорыстная любовь к народу. Когда первый том «Отавы» был уже напечатан, весь тираж неожиданно погиб при пожаре, и Готлунду пришлось все начинать сначала, не имея никакой материальной поддержки, не говоря уже о надежде на вознаграждение, ибо в ту пору издание финских книг вообще не приносило денежных доходов.

Заявляя, что финский язык благозвучен и прекрасен, Готлунд лучше чем кто-либо другой сознавал его отсталость. Он подчеркивал, что ему, как и другим финским литераторам того времени, приходилось на свой страх и риск вводить в книжный язык сотни новых слов и оборотов, чтобы выразить понятия и мысли, еще не имевшие словесного оформления в народной речи. А чтобы в наиболее трудных случаях его все-таки поняли, Готлунд в скобках дублировал отдельные слова и даже выражения по-шведски. На вкус современного читателя многое в языке и рассуждениях Готлунда кажется странным и подчас вызывает улыбку, хотя и понятно исторически. Однако не надо забывать, что для своего времени «Отава» была как бы первой финской энциклопедией, сводом общедоступных знаний о финском народе и его культуре.

Книги Готлунда были пронизаны пафосом национального самоутверждения, плебейским протестом против тех, кто обрекал финских крестьян на духовное и материальное прозябание. Финский язык презирался не только в Швеции, но и в самой Финляндии, хотя на нем изъяснялась основная масса — девять десятых населения. Готлунд в «Отаве» рассказывал читателям, что один из финляндских губернаторов заподозрил его в «яко-

---

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, д. 37, л. 10.



бинстве» только на том основании, что в книге посетителей постоянного двора он, Готлунд, оставил запись на финском языке.

Без развития родного языка, без предоставления ему надлежащих прав было немисливо просвещение народа. «Разве не странно, — с возмущением писал Готлунд, — что целая страна должна изучать чужой (шведский. — Э. К.) язык, чтобы получить знания, являющиеся самыми необходимыми для каждой нации? Кто бы поверил, что во всей Финляндии нет ни одной школы, ни одного лица, ни одного училища, где бы преподавали финский язык или хотя бы занимались им? Что все законы и светские книги у нас издаются только по-шведски и что на шведском же языке ведутся все дела — это настолько дико, что сами шведы поражаются этому и, будучи не в силах поверить, лишь усмеваются в ответ, когда им об этом говорят. Для нас удивительно, что наши предки когда-то устраивали богослужения на латыни, сами не понимая этого языка, а наши потомки будут удивляться тому, что мы даже в XIX столетии, в век просвещения, обращаемся к иностранным языкам в делах родной страны. Мы уверены, что если бы правительство было по-настоящему осведомлено о тех многочисленных помехах и неполадках в национальном развитии, о тех преградах и трудностях в частной и общественной жизни, причиной которых является угнетенное состояние нашего языка, и если бы правительство вняло сокровенным чаяниям всех честных граждан страны, оно бы не преминуло осуществить эту первейшую для каждой цивилизованной нации меру»<sup>1</sup>.

Готлунд предвидел всякого рода возражения против того, чтобы без отлагательств было начато внедрение финского языка во все области общественной жизни. Некоторые могут сказать, рассуждал Готлунд, что такое внедрение финского языка приведет к ломке старых культурных традиций, связанных со шведским языком. Готлунд без обиняков отвечал, что эти традиции вполне заслуживают такой ломки, чтобы уступить место новым тенденциям национального развития. Существующее положение вещей не могло быть сохранено навечно, ибо все в конечном счете изживает себя, даже то, что когда-то было полезно и прогрессивно. «Все в мире изменяется, новое устаревает, а старое приходит в негодность. Так зачем же нам опасаться изменений, если мы сами подвержены им? Изменения происходят ежедневно у нас на глазах, и нелепо было бы искать чего-либо неизменного в мире. Все существует лишь свое определенное время, а сохранять что-то сверх срока противоестественно. Изменение можно временно отодвинуть, но отменить его нельзя. Если оно совершается вовремя, тогда оно благоприятно; если же оно случается преждевременно или слишком

<sup>1</sup> К. А. Gottlund. Otava, I. Tukholma, 1829, s. XLIV—XLVI.



поздно, тогда оно опасно»<sup>1</sup>. В примечании Готлунд еще раз подчеркивал: «Достаточно иметь хоть немного здравого смысла, чтобы понять, что без изменений невозможно никакое совершенствование, ибо если не раздвигать старых пределов и не отменять старых традиций, то в таком случае люди все время стояли бы на месте, покуда бы не начали постепенно пятиться назад»<sup>2</sup>.

Приведенные рассуждения Готлунда составляли философскую базу его общественной полемики. Они довольно близко напоминают высказывания Арвидссона начала 20-х годов — также и в той части, где речь идет о том, что как преждевременные, так и слишком запоздалые реформы чреваты опасностями, то есть они, по мнению Арвидссона и Готлунда, могут привести к нежелательным для них смутам. Бесплезно упрекать Арвидссона и Готлунда за эту их умеренность, за эту дань буржуазному либерализму. Бесплезно потому, что революционно-демократическая идеология в современных им финляндских условиях была невозможна, Финляндия была еще слишком отсталой и патриархальной, общественное движение в ней лишь пробуждалось, и Готлунд с Арвидссоном как раз и принадлежали к числу «ранних будителей», распространявших в народе новые веяния.

Готлунд не требовал для финского языка исключительного положения. Чтобы покончить со взаимными обидами, говорил он, финляндские шведы и финны должны пользоваться языковым равноправием. Но могут сказать, продолжал Готлунд, что правительство, возможно, хочет, чтобы финны изучали русский язык. «Что ж, наука человека не позорит, умение вреда не принесет, — отвечал на это Готлунд. — Но то уже особая статья, а это само по себе. Ведь изучение финского языка не помешает нам учить русский язык, как и русский финскому не помеха. Мы должны любить родной язык и уважать другие языки; и только когда нашу речь станут притеснять, только тогда мы будем слушать их с неприязнью. Было бы противоестественно требовать от нас любви к тому, кто нас унижает и порабощает; притеснением финского языка нельзя привить нам любовь к языку русскому. Поскольку мы объединены с Россией, для нас, очевидно, важно изучать русский язык, но еще важнее для нас знание родной речи. Быть того не может, чтобы правительство намеревалось посредством преподавания иностранного языка подавить наш родной»<sup>3</sup>. Отгоняя от себя мысль о возможности насильственной русификации, Готлунд ссылался на пример эстонцев и финнов Выборгской губернии, которые давно

<sup>1</sup> К. А. Gottlund. Otava, I, s. XLVII—XLIX.

<sup>2</sup> Там же, стр. XLVII.

<sup>3</sup> Там же, стр. LVIII.

являлись российскими подданными, однако русифицированы не были. Готлунд вспомнил при этом и слух о том, что Александр I якобы еще на сейме в Борго предлагал объявить финский язык официальным, и только «почтенные господа депутаты», по словам Готлунда, загубили эту добрую идею. Но если бы подобное предложение, продолжал он, было сделано финнам еще раз, то они уже не позволили бы похоронить его.

Отдавая себе отчет в том, что на пути национального возрождения финского народа встречалось много серьезных препятствий, Готлунд тем не менее подчеркивал, что их можно преодолеть, если только по-настоящему взяться за дело, всегда помня об интересах народа. «Лишь слабые и малодушные вечно раздувают эти препятствия, отчего они вырастают вдвое в их глазах, нагоняя страх и смятение. Они останавливаются перед ними, чтобы затем отступить и преспокойно вернуться на старую дорогу. Но люди смелые и благородные побеждают преграды, преодолевают их, потому что в их глазах они кажутся незначительными по сравнению с тем общим благом, которое будет наградой за победу. А там, где речь идет о всеобщей пользе, мы должны жертвовать своими частными интересами и выгодами»<sup>1</sup>.

Готлунда в какой-то мере коснулись романтические веяния. В студенческие годы он вращался в кругу шведских романтиков, писал по-шведски подражательные стихи, и некоторые из них, с одобрения Аттербума, мэтра шведских «фосфористов», были даже напечатаны. В «Отаве» Готлунд поместил свои переводы из Аттербума и Тегнера на финский язык, что можно рассматривать, вместе с некоторыми его собственными стихотворениями на этом же языке, как попытку культивировать романтическую поэзию на финской почве. Как бы ни расценивать поэтическое наследство Готлунда, нельзя не заметить, что в отличие от Ютейни, который был еще очень близок к фольклорно-эпической традиции, Готлунд более настойчиво стремился обновить финское стихосложение, дать простор новым жанрам и ритмам, новым чувствам и интонациям. Разумеется, при тогдашнем состоянии литературного финского языка добиться слишком много было мудрено, и поэтическое творчество Готлунда следует рассматривать преимущественно как экспериментаторство, не претендующее на высокие художественные результаты.

Отмечая увлечение Готлунда романтической поэзией, нельзя, однако, не согласиться с утверждением И. Хейкинхеймо о том, что они носили довольно-таки поверхностный и, добавим, формальный характер в том смысле, что Готлунда более интересовала поэтика романтиков, нежели сущность их мировоззрения.

---

<sup>1</sup> Там же, стр. XLVI.



Готлунд все-таки оставался просветителем, многое в романтизме было ему непонятно и чуждо.

Чисто просветительская точка зрения Готлунда выявилась, например, в его оценке средневековья. Ни в коей мере не разделяя симпатий реакционных романтиков к средневековому укладу жизни, Готлунд, однако, не смог возвыситься и до исторической критики феодальных институтов, которая в значительной мере является, как известно, заслугой «романтической» историографии, особенно французской. В этом смысле Арвидсон, один из «або-романтиков», ушел дальше Готлунда. Он первый в Финляндии поставил вопрос об ограниченности просветительских взглядов на историческое прошлое, подчеркнув, что средние века были не произвольной эпохой сплошного варварства, а необходимым звеном в истории народов, неразрывно связанным со смежными ее звеньями. Это была попытка оплодотворить просветительскую критику средневековья элементами историзма.

Что же касается Готлунда, то с его рационалистической точки зрения физиономию средних веков составляли прежде всего «предрассудки». Это была эпоха упадка не только для народов классической древности, но и для финнов, которые в дохристианский период своей истории обладали, по Готлунду, значительно более высокой культурой. Об этом он писал, в частности, в сопроводительной статье к тысяче финских пословиц и поговорок, опубликованных в первой части «Отавы».

По выражению Грота, Готлунд был в ту пору «известен уже в своем краю как ревностный изыскатель его древностей», он собирал «всякие старинные рукописи и редкие книги, относящиеся к Финляндии. При этом он не щадил ни усилий, ни издержек, и ныне обладает огромным количеством драгоценных бумаг; некоторые из них достались ему в наследство от ученого и трудолюбивого отца. Жаль, что все это богатое собрание, вероятно, долго еще останется под спудом; для напечатания его нужны средства, которыми немногие из частных людей могут располагать»<sup>1</sup>.

Готлунд был одним из крупных собирателей карело-финского фольклора до Лённрота. Еще в 1817 г. он высказал мысль о возможности объединения народных рун в один общий свод: «если бы только нашлось желание собрать древние народные песни и создать из них стройное целое (то ли это будет эпос, драма или еще что-нибудь), из них мог бы возникнуть новый Гомер, Оссиан или «Песнь о Нибелунгах», и, прославившись, финская нация с блеском и достоинством выявила бы свою самобытность, осознала бы себя и светом собственного разви-

---

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I. СПб., 1898, стр. 165.

тия озарила бы восхищенные лица современников и потомков»<sup>1</sup>. В этом высказывании конца 10-х годов Готлунд предугадал роль будущей «Калевалы» в национальном развитии финского народа, в строительстве его культуры.

Большое значение придавал Готлунд изучению фольклора, словесного и музыкального (он издавал народные песни с нотами, а в «Отаве» поместил даже статью о народных мелодиях). При этом Готлунд стремился выработать свою фольклористическую концепцию.

Заключенную в фольклоре «народную философию» Готлунд предлагал подразделить на три вида. Древнейший ее вид дошел до нас в пословицах и поговорках, которые, по мнению Готлунда, являются обрывками каких-то очень архаичных рун, полностью уже нигде не сохранившихся. Второй вид народной мудрости составляют руны о происхождении мира, различных природных стихиях, первых культурных завоеваниях человечества (или, выражаясь словами Готлунда, «о том, как в мире появилось просвещение»). Эту группу рун Готлунд именовал «естественными просветительно-философскими рунами» (luonnolliset valistus- ja viisausrunot). И, наконец, третьим, самым поздним видом народной мудрости являются заклинательные руны и всевозможные заговоры.

В этой классификации, при всей ее несостоятельности, была, однако, определенная логика, имевшая своей отправной точкой утверждение, что древние финны были когда-то людьми просвещенными, но что дальнейшее их развитие пошло по нисходящей линии. В пословицах и поговорках Готлунд находил больше всего прямой назидательности, «здравого смысла», не затуманенного никакой фантастикой, и этот «рационализм» пословиц и побуждал автора «Отавы» причислить их к древнейшему, самому «просвещенному», с его точки зрения, периоду финской истории.

Готлунд все же нашел нужным оговорить, что не все пословицы и поговорки можно было считать очень древними. И действительно, из той тысячи пословиц и поговорок, которые собрал Готлунд и опубликовал в «Отаве», весьма внушительная часть была такого рода, что их происхождение никак нельзя было приурочить к тем далеким временам язычества, когда финны, по Готлунду, были счастливы во всех отношениях. Нужно отдать справедливость Готлунду-собирателю и составителю: пусть в ущерб своей концепции, но он дал массу превосходных по своей социальной заостренности пословиц, и здесь, разумеется, сказался его просветительский демократизм, его нелады с системой сословно-феодалного гнета. Эти особенности мировоззрения Готлунда обусловили и характер предложенной

<sup>1</sup> I. Heikinheimo. K. A. Gottlund, I, s. 307.



им классификации пословиц. Вот названия некоторых разделов: «О полах и духовном сословии», «О чиновниках и прочих господах», «О богатстве и бедности», «О рабах и наемных работниках». В разделе «О правительстве» приведена пословица: «Дай бог только слышать о короле, но никогда его не видеть», а в примечании Готлунд разъяснял, что речь идет о «былых временах», когда поездки короля по стране в сопровождении прожорливой свиты чрезвычайно обременяли окрестных жителей. Многие пословицы имели отношение не только к «былым временам». Из собственных мытарств Готлунд хорошо знал, например, что и в его время закон был на стороне имущих, и поэтому ему были близки такие пословицы: «Тому не висеть на виселице, у кого мошна на шее висит», «Богач деньгами откупится, бедняк головой поплатится», «Закон взятками одолевают, телегу колесной мазью смазывают».

Все это Готлунд пытался согласовать со своей концепцией о древности пословиц и потому писал: «По мере того, как новые средства существования, новые учреждения и установления изменяют старый уклад народной жизни, зарождаются и некоторые новые пословицы и остроумные изречения. Но мышление народа меняется не вдруг и от старых обычаев отвыкает не скоро, так что мысли народа и его пословицы устойчивы и глубоко укореняются в нем. А если некоторые из них и изменились, то только с внешней стороны, тогда как их содержание по-прежнему составляют древние народные истины»<sup>1</sup>.

Оставаясь просветителем, Готлунд поддерживал мнение, что человеческая природа в своей сущности все же неизменна. Те изменения, которые он признавал, касались только формы проявления неких постоянных качеств. Рассуждения Готлунда о «языческих временах» древних финнов, якобы уже в ту пору придерживавшихся монотеизма, — это, разумеется, плод чистой фантазии; никакого представления о родовом строе он не имел и не мог иметь. Как и Ютейни, Готлунд полагал, например, что в эпоху язычества были сословия, только они не враждовали между собой, не угнетали друг друга, а жили в добром согласии, заботясь об общих интересах. Это было проецирование феодального общества в прошлое, однако без его современных пороков. Это вымышленное прошлое, с одной стороны, противопоставлялось настоящему, но вместе с тем это были такие полярности, которые без особого труда сближались друг с другом. Готлунд писал: «Если мы повнимательней исследуем настоящее и прошлое человечества, то обнаружим, что уже в самой далекой древности людям были присущи те же характеры, те же желания и страсти, те же способности и добродетели, те же чувства и таланты, те же поступки и деяния, как и

---

<sup>1</sup> К. А. Gottlund. Otava, I, s. 35—37.

в настоящее время. Одним словом, мы убедимся, что человеческая природа всегда была одинакова, без изменений, что люди были добрыми и злыми, злыми и добрыми, то и другое вместе. Что же тогда изменялось, если не природа человека? Изменялись особые способы и приемы проявления этой природы и ее воздействия; изменялись те различные мнения и помыслы, которые либо возвышают, либо унижают нас... Наша природа всегда груба и несовершенна, и только мудрость и просвещение нашего разума исправляют ее, составляя наше истинное достоинство и славу»<sup>1</sup>.

В отличие от пословиц в «просветительно-философских» рунах истины народной мудрости были выражены, по Готлунду, уже в более скрытой форме, их приходилось извлекать из-под чувственно-образных одежд. В этот период, писал Готлунд, познания народа не отличались особой четкостью, они «основывались не на одном разуме, но давались в образах, и потому поучения в этих рунах не могли проявиться с достаточной ясностью»<sup>2</sup>.

Заклинательные руны свидетельствовали, согласно концепции Готлунда, об упадке «естественной» народной философии под влиянием католичества и других неблагоприятных обстоятельств. Правда, отдельные крупинки этой мудрости были как бы по инерции перенесены и в заклинания, но использовались уже в иных целях, и в целом период, наступивший после шведского завоевания, был эпохой деградации народной культуры. услиения предрассудков и варварства.

Рассуждения Готлунда о счастливом времени, предшествовавшем шведскому завоеванию, перекликаются со стихотворением Ютейни «Три века». Ютейни также верил, что древние предки финнов пережили пору всеобщего благоденствия, которая затем была вытеснена жестоким веком, когда расцвел сословный эгоизм, когда люди стали думать только о частной выгоде, предав забвению общенародные интересы. В будущем, однако, должен наступить «третий век», век просвещения и справедливости. Пока же поэту оставалось только сетовать на то, что безрадостное настоящее упрямо не хотело уступить места этому грядущему веку.

Просветительский характер мышления Ютейни и Готлунда, их неприязнь к средневековому мракобесию и консервативным формам общественного бытия проявились, в частности, в их оценке деятельности Петра I.

Хорошо известно, какое внимание в русской литературе, начиная с Феофана Прокоповича, уделялось деяниям и личности Петра и сколько, особенно в 40—50-е годы XIX в., было затра-

<sup>1</sup> Там же, стр. 36—37.

<sup>2</sup> Там же, стр. 30.



чено усилий, чтобы отстоять историческое значение его преобразований от хулы запоздалых поклонников боярской Руси. В оценке Пушкина Петр

..... был тот шкипер славный,  
Кем наша двинулась земля,  
Кто придал мощно бег державный  
Рулю родного корабля.

Реформы Петра, этой, по пушкинскому определению, «революционной головы», должны были служить примером для его коронованных преемников, и очень часто в прославлении его деятельности и в ее идеализации таилось не только назидание, но и укор последующим властителям России.

Нечто подобное можно заметить и в стихах Ютейни. В эпиграфе к оде об Александре I, написанной в 1815 г., вскоре после завершения заграничного похода русских войск, Ютейни называет царя «потомком Петра», родившимся на берегах Невы, в завоеванной Петром Ингерманландии, то есть среди финнов, и потому царь приходится им земляком и «братом». Ютейни идеализировал Александра, изображая его венценосным радетелем за народное благоденствие, однако в этой идеализации было и своеобразное поучение о том, каким должен быть просвещенный монарх из «петровского рода».

Показать, каким должен быть человек, — этот момент был весьма важным в эстетике просветителей. В предисловии к своему переводу на финский язык отрывка из гомеровской «Илиады» Готлунд писал: «В Европе не найдется, вероятно, ни одного народа, который бы не пытался истолковать на родном языке эти древние песни. И только финны с лапландцами отстали в этом отношении, как и во многих других, от прочих народов. Могут спросить: почему же тогда все так читают Гомера? Ведь он не учит нас ни вере, ни какой-либо иной мудрости. Верно! Но зато он знакомит нас с людьми, не с такими, какими они чаще всего бывают — дурными и скверными, но с такими, какими они должны быть, преисполненными добрых качеств, благородными и сильными в деяниях и поступках своих»<sup>1</sup>.

В характеристике Готлундом Петра также была большая доля идеализации. Когда автор «Отавы» толковал, например, о положении нерусских народов России при Петре и его преемниках, то в его изображении оно было не столько действительно существующим, сколько «долженствующим быть». Он исходил из тезиса, что только такое государство прочно, в котором соблюдается веротерпимость, уважение к национальным

<sup>1</sup> К. А. Gottlund. Otava, I, s. 229—230.

языкам и обычаям всех входящих в него народностей. По мнению Готлунда, начало всему этому в России положил Петр. С Петровской эпохи начинается величие русского государства. Менее чем за сто двадцать лет (Готлунд писал это в 1829 г.) Россия стала крупнейшей державой мира. Допетровская Русь, указывал Готлунд, была отсталой, «варварской» страной, и в своем стремлении «европеизировать» ее Петр был строг к своим подданным. Но, подчеркивал автор «Отавы», именно «их варварство вынуждало его прибегать к варварским средствам для того, чтобы цивилизовать их»<sup>1</sup>.

В целях содействия успехам просвещения Петр, писал Готлунд, пригласил в Россию многих иностранцев, мастеровых и ученых людей, не преследуя их за иноверие. Этой веротерпимости по отношению к нерусским национальностям придерживались, по словам Готлунда, и последующие правители России. «Разве в этом государстве не насчитывается более ста языков и народов самой различной веры, вплоть до язычников? Разве к магометанам и католикам там не относятся так же, как к православным и лютеранам? Всем им доверяются высокие должности и поручения как светского, так и духовного характера, лишь с одним условием, чтобы они подчинялись закону и соблюдали его. Все эти многочисленные народы, большие и малые, могут сохранять свой язык и свою веру, свои прежние нравы и обычаи, а некоторые из них имеют также самоуправление и свои собственные законы»<sup>2</sup>.

Считая все это относительно благополучным решением вопроса, Готлунд склонен был видеть в этом причину того, почему в России не было сильных национальных движений, таких, скажем, как борьба ирландцев за свою национальную независимость. Готлунд и не подозревал, что уже в следующем, 1830 г. вспыхнет открытое восстание в Польше.

Все же Готлунд не был настолько слеп и доверчив, чтобы считать положение народов России идеальным и не тревожиться за их судьбу. «Но так ли эти народы счастливы и просвещенны, как прочие народы Европы? — спрашивал он и тут же отвечал: — Да, у них есть свобода вероисповедания, но обеспеченной законом свободы у них нет»<sup>3</sup>. Подобное утверждение могло иметь неприятные последствия, и Готлунд, посвятивший свое сочинение не только «отечеству», но и князю Меншикову, финляндскому генерал-губернатору, с целью обеспечить себе возможность беспрепятственного возвращения на родину должен был, естественно, соблюдать осторожность в вы-

---

<sup>1</sup> «See oli tämä heijän roakuus, joka pakotti häntä käyttämään roakoja keinoja heitä kesyyttellä, ja kohtata kovaa kovalla». — Otava, I, s. 210.

<sup>2</sup> Там же, стр. 211.

<sup>3</sup> Там же, стр. 212.



ражениях. Поэтому он, недвусмысленно заявив об отсутствии конституционных свобод в России, тут же добавил, что в этом направлении уже делаются некоторые улучшения. Как и Ютейни, Готлунд напомнил о попытках Александра I «облегчить крепостничество» и выразил надежду, что «теперешний наш царь выполнит до конца замыслы своего брата», тем более, что Николай I, как указывал Готлунд, уже повелел приступить к кодификации законов<sup>1</sup>.

Вопреки этим своим упованиям Готлунд остро сознавал, что европейские монархи стремились задуть стремление народов к свободе. В статье «О религии и просвещении» есть прямые намеки на усиление реакции. Готлунд писал о возрождении средневекового мракобесия, о людях, «которые считают просвещение нации делом крайне опасным и вредным. Они принялись теперь публично сжигать книги с учениями просветителей, называя их исчадием зла . . . Так невежество вновь овладевает людьми, превращая их в рабов тьмы. Но эти козни творит и распространяет в своих собственных интересах только одна разнузданная секта; и замечено, что в тех государствах, где такие люди в почете, правительству уже приходилось, либо приходится сейчас иметь дело с возмущениями»<sup>2</sup>.

В качестве последнего примера борьбы «света с тьмой» Готлунд указывал на освободительное движение в Испании, Португалии, Франции. Восстанию греков он посвятил стихотворение «Эллада».

Возможно, что к числу упомянутых «возмущений» Готлунд относил и восстание декабристов, рассматривая это событие как следствие реакционной политики самодержавия. Во всяком случае он имел в виду и царизм, когда говорил о правительствах, поощряющих мракобесов. Готлунду было хорошо известно, что к публичному сожжению книг просветителей прибегали и в Финляндии — такой участи подверглось философское сочинение Ютейни.

Готлунд писал, что в былые времена разумные правители переодевались в крестьянское платье, чтобы узнать о себе правдивое мнение простого народа. Теперь же, продолжал он, правителям незачем подслушивать правду под чужим именем, но это только в тех странах, где есть свобода слова и печати, где каждый имеет право вынести свое суждение о правительстве. А монархи, не осмеливающиеся предать гласности свои действия, жестоко преследуют свободу слова; «но все равно им ничего не скрыть, потому что дела их всплывают наружу; только себе затыкают они уши, чтобы не слышать правды из уст поданных. Но узнать ее им все-таки хочется! И поскольку от-

<sup>1</sup> К. А. Gottlund. Otava, I, s. 212.

<sup>2</sup> Там же, стр. 187—188.

крыто, на людях, они не смеют ее выслушать, то подслушивают тайно. Потому и учредили они тайную полицию, которая доносит им чужие разговоры, часто неверно услышанные и превратно истолкованные, а иногда совсем искаженные, с выдуманными прибавлениями самих соглядатаев»<sup>1</sup>. Эти слова имели непосредственное отношение к николаевскому режиму.

В 40-е годы Готлунд издавал газеты на финском языке и поместил в них ряд переводов произведений русских авторов, в связи с чем этот период его деятельности мы рассмотрим в соответствующей главе о переводах. А сейчас вернемся к рубежу 10—20-х годов, когда в Финляндии возникло особое литературное течение, известное под названием «або-романтизм», в отличие от «гельсингфорсского романтизма» 30—40-х годов.

#### 4

Або-романтиков часто называют еще «або-фосфористами», чтобы подчеркнуть их связь с романтиками Швеции, издававшими в свое время журнал «Фосфорос». Эту связь отрицать не приходится — огромное влияние шведской литературы на финляндскую в ту пору было вполне естественным. Все образованные финляндцы владели шведским языком, он был для них родным, и лишь очень немногие из них изъяснялись по-фински. «Або-романтики» (Арвидссон, Линсён, Бергбом, Шёстрём, Тенгстрём, Идестам), а вслед за ними Рунеберг, Сигнеус, Топелиус — все они писали по-шведски. В ту пору шведская литература Финляндии в сущности только еще выделялась из литературы самой Швеции, постепенно приобретая национальные, «финляндские особенности. «Або-романтики» как раз и выступили пропагандистами идеи создания самобытной национальной литературы.

Романтическое движение в Финляндии, как и в других странах, было в той или иной степени связано с отрицанием нарождавшихся буржуазных порядков, а также с критикой просветительской идеологии. Ютейни и Готлунд, являвшиеся продолжателями просветительской традиции, еще не сознавали того, что восторжествовавший в передовых европейских странах буржуазный строй не оправдал социальных иллюзий просветителей. Для Готлунда, например, колонизация Северной Америки была лишь торжеством разума над дикостью, а Ютейни, воспевая в своей басне «Муравьи» утопию «разумного государства», вовсе не был еще озабочен противоречиями буржуазного общества.

Для «або-романтиков» уже было очевидно, что дух торгаше-

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 208—209.



ства и буржуазного практицизма имел мало общего с идеалами гуманистов и просветителей. И. Я. Тенгстрём, рассуждая о «ложном направлении» современной культуры, писал: «... новейшая Европа, зачарованная своей преуспевающей цивилизацией, свернула с русла тех высоких идей, на которых основана современная ее культура; постепенно она стала более интересоваться торговыми и экономическими выгодами, чем подлинным духовным совершенствованием и гармоническим развитием лучших наклонностей человека ... Прежде народы сражались за свою веру и честь, свое государственное уложение и самостоятельность, а теперь их девизом стали капиталы, приобретение колоний, торговые барыши и промышленный ажиотаж»<sup>1</sup>.

С возникновением «або-романтизма» в Финляндии стала утверждаться новая литературно-идеологическая ориентация — на Германию. Ардвидссон считал Германию общеевропейским центром романтического движения, ибо там «был заложен фундамент новой европейской школы, начиная с первых усилий Канта укрепить основы философии; а затем, по мере ее дальнейшего идеалистического развития, она все более совершенствовалась себя»<sup>2</sup>. Здесь же подчеркивалось, что немецкая философия противостояла «материалистическому эмпиризму» просветителей.

Ознакомление финляндской общественности с новейшей немецкой литературой и философией стало центральной задачей «або-романтиков», причем они вполне сознавали, что это было одной из форм борьбы с просветительством. В первом же номере газеты «Мнемозина» один из ее редакторов, Линсен, выразил сожаление по поводу того, что финны до той поры не имели почти никакого представления о духовной жизни современной Европы и, прежде всего, Германии. «За последние десятилетия, — писал Линсен, — в литературе произошли такие изменения, а в философии, религии и искусстве, составляющих жизненную основу человеческой культуры, появилось столько взглядов, враждебных идеям, господствовавшим во второй половине минувшего столетия, и выдвинулось, особенно в Германии, так много превосходных талантов, оказывающих большое влияние на эпоху, но тем не менее, едва ли известных даже по именам большинству финляндской публики, недостаточно знакомой с иностранными литературными журналами, — что в настоящее время как никогда важно повысить интерес к литературе»<sup>3</sup>.

Это увлечение немецкой идеалистической философией было

---

<sup>1</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII. Helsinki, 1931, s. 332.

<sup>2</sup> Oskuldigt Ingenting. Åbo, 1821, s. 12—13.

<sup>3</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 251—252.

настолько сильным, что Снельман в 40-е годы имел уже повод назвать финнов «вассалами немецкой образованности» и настойчиво посоветовать им переменить учителей: вместо немцев вновь обратиться к французам, включая Руссо и энциклопедистов.

При наличии ряда общих черт «або-романтики» все же не представляли собой единого идейно-литературного направления. Размежевание началось уже вскоре после того, как в Або в 1815 году впервые возник литературный кружок, члены которого заявили о своей солидарности с европейским романтическим движением. В дальнейшем произошел и формальный раскол: недовольный политической умеренностью журнала «Мнемозина» (1819—1823), который редактировали Линсен и Бергбом, Арвидссон, наиболее прогрессивный из «або-романтиков», начал в 1821 году вместе с Идестамом издавать газету «Або Моргонبلاد».

В деятельности консервативных «або-романтиков» были некоторые положительные моменты. «Мнемозина» явилась первым в Финляндии литературным периодическим изданием. Помимо того, что ее издатели знакомили финнов с зарубежной литературой, они пробуждали в обществе интерес к народной культуре, особенно к фольклору. Когда Линсен, например, писал, что финляндская поэзия должна стать «романтической», то он имел в виду прежде всего ее близость к национальным фольклорным традициям. Однако понимал он эти традиции в консервативном духе.

Консерватизмом веяло уже от статьи И. Я. Тенгстрёма «О некоторых препятствиях, мешающих финляндской словесности и культуре». Она появилась в двух номерах альманаха «або-романтиков» «Аура» (1817—1818). Рассуждая о желательности свободы печати, Тенгстрём тут же оговаривал, что финнам следовало отказаться от гласного обсуждения политических вопросов. С одной стороны, он ратовал за финский язык и самобытную финскую культуру, а с другой, — выдвигал в качестве непреложной аксиомы утверждение, что финны якобы никогда не смогут добиться самостоятельности и что они вообще относятся к числу народов, которым не дано «вмешиваться в перевороты эпох». Впоследствии Тенгстрём выражался уже более определенно, когда писал, что наряду с «нациями-аристократами» всегда должны существовать «нации-крестьяне» — так уж устроен мир.

Противопоставление финнов другим народам являлось необходимым элементом «борьбы с Европой», с «ложным направлением» буржуазной цивилизации, по которому Финляндия не должна была идти. У финнов, писал Тенгстрём в упомянутой статье, была прекрасная родина. Живописная природа, бескрайние леса, холмы и озера — все содействовало процвета-



нию там высокой нравственности. Финляндию автор сравнивал со Швейцарией и Норвегией, со странами, как известно, в то время патриархальными, что и послужило Тенгстрёму почвой для сравнения. Простодушие и сердечность, самостоятельный образ мыслей и степенное устроение — эти добродетели, «если даже они будут изгнаны из остальной Европы», всегда найдут себе приют в Финляндии, а в скобках Тенгстрём молитвенно заклинал: «о, если б эта надежда никогда не обманула нас!»<sup>1</sup>

В такой стране, как Финляндия, продолжал Тенгстрём, «под сенью национальных добродетелей может пышно процветать также истинная культура (если при этом имеются прочие благоприятные условия)»<sup>2</sup>. Природа Финляндии способствовала продлению особо важного, по мнению автора, периода в истории каждого народа — периода, занимающего промежуточное положение между «дикой свободой» и «гражданским обществом». Тенгстрём имел здесь в виду патриархальный уклад жизни, существование которого и следовало, по его мнению, продлить, дабы процветала «истинная культура».

Однако влияние цивилизации, указывал Тенгстрём, успело сказаться и на Финляндии: «все то зло, которое следовало по пятам за современным просвещением, проникло также к нам, и мы пока не избавились от него»<sup>3</sup>. Получила распространение эгоистическая мораль, пошатнулась вера в «святое и сверхъестественное», даже в низших слоях народа укоренился «прозаический образ мыслей», чувство поэзии притупилось, «натуральные поэты» из народа стали редкостью.

С приходом «новой цивилизации», указывал Тенгстрём, увеличилось производство материальных богатств, но она принесла с собой и много бед, связанных с капиталистическим разделением труда. Духовное развитие человека стало односторонним и целиком определялось его профессией, различные классы общества слишком далеко отстояли друг от друга. В Финляндии дело усугублялось еще тем, что крестьянство было отделено от прочих сословий языковым барьером.

Чтобы успешно противодействовать «ложному направлению» цивилизации и избежать социальных потрясений, подобных Французской революции, Тенгстрём призывал «образованное общество» вернуться к народу, заинтересоваться его культурой, «оживить» его поэтическую фантазию посредством пропаганды древних фольклорных памятников. Хотя Тенгстрём и допускал «реформы сверху», однако «истинная культура», в его

---

<sup>1</sup> Arwidssonista Snellmaniin. Kansallisia kirjoitelmia vuosilta 1817—1844. Helsinki, 1929, s. 4.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 13.

понимании, не должна была рассматриваться как «средство благоустройства общества и достижения обеспеченности». Тем она и отличалась от «ложной цивилизации», что преследовала не практические, не материальные цели, а должна была отвечать «глубочайшим потребностям души».

Уже у Тенгстрёма призыв обратиться к народу имел консервативный привкус. «Сближение с народом» должно было воспрепятствовать разрушению патриархального уклада. Эта тенденция обнаружилась с особой ясностью в статье Линсена «О народном просвещении» (1820). В ней Линсен ополчился против тех финских литераторов, которые стремились распространять среди крестьян положительные знания. В статье упоминалось имя Беккера, который в том же, 1820 году стал издавать газету на финском языке («Турун Вийкко-Саномиа»), рассчитанную в основном на крестьян. Вскоре она имела уже до двух тысяч подписчиков — цифра по тому времени огромная для Финляндии. Линсен утверждает, что Беккер своей газетой приносил вред, поскольку она развивала у крестьян склонность мыслить, знакомила их с новыми идеями, а это «портило» народ. Библия — вот единственно необходимая, по мнению Линсена, литература для крестьян. «Религия, — писал он, — доступна всем и объединяет всех. Коль скоро ей открылась душа, тогда с детской доверчивостью и тихим благочестием сближаются друг с другом все возрасты, все сословия, простак и мудрец, Религиозное учение, стало быть, охватывает все классы людей, и простой народ ни в каком ином учении не нуждается, оно для него без пользы».

Линсен считал опасным давать крестьянам даже самые элементарные сведения по истории, праву, естественным наукам. Все это для крестьянина, писал он, «совершенно ни к чему. Через это вы не сделаете его образованным. Напротив, вы погубите его природный ум и понятливость, он уже не будет чувствовать себя хорошо в своем окружении. Он перестанет быть неиспорченным сыном природы, которому все является в благоприятном свете, богато и равномерно, истинно и просто, в согласии и гармонии. Пробудившаяся страсть к плодам от древа познания разрушает это счастливое состояние. То здесь, то там возникнут тени, которые омрачат и исказят очертания предметов; многое теперь уже покажется сомнительным, искривленным, нецельным, противоречивым и неестественным. Вместо сладких звуков послышится резкая дисгармония»<sup>1</sup>.

Особенно вредным для народа Линсен считал естественные науки, ибо они «охлаждают религиозное чувство» и подрывают веру в церковные догмы. Он выступал против обучения крестьянских детей в школах. Умение писать привело бы, по его мне-

<sup>1</sup> Там же, стр. 103.



нию, к ослаблению памяти, а чтение книг — к вымиранию уст-  
нопоэтической традиции. Линсен предупреждал, чтобы вновь  
создаваемые финские термины, выражающие абстрактные по-  
нятия, не вводились в народную речь, в противном случае она  
лишилась бы образности.

Полемизируя с крестьянскими просветителями, Линсен сфор-  
мулировал тезис: вместо того, чтобы учить народ, следует учиться  
у народа. Истинная культура, писал он, должна «вновь вер-  
нуться к естественному состоянию», и на этом попятном пути  
истории патриархальный финский крестьянин, стоявший близко  
к природе («естеству»), был, по словам Линсена, превосход-  
ным живым ориентиром. «По этой причине образованным лю-  
дям надобно обязательно сблизиться с теми, кто с верностью  
следует природе и кому она все еще улыбается с материн-  
ской нежностью»<sup>1</sup>.

Об этой статье Линсена вспомнил Готлунд в первой части  
«Отавы». Рассуждая о религиозных фанатиках, поборниках  
«духовного рабства», влекущего за собой «рабство правовое»,  
Готлунд писал, что хотя в Финляндии и нет иезуитов, «однако  
и у нас находятся люди, осмеливающиеся утверждать, что  
просвещение приносит вред»<sup>2</sup>.

Желая образно показать, насколько опасно просвещать  
массы, Линсен в своей статье напомнил читателям о печальной  
судьбе неблагоразумного юноши Фаэтона, едва не спалившего  
землю своей огненной колесницей. Арвидссону был дорог дру-  
гой мифологический образ — чудесная птица Феникс как символ  
вечного самообновления жизни. Если консервативные роман-  
тики призывали к умеренности и воздержанию, то Арвидссону,  
по его словам, был ненавистен «темп moderato». Линсен в сти-  
хотворении «Родина» писал, что финны, не в пример другим  
народам, наслаждались «свободой» и вследствие этого питали  
глубокое уважение к «законному порядку». А Арвидссон счи-  
тал, что финны не имели еще и понятия о гражданских сво-  
бодах и прежде всего нуждались в политическом пробуждении.  
Но к такому выводу он пришел не сразу. За сравнительно ко-  
роткое время до издания «Або Моргонблада» его мировоззре-  
ние претерпело значительную эволюцию.

## 5

Адольф Изар Арвидссон (1791—1858) оставил о финлянд-  
ском периоде своей деятельности любопытный документ. Это  
его автобиография, написанная в 1821—1823 годах и охваты-

<sup>1</sup> Arwidssonista Snellmaniin. Kansallisia kirjoitelmia, s. 98.

<sup>2</sup> K. A. Gottlund. Otava, I, s. 198.

вающая события его жизни вплоть до того момента, когда он был уволен из Абоского университета и эмигрировал в Швецию. Интересны, в частности, замечания о том, как формировалось у него романтическое мироощущение. В ранней юности, еще не подозревая о романтической «революции» в искусстве, он читал шведских классицистов, писателей так называемого «академического» направления. За редким исключением, их оды, поэмы и сатиры уже тогда казались Арвидссону утомительно скучными, однако он во всем винил свой неразвитый вкус и, боясь насмешек, старательно воздерживался от упреков в адрес «академиков». Даже когда ему впервые попал в руки номер «Полифема», журнала шведских романтиков, он еще не вполне доверял их резким выпадам против «старой школы». И только постепенно он сам стал открытым ее противником.

Арвидссон мечтал о поэзии больших страстей, возвышающейся над серой действительностью «расслабленного» века, девизом которого стала посредственность. Он полагал, что истинное искусство должно быть героическим, поэт сродни герою, они дети одного племени. Однако явь была слишком будничной.

«И тогда перед моим взором возникли прекрасные рыцари средневековья, эти одетые в сталь полубоги, что с девственно чистым сердцем и благочестивой пылкостью ребенка бросали вызов идеалу могуществу и коварным силам ада. Я увидел здесь идеал героической жизни в единстве с жизнью искусства ...»<sup>1</sup>

В 1817 году был опубликован «Исторический очерк о характере средневекового романтизма» — магистерская диссертация Арвидссона.

И в прошлом и в настоящем, писал Арвидссон, люди расходились в своих оценках эпохи средних веков. Одни не видели в ней ничего, кроме варварства, суеверий, предрассудков, но зато «превозносили до небес современность». Другую категорию людей составляли фанатические ревнители рыцарских времен. Те и другие, по мнению Арвидссона, впадали в крайности, но себя он тем не менее причислял охотней к защитникам эпохи средневековья: «хотя они и неистовствуют в своем словословии, все же с ними веселее ... И нам нет нужды оправдывать себя. Мы полагаем, что память о средних веках, привлекательных своим романтическим духом, сохранится и будет почитаться до тех пор, пока славные примеры высоких порывов, честных обычаев и непоколебимых добродетелей будут волновать людские сердца. А кто не видит в этой эпохе ничего, кроме ночного мрака, дикости и ужасов, тому надобно вспом-

<sup>1</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 45.



нить, что при затмении солнца сияние его открытой части становится для нас еще более дорогим, и даже когда оно вовсе потускнеет, все-таки беспросветная темень царит не повсюду»<sup>1</sup> Арвидссон утверждал, что в истории нет таких эпох, которые совершенно были бы лишены позитивного смысла. На развалинах Римской империи возникли новые государства, Европа была возрождена молодыми и жизнеспособными народами, выступившими на историческую арену. «Старая школа» с ее культом античности, указывал Арвидссон, третирует историю и культуру этих народов, считая их «неклассическими». Однако нелепо требовать, чтобы все эпохи были похожи одна на другую, такое требование противоречит «движению природы» — в этом Арвидссон соглашается с Фр. Шлегелем, у которого он позаимствовал эпиграф к своей диссертации.

Едва ли кто другой из «або-романтиков» пытался столь настойчиво «реабилитировать» средневековье, как молодой Арвидссон. Раннему финляндскому романтизму вообще была чужда идеализация средневековья именно как исторического прошлого. Патриархальный уклад жизни и некоторые средневековые традиции были еще настолько прочными в Финляндии, что воспринимались как наличная, а не как уже ушедшая действительность. Поэтому даже наиболее консервативным «або-романтикам», тому же Линсену, например, призывы немецких романтиков вернуться к католицизму и к господствовавшим до реформации общественным порядкам были не совсем понятны. Только в 40-е годы, когда уже сильно пошатнулась вера в незыблемость патриархального уклада, в финляндской литературе обнаружилась тенденция отодвигать идеал тихого патриархального существования в даль средневековья и утверждать, что эпоха буржуазного развития Европы была противостоительным отклонением от некоего исконного направления.

Критика Арвидссоном противников эпохи средневековья означала, однако, не простую ее «реабилитацию», но и попытку осмыслить эту эпоху как необходимое звено в поступательном движении истории. Арвидссон полемизировал здесь прежде всего с просветителями. Конечно, его критика просветительства была односторонней и необъективной. Обвиняя просветителей во многих смертных грехах — в метафизическом мышлении, в утилитарном подходе к искусству, в «космополитическом» пренебрежении к национальным и народным истокам культуры, он совершенно забывал их заслуги. Он говорил об антиисторическом подходе просветителей к общественным явлениям и в то же время именно в оценке их деятельности проявил менее всего исторического чутья и исторической определенности. Начать с:

<sup>1</sup> A. I. Arwidssonin tutkimuksia ja kirjoitelmia. Helsinki, 1909, s. 26.

того, что он называл просвещением всю литературу классицизма, не проводя грани между эпохой становления абсолютной монархии и эпохой его упадка. Например, французских просветителей он отождествлял как с классицистами XVII века, так и с поздними их эпигонами, против которых уже непосредственно обрушились романтики. Арвидссон выступил в разгар этой борьбы и был слишком причастен к ней сам, чтобы объективно судить о пороках и достоинствах «старой школы».

Впрочем, у Арвидссона есть одно замечание о французских просветителях, отличающееся от обычных его суждений по этому поводу. В статье «Мораль в поэзии» («Або Моргонблад», №№ 38, 40), посвященной критике классицизма и защите «новой школы», Арвидссон говорит о «переворотах нашего века», заявляя при этом, что «революции в науке и искусстве предшествуют революциям политическим». Вслед за просветителями он считал это доказательством того, что «миром всегда правят идеи». Но примечательно здесь другое: Арвидссон в своих дальнейших рассуждениях признает значение переворота в идеологии, совершенного просветителями. На первых порах, говорит он, может показаться, что Франция составляет как раз исключение из упомянутого принципа, «поскольку переворот в искусстве произошел там после переворота гражданского». Для романтика такой ход мысли был неудивительным: настоящим переворотом в идеологии ему казалась только победа «новой школы». За нею должна была, по Арвидссону, следовать политическая революция. Но как же тогда быть с Францией, где революция предшествовала выступлению романтиков? Является ли это нарушением общего принципа? Если «хорошенько вдуматься, — продолжал Арвидссон, — то и там (во Франции) этот принцип остается в силе. Поскольку в этой стране рассудок всегда преобладал над фантазией и разумом и поскольку французы постоянно придерживались направления, которое стремится все сделать полезным и практическим в жизни, прежде всего для радостного наслаждения ею, то и та сфера человеческой культуры, которая определяется рассудком, всегда была в Галлии преобладающей; развитие в этой области и привело к политическим преобразованиям. Естественно, что оно не могло быть более идеальным, чем это позволялось той односторонней частью духовных сил человека, о которой уже упоминалось; но там, как и всюду, изменения в сфере духовной вызвали изменения в сфере гражданской. Теперь в этой стране гражданские свободы проникли в конце концов и в миртовые роци поэзии, и там также начинают уже предпочитать естественную красоту цветка, выросшего на свободе, увядшим прелестям искусственных созданий».

Это едва ли не единственное место, где Арвидссон, отмечая односторонность рационализма просветителей, в то же вре-



мя признает их заслуги в подготовке «гражданского переворота» — французской революции XVIII века. Приведенные слова лишний раз свидетельствуют о том, что хотя Арвидссон чаще всего упоминал просветителей в негативном смысле, тем не менее он был связан с ними исторической преемственностью. Связь эта уже отмечалась исследователями. Л. Кастрен в книге об Арвидссоне пишет, что особенно в своей теории о свободе печати и гласности он был зачинателем новых прогрессивных традиций в Финляндии. Как в этом вопросе, так и по общему направлению своей газеты он «довольно независимо отклоняется от своих единомышленников-романтиков, примыкая к зарождающемуся тогда либерализму и тем самым являясь по существу хранителем наследия эпохи просвещения, какую бы неприязнь он к ней ни питал»<sup>1</sup>.

Поскольку Арвидссон ратовал за уничтожение феодальных институтов в Финляндии, постольку ему были близки и социально-политические идеалы просветителей. Сам он еще не осознавал этой близости, слишком увлеченный романтической критикой механистического материализма просветителей, их рационалистической поэтики. Но то, что было еще довольно смутно в двадцатые годы, прояснилось в сороковые. Если Арвидссон был еще настолько поглощен новизной идеалистической диалектики немцев, что, в сущности, продолжая дело просветителей, все-таки ругал их, то Снельман через двадцать лет уже открыто ставил вопрос о преодолении абстрактности немецкого идеализма посредством сознательного обращения к социально-политическим идеям просветителей. В учениях французских энциклопедистов Снельман ценил именно то «практическое направление», которое Арвидссону еще представлялось односторонним, хотя само существование «Або Моргонблада» свидетельствует о его тяге к этому направлению. Снельман же говорил уже о наступлении «новой эпохи просвещения» и призывал финнов пристальнее следить за политической и идеологической жизнью Франции. Это была реакция на чрезмерное увлечение немецким идеализмом, начавшееся в Финляндии как раз в период «або-романтизма».

Арвидссон, как и другие «або-романтики», испытал на себе заметное влияние философии Шеллинга. Она имеет довольно близкое отношение и к эстетическим построениям Рунеберга 30—40-х годов. Но Шеллинг был разный, и то, что мог почерпнуть в его философии Арвидссон, было уже неприемлемо для Линсена, а затем Рунеберга.

Опираясь на достижения современного естествознания, Шеллинг в своей натурфилософии выдвинул в качестве основного

---

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmaallisena herättäjänä. Helsinki, 1951, s. 419.

закона природы принцип полярности сил. Всякая сила, по Шеллингу, духовна, ибо только духу присуще активное начало. Материя же не обладает самостоятельным значением, вещи представляют собой особое состояние равновесия двух деятельностей духа — бесконечно созидающей и ограничивающей. Однако это состояние равновесия временно и относительно, творческий дух природы, стремясь выразить себя все более совершенно, ломает старую форму, чтобы воплотиться в новой. Вещи поэтому относительно и изменчивы, в природе постоянно происходят силовые процессы.

Отзвуки этой шеллинговой концепции динамизма можно уловить как в статьях, так и в стихах Арвидссона. Ему особо импонировало положение Шеллинга об активности духа. Советуя одному из своих друзей читать Шеллинга, Арвидссон еще в 1814 году писал: «В его сочинениях ты обозрешь все его мировоззрение в целом, ты осознаешь себя высоким приемником абсолютного верховного существа и господином в этом мире явлений»<sup>1</sup>.

В университете Арвидссон некоторое время занимался естественными науками и в автобиографии упоминает, например, о своем участии в собеседовании по поводу одной из диссертаций, в которой доказывалось, что световые явления зависят от силы притяжения и отталкивания тел. Позже, в газете «Або Моргонبلاد» появилась статья — «Мысли о том, как образовалась современная земля»<sup>2</sup>. В ней излагались некоторые важнейшие проблемы естествознания. Для науки, писал автор, уже давно было ясно, что земля не всегда была такой, как теперь. Изменились ее рельеф, климат, фауна и флора; многие виды организмов вымерли, что было подтверждено, в частности, раскопками Кювье. Для науки уже нет сомнений в том, что природа находится в постоянном движении и развитии. Задача науки — определить характер этого развития. До сих пор утверждали, что «природа в своем стремлении к совершенству не любит скачков». Принцип постепенной эволюции считался универсальным законом. Но новейшие достижения естествознания, продолжал автор, свидетельствовали о том, что в развитии земли были и революционные скачки, «мгновенные перевороты». В статье упоминалась теория катастроф Кювье, согласно которой их причиной было столкновение земли с кометой. Сам автор статьи полагал, что внезапные изменения земной поверхности вызывались не небесными телами, а процессами, протекающими в раскаленных недрах самой земли. Статья кончалась словами о вечности жизни; через «разрушение» придается лишь новая форма организму, который достигает высшего

<sup>1</sup> A. Anttila. Elias Lönnrot, elämä ja toiminta, I. Helsinki, 1931, s. 63.

<sup>2</sup> Ideer om den nuvarande jordens bildning. Abo Morgonblad, 1821, N 23.



типа совершенства только путем приближения к нему. Это великий и вечный закон природы, который мы находим во всех ее творениях».

В 1816 году в одном из шведских журналов было напечатано стихотворение Арвидссона «У плавильни». Он рисует здесь символическую картину борьбы враждебных стихий на земле и в ее глубоких недрах. Мир — это гигантская плавильня. Под покровом ночного мрака фантастические духи неумоимо извлекают из глубин руду и бросают ее в пламя. Каменная твердь сопротивляется огню, но потом становится податливой под ударами могучих молотов. Огненные потоки борются с «косностью инертной материи», постепенно меняется лик земли, но как только ослабевает пламя, она вновь затвердевает, ее новая форма становится уже окаменелостью, помехой для движения и всего живого. Нетрудно заметить, что эта картина весьма близко напоминает упомянутую статью.

Идея динамизма соответствовала мироощущению Арвидссона. Явления природы, история общества, литература и искусство — все это воспринималось им не как нечто статичное, а как водоворот напряженных коллизий, столкновений противоположных начал. Для стиля Арвидссона чрезвычайно характерно сочетание полярных понятий — движения и покоя, силы и слабости, бури и затишья, бесконечного и конечного, активного духа и «косной» материи.

Вначале это контрастное восприятие мира, это «смятение чувств» носило у Арвидссона отвлеченный характер, он сам не мог толком понять ни причины своих волнений, ни того, к чему стремилась его воспаленная фантазия. «Казалось, что во мне происходило какое-то брожение, точно я вот-вот был готов измениться совершенно, — писал Арвидссон. — Мой дух отчаянно боролся с чем-то, жгучая тревога наполняла мое сердце, я казался себе то слишком мелким, то великим, то слабым, то могучим. Мое воображение устремлялось к чему-то высокому и значительному, но силы изменяли мне. Передо мной мерцал смутный идеал, будто закрытый облаками и в то же время ослепительно сверкающий. Состояние мое нередко было мучительным, я страдал, словно под бременем всей скорби мира, всех его печалей»<sup>1</sup>.

К концу 10-х годов у Арвидссона определился интерес к «практическим политическим вопросам». Вспыхнувшие вскоре «революции в Южной Европе, — вспоминал он, — оказали на меня могучее воздействие и вселили в мое сердце новую бодрость, ибо я увидел пробуждение самосознания у народов и надеялся, что самодержавие и произвол рухнут, наконец, в заросшие могилы своих мертвых предков. Да починут они в мире

<sup>1</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 64—65.

и покое, никогда уже не пугая человечество призраками и видениями!»<sup>1</sup>.

Арвидссон пытался сотрудничать в «Мнемозине», где в 1819 году появился его «Обзор последних переворотов в шведской литературе». Значительное место в «Обзоре» уделено критике классицизма как «придворной» литературы — здесь сказана та же односторонность оценки, как и в подходе Арвидссона к просветительской идеологии. Редакция «Мнемозины» (Линсен, Бергбом) сочла необходимым оговорить свое несогласие с Арвидссоном, но главным образом потому, что он допустил слишком резкие выражения о шведском короле Густаве IV. «Будучи чрезвычайно труслив и суеверен, — писал Арвидссон о короле. — он учредил жестокую цензуру над всей печатью и даже книжные лавки подчинил строгому надзору. Все новые воззрения, все вновь зародившиеся идеи он считал проявлением самого буйного якобинства. Буря французской революции напонила страхом его дряблое сердце»<sup>2</sup>.

Подобные высказывания внушали опасения редакторам «Мнемозины». Статья Арвидссона по этой причине печаталась с большими пропусками, а некоторые другие материалы были отклонены редакцией, как, например, «Диалог», появившийся затем в «Або Моргонбладе».

Арвидссона, в свою очередь, не удовлетворяла «Мнемозина» в том виде, как она издавалась Линсеном. Арвидссон писал, что по своему содержанию она была «вялой и водянистой», лишенной наступательного духа. Между тем, ему хотелось выступить со статьями политического характера, чтобы критически обозреть финляндские условия. В своей автобиографии он с горечью писал о представителях высших финляндских кругов, что «им было мало дела до страданий родины и ее граждан, лишь бы обогащались они сами, получая пенсии, ордена, и титулы и полагая, что они выше всякой критики и умнее всего прочего народа. Чтобы пробудить в соотечественниках хоть какое-нибудь сознание и нарушить их долгий сон, я решил предпринять что-либо на свой риск и страх»<sup>3</sup>. Сознвая опасность гласной критики, Арвидссон поместил первое такого рода выступление не в финляндской, а в шведской печати и в начале 1820 года отправил в Стокгольм свои анонимные «Письма шведского путешественника из Финляндии», которые в сентябре того же года были напечатаны в газете «Нюа экстра постен»<sup>4</sup>. Ар-

<sup>1</sup> Там же, стр. 68.

<sup>2</sup> A. I. Arwidssonin tutkimuksia ja kirjoitelmia. Helsinki, 1909, s. 43.

<sup>3</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 67.

<sup>4</sup> Bref från Finland af en resande Svensk. — Nya Extra Posten, 1820, NN 75, 76, 78.



видссон знал при этом, что его выступление станет известным и читателям в Финляндии, где шведские газеты имели хождение. Чтобы отвести от автора подозрения властей, письма появились с пометкой «июль 1819 года», когда в Финляндию действительно приезжали шведы.

В первом письме Арвидссон охарактеризовал положение Финляндии в составе Швеции, то есть до 1809 года. Хотя шведы и не пренебрегали Финляндией совершенно, однако она, писал Арвидссон, всегда оставалась для них дикой страной колдунов и варваров, пребывание в которой рассматривалось как ссылка. «Финляндия была своего рода шведской Сибирью», и такое отношение к ней приводило к тому, что даже из числа коренных финляндцев наиболее способные люди предпочитали переселяться в Швецию, не находя у себя на родине ни признания, ни применения своим силам. Краем управляли из Швеции, финны были лишены права участвовать в государственной жизни, а те немногие, которым удавалось пробиться к политической деятельности, жили в Стокгольме. В Финляндии же, по выражению Арвидссона, оставалась сплошная посредственность, ее цивилизация, шведская по происхождению, была хилым комнатным цветком, оторванным от народной почвы.

В таком обескровленном состоянии Финляндия отошла к России. У ее граждан не накопилось никакого политического опыта, никаких навыков государственной самостоятельности. Между тем, русский царь провозгласил финнов нацией и предоставил им автономию, самостоятельное государственное бытие. Но чтобы осуществлять самоуправление на практике, продолжал Арвидссон, для этого были нужны государственные умы, а не просто чиновники; не только блюстители уже существующих установлений, но и теоретически подготовленные политические деятели, способные разрабатывать новые законы в соответствии с духом времени и потребностями национального развития.

Однако те, кому была доверена власть в Финляндии, не отвечали таким требованиям. По мнению Арвидссона, еще на Боргоском сейме финляндские сановники выказали свою непригодность к политическому руководству страной. Вместо того, чтобы прямо и нелицеприятно защищать ее интересы, они угодничали перед монархом, который, как добавлял Арвидссон, был немало удивлен такой лестью и даже потерял уважение к финской нации, насмехаясь над ее «раболепными магнатами». Выразив в общих словах свое неудовольствие Боргоским сеймом и финляндской конституцией, Арвидссон привел и конкретный пример политической недалекости депутатов: на сейме они допустили ликвидацию финляндского войска. Такой акт Арвидссон считал нецелесообразным как с финской, так и с русской точки зрения. России было бы выгодно иметь на своей окраине воору-

женный народ, способный защищать и себя, и часть русской границы.

Ни финляндский сенат, ни прочие учреждения не заботились о благе граждан. Особое внимание Арвидссон обратил на запутанность денежной системы. В Финляндии имели хождение как шведские, так и русские денежные знаки, хотя налоги взимались только русскими деньгами. Этим пользовались налоговосборщики и менялы, всячески обманывавшие и грабившие крестьян посредством навязывания произвольного обменного курса. Подобное положение, являвшееся узаконенным, позволило Арвидссону заявить, что государство выступало в роли «организованного вымогателя своих подданных».

Выступление Арвидссона вызвало бурную реакцию как в Финляндии, так и в Швеции, правительство которой в ту пору стремилось избегать осложнений в отношениях с Россией. Когда русский посол в Стокгольме обратился к шведским властям за разъяснениями по поводу «Писем», то последовали извинения, а редактор «Нюа экстра постен» был наказан тюремным заключением. Финляндские власти, в свою очередь, пытались обнаружить автора, полагая, что им является человек местный. Подозревали и Арвидссона, но веских доводов против него не было, и когда он запросил разрешения издавать новую газету, то отказа не последовало.

5 января 1821 года вышел первый номер этой газеты, которая, просуществовав всего лишь девять месяцев, составила тем не менее одну из самых ярких страниц в истории финляндской журналистики. «Або Моргонблад» мыслилась Арвидссоном как широкая трибуна для пропаганды передовых идей времени. «Широкая масса моих соотечественников, — писал он, — спала глубоким сном, нужно было будить их, в особенности дать им понятие о политической жизни, о гласности, о всеобщем участии во всех делах гражданского общества. Подобные вещи были у нас совершенно неизвестны, нужно было прокладывать новую дорогу, быть готовым встретиться с тысячами трудностей»<sup>1</sup>.

«Або Моргонблад» по праву считается первой в Финляндии политической газетой. Проблемы развития финского языка и национальной культуры обсуждались в финляндской периодике и до «Або Моргонблада». Но Арвидссон, как справедливо заметил еще Даниэльсон-Кальмари<sup>2</sup>, стал последовательно развивать политическую точку зрения на эти проблемы, и именно политической направленностью и острой постановкой вопросов отличается его газета, скажем, от той же «Мнемозины». В некоторых случаях, например о цензуре, Арвидссон высказался в

<sup>1</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 70.

<sup>2</sup> J. R. Danielson-Kalmari. Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itenäisyyteen, I. Porvoo, 1928, s. 230.



«Або Моргонбладе» с такой решительностью, на какую впоследствии, в 40-е годы, уже не отваживался не только он сам, но и Снельман в «Сайме».

Вместе с тем «Або Моргонбладе» была также литературной газетой. Именно литературные вопросы чаще всего и давали Арвидссону повод и возможность развивать свои политические воззрения, о которых затруднительно было говорить прямо. Эта иносказательность многих его статей была понятна и друзьям, и врагам. Она отмечалась и исследователями. Л. Кастрен, например, указывает, что борьба романтической школы с классицизмом, уже сама по себе являвшаяся весьма привлекательной темой для Арвидссона, была вместе с тем использована им для характеристики политической борьбы эпохи, для пропаганды оппозиционных идей<sup>1</sup>.

Арвидссон остро сознавал, что живет в переходную эпоху. В первом же номере «Або Моргонбладе», объясняя цель газеты, он писал, что всюду — в промышленности и торговле, науке и искусстве — происходят глубокие перемены. «Мы живем в великое и знаменательное время», — восклицал Арвидссон. Оно, однако, еще не вполне «осознано себя», дух его не был усвоен всеми. В Финляндии, по словам Арвидссона, перелом в области философии и литературы лишь едва обозначился. Нужно было приложить еще много сил, чтобы новые идеи одержали верх над старыми верованиями. Выполнению этой задачи и должна была содействовать газета.

В статье «Взгляд на наше отечество» («Або Моргонбладе», № 2) Арвидссон писал, что финнам предстояло совершенно обновить свои «взгляды и принципы». И тогда, вместо расслабленного поколения, равнодушного к судьбам родины, «появятся иные люди, с мужественными желаниями, серьезными мыслями, сильные во всех своих действиях... Мы сделаем уже первый шаг в этом направлении, если поймем, что нуждаемся в возрождении, ибо прежде чем совершенствоваться, нужно осознать свои недостатки». При этом Арвидссон опять-таки ссылаясь на изменившееся политическое положение Финляндии, на то, что ей было дано самоуправление, открывающее возможности для национального развития.

Арвидссон приложил много усилий к тому, чтобы приучить финляндского читателя к серьезной общественной полемике. Он доказывал, что борьба мнений есть явление вполне естественное, что без нее никакое развитие невозможно. Отсутствие идейных разногласий и острой борьбы является не достоинством, не признаком блаженного состояния общества, а следствием застоя и косности. Для финнов все это было ново, они привыкли гор-

---

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmällisenä herättäjänä. Helsinki, 1951, s. 202—203.

даться тем, что у них, не в пример другим европейским странам, не было острых политических распрей. Само слово «политика» в их восприятии имело лишь негативный смысл.

Арвидссон доказывал нелепость таких взглядов. «Новое должно бороться со старым, и борьба эта ведется не на жизнь, а на смерть», — вот один из тех тезисов, которые выдвигают Арвидссона на особое место среди всех его финляндских современников. Что мир подвержен изменениям, что человечество постепенно совершенствуется, об этом говорили в Финляндии многие. Но лишь Арвидссон первый поднял вопрос о том, что всякое развитие предполагает борьбу противоположных тенденций. Этот момент отличает его не только от Линсена, проповедовавшего религиозное смирение, и не только от Тенгстрёма, отказывавшего финнам в праве обсуждать политические вопросы, но и от Ютейни и Готлунда, на мировоззрении которых лежала печать просветительской ограниченности, отчасти уже преодолеваемой Арвидссоном. Готлунд сходил с Арвидссоном в утверждении, что в мире нет ничего вечного, что все подвержено изменениям и в конечном счете отмирает, уступая место новым явлениям. На опыте он замечал и то, что старое цепко сопротивляется. Однако борьба нового со старым не имела для него универсально-философского значения. Он видел в ней не обязательное условие развития, а скорее «предрассудок», в силу которого люди противились собственному же благу. С точки зрения Ютейни и Готлунда, общественные распри были достойны сожаления, но их могло бы и не быть, если бы не «людская глупость», если бы все вняли голосу разума. Правда, в сословном эгоизме они обвиняли прежде всего дворянство, но от этого их мышление не переставало быть метафизическим, лишенным исторического подхода к явлениям. По их представлениям, например, финляндское общество еще до шведского завоевания было «сословным», но только просвещенным и гармоническим, поскольку все сословия заботились об общем благе.

Что же касается Арвидссона, то он уже имел некоторое понятие об эволюции общественных институтов и классов, об изменении их роли в ходе исторического развития, о постепенном вытеснении одного класса другим. Это отразилось, например, в статье «Наши общественные круги», появившейся в № 10 «Або Моргонблада». Здесь рассматриваются взаимоотношения дворянства и «третьего сословия», причем проблема эта освещается в историческом аспекте. В былые времена дворянство, как указывает автор, являлось носителем высокой культуры, что и оправдывало его исключительное положение в обществе как первого сословия. Но пора культурной гегемонии дворянства уже миновала. И хотя оно все еще претендует на свою исключительность, однако нынешнее его положение лишь формально напоминает былое. В действительности дворянство давно утратило



свою ведущую роль в обществе. Оно уже мешает прогрессу, «общему развитию эпохи». Появились иные общественные силы, «выступило третье сословие, усвоившее былую дворянскую образованность вместе с другими познаниями века. Именно оно ведет теперь мир и направляет ход событий». Арвидссон, однако, тут же подчеркивал, что в дальнейшем оба эти сословия должны были сблизиться друг с другом и что в некоторых странах они уже находились «в счастливом единении». Это была компромиссная позиция, которой придерживались многие в Финляндии. И все-таки в понимании Арвидссона это «счастливое единение» достигалось только в результате общественных преобразований, ему должна была предшествовать борьба.

Борьба может быть «политической или литературной». Чтобы отвести от себя возможный удар властей, автор тут же добавлял, что в своей статье он касается только литературной борьбы. Но уже сами примеры свидетельствуют о том, что речь шла не только о литературных вопросах. Заявив, что «вся жизнь — это борьба» и что «все доброе завоевывается только в борьбе», Арвидссон спрашивал: «Не могучий ли борец Мартин Лютер, а не его кроткий друг Филипп Меланхтон, разбил оковы христианского сознания?»

Внимание властей особенно привлек аллегорический «Диалог» Арвидссона («Або Моргонблад», № 26). Здесь некий Слепой убеждает Здравого в том, что обо всем предпочтительнее говорить в спокойном тоне, соблюдая светские приличия, не поднимая таких вопросов, которые могут кого-либо обидеть. Здравый отвечает, что хорошо, конечно, если бы удавалось убеждать людей тихо и мирно, без шумных споров. «Но бывают времена, когда необходимо вступать в борьбу и драться. Буря освежит затхлый мир, вихрь разгонит тяжелый удушающий туман, чтобы теплые лучи солнца согрели застывшую землю и пробудили на ней новую жизнь, новую зеленую поросль. А кому нужно, чтобы ураган проявлял свою мощь тихо и спокойно? Разве может его рев напоминать нежные напевы свирели, еще более усыпляющие природу? Ураган должен бушевать и очищать воздух, даже если это помешает воркованию горлиц в долине, шепоту влюбленных в тенистой роще! Он должен бушевать, даже если от этого увянет листва и погибнет кустарник! Мелкое всегда должно уступать великому, преходящее — вечному. Так следи же за своим временем, за его знаменами и переворотами, не предавайся пустым и никчемным жалобам, если сон твой нарушен порывом буйного ветра. Знай, что буря приносит новую жизнь и придает новые силы! Что с того, что ураган сорвет мак в твоём саду или погубит турецкие бобы? Счастлив тот, кто живет в дни освежающей бури! Его не душит ни полуденный зной, ни тяжелые ночные туманы. Над ним, согревая и оживляя, сияет вечное Солнце, чей

лучистый огонь сообщает новую силу всей природе. Но кто страшится бурных времен, кто не любит вновь пробуждающегося мира, — пусть погребет он себя в могилы предков, если только их гордая сила не устыдится потомков, лишенных энергии, мысли и решительности в действиях».

Именно этот номер «Або Моргонблада», где был напечатан «Диалог», вызвал особое неудовольствие царя, которому докладывали о содержании газеты. В экземпляре, поступившем в Финляндский комитет, подчеркнуты все те выражения, в которых говорится о буре. В своих воспоминаниях Арвидссон рассказывает, что из беседы с графом Аминовым он узнал, что внимание царя более всего приковали фразы, подобные той, где говорится о счастье жить «в дни освежающей бури». В воспоминаниях Арвидссон называет эту фразу «невинной», добавляя с обидой, что все то, что в газете говорилось о литературе, было приложено к политическим условиям, вырвано из контекста и расценено как подстрекательство к бунту. Власти, конечно, преувеличивали бунтарство Арвидссона; он ратовал не за революцию, а за «бунт идей», за то, чтобы правительство вняло духу времени и осуществило ряд реформ по ликвидации остатков феодализма, о чем и писалось в «Або Моргонбладе». Но газета Арвидссона — и по глубине мысли, и по тону — была настолько незаурядным явлением в Финляндии той поры, что на общем фоне уже первые ее номера показались, по замечанию Ю. Нурмио, «поистине революционными».

Предчувствуя с первых же дней, что газете угрожает запрет, Арвидссон пытался опереться на старые уложения о печати, изданные еще в шведское время, но формально сохранявшие силу и после присоединения Финляндии к России. В нескольких номерах он опубликовал выдержки из этих документов, истолковывая их в весьма либеральном духе и преднамеренно подчеркивая при этом, что разговоры об отсутствии свободы печати в Финляндии основаны на незнании ее конституционных прав. Подобные толки были оскорбительными для «нашего либерального правительства», и потому газета считала своим долгом напомнить читателю действующие законодательные акты.

Этой тактикой Арвидссон хотел привлечь на свою сторону общественное мнение, организовать его, чтобы затруднить для властей запрет газеты. Вскоре, однако, его вызвал к себе прокурор Валлен, который в частной беседе пытался повлиять на него и добиться изменения общего направления газеты. Валлен напомнил, что в «эти тревожные времена» во многих странах прибегают к «разумному ограничению» свободы печати и что Арвидссону тоже не следует навлекать на себя неудовольствие правительства. Он должен отказаться от критики властей, дабы не возбуждать общественное мнение. Арвидссон отклонил эти советы как несообразные с его убеждениями, а в № 20 «Або



Моргонблада» выступил со статьей, в которой уже весьма прозрачно полемизировал с Валленом. Он писал здесь, что если ему не дадут издавать газету согласно избранным им принципам, то он скорее вообще откажется от нее, чем будет влачить подневольное существование. Это его долг не только перед собственной совестью, но и перед читателями. «Чтобы иметь возможность продолжать начатое, мы должны располагать доверием общественности, а оно будет до тех пор, пока мы говорим правду и пока закон обеспечивает нам свободу действий. А когда последняя закована в цепи, то правда от этого чахнет, и во время такого гнета всегда лучше молчать, чем вредить делу выступлениями, которые делаются с добрыми намерениями, но с уздой на устах».

Наконец, в 24-м и 25-м номерах «Або Моргонблада» Арвидссон напечатал большую статью «Свобода печати и гласность», в которой изложил свои взгляды на общественное развитие и значение гражданских свобод. Много места в статье уделено тому, чтобы теоретически обосновать необходимость систематического пересмотра государственных законов. Вслед за многими романтиками Арвидссон рассматривал государство как живой, постоянно развивающийся организм. В государстве воплощается активная творческая сила, идея бесконечного саморазвития, тогда как закон по самой своей сущности не терпит изменений. Если развитие государства бесконечно, то закон — это явление конечного порядка, это жесткая форма, закрепляющая определенное состояние общества. Со временем эта форма становится слишком тесной, и тогда она должна либо сама уступить дорогу «вечно обновляющимся силам человечества, либо быть ниспроверженной. Все революции, которые действительно заслуживают этого названия (здесь я не говорю о мятежах и узурпаторах), представляют собой результат слишком упрямого сопротивления старой затвердевшей формы новым условиям. Когда она не хочет отступить перед новым временем, оно в конце концов разбивает ее, и вместе с ее падением рушатся зло и добро».

«Отсюда, — продолжал Арвидссон, — со всей очевидностью вытекает, что закон должен изменяться сообразно с эпохой и условиями, но никак не последние должны приспособляться к закону».

Идеалом государственного устройства для Арвидссона была буржуазно-конституционная монархия. По его словам, все граждане должны содействовать развитию государства, однако функция непосредственного управления страной возлагается на «нравственную личность», которая обязана изменять законы по мере развития государственного организма. Народ имеет право открыто обсуждать деятельность правительства, выражать свои нужды и требования. Для этого необходима свобода печати. Газеты должны быть «голосом народа для народа».

Арвидссон категорически выступал против цензуры. Даже самый либеральный цензурный устав, рассуждал он, разрешает предавать гласности лишь мелкие, второстепенные изъяны в управлении страной, поскольку их выявление и устранение «упрочняет целое», то есть господствующий режим. Но доказывать «что вся форма правления страдает от основного порока и что все нуждается в переустройстве — это запрещено, ибо это уже направлено против существующего закона, которому подчинен и цензурный устав. Мы, таким образом, приходим к выводу, что цензура лишь постольку терпит свободу печати, поскольку она служит действующим законам или точнее говоря: поскольку эта свобода не есть еще свобода».

Возражая тем, кто считал финский народ недостаточно зрелым, чтобы предоставить ему свободу печати, Арвидссон подчеркивал, что именно отсутствие гражданских свобод задерживает развитие финнов. Отсталые народы не могут «созреть» в обстановке несправия, в таком случае они навсегда должны остаться на низкой ступени развития.

Историческим подходом к предмету примечательна статья «Цеховая система и свобода промыслов» («Або Моргонبلاد», №№ 32 и 34). До недавнего времени ее автором принято было считать Арвидссона. Но Л. Кастрен в своей книге о нем находит такое мнение ошибочным, называя автором статьи молодого студента и поэта Г. Идестама, сотрудничавшего в газете и одно время даже редактировавшего ее, но потом порвавшего с нею по настоянию родственников, считавших связь с газетой слишком опасной. Кастрен ссылается при этом на самого Арвидссона, который в своей автобиографии заявляет, что Идестаму принадлежат все статьи по вопросам права, а также некоторые другие<sup>1</sup>. Кастрен упоминает и о пометках Арвидссона на экземплярах газет — пометки эти подтверждают авторство Идестама. Вместе с тем Кастрен признает, что с точки зрения стиля в статье есть обороты, характерные для самого Арвидссона, а в другом месте добавляет, что есть полное основание полагать, что и в смысле содержания эти экономические статьи Идестама «соответствовали общей позиции главного редактора газеты даже тогда, когда его точка зрения на разбираемые вопросы оставалась бы в противном случае неизвестной»<sup>2</sup>. С этим мнением можно согласиться.

Статья «Цеховая система и свобода промыслов» начинается изложением излюбленной идеи Арвидссона о смене эпох, о том, что отжившие формы жизни вытесняются новыми, соответствующими духу времени. Этот процесс вечного обновления жизни

---

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmaallisenä herättäjänä. Helsinki, 1951, s. 136.

<sup>2</sup> Там же, стр. 288.



является, по словам автора, «единственно существующим Фениксом, именно его имеют в виду древние мифы, и эта птица слагает свои костры из устаревших форм. Противиться этим изменениям, положить предел новым пробуждающимся явлениям невозможно. Опыт доказывает это лучше всякой выведенной из принципов теории: изменяются индивиды, нации возрождаются в новых поколениях, а старые формы исчезают или должны исчезнуть перед рассветом нового дня...»

К таким старым формам относилась и цеховая система. Объясняя ее происхождение, автор указывал, что она была «продуктом постоянных междоусобиц средневековья», когда королевская власть была слишком слабой, чтобы оградить города от притязаний феодалов. Вчерашний крепостной, ставший городским ремесленником, все еще чувствовал на себе тяжелую руку своего прежнего господина. В одиночку он не мог «защитить себя от натиска привилегированных насильников, сила была законом, меч — его истолкователем. Редко, и то в большинстве случаев понапрасну, доходила жалоба горожанина до верховного повелителя, который, являясь лишь тенью того, кем ему надлежало быть, либо не слышал этой жалобы, либо был бессилен оказать своим подданным требуемую помощь».

В этот период и возникла цеховая система. Для борьбы с феодалами горожане объединялись в союзы, напоминавшие «маленькие государства в государстве». Вначале цехи не имели принудительного характера, высшая власть лишь терпела их. Они были «следствием необходимости, следствием беспокойного духа эпохи». Затем цеховые организации были узаконены и в качестве «остатка феодальной системы» сохранялись даже тогда, когда в них уже не было необходимости. Ратуя за свободу промыслов, автор статьи предлагал отменить цеховую систему и в Финляндии. Примечательно в статье упоминание о том, что согласно финляндской конституции отмена цеховой системы являлась привилегией сейма, который, по мнению автора, и должен был быть созван после слишком затянувшегося перерыва: с Боргоского сейма к тому времени прошло уже двенадцать лет.

В «Або Моргонбладе» (№ 31) была напечатана также статья Идестама «О сельской торговле в Финляндии», где предлагалось отменить ограничения торговли на селе.

Особенно Арвидссона волновала национальная проблема — и в ее социально-политическом аспекте, и с точки зрения развития национальной культуры. «Або Моргонблад» стремилась всячески укрепить в финнах чувство национального самосознания. Традиция приписывает Арвидссону крылатое изречение: «Шведами мы не стали, русскими мы не можем стать, — так останемся же финнами!» Хотя этой фразы, именно в такой ее форме,

и нельзя найти у Арвидссона, но она верно передает пафос его статей.

Всякая жизнеспособная культура, по Арвидссону, всегда национальна, — она должна отражать характер народа, его «национальный дух». Термины «народность» и «национальность» были для Арвидссона еще равнозначны. В статье «О национальности и национальном духе» («Або Моргонبلاد», №№ 7 и 11) он, например, говоря о «народности» (folkegenheten), в скобках пояснял: «nationaliteten». Основным носителем «национального духа» в этой статье рассматривается язык. В языке, писал Арвидссон, «отражается вся духовная жизнь народа, его образованность, мировоззрение, взгляды на жизнь». В нем выступают в теснейшем единении «мифологические и религиозные представления нации, ее история и судьба; словом, язык — это результат работы многих столетий, причем свое воздействие здесь оказали и климат, и государственное уложение, и развитие торговли, земледелия, мануфактур, науки, искусства, равно как и политические судьбы нации». Лишь сохранив родной язык, финны будут сознавать себя нацией, а с утратой языка исчезнет и почва для национальной общности, народ как таковой перестанет существовать. Поэтому Арвидссон призывал финнов «прежде всего хранить и беречь свой язык». В большой статье «Финский язык, рассматриваемый как язык национальный» он писал («Або Моргонبلاد», № 14), что «население Финляндии должно теперь составлять неделимое целое; каждый гражданин должен умом и сердцем понять, что он финн и никто больше. Он должен гордиться этим и ни в коей мере не чуждаться других членов общества, даже из самого низшего класса; единство образа мыслей и языка должно связать всех неразрывными узами братства».

Хотя идея национального единства в понимании Арвидссона подчас и отодвигала социальные противоречия на второй план, но все же она не исключала общественных реформ, — напротив, такое единство предполагало их проведение.

Ратуя за развитие финского языка, Арвидссон в полемическом кругу доходил иногда до крайностей и считал возможным, например, вообще отказаться от преподавания иностранных языков. Столь острая реакция объяснялась прежде всего засильем шведского языка в Финляндии, а так же, как необоснованно казалось Арвидссону — угрозой русификации. В эту пору в Финляндии впервые началось и в весьма скромных масштабах преподавание русского языка для части студентов, но и это внушало Арвидссону опасения. Он даже полемизировал по этому поводу с Эрстрёмом, лектором русского языка в Або-ском университете. Эрстрём доказывал, что знание русского языка обязательно для финляндских чиновников. Возражая ему



в «Або Моргонбладе» (№ 21), Арвидссон приводил обычный свой довод:

«Население Финляндии провозглашено нацией — так зачем же нам пренебрегать этой завидной судьбой, зачем стремиться всеми силами к слиянию с господствующим народом в отношении языка и обычаев?»

Арвидссон был одним из первых собирателей народных песен. Фольклор имел для него принципиальное значение как основа национальной литературы. В предисловии к циклу стихотворений А. Поппиуса он особо подчеркивал, что расцвет национального искусства и литературы возможен при условии, если обратиться к богатствам народной поэзии.

Для эстетических взглядов Арвидссона, как и многих романтиков, характерна его острая неприязнь к рационалистическому дидактизму классицистов. В их поэзии рассудочность господствовала над чувством и творческой фантазией. У классицистов, писал Арвидссон в «Або Моргонбладе» (№ 38), «все человеческие поступки и действия превращались в предмет поэтических упражнений. Таким образом были воспеты все человеческие права и обязанности, пороки и добродетели; сочинялись стихи о воспитании, гражданских делах, земледелии, животноводстве, охоте и рыболовстве». Полемизируя с подобным узко утилитарным дидактизмом, характерным, например, и для Ютейни, Арвидссон пришел к утверждению, что искусство «само является своей целью» и что оно враждебно всему материальному. В дальнейшем этот тезис мешал финляндским романтикам сблизиться с живой действительностью, однако у Арвидссона он еще не означал отрицания социальной функции искусства.

Поэзия, с его точки зрения, должна гармонически выражать бесконечное в форме конечного, индивидуальное явление — абсолютное. Идею бесконечного нельзя охватить разом, ибо она неисчерпаема. В противном случае все царство прекрасного можно было бы сконцентрировать в одной гениальной картине. Недостигаемо прекрасный идеал лишь «угадывается» поэтом, его нет в самой действительности, к нему можно только бесконечно приближаться, но выразить его вполне невозможно. Забегая вперед, напомним, что против «угадываемого» идеала романтиков в начале 30-х годов выступил Рунеберг, противопоставив ему идеал «обретенный», то есть такой, воплощением которого была патриархальная финляндская действительность.

Прекрасное, по Арвидссону, — это «символ абсолютного (бесконечно совершенного)»; оно есть не само абсолютное, а лишь то, что постигается и выявляется человеческим духом и «ограничено земной формой. Но поскольку идеальное составляет цель и тип всех поэтических творений, то ясно, что все, что не исходит из абсолютного, но изображает что-либо конечное и ограниченное, не может быть поэзией и не достойно этого

названия». Здесь обнаруживаются слабости идеалистической эстетики Арвидссона. Во-первых, он ограничивал предмет поэзии только сферой идеального. В дальнейшем этот эстетический принцип преодолевался в Финляндии с большим трудом, мешая развитию социально-критического направления в литературе. Во-вторых, утверждение, что поэзия должна исходить только из абсолютного и не изображать ничего «конечного и ограниченного», не позволяло художнику вникать в конкретные явления жизни, поскольку они рассматривались именно как выражение конечного. Отсюда возникала опасность направить поэзию по пути философских абстракций, примером чего могут служить стихи самого Арвидссона, а позднее Сигнеуса. В них есть попытки изобразить какие-то силовые процессы в природе, борение различных ее стихий, столкновение противоположных начал, света и тьмы, например, — и все это в очень отвлеченной, зачастую сумбурной форме. Но в этой отвлеченности было и нечто другое. В ней отразилось стремление Арвидссона, а затем и Сигнеуса уловить самую общую связь между явлениями, понять закономерности движения «абсолютного». Совершенство бесконечно, говорили они; нет вечных форм — ни в жизни, ни в искусстве; к идеалу нужно стремиться, ибо окружающая действительность не является идеальной. Критикуя абстрактность романтической эстетики, Рунеберг вместе с тем отверг и эти ее позитивные стороны, содержавшие в себе зародыш диалектического подхода к проблеме.

Арвидссон еще не сумел развить своих эстетических положений до той глубины, чтобы ясно подчеркнуть, что вечное стремление к «угадываемому» идеалу предполагает борьбу противоположных тенденций и определенные социальные сдвиги в результате этой борьбы, изображение которой также должно входить в сферу поэзии. Именно эти вопросы волновали в 40-е годы Снельмана, утверждавшего, что предметом искусства является изображение «работы истории».

Просветители, например Ютейни, считали, что задача поэзии — содействовать совершенствованию человечества. Этого, в конечном счете, не отрицал и Арвидссон. Но такое содействие, говорил он, не должно быть прямолинейным. Искусство совершенствует человека только посредством того, что возвышает его душу, «возносит ее за пределы конечного и очищает от мирских расчетов. Способ, которым оно поучает, не есть прямой; в противном случае исчезает наслаждение искусством».

Поэт, по мнению Арвидссона, должен чуждаться всего прозаического и повседневного, его должны вдохновлять возвышенные идеи. К ним прежде всего относилась идея национального пробуждения, которую Арвидссон оценил и в стихах А. Поппиуса, опубликовав их в приложении к «Або Моргонбладу».

Поппиус писал на финском языке. Арвидссон видел в его



стихах удачный образец современной поэзии, опирающейся на фольклор и проникнутой национальным пафосом. В числе опубликованных Арвидссоном стихотворений Поппиуса есть любопытная пастораль, где девушка спрашивает своего возлюбленного, куда же он, бедняк, поведет новобрачную, когда у него нет даже крыши над головой. «В Финляндии вдоволь места, — отвечает он. — Если хочешь, будет дом твой в глухой тайге, а пожелаешь — в дальнем городе. Или будешь, как пташка лесная, качаться на ветке? Я совью тебе гнездышко, убаюкаю ветром, песню спою соловьиною...» — «А если заботушка о хлебе песни забыть заставит?» — спрашивает девушка. На это юноша отвечает, что есть у него сила, чтобы распахать поле и вырастить хлеб. Он преисполнен гордого самосознания и уверенности, что родина его прекрасна и прокормит своих сынов, если приложить к ее скудной природе трудолюбие и настойчивость.

В собственных стихах Арвидссона любовь к родине и мечта о ее пробуждении наиболее ярко выражены в его «Песне», написанной в 1819 году. Поэт обращался к своим соотечественникам с «кличем предков», взывавших к мужеству и энергическому действию. Финны должны были прислушаться к буре, уже разгонявший зловещие тени. «Пусть южный зной воспламенит нашу кровь!» — восклицал поэт, намекая, быть может, на освободительное движение в странах Южной Европы. Арвидссон призывал финнов смело смотреть в будущее. «Твердая воля приведет к победе, нам ярко светит надежда... В людях пробуждается молодая энергия, борющаяся с бессилием...»

Однако надежда Арвидссона на скорое пробуждение финнов не оправдалась. Слишком цепкой была еще духовная косность, чтобы его пропаганда встретила широкий отклик. Даже близкие друзья не понимали его, в их глазах он был беспочвенным мечтателем, его называли «бомбой, начиненной фантазиями». То были слишком смелые фантазии, чтобы финляндский обыватель, не слышавший ранее ничего подобного, мог поверить в них. Газета Арвидссона казалась опасной, и люди осторожные старались быть подальше от нее. Он с сожалением отмечал, что с середины года число подписчиков сократилось. Между тем, представители финляндских властей уже вели тайную переписку, чтобы договориться о наиболее удобном способе запретить газету, не возбуждая при этом общественного мнения. Валлен в письме к графу Ребиндеру предлагал, чтобы распоряжение о запрете этого «карбонарийского» органа исходило не от финляндского сената, а непосредственно от государя, что должно было произвести особое впечатление на «пишущую братию и ее сторонников». Ребиндер одобрил эту мысль и в своем ответе Валлену обещал представить дело на усмотрение царя.

В конце сентября 1821 года высочайшее повеление о запрете газеты поступило в Або, и она прекратила свое существование.

Это было большим ударом для Арвидссона. Более всего его огорчало то, что ему не удалось овладеть общественным мнением. Те, кого он надеялся разбудить, по-прежнему спали. «Единственно, кто не дремал, — это аристократы, и я потерпел неудачу»<sup>1</sup>, — писал он одному из друзей. Вместе с тем это дало ему повод усомниться в некоторых своих прежних воззрениях.

Еще в «Або Моргонбладе» (№ 7) Арвидссон развивал концепцию духовно одаренной и сильной личности, возвышающейся над массой и ведущей ее вперед по пути прогресса. Масса, как полагал он, сама по себе инертна и пассивна; являясь воплощением заурядности, она способна не столько действовать сама, сколько лишь выказывать свое отношение к действиям выдающейся личности. Только «орел обладает достаточно острым зрением и могучими крыльями, чтобы стремиться навстречу солнцу, только у него достаточно сильная воля, чтобы отважиться на дерзкий взлет. И когда он гордо парит в прозрачных волнах небесного океана, уверенно и смело направляя свой пристальный и неуклонный взор к сияющей цели, тогда маленьким птицам среди благоухающих цветов и в тенистых рощах остается только петь ему хвалу, либо громко проклинать его, выглядывая из своих жилищ. Так бывает и в жизни людей; так было всегда. Выдающиеся люди, величайшие гении — где бы они ни проявляли свою божественную силу, то ли в искусстве и науке, то ли в действиях, оказывающих стремительное и могучее влияние на развитие истории, — всегда примечательнейшим образом отличались, по своим воззрениям и духу, от толпы. И разве может тот, чьи действия столь сильно возвышаются над действиями большинства людей, сознавать в себе ту же самую идею жизни, тот же кроткий и обыденный нрав, какой свойственен массе народа?»

Помимо литературных источников, этот романтический культ сильной личности, вознесшейся над немощной толпой, имел питательную почву в самой финляндской действительности. Народ спал, демократическое движение существовало только в лице немногих «будителей», пытавшихся вывести общество из духовной спячки. И хотя они выступали от имени народа и в защиту его прав, однако сам народ в условиях общественного застоя нередко казался им лишь объектом их «будительских» действий, но не главным действующим лицом истории. Отсюда психология исключительности отдельной личности и принижения массы, способной якобы лишь на то, чтобы в пассивном ожидании восхвалять или порицать героев.

---

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmaallisenä herättäjänä. Helsinki, 1951, s. 370.



Однако судьба «Або Моргонблада» несколько разуверила Арвидссона в истинности этой концепции или, по меньшей мере, повергла его в сомнения. В конечном счете индивид оказывался бессильным, он нуждался в активной поддержке каких-то общественных сил. Описывая свои собственные превратности, Арвидссон в частном письме сравнивал себя с орлом, который мечтал взлететь навстречу солнцу, чтобы указать маленьким птицам путь к свету и свободе, но теперь эта сказка-быль имела уже печальный конец: явился злой черный дракон и сломал орлу крылья; смертельно раненный, он с тоской смотрит на своих дремлющих братьев, вдвое страдая от сознания собственного бессилия.

Но Арвидссон не отказался от дальнейших попыток разбудить общество. Вначале у него было намерение ответить на запрет «Або Моргонблада» изданием полемической брошюры «Иоуккавайнен», но, узнав, что запрет исходил от царя, он не решился на такой шаг. Все же в порядке компенсации за недополученные читателем номера «Або Моргонблада» Арвидссон выпустил в виде отдельной книжки приложение к газете, под названием «Невинные безделки». Здесь были напечатаны упомянутые стихи А. Поппиуса с предисловием Арвидссона и некоторые другие материалы.

Лишенный собственного печатного органа, Арвидссон теперь решил использовать «Мнемозину». В конце 1821 года Линсен и Бергбом уже хотели отказаться от ее издания из-за малого числа подписчиков и связанных с этим материальных убытков. Арвидссон изъявил готовность покрыть треть всех расходов и обеспечивать «Мнемозину» такой же долей материалов. В февральском номере 1822 года в «Мнемозине» появилась первая статья Арвидссона — «Раздумья». Она была без подписи, по предварительной договоренности Линсен обещал хранить в тайне имя автора.

По сравнению с «Або Моргонбладом» в «Раздумьях» содержалось мало нового, только тон был более мрачным. Арвидссон высказал здесь глубокую свою тревогу за будущее Финляндии, духовная апатия общества заставила его быть менее красноречивым в упованиях и более жесточеным в критических выпадах. Особую ярость у властей вызвало обвинение финляндских офицеров в антипатриотизме, в равнодушии к судьбам родины. Делу был дан ход, принимались меры для выяснения автора статьи. Линсен, который уже при напечатании «Раздумий» проявил осторожность, сопроводив их собственными комментариями, теперь был вконец напуган угрожающим письмом графа Аминова и в следующем же номере «Мнемозины» поместил свою статью, направленную против Арвидссона. Последнего раздражала такая трусливость, граничащая с сервилизмом. В письме к А. Поппиусу, отправленном 28 февраля

1822 года, в день выхода очередного номера «Мнемозины», где были напечатаны «Раздумья» с комментариями Линсена, Арвидссон сообщал из Або: «Здесь все мертво и уныло; меня мучит всеобщий сон, и я занимаюсь «Раздумьями», чтобы облегчить свое сердце, преисполненное горькой досады. Но что с того толку? Все говорят об упущенном времени, о напрасно потраченных годах. Один я верю в лучшие времена, если все возьмем на себя муку. Но моя пылкость вызывает улыбку, моя страсть им смешна, и они комментируют ее. Загляни в февральский номер «Мнемозины»! — Ну что ж, спи, моя отчизна! Почивайте сладко и вы, ее друзья!.. Как видишь, нас одолевают мрак и бессилие. После запрещения «Або Моргонблада» здесь царит жуткое безмолвие, точно после сильной бури; уже теперь чувствуется затхлый удушающий туман, но кто разгонит его? Где тот герой, который отрубит гидре голову и очистит авгиевы конюшни?»<sup>1</sup>

Арвидссону уже не суждено было продолжать свою публицистическую деятельность в Финляндии. Во время допроса по поводу «Раздумий» Линсен, вопреки своему обещанию хранить тайну, выдал имя Арвидссона. Вскоре последовала кара: в начале июня 1822 года Арвидссон по указанию императора был уволен из университета, где он занимал должность доцента всеобщей истории.

Этот акт был вызван, конечно, не одними лишь «Раздумьями», но стремлением правительства до конца подавить дух либерализма в университете. В своем рапорте от 9 мая 1822 года, то есть еще до увольнения Арвидссона, финляндский генерал-губернатор Штейнгель следующим образом докладывал императору о положении дел в университете: «Нравственность, послушность и прилежание к наукам паки начинают водворяться в сем седалище учености, и возникший между студентами беспоконный дух благоразумными мерами и твердостью проканцлера и попечительностью нынешнего ректора профессора Фаттенборга укрошен. Между тем не могу я сокрыть пред вашим императорским величеством, что препону в совершенном изглажении ложного направления мыслей и понятий полагаю я в беспечности профессоров университета и в особенности в профессоре прав Афцелиусе и магистре Арвидссоне, умевших видимою откровенностью и дружественным обхождением вкрасться в доверенность сих неопытных легкомыслящих юношей и вовлечь их в существовавшие до сего превратности.

Из сих первый, или профессор Афцелиус, впрочем муж весьма ученый, уже в Швеции был известен по несовместным его суждениям и по образу мыслей его, а последний, или магистр

---

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmaallisenä herättäjänä. Helsinki, 1951, s. 371.



Арвидссон, обратил на себя общее негодование нескромными выражениями в изданной им ведомости (*Morgonblad*), по высочайшему вашему императорского величества повелению прекращенной»<sup>1</sup>.

Расправа над Арвидссоном была одним из частных проявлений усиливавшейся реакции. Его увольнение из университета имело прямую связь с гонениями на университетскую науку в самой России. Просьбу Арвидссона о получении места учителя в коммерческой школе Меллина в Петербурге отклонил не кто-нибудь другой, а министр народного просвещения Голицын.

При увольнении Арвидссона из университета были приняты меры, чтобы это событие не вызвало никаких волнений со стороны студентов и профессуры. Рескрипт об увольнении был официально объявлен не сразу, хотя слухи о нем уже ходили. Затем проканцлер университета граф Аминов имел частную беседу с Арвидссоном, обещая в дальнейшем даже похлопотать за него, если только он согласен спокойно выехать из Або, не поднимая шума в университете. Но прежде чем выехать, Арвидссон обратился в так называемую консисторию университета за служебным свидетельством. Это дало повод некоторым членам консистории, в том числе профессору Бунсдорфу, потребовать от Аминова официальных разъяснений об увольнении и его причинах. Прежде всего был поставлен вопрос, каким образом правительство, без судебного следствия, установило вину Арвидссона. По мнению членов консистории, сам факт негласного расследования свидетельствовал о произволе и противоречил духу финляндской конституции. В ответ на это финляндский статс-секретарь Ребиндер пригрозил, что в случае неповиновения дело может окончиться закрытием университета. Профессора после этого смирились, а Бунсдорфа Ребиндер вынудил вскоре уйти в отставку, подобно тому, как был уволен и либеральный профессор Афцелиус, уехавший затем в Швецию.

Арвидссона также хотели изгнать из страны. Все его попытки получить работу в Финляндии или в Петербурге наталкивались на упорное желание властей избавиться от него. В поисках места он переселился в Борго, занимаясь в основном написанием автобиографии, являющейся одним из ценнейших документов эпохи. Для выяснения своего положения он обратился к графу Ребиндеру, который был там проездом. Считая даже само пребывание Арвидссона в Борго подозрительным и опасным, статс-секретарь следующим образом описал свою встречу с ним: «Он поселился постоянно в этом городе, что удивило всех, кто внимательно следит за действиями этого оруженосца либерализма. Уволенный из-за своего проступка, но намереваясь вернуть себе университетские права, он должен

---

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 1361, оп. 2, д. 53, лл. 18—19.

был бы, очевидно, избрать какой-нибудь глухой уголок для своего местожительства, чтобы таким образом дать по возможности меньше поводов для подозрений. Теперь же он, без всякой видимой на то причины, поселился в городе, где есть учебное заведение; стало быть, он упорно добивается общения с юношеством и потому лишь переносит место своих действий из Або в Борго. Тем самым его поведение становится все более подозрительным, и выбор теперешнего местопребывания ни в коей мере не увеличивает его шансов на помилование. Кроме того, он уже успел обворовать доброго здешнего епископа, которому я, однако, попытался раскрыть глаза. Арвидссон спросил меня, имеет ли он право, пока остается в силе увольнение его из университета, поступить на службу, и добавил, что в случае отказа он должен искать себе пропитания на чужбине. Я ответил ему, что в отношении своих прав он должен соблюдать законы, но поскольку он всегда высказывал недовольство теперешним положением Финляндии, ее правительством и законами вплоть до того, что говорил даже, чтобы буря уничтожила все гнилое (собственные его слова), то я посоветовал ему искать счастья в стране более просвещенной и преуспевающей, чем Финляндия»<sup>1</sup>.

Осенью 1823 года Арвидссон выехал в Швецию. Русскому послу в Стокгольме было поручено наблюдать за ним. А когда он, случайно получив визу, приехал в 1827 году в Финляндию, чтобы навестить родителей, ему было предложено безотлагательно покинуть ее.

В ту пору Арвидссон был еще преисполнен боевого духа. Подводя итоги финляндскому периоду своей жизни, он писал в автобиографии, завершенной в феврале 1823 года: «Я живу и умру при убеждении, что человек рожден для действия, а не для расслабляющего покоя; эгоизм и страх за себя еще не породили ничего благородного и похвального в этом мире. Все возвышенное и великое сопряжено с борьбой и битвами. Многим суждено погибнуть, дабы в конце концов победило время, этот могучий богатырь, неизменно стремящийся навстречу к божественному. Золото очищается в огне, а человечество — ценой крови павших сынов своих. Все, что гниет и разлагается, должно быть сожжено... Пусть осуждает меня и мои поступки тот, в чьей груди никогда не вспыхивала искра более светлого идеала и чье сердце никогда не билось во имя соотечественников и родного края»<sup>2</sup>.

Судьбу Арвидссона и те гонения, которым он подвергался, можно рассматривать как одно из проявлений общего напряжения в России в период подъема дворянской революционности,

<sup>1</sup> J. R. Danielson-Kalmari. Tien varrelta, I. Porvoo, 1928, s. 284.

<sup>2</sup> A. I. Arwidsson. Tutkielmia ja kirjoitelmia. Helsinki, 1909, s. LXXXI.



хотя финны в ту пору едва ли подозревали эту косвенную связь их личных судеб с движением декабристов, которые в своих планах будущего государственного устройства России, как известно, учитывали и Финляндию, предполагая включить ее в особую северную федерацию.

Надо полагать все же, что многие финны довольно скоро узнали о событиях на Сенатской площади. Финляндские сановники были озабочены тем, чтобы в этот критический момент заверить царя в лояльности финнов. Через неделю после восстания статс-секретарь Ребиндер просил прокурора Валлена прислать письмо, которое бы он, Ребиндер, «мог показать царю, чтобы засвидетельствовать ему наши чувства в этой обстановке»<sup>1</sup>.

Но и по отношению к Финляндии были приняты меры предосторожности. Настороженность правительства к финнам обострилась и в связи с некоторыми показаниями декабристов. На следствии М. П. Бестужев-Рюмин сообщил, что ему приходилось слышать о «всеобщем неудовольствии» в Финляндии и о желании ее жителей «возвратиться к Швеции». И хотя он добавил, что «в оном тайного общества нет, и мы с тем краем в сношении не были»<sup>2</sup>, однако Следственный комитет обратил внимание на это показание и потребовал более точных сведений, после чего Бестужев-Рюмин заявил, что о «негодовании, существующем в Финляндии», он слышал «неопределительно»<sup>3</sup>.

Подобные же вопросы относительно Финляндии были заданы во время следствия и другим декабристам, например, М. И. Муравьеву-Апостолу<sup>4</sup> и В. Л. Давыдову<sup>5</sup>, но они ответили, что о недовольстве финнов им ничего не было известно.

Тем не менее строгости правительства коснулись и Финляндии. В предписании царя финляндскому генерал-губернатору от 10 мая 1826 года указывалось, что еще 1 августа 1822 года особым рескриптом было повелено закрыть все масонские ложи и другие тайные общества. Однако «исследования о замыслах, предпринятых в прошедшее время против спокойствия государства», показали, что упомянутый рескрипт не возымел действия. В целях строгого его исполнения царь приказывал по части Финляндии:

«1. Все масонские и другие тайные общества, под каким бы названием они ни существовали, если таковые в Финляндии

---

<sup>1</sup> J. R. Danielson-Kalmari. Tien varrelta, III. Porvoo, 1930, s. 29.

<sup>2</sup> Восстание декабристов. Материалы. Под ред. М. В. Нечкиной. т. IX, М., 1950, стр. 41.

<sup>3</sup> Там же, стр. 65.

<sup>4</sup> Там же, стр. 222.

<sup>5</sup> Там же, т. X, стр. 197.

имеются, закрыть и впредь учреждения подобных обществ не дозволить.

2. От каждого из состоящих в Финляндии чиновников и должностных лиц военного и гражданского ведомства потребовать обязательство по приложенным при сем формам за собственноручным подписанием в том, что он впредь не будет принадлежать ни к масонскому ордену, ни к другому тайному обществу, какого бы оно ни было названия, а если кто пред сим и до присоединения Финляндии к Российской империи принадлежал к подобному обществу, то оному в обязательстве своем обязательно означить название, под которым таковое общество существовало, какова была онога цель и какие меры были употреблены или предполагалось употребить к достижению той цели»<sup>1</sup>.

Подобные подписки должны были сдаваться в финляндский сенат. И, судя по всему, они сдавались. В частности, сохранилась подписка от некоего Стихеуса<sup>2</sup>, сообщавшего, что в прошлом он вместе с названными им финляндскими чиновниками состоял членом «финляндской масонской ложи», под которой следует, вероятно, иметь в виду ложу «Valhall» (времен Аньяльского заговора). В том же деле хранится список финляндских чиновников с соответственными пометками об их принадлежности к тайным обществам<sup>3</sup>. Еще до этого предписания об «обязательствах» было повелено в двух финляндских городах, Або и Гельсингфорсе, сосредоточить «производство в Финляндии перлюстрации корреспонденции лиц, обращающих на себя почему-либо внимание»<sup>4</sup>.

В числе таких подозрительных лиц был и Арвидссон. Находясь в шведской эмиграции, он несколько раз добивался визы на въезд в Россию для собирания исторических материалов, но ему постоянно отказывали, даже в 40-е годы, когда его убеждения уже заметно поправились.

С точки зрения русско-финляндских отношений заслуживает внимания полемика Арвидссона с И. Вассером в конце 30-х годов. Вассер, как и его оппонент, был финляндским эмигрантом в Швеции. Не утратив интереса к своей родине, он в 1838 году издал в Стокгольме брошюру «О союзническом договоре 1812 года между Швецией и Россией»<sup>5</sup>, в которой выступил с особой концепцией относительно будущности Финляндии. По рассуждениям Вассера выходило, что Финляндия была не завоеванной провинцией, а самостоятельной страной, вышедшей

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 1361, оп. 2, д. 128, лл. 4—6.

<sup>2</sup> Там же, лл. 8—9.

<sup>3</sup> Там же, лл. 12—19.

<sup>4</sup> ЦГАМФ, ф. 19, оп. 6, д. 3, л. 16.

<sup>5</sup> I. Hwasser. Om allianstractaten emellan Sverige och Ryssland 1812. Stockholm, 1838.



из состава Швеции и объединившейся в добровольном союзе с Россией. История, по мнению Вассера, возложила на Финляндию важную миссию по распространению положительного содержания европейской цивилизации в России, среди «восточных племен». Европа была объята политическими страстями и волнениями, от которых ее культуру следовало «очистить», и это могли сделать финны, терпеливый и степенный народ, еще не зараженный безверием, сохранивший преданность своим правителям. В Финляндии, как уверял Вассер, европейская культура могла процветать в своем истинном виде, без буржуазного духа торгашества и наживы, а с другой стороны — без опасных политических крайностей. В восприятии Вассера европейская буржуазная цивилизация, преломленная сквозь призму патриархально-филистерских иллюзий, лишалась ее конкретно-исторического содержания, и Финляндия, носительница этой «истинной» цивилизации, должна была стать неким связующим звеном между самодержавно-крепостнической Россией и капиталистическим Западом.

Арвидссон в своем ответе Вассеру высмеял эти рассуждения об исторической миссии Финляндии как досужую фантазию. Если уж угодно было говорить о действительном влиянии западноевропейской культуры, то в таком случае нельзя было отбрасывать политических идей, а они, утверждал Арвидссон, проникали на восток отнюдь не через отсталую Финляндию, а какими-то иными путями. Он сослался при этом на декабристов, пользуясь докладом Следственной комиссии по их делу. «Судя по официальным документам, — писал по этому поводу Арвидссон, — европейские воззрения уже были однажды занесены в Россию, хотя и не на пользу ей, через посредство войск, находившихся за границей; это, уже в лучшем смысле, может случиться и в будущем. Большое число русских ежегодно посещает другие страны Европы, и со временем эти поездки не останутся без последствий»<sup>1</sup>.

Арвидссон под влиянием официальной версии о причинах восстания декабристов, разумеется, упрощал дело, будучи довольно далек от понимания действительной природы освободительного движения в России. Полагая, что влияние европейских воззрений, занесенных в Россию странствующими путешественниками, может пойти ей на пользу «в лучшем смысле», Арвидссон, вероятно, имел в виду возможность либеральных реформ. Как бы то ни было, но по сравнению с «романтическим идеализмом» Вассера Арвидссон все же перевел полемику в более реальную плоскость. Если с точки зрения Вассера Финляндия, страна «истинной культуры», должна была как-то примирить самодержавную Россию с буржуазной Европой или, по

---

<sup>1</sup> A. I. Arwidssonin tutkimuksia ja kirjoitelmia. Helsinki, 1909, s. 243.

крайней мере, посредничать между ними, то Арвидссон давал понять, что сама Финляндия с ее автономией являлась как бы средоточием этих двух полярностей, конституционное начало в ней постоянно приходило в столкновение с абсолютизмом. Финляндия, писал Арвидссон, «сможет сохранить остатки своей автономии не дольше, чем это угодно монарху»<sup>1</sup>.

Свой первый ответ Вассеру Арвидссон опубликовал под псевдонимом в 1838 году. Через три года, под другим псевдонимом, он выступил еще раз, причем его тон был уже куда более умеренным. Здесь уже не было и следа от его бывшего наступательного духа, теперь он советовал финнам не оказывать никакого сопротивления в случае нарушения их автономии, а только терпеливо ждать и надеяться на лучшие времена. «Может быть, настанет еще день, когда можно указать на коренную финскую словесность, а может быть, через столетия, также на независимый финский народ, но стремиться к этому следует медленно и мирно, чтобы строение достигло прочности, а не стало вавилонской башней и не разрушилось бы от бурь, при падении своем причиняя несчастья тысячам. С радостью и живейшими надеждами мы ожидаем этого времени, но до тех пор каждый друг отечества девизом жизни должен избрать правило: будь верен и бдителен!»<sup>2</sup>

Слова Арвидссона о возможности обретения финским народом независимости в далеком будущем не были случайной оговоркой. Ссылаясь на изменившееся политическое положение Финляндии после Фридрихсгамского мира, он еще в «Або Моргонбладе» указывал, что финны должны сами научиться управлять своей страной. Для Финляндии, писал Арвидссон в статье «Взгляд на наше отечество», «уже не пригодны старые формы; с наступлением нового дня должна быть зажжена новая жизнь! Разделяя участь себе подобных, она до сих пор считалась несовершеннолетней, но с приходом зрелости ей предоставлено право самоопределения (*rättigheten att bestämma sig själv*). Так пусть же она и в делах и в действиях своих проявит ту энергию, которую можно по праву требовать от того, кто уже считается достаточно сложившимся, чтобы освободиться от привязи»<sup>3</sup>. Здесь Арвидссон выражался еще несколько иносказательно, следуя своей обычной манере писания газетных статей. Более определенно он высказал эту мысль в 1832 году в одном из своих писем: «Я уже давно обдумываю одну идею, которая все более проясняется мне: под скипетром России Финляндия приобретет опыт и постепенно возвысится до положения самостоятельного государства. Это случится, по-видимому, только через сто-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, VII, s. 212.

<sup>3</sup> Åbo Morgonblad, 1821, N 2.



летия, но это ближе к цели, чем если бы ею (Финляндией) управляла Швеция»<sup>1</sup>.

Испытав на себе репрессии царизма, Арвидссон, однако, не утратил способности трезво оценивать обстановку и понимал, что присоединение Финляндии к России открыло лучшие, чем прежде, перспективы для развития финского национального движения. Он не стал слепым фанатиком антирусского национализма. Любопытно, что Я. К. Грот, наслушавшись вначале рассказов о неприязни Арвидссона к русским, а затем прочитав его брошюру «Финляндия и ее будущее», с удивлением отметил в своем дневнике, что в этом сочинении «вовсе не видно ожесточения против России»<sup>2</sup>.

## 6

В период «або-романтизма» литературные интересы финнов стали более разносторонними, охватывая не только западноевропейские литературы, но и русскую. Дело не ограничивалось только тем, что в университете преподавалась русская словесность. Ряд финляндских литераторов и ученых проявлял самостоятельный интерес к русской культуре. Несмотря на взаимные опасения и недоверие, постепенно зародилась идея русско-финляндского культурного сотрудничества. Некоторые литераторы подавали тому личный пример. Узами дружбы и общих интересов были связаны А. Шёгрэн и Ф. Глинка, А. Гиппинг и В. Брайкевич — оба последних встречались в Вольном обществе любителей российской словесности. Эти связи явились предтечей уже более частых личных встреч русских и финляндских литераторов в 40-е годы.

В 10—20-е годы в России появляются первые статьи о финляндской литературе, а в Финляндии — о русской, равно как и первые переводы русских авторов. Правда, практические возможности для ознакомления финнов с русской литературой в ту пору оставались еще очень скромными. Было мало периодических изданий, узок был круг читателей, в связи с чем издание каждой новой книги наталкивалось на серьезные материальные затруднения. Сказывалось и незнание языков: литераторы, владеющие русским языком, были в Финляндии редкостью, а в России мало кто знал шведский язык, тем более финский. Не случайно при первых же дружеских встречах финляндских и русских литераторов встал вопрос о взаимной помощи при переводах: Шёгрэн переводил для Ф. Глинки карело-финские руны, а Брайкевич перевел (с немецкого) статью Гиппинга.

<sup>1</sup> L. Castren. A. I. Arwidsson isänmaallisenä herättäjänä. Helsinki, 1951, ss. 420—421.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 1, д. 37, л. 6.

В первом номере финляндской «Мнемозины», вышедшем 2 января 1819 года, редакция, обращаясь к читателям с призывом присылать в журнал материалы по отечественной словесности, тут же добавляла: «что касается русской литературы, то мы ожидаем столь же благосклонного содействия со стороны ее друзей и знатоков». Правда, эти добрые намерения редакции осуществлялись слабо, как, впрочем, и ее обещания уделять серьезное внимание финской литературе. Русских материалов в «Мнемозине» печаталось немного. В 1820 году (№№ 42, 44) появилась переводная статья А. Писарева «Краткие сведения о славянской мифологии»; в ряде номеров за 1821—1822 годы публиковались статьи об изучении русского языка в финляндских учебных заведениях; и, наконец, в апрельском номере за 1823 год была помещена сравнительно обстоятельная статья из истории русского театра — «Зарождение драматургии в России». В статье рассказывалось о Симеоне Полоцком, о театре Волкова, о театральной деятельности Сумарокова.

Попытки освещать культурную жизнь России предпринимались также в «Або Моргонбладе». Как и большинство его соотечественников, Арвидссон не владел русским языком, и это обстоятельство мешало ему непосредственно знакомиться с русской культурой. Но оставались некоторые другие возможности. Одной из них была связь Арвидссона с проживавшими в Петербурге финнами, в той или иной мере осведомленными в русской культурной жизни. В числе петербургских знакомых Арвидссона были А. И. Шёгрэн, К. С. Форсман, книготорговец Бруцелиус. Люди, знающие русский язык, были и в Або — например, Эрстрём, с которым Арвидссон полемизировал по поводу преподавания русского языка финляндским студентам. Сведения о русской литературе, приобретенные Арвидссоном в ходе общения с упомянутыми лицами, едва ли могли быть особо глубокими и обширными. Но у него, видимо, были какие-то основания заявить, например, что и в России имела место борьба между романтиками и классицистами. В «Невинных безделках» он подчеркивал, что «литературное направление, известное под названием новой школы, не есть лишь чисто шведское явление, но обнаружило себя также в Дании, Англии, Франции, Италии и России». Эти слова Арвидссон сопроводил оговоркой, что не следует смешивать сторонников романтического искусства с «теми слепыми политическими революционерами, которые теперь, особенно в Италии, отличаются столь скандальными выступлениями»<sup>1</sup>. Но надо помнить, во-первых, что эта оговорка была сделана после запрещения «Або Моргонблада», когда издателя обвинили в подстрекательстве к бунту, а во-вторых, в своей автобиографии, не предназначенной для печати,

<sup>1</sup> Oskyldigt ingenting. Åbo, 1821, s. 12.



Арвидссон отзывался о «революциях в южной Европе» довольно-таки восторженно, как об этом уже упоминалось.

В русских материалах «Або Моргонблада», при всей их скудости, наблюдается определенная политическая тенденция, отличная от направления «Мнемозины». Либеральная оппозиционность Арвидссона сказалась и в выборе «русских тем». В трех номерах «Або Моргонблада» была, например, опубликована обширная рецензия на книгу Л. Якоба о преимуществах труда свободных крестьян по сравнению с крепостными.

Как известно, в конце XVIII и в начале XIX века вопрос об освобождении крестьян России от крепостной зависимости стал уже настолько острым, что вопреки всем препонам превратился в предмет гласного обсуждения. После радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» вышли книги Пнина, Кайсарова, Стройновского, где разными доводами обосновывалась необходимость отмены крепостного права. В 1812 году Вольное экономическое общество объявило конкурс на тему «о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда». Упомянутое сочинение профессора Якоба и явилось откликом на этот конкурс. Оно было удостоено высшей награды и опубликовано на немецком языке. Рецензия в «Або Моргонбладе» была написана на шведский перевод этой книги, вышедший в 1820 году в Гельсингфорсе<sup>1</sup>.

Рекомендуя финляндскому читателю сочинение Якоба, рецензент указывал, что оно заслуживает внимания во многих отношениях. Любопытный читатель мог почерпнуть из книги сведения об экономическом положении крестьянства в России и сравнить русское земледелие с финским. Оговорив, что сам он не является экономистом, рецензент тем не менее отметил, что на основании приведенных в книге Якоба данных можно было заключить, что финские крестьяне находились в лучшем положении, чем русские крепостные. Для доказательности в рецензии приводились большие выдержки из книги, а также давалось объяснение таких понятий, как тягло, барщина, оброк, боярские дети, холопы, дворовые люди, пахотные крестьяне и т. д. В заключение рецензент писал: «Мы надеемся, что с этой книгой ознакомится каждый читатель, желающий узнать о пагубных следствиях крепостничества».

Нечто познавательное для себя мог найти финляндский читатель и в помещенной в «Або Моргонбладе» (№№ 8,9) статье «Колоний на юге России». Эту статью, как указывает Л. Кастрен, написал Шёгрэн. В статье рассказывалось о колонизации Закавказья, Крыма и других причерноморских областей, дава-

---

<sup>1</sup> L. N. Jacob. Afhandling om lifegna och fria bönders arbete. Helsingfors, 1820.

лись сведения о населении, чрезвычайно пестром по национальному составу.

Как об одной из ранних попыток популяризации русской книги в Финляндии, следует упомянуть о помещенном в «Або Моргонбладе» (№ 14) объявлении касательно книжных фондов петербургского книготорговца Плавильщикова. В этой краткой заметке, подготовленной К. С. Форсманом, сообщалось, что Плавильщиков издал новый книжный каталог, не уступающий лучшим немецким образцам, и тем самым оказал услугу отечественной словесности. Каталог включал более семи тысяч названий книг и журналов, в том числе произведения русской литературы XVIII века. Из числа наиболее важных сочинений в объявлении упоминались сатирические журналы: «Адская почта» Ф. Эмина, «Трутень» и «Живописец» Н. Новикова.

В 1825 году в Або вышел в шведском переводе «Кавказский пленник» Пушкина<sup>1</sup>. Это был первый перевод пушкинской поэзии в Финляндии.

Перевел поэму Ф. А. Платен, личность в литературном отношении ничем особо не примечательная, но большой знаток языков, в том числе и русского. Офицер шведской армии, участник последней войны между Россией и Швецией, Платен после капитуляции гарнизона Свеаборгской крепости был пленен и отправлен до окончания военных действий в Великий Устюг Вологодской губернии. Здесь, видимо, и началось его знакомство с русским языком. В. Сёдергельм упоминает, что в бумагах Платена от этого времени сохранилась запись русской песни, сделанная рукой местной жительницы<sup>2</sup>. После плена Платен некоторое время провел в Швеции, но в 1814 году приехал в Петербург и поступил на гражданскую службу, сначала в особо учрежденный финляндский комитет, затем в министерство иностранных дел. Платен пытался сочинять политические трактаты, писал стихи по-шведски и по-французски, переводил с нескольких языков. В начале 20-х годов он, уйдя в отставку, переселился в Финляндию, где и издал «Кавказского пленника».

Переводу пушкинской поэмы Платен предпослал стихотворное посвящение поэту. Здесь говорилось о том, что муза Пушкина, посетившая Кавказ и воспевшая этот сказочный край в благозвучных стихах, теперь должна была облечься в иноязычные одежды и примириться с тем, что в них она уже не выглядела столь прекрасной, как на родной почве. Платен сравнил Пушкина с Тегнером — по его словам, это были две звезды по обе стороны Финляндии. В примечаниях к поэме давались краткие биографические сведения о Пушкине.

<sup>1</sup> A. Pusckin. Minne af Kaukasien. Åbo, 1825.

<sup>2</sup> W. Söderhjelm. Profiler ur finskt kulturliv. Helsingfors, 1913, s. 287.



В конце сороковых годов у Платена возникла мысль издать доработанный перевод «Кавказского пленника», тем более, что значительная часть прежнего тиража погибла при пожаре в Або в 1827 году. Платен подготовил и предисловие для нового издания, которое, однако, почему-то тогда не вышло. В 1882 году «Кавказский пленник» в переводе Платена был опубликован в журнале «Финск Тидскрифт».

Перевод этой пушкинской поэмы следует рассматривать как одно из проявлений пробудившегося интереса финнов к европейской романтической поэзии. Платен переводил также Мандзони и Ламартина, в двадцатые годы появились переводы Байрона, Мура, Шатобриана. Пушкина финны восприняли как выдающегося представителя русского романтизма. В связи с выходом из печати «Кавказского пленника» в переводе Платена газета «Або Тиднинггар» (№ 19, 1826) писала, что литература Финляндии тем самым обогатилась сочинением «очень популярного на своей родине молодого поэта». Газета рекомендовала перевод не только потому, что он давал финнам возможность ознакомиться с русской поэзией, большинству из них еще мало известной, но и по той причине, что «эта поэма, взятая сама по себе, должна заинтересовать всякого образованного читателя, безыскусственностью рассказа и добротностью стиха».

7

Подобно тому, как Ф. Платен впервые познал Россию и русский язык только в связи с превратностями войны, точно так же для ряда русских писателей знакомство с Финляндией началось во время русско-шведской войны 1808—1809 годов. Участником финляндского похода был Денис Давыдов. Это ему предлагал Баратынский воспеть «славу храбрых на войне».

Питомец Муз, питомец боя,  
Тебе, Давыдов, петь ее.  
Венком певца, венком героя  
Чело украшено твое.  
Ты видел финские граниты,  
Бесстрашных кровию омыты;  
По ним водил ты их строи.  
Ударь же в сгруны позабыты  
И вспомни подвиги твои.

В Финляндии воевал также Ф. Булгарин, впоследствии часто писавший о ней. Там побывал вместе с войсками и К. Н. Батюшков. В дружеском послании к сослуживцу И. А. Петину поэт в полушутливой манере поделился своими финляндскими

воспоминаниями, особо упомянув о сражении при местечке Иденсальми, во время которого сам Батюшков был в резерве.

О, любимец бога брани,  
Мой товарищ на войне!  
Я платил с тобою дани  
Богу славы не одне:  
Ты на кивере почтенном  
Лавры с миртом сочетал;  
Я в углу уединенном  
Незабудки собирал.

Помнишь ли, питомец славы,  
Иденсальми страшну ночь? —  
Не люблю такой забавы,  
Молвил я, — и с Музой прочь!  
Между тем, как ты штыками  
Шведов за лес провожал,  
Я геройскими руками...  
Ужин вам приготовлял.

Написанное в 1810 году, это стихотворение было частично включено в прозаический этюд Батюшкова, опубликованный в апрельской книжке «Вестника Европы» того же года под названием «Картина Финляндии. Отрывок из писем русского офицера». Отрывок представляет собой описание суровой природы Финляндии, с ее долгой зимой, угрюмыми утесами и бескрайними лесами. В этой связи уместно отметить, что финляндский литератор И. Эман в письме к Я. К. Гроту от 26 мая 1839 года<sup>1</sup> высказал ряд замечаний по поводу упомянутого отрывка Батюшкова. Эман назвал «Картину Финляндии» самым странным и неправдоподобным описанием, которое ему когда-либо приходилось читать. Сообщая о дошедшем до него предположении, что Батюшков отчасти использовал описание Америки, принадлежащее перу «некоего француза», Эман просил Грота при случае упомянуть об этом в каком-нибудь русском журнале. Сообщенное Эманом предположение имело под собой почву: как указывается в примечаниях ко второму тому сочинений Батюшкова под редакцией Л. Н. Майкова, в описание финляндской природы Батюшков внес заимствования из книги француза Ласепеда<sup>2</sup>.

Думается, что именно указанное письмо Эмана побудило Грота предупредить Плетнева относительно такой оценки финнами упомянутого отрывка Батюшкова. Плетнев был занят тогда статьей «Финляндия в русской поэзии», которая предназначалась для русско-финляндского литературного альманаха, на русском и шведском языках. Зная, что в статье речь идет и о Батюшкове, Грот в письме к Плетневу от 5 февраля 1841 г. подчеркивал, что «Батюшкова картина Финляндии здесь вовсе не пользуется репутацией верности, напротив! Притом она уже известна финляндцам, и вы о ней много не распространяйтесь»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 1072, л. 1.

<sup>2</sup> К. Н. Батюшков. Сочинения, т. II. СПб., 1885, стр. 381.

<sup>3</sup> Переписка, т. I, стр. 230.



Перечисляя материалы, которые могли оказаться полезными для статьи, Грот в том же письме спрашивал Плетнева: «Известны ли вам письма князя Гагарина (кажется) из Финляндии, под названием: Тринадцать дней в Финляндии. Пробегите ее: может быть, что-нибудь выпишете»<sup>1</sup>. Грот здесь имел в виду книгу, более точное заглавие которой «Тринадцать дней, или Финляндия». Она вышла анонимно в 1809 году в Москве. Плетнев в своей статье обошел ее молчанием — отчасти потому, что книга эта мало примечательна по своим литературным качествам (а Плетнев, как это ясно из его письма<sup>2</sup>, хотел познакомить финляндского читателя только с лучшими художественными образцами русской литературы), отчасти же по той причине, что уже в самом названии статьи ее тема ограничивается одной лишь поэзией, что подчеркивал и Плетнев<sup>3</sup>.

«Тринадцать дней» заслуживает все же упоминания как первая русская книга о Финляндии. Особенно интересны в ней сведения о характере финской народной культуры. Они, правда, заимствованы из иностранного сочинения, как об этом предупреждает автор, не указывая, впрочем, точного источника. Но сами по себе они довольно любопытны. «Финляндец родится с расположением к музыке и поэзии, — говорится в книге. — Часто внутри Финляндии бедная деревнишка, лежащая в глуши и болотах, имеет своего народного поэта, который, устремив иногда взор свой на полярную звезду или на месяц, зачинает с аккомпанированием некоторого рода арфы, называющейся канделью, простую песнь свою и приносит слушателям своим столько же удовольствия, сколько иногда, кстати сказать, стихотворцы наши причиняют нам скуки. Стихосложение финляндское имеет главным правилом повторение одинаковой буквы при начале каждого стиха»<sup>4</sup>.

После присоединения Финляндии к России постепенно стала выдвигаться идея русско-финляндского культурного сотрудничества. Ее сторонником был, в частности, А. И. Шёгрэн (1794—1855), известный финно-угровед, впоследствии член Петербургской Академии наук.

В 1955 году была впервые опубликована автобиография Шёгрена<sup>5</sup>, которая содержит много любопытных сведений об этом замечательном человеке и ученом. Сын сельского сапожника, Шёгрэн сумел получить всестороннее гуманитарное образование. В автобиографии он рассказывает, что еще в лицее у него зародилась жажда к знаниям. Особенно повлияло на него чтение Гердера, привившего ему любовь к духовной куль-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 230.

<sup>2</sup> Там же, стр. 227—228.

<sup>3</sup> Там же, стр. 237.

<sup>4</sup> Тринадцать дней, или Финляндия. М., 1809, стр. 51.

<sup>5</sup> A. J. Sjögren. Tutkijan tieni. Helsinki, 1955.

туре народа. Летом 1816 года один из товарищей Шёгрена по университету, Стрельман, предложил ему провести каникулы в пасторате отца, в селе Губаница под Петербургом. Шёгрэн с готовностью принял это предложение, ибо многонациональная Россия уже давно рисовалась его воображению как «удивительная страна живых достопримечательностей».

Вскоре Шёгрэн познакомился в Петербурге с другим финном, А. Гиппингом (1788—1862), автором ряда работ по истории Ингерманландии. В ту пору Гиппинг служил в библиотеке графа Н. П. Румянцева (находившейся тогда в Петербурге) и обещал помочь Шёгрэну, плохо обеспеченному материально, в получении работы в русской столице, чтобы иметь возможность одновременно заниматься наукой. Весной 1820 года Шёгрэн, наконец, согласился на место домашнего учителя в семье уже упоминавшегося Сигнеуса, лютеранского епископа в Петербурге. Одним из его учеников был Фредрик Сигнеус, будущий поэт и литературный критик.

Через Гиппинга Шёгрэн получил доступ к фондам библиотеки Румянцева, в том числе по истории русской культуры. Шёгрэн рассказывает, что для языковой практики он усиленно занимался переводами русских книг на немецкий язык и, в частности, перевел «Исторический словарь греко-российских писателей духовного звания» Евгения. В дальнейшем, продолжает Шёгрэн, предметом его занятий стала история России, главным образом в ее отношении к истории северных стран вообще и финских народностей в особенности. С этой целью он «просмотрел Историю Карамзина и сочинения многих новейших исследователей, а также сами источники, летопись Нестора и другие древнеславянские летописи, включая опубликованные к ним научные аппараты, какие только попадались на глаза»<sup>1</sup>.

Среди петербургских знакомых Шёгрена были и некоторые русские литераторы. Он пишет, в частности, что встречался с «молодым русским писателем Лобойко», общим другом Гиппинга и датского филолога Расмуса Раска, который также был в Петербурге и с которым сам Шёгрэн познакомился еще в Або. Очевидно, речь идет об И. Н. Лобойко (1787—1861), воспитаннике Харьковского университета, а впоследствии профессоре Виленского университета. И. Н. Лобойко интересовался скандинавской филологией, опубликовал книгу «Взгляд на древнюю словесность скандинавского севера» (СПб., 1821), в которой даются сведения о скандинавских языках, древнеисландских скальдах, сагах и обычаях, о скандинавской историографии, а в конце книги автор выражает признательность «почтенному своему наставнику» Расмусу Раску, пробудившему в нем интерес к скандинавистике.

<sup>1</sup> Там же, стр. 87—88.



Шёгрэн сообщает, что Лобойко предложил ему написать сочинение о структуре финского языка, которое бы он, Лобойко, перевел затем с немецкого на русский и поместил в каком-нибудь периодическом издании с целью привлечь к предмету внимание русской общественности. Шёгрэн принялся за дело, а когда рукопись была готова, Гиппинг представил ее графу Румянцеву, который заинтересовался ею и, пригласив к себе автора, предложил средства для ее издания. Так в мае 1821 года появилась небольшая книжка «О финском языке и литературе»<sup>1</sup>. В ней Шёгрэн писал, что «после присоединения всей Финляндии к России в самой литературе наступила новая эпоха»<sup>2</sup>. Новое заключалось, по мнению Шёгрэна, в том, что финны, получив автономию, стали проявлять живой интерес к родному языку и словесности. Изложив усилия финских филологов в этой области, Шёгрэн выразил надежду, что это «облегчит изучение финского языка также для наших братьев русских. Мы уверены, что они не останутся к этому равнодушны. Уже прошли, надо полагать, те времена, когда финнов считали варварами, а на их язык смотрели как на мешанину грубых и диких звуков презренного народа. Финский язык представляет для русских не только общий интерес, какого он заслуживает уже сам по себе как язык весьма примечательный, но покажется им важным и как язык ряда слившихся с ними народностей, в результате изучения которых многое может проясниться в самой русской истории. И только после того, как русские и финны будут также и в области литературы трудиться по-братски вместе на благо их общего отечества, только тогда можно надеяться, что их обоюдные исторические изыскания будут отличаться большей проницательностью и широтой кругозора. Только тогда возможно исследовать и проживающие среди русских финские племена, сравнить их с точки зрения языка и обычаев с собственно финнами, а также выяснить их отношения как между собой, так и с русскими»<sup>3</sup>.

Деятельность самого Шёгрэна, его работу в Петербургской Академии наук можно рассматривать как практическое служение идее русско-финляндского культурного сотрудничества. Помимо своих научных изысканий, Шёгрэн содействовал взаимному культурному сближению финнов и русских также посредством личных связей. Живя в Петербурге и имея возможность следить за русской научно-литературной жизнью, он вместе с тем был в курсе событий на своей родине, переписывался с очень многими финляндскими литераторами, а иногда и встре-

---

<sup>1</sup> A. J. Sjögren. Ueber die finnische Sprache und ihre Literatur. St.-Petersburg, 1821.

<sup>2</sup> Там же, стр. 2.

<sup>3</sup> Там же, стр. 7—8.

чался с ними либо в Гельсингфорсе, либо в русской столице и оказывал им всяческую помощь, как, например, М. Кастрену в период его научных странствий по Сибири.

Шёгрэн был лингвист, в первую очередь его занимали вопросы сравнительного языкознания. Но наряду с этим он питал интерес и к народной поэзии. Уже в упомянутой его книге «О финском языке и литературе» были приведены в качестве приложения финские пословицы. В дальнейшем Шёгрэн записывал народные руны в Карелии и, будучи в конце 1827 года в Петрозаводске, встретился там с ссыльным поэтом Федором Глинкой. Еще на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности Ф. Глинка, президент этого общества, мог получить некоторые сведения о карело-финской народной поэзии. Кандидат Харьковского университета В. И. Брайкевич в 1820—1821 годах читал на трех заседаниях Вольного общества большую статью «О северной поэзии, ее происхождении и характере», где давалось довольно много сведений о карело-финских рунах. Теперь же, при встрече с Шёгреном в Петрозаводске, Глинка ознакомился с текстами нескольких рун в «изульном переводе» своего нового друга. Глинка, в ту пору занятый своими «карельскими поэмами», живо заинтересовался рунами и не замедлил переложить отдельные отрывки из них на русский язык. В 1828 году в журнале «Славянин» появились в переводе Ф. Глинки фрагменты руны о состязании в пении между Вьяньямейненом и Иоукахайненом («Вейнамена и Юковайна»). В другом переводе Глинки — «Рождение арфы» — описывается изготовление кантеле Вьяньямейненом. Переводчик сообщал, что «это древнее финское стихотворение, написанное размером подлинника, с изульного перевода проф. Шёгрена». В примечании Глинка писал: «Известный профессор Шёгрэн два раза проходил скалистую Финляндию и олонецкие леса с целью исследования языка финских племен. По зимам заходил он отогреться в Петрозаводск и словесно переводил мне некоторые из финских стихотворений, имеющих свой особенный размер без рифм, но звучный и приятный»<sup>1</sup>. В бумагах Ф. Глинки, как об этом сообщает В. Г. Базанов, сохранилось дружеское стихотворное послание поэта к Шёгрену под названием «Петрозаводская руна»:

Долго, долго, доктор милый!  
Ждал я жадно ваших писем:  
Где-то Шёгрэн наш гуляет?  
Там ли, где в тиши зыряне,  
Дети добрые природы,

<sup>1</sup> Ф. Глинка. Избранное. Подготовка текстов к печати, примечания и послесловие В. Г. Базанова. Петрозаводск, 1949, стр. 104.



По дубравам дичь стреляют,  
Водят пчел в дуплах древесных,  
Нравом кротки и не знают  
Мелких краж и вероломства. Иль в Карелу  
Он пошел опять на поиск?  
Не в отчизне Вейнемейны?  
Где б ты ни был, доктор добрый,  
Так я думал... над тобой:  
Мир почий и милость бога,  
И спаси тебя святая...

Дружеская встреча Шёгрена с Глинкой оказалась плодотворной. В. Базанов справедливо называет Глинку первым русским переводчиком карело-финских рун<sup>1</sup>. С другой стороны, Шёгрена интересовал русский фольклор. Как отмечает финляндский исследователь И. Хейкинхеймо, Шёгрэн еще в 1816 году, во время своего пребывания в Петербурге и его окрестностях, записывал русские народные песни, которые настолько увлекли его своей «сердечной и как бы улыбающейся меланхолией», что для него стало привычкой подолгу напевать их, и он даже намеревался подготовить их переводы. Когда Шёгрэн сообщил об этих своих увлечениях К. А. Готлунду, тогда еще молодому студенту в Упсале, только готовившемуся к открытым выступлениям за права финского языка, тот отнесся к занятиям своего друга весьма ревниво и даже опасался, что славянская филология отвлечет Шёгрена от изучения финно-угорских языков. Готлунд не замедлил осыпать его упреками, которые Шёгрэн воспринял без обиды и даже с удовлетворением, ибо в горячности Готлунда увидел один из симптомов роста финского национального самосознания и интереса к духовной культуре родного народа<sup>2</sup>.

Об упомянутом А. Гиппинге следует добавить, что он являлся членом-сотрудником Вольного общества любителей российской словесности. Гиппинг был командирован в Петербург финляндским сенатом для собирания исторических материалов из русских архивов. Еще в 1810 году он издал шведско-русский разговорник<sup>3</sup>. В Вольное общество он был принят 12 января 1820 года и, судя по протоколам, присутствовал на ряде заседаний<sup>4</sup>. 22 марта упомянутого года на том же самом заседании,

<sup>1</sup> В. Базанов. Карельские поэмы Федора Глинки. Петрозаводск, 1945, стр. 107.

<sup>2</sup> I. Heikinheimo. K. A. Gottlund. Elämä ja toiminta, I. Porvoo, 1933, s. 273—274.

<sup>3</sup> A. Hipping. Försök till svenska och ryska samtal. Petersburg, 1810.

<sup>4</sup> См. «Журнал ученых упражнений высочайше утвержденного С.-Петербургского Вольного общества любителей российской словесности». — «Приложение» в книге: В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 325—410.

на котором В. И. Брайкевич начал чтение своей статьи «О северной поэзии, ее происхождении и характере», было заслушано также сочинение Гиппинга «Об упоминаемом в славянских летописях походе русских в Финляндию» в переводе с немецкого языка, на котором это сочинение в 1820 году вышло в Петербурге<sup>1</sup>. 11 октября того же года была зачитана статья Гиппинга «О финской литературе» в переводе (с немецкого же) В. И. Брайкевича. Статья была одобрена и вскоре напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения». В начале статьи переводчик писал: «Прошло десять лет, как Финляндия соединена с Россиею, но у нас до сих пор никто еще не писал о ее литературе. По сей причине почтенный А. Гиппинг, урожденный финляндец, желая изъявить вам, мм. гг., благодарность свою за избрание его в сочлены вашего общества, предложил мне перевести его сочинение о сем предмете»<sup>2</sup>. В статье подчеркивалось, что под финской литературой следует понимать сочинения не только на финском, но и на шведском и латинском языках (укажем, что на протяжении первой половины XIX века и даже несколько позднее университетские диссертации в Финляндии писались, как правило, на латыни). В статье упоминалось о распространенности шведского языка в образованных финляндских кругах, и «по сему на языке природном (финском), предоставленном единственно простому народу, писали весьма немногие, однако же занимались исследованием свойств его»<sup>3</sup>. Перечислению и краткой характеристике существовавших в то время грамматик финского языка и была, в основном, посвящена статья Гиппинга. Любопытно замечание автора о Якко Ютейни (в статье он именуется Юден), выпустившем много книг для крестьян. Гиппинг писал о нем, что это был «давно уже известный своими стихотворческими сочинениями и любимый всеми писатель»<sup>4</sup>.

Можно полагать, что Брайкевичу при написании его статьи «О северной поэзии» (статья эта в основном переводная, что оговорено в «Журнале ученых упражнений») в какой-то мере помогал советами и справками Гиппинг, который мог порекомендовать нужные сочинения. В частности, незадолго до того в Швеции вышли книги Рюса «Финляндия и ее жители» (1817) и Шрётера «Финские руны» (1819); обе эти книги, содержавшие сведения о народной поэзии, вызвали значительный резонанс в Финляндии и были, по всей вероятности, известны Гиппингу.

Известно, что с 1823 года Гиппинг был уже пастором в Фин-

<sup>1</sup> А. Hipping. Bermerkungen ueber einen Kriegszug der Russen nach Finland. Petersburg, 1820.

<sup>2</sup> Соревнователь просвещения и благотворения, 1820, VII, стр. 213.

<sup>3</sup> Там же, стр. 213—214.

<sup>4</sup> Там же, стр. 215.



ляндии. В дальнейшем он писал историю Ингерманландии, в 1836 году вышел первый ее том<sup>1</sup>, а в 1853 году два последующих тома еще в рукописи были удостоены Демидовской премии.

О Гиппинге писал Грот в своей статье «Ученая беседа в Гельсингфорсе», напечатанной в 1846 году в «Современнике». Он охарактеризовал Гиппинга как одного из самых «деятельных членов общества и ученых Финляндии вообще. Труды его тем занимательнее для нас, что по большей части касаются вопросов, тесно связанных с историею русской старины... Г. Гиппинг сверх того — автор первой статьи, появившейся в русском журнале касательно финляндской литературы». Дальше Грот привел выдержку из упомянутой уже статьи в «Соревнователе», которую, по его словам, «тогда только что вводился новый интерес в нашу словесность»<sup>2</sup>.

Этот интерес к Финляндии вытекал из тех общих задач, которые выдвигались русскими романтиками 20-х годов. В борьбе за национальную самобытность литературы было обращено особое внимание на тот факт, что Россия объединяет в себе необычайное многообразие племен и народов. В этой этнической пестроте романтики открыли для себя новый предмет поэзии, отличающийся богатством «местного колорита». Орест Сомов, один из тогдашних теоретиков русского романтизма, восклицал: «Столько различных народов слилось под одно название русских или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими! Столько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору в одном объеме России совокупной!» Обращая внимание русских писателей также и на финский народ, Орест Сомов призывал их «окинуть взором края России, обитаемые пылкими поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями средней Колхиды, потомками переселенцев, видевших Овидия, остатками некогда грозных России татар, многообразными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, соверными лапландцами и самоедами»<sup>3</sup>.

В 20—30-е годы в русской поэзии появился целый ряд произведений, в которых культивировалась эта местная тематика, связанная с нерусскими национальностями России. Сюда относятся, в частности, и «Карельские поэмы» Глинки, «Песня лопаря» Кюхельбекера, «Эда» Баратынского и его стихотворения о Финляндии.

---

<sup>1</sup> A. Hipping. Neva och Nyenskans intill St. Peterburgs anläggning. I. Helsingfors, 1836.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды, т. 1. СПб., 1898, стр. 332.

<sup>3</sup> Сомов О. О романтической поэзии. СПб., 1823 стр. 86.

С точки зрения русско-финляндских литературных отношений имя Баратынского — «финляндского отшельника», как он сам себя называл, заслуживает особого внимания. Около шести лет (1820—1825) провел он в Финляндии на военной службе. Поддерживая оживленную связь со своими литературными друзьями в Петербурге и Москве, Баратынский вместе с тем являлся центром литературного кружка из числа офицеров Нейшлотского полка, в котором он служил. В этом отношении большой интерес представляют воспоминания Н. М. Коншина о Баратынском, известные нам по весьма подробному описанию П. Бейсова<sup>1</sup>, обнаружившего их несколько лет тому назад в архивных фондах Ульяновского краеведческого музея.

«Воспоминания о Баратынском, или четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 гг.» были написаны Коншиным в 1844 году и предназначались для «Современника», но цензура не пропустила их, мотивируя это тем, что они напомнили бы читателю о судьбе декабристов. Коншин, ротный командир Нейшлотского полка, в котором служил и Баратынский, был близким другом поэта, посвятившего ему несколько поэтических посланий. Обращаясь мысленно к памяти друга, Коншин в своих воспоминаниях подчеркивал, что пишет «не литературную статью, не критику стихотворений великого таланта», но пытается обрисовать поэта как личность, «как человека»: «Я, связанный с тобою моими лучшими воспоминаниями, спутник твоей блестящей юности, четырех тяжелых, но славных лет жизни твоей, все это время топтавший вместе с тобой камни и снега Финляндии, откуда пропел ты своей России свои сладкие песни, я хочу побеседовать о тебе с самим собою и с немногими из друзей наших, еще уцелевшими. Я хочу говорить вслух: сограждане знают песни твои, но тебя, как человека, едва ли кто знал ближе, чем я»<sup>2</sup>.

Коншин сам был поэтом. Литературой интересовались и другие сослуживцы Баратынского из финляндского его окружения. По словам Коншина, это «был уголок европейской образованности и поэзии», круг друзей, к которому «с гордостью принадлежали все финляндцы, носившие нейшлотские мундиры». Автор воспоминаний рассказывает о том, как «в далекой на Севере деревянной казарме, полузанесенной снегом финским, шли разговоры о поэзии, науке, о родине»<sup>3</sup>.

В кругу полковых друзей Баратынский впервые прочитал свое стихотворение «Финляндия», которое 10 марта 1820 года

<sup>1</sup> Бейсов П. Из истории Вольного общества («Парижская лекция» В. К. Кюхельбекера, «Воспоминания о Баратынском» Н. Коншина). — Сб. «Литературный Ульяновск», изд-во «Ульяновская правда», 1955, стр. 188—221.

<sup>2</sup> Там же, стр. 212.

<sup>3</sup> Там же, стр. 213.



было оглашено также на заседании Вольного общества любителей российской словесности и вскоре напечатано в «Соревнователе просвещения». Поэт приветствовал новую страну, куда его забросила судьба:

В свои расселины вы приняли певца,  
Граниты финские, граниты вековые,  
Земли ледяного венца  
Богатыри сторожевые.  
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон  
Громадам, миру современным:  
Подобно им, да будет он  
Во все години неизменным!

Вслед за Батюшковым и Жуковским Баратынский смешивал скандинавскую мифологию с финской. Его описание природы Финляндии завершается восклицанием:

Так вот отечество Одиновых детей,  
Грозы народов отдаленных!  
Так это колыбель их беспокойных дней,  
Разбоям громким посвященных!

Предаваясь элегическому размышлению о бренности бытия, поэт противопоставляет «нашему ветреному племени» героические деяния предков.

Умолк призывный щит, не слышен Скальда глас,  
Воспламененный дуб угас,  
Развеял буйный ветер торжественные клики,  
Сыны не ведают о подвигах отцов;  
И в дольном прахе их богов  
Лежат низверженные лики!  
И все вокруг меня в глубокой тишине!

Это напоминает стихи шведских и финляндских романтиков, для которых было характерно обращение к героическому прошлому. Финны при этом сожалели, что в их истории не было своей эпохи викингов, и потому им приходилось в сильной степени прибегать к вымыслу, когда они воспевали былую «мощь Севера», как, например, Арвидссон.

Природа Финляндии, как рассказывает Коншин, поразила Баратынского «своим диким великолепием», но вместе с тем поэт чувствовал себя изгнанником в этой стране. В послании «Дельвигу» он писал: «И воды чуждые шумят у ног моих, И на ногах моих оковы». В конце 1820 года Баратынский получил отпуск и выехал в Петербург, надеясь более уже не возвра-

щаться в Нейшлотский полк. С этим связано стихотворение «Отъезд» — поэтическое прощание с Финляндией.

Прощай, отчизна непогоды, Печальная страна, Где дочь любимая природы, Безжизненна весна; Где солнце нехотя сияет, Где сосен вечный шум, И моря рев, и все питает Безумье мрачных дум; Где, отлученный от отчизны Враждебною судьбой,	Изнемогал без укоризны Изгнанник молодой; Где позабыт молвой гремячей, Но все душой пиит, Своею Музою летучей Он не был позабыт! Теперь, для сладкого свиданья, Спешу к стране родной; В воображеньи край изгнанья Последует за мной . . .
---	---

Довольно часто посещая Петербург, Баратынский был окружен здесь либерально настроенной молодежью. Он присутствует на заседаниях Вольного общества и в марте 1821 года становится его членом. За Баратынским закрепляется репутация «певца Финляндии». Сближение поэта с передовыми общественно-литературными кругами в период подъема освободительного движения положительно отразилось на его творчестве. Правда, поэзия Баратынского и в эти годы отличается некоторой противоречивостью настроений. Поэтом иногда овладевает желание укрыться от житейских бурь, отказаться от всяких попыток «переиначить» мир, каким бы неблагоустроенным он ни был. Эту философию «разумного мужа» Баратынский изложил в послании «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» (написано не позднее 1823 года). Пушкин заметил по поводу этого стихотворения, что в нем «мало перцу», а Белинский впоследствии подчеркнул, что восхваляемое в послании «благоразумие не всегда разумность: часто бывает оно то равнодушием и апатиею, то эгоизмом»<sup>1</sup>.

Наряду с этим в стихах Баратынского финляндского периода звучат вольнолюбивые мотивы, особенно усилившиеся к середине 20-х годов. Еще в 1821 году он написал стихотворение «Водопад». По словам Коншина, стихотворение было написано после того, как Баратынский посетил водопад Иматра. Оно примечательно тем, что здесь прославляется мятежная стихия, нашедшая отзыв в душе поэта.

Шумы, шуми с крутой вер- шины, Не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой	С протяжным отзывом долины. Я слышу: свищет Аквилон, Качает елию скрыпучей,
---	---

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VI. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 479.



И с непогодой ревучей  
Твой рев мятежный соглашен.

Каким-то вещим трепетаньем?

Зачем, с безумным ожиданьем,  
К тебе прислушиваюсь я?  
Зачем трепещет грудь моя

Как очарованный, стою  
Над дымной бездною твоею  
И, мнится, сердцем разумею  
Речь безглагольную твою ...

С особой силой эти мятежные настроения Баратынского выразились в другом его стихотворении — «Буря». По свидетельству Коншина, оно было написано после того, как Баратынский в местечке Роченсальм увидел с прибрежных скал по-осеннему бурное море. Вид неукротимой стихии пробуждает в поэте томительную жажду «бурь» и свободы. Хотя своим усталым сердцем он уже не ждет от жизни ничего отрадного, но рабство и покой для него невыносимы. И потому он нетерпеливо вопрошает:

Иль вечным будет заточенье?  
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?  
Но знай: Красой далеких стран  
Не очаровано мое воображенье.  
Под небом лучшим обрести  
Я лучшей доли не сумею;  
Вновь не могу душой моею  
В краю цветущем расцвести.  
Меж тем от прихоти судьбины,  
Меж тем от медленной отравы бытия,  
В покое раболепном я  
Ждать не хочу своей кончины;  
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,  
Она отраднее гордыне человека!  
Как жаждал радостей младых  
Я на заре молодого века,  
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;  
Он веселит меня, твой грозный дикий рев,  
Как зов к давно желанной брани,  
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

Центральным произведением Баратынского, написанным на финляндскую тему, является поэма «Эда». Вчерне она была написана в 1824 году в Финляндии и завершена во второй половине 1825 года в Москве. В том же году поэма отрывками печаталась в разных периодических изданиях, а в 1826 году вышла отдельным изданием с предисловием автора, однако без эпилога, написанного еще в 1824 году в Гельсингфорсе. Первоначально эпилог, в котором поэт выражал сочувствие покорен-

ной Финляндии и пел «славу падшему народу», был передан Кюхельбекеру для опубликования в «Мнемозине», но цензура не пропустила его. Вслед за тем А. Бестужев и Рылеев намеревались напечатать эпилог в альманахе «Звездочка» на 1826 год, однако после восстания на Сенатской площади материалы альманаха были конфискованы. Впервые эпилог появился в печати только в 1860 году.

Действие в поэме, как указал в предисловии автор, происходит в 1807 году, накануне последней войны между Россией и Швецией, когда во многих пограничных финляндских селениях уже стояли русские войска. Баратынский писал «Эду» на основе живых наблюдений, подчеркнув это в предисловии к своей «финляндской повести», как он сам назвал поэму. Указывая на своеобразие природы Финляндии, поэт отмечал, что жители этого края «отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев». В предисловии Баратынский признавался читателю, что «долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская и нравы ее жителей глубоко запечатлелись в его воображении»<sup>1</sup>.

В «Эде» отчетливо ощутим местный колорит, особенно в описаниях природы. Вместе с тем поэма Баратынского несколько отличается от современных ей романтических поэм спокойной простотой повествования, отсутствием эффектных сюжетных ходов. В поэме действуют подчеркнута обыкновенные люди, о самой героине говорится, что она «отца простого дочь простая». Поэт уже в предисловии указал на эту «обыкновенность» своей поэмы, заметив при этом, что «в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение»<sup>2</sup>.

При всей незамысловатости истории соблазнения доверчивой Эды гусарским «шалуном бесчинным», Баратынский сумел создать психологически правдивые, отличные друг от друга характеры, показав себя мастером изображения «сокрытых движений» человеческого сердца. Пушкин писал Дельвигу 20 февраля 1826 года: «Что за прелесть Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по-своему. А описание лифляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с

---

<sup>1</sup> Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, стр. 419.

<sup>2</sup> Там же, стр. 420.



отцом! — чудо!»<sup>1</sup> Автора «Эды» Пушкин приветствовал стихами:

Стих каждый в повести твоей  
Звучит и блещет, как червонец.  
Твоя чухоночка, ей-ей,  
Гречанок Байрона милей,  
А твой зоил прямой чухонец.

В неоконченной статье о Баратынском, написанной в начале 30-х годов, Пушкин отметил, что критики не поняли безыскусственной простоты «Эды» и нашли ее ничтожной, «ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий». Но, продолжал Пушкин, «перечтите сию простую восхитительную повесть; вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь»<sup>2</sup>.

В 1825 году Баратынский был произведен в прапорщики, и это дало ему право располагать собой. Он тотчас же уволился из армии и поселился в Москве. По поводу окончания финляндского периода жизни поэта Коншин в своих воспоминаниях пишет: «Оставляя Финляндию, с гордостью шел он написать на последнем ее камне эти прекрасные стихи одной оды своей:

Меня тяготил печалей груз,  
Но не упал я перед роком:  
Нашел отраду в песнях муз  
И в равнодушии высоком;  
И светом презренный удел  
Облагодить я умел! ...»<sup>3</sup>

В позднем творчестве Баратынского усиливаются пессимистические мотивы. Свою роль здесь сыграло поражение декабристов, со многими из которых поэт был связан узами личной дружбы.

В письмах поэт жаловался на духовное одиночество, жизнь в Москве казалась ему «новым изгнанием». В 1839 году он писал Плетневу: «Эти последние десятилетия существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения»<sup>4</sup>. Противоречия в творчестве поэта все более углублялись. В прежних своих идеалах он уже разуверился, а новых усвоить не мог. Порой он и сам чувствовал свой отрыв от передовых тенден-

---

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. АН СССР, Л., 1937, стр. 262.

<sup>2</sup> Там же, т. XI, стр. 186—187.

<sup>3</sup> «Литературный Ульяновск», 1955, стр. 221.

<sup>4</sup> Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, стр. 528.

ций эпохи, пытался как-то понять их, но безуспешно. В его сознании победа буржуазных отношений означала гибель духовной культуры человечества, якобы несовместимой с развитием материальной культуры. В век всеобщих «промышленных забот» поэзия людям уже не нужна — эту мысль Баратынский повторял неоднократно, с особенной силой в стихотворении «Последний поэт» (1835).

Пессимистический взгляд на судьбы искусства в будущем был характерен и для некоторых финляндских литераторов. В частности, с «Последним поэтом» Баратынского довольно близко перекликается стихотворение Л. Стенбека «Родина». Лирический герой Стенбека, также поэт, ищет «истинную родину», где люди, еще не знающие цивилизации и ее губительных последствий, смогли бы понять его песни. Ни в городах, ни в связанных с ними приморских селениях нет приюта для поэта. Он находит его только в далекой глуши, в крестьянских лачугах, обитатели которых изолированы от всего остального мира. В мыслях своих герой Баратынского также направляет свои стопы «в немую глушь, в безлюдный край», но в отличие от героя Стенбека он уже совсем разуверился в возможности спастись от всепроникающего культа корыстной «пользы» и знает, что на земле уже никому не нужны «улыбчивые сны» поэта.

Мысль о несовместимости искусства и торгашеских расчетов выражена также в стихотворении Баратынского «Мадона». Но в то же время поэт здесь сближает искусство с религией, в образе мадонны сливаются воедино «вера и гений». Это стихотворение Баратынского было известно и в Финляндии. В 1838 году оно появилось в шведском переводе в газете «Борго Тиднинг» (№ 40).

С творчеством Баратынского финны могли более широко ознакомиться по статье Плетнева «Финляндия в русской поэзии», опубликованной в 1842 году в «Альманахе в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета». Значительная часть статьи посвящена творчеству Баратынского финляндского периода, в ней приводится ряд отрывков из его стихотворений о Финляндии. Обращаясь к финляндскому писателю Ф. Сигнеусу (статья написана в форме дружеского послания к нему), Плетнев напоминал вкратце биографию Баратынского и рекомендовал его как первоклассного поэта. «У вас он был юношей и впечатления принимал со всею живостию ранней молодости. Его стихотворения, на русском языке, принадлежат к разряду самых обработанных и блестящих»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, стр. 447.



В том же, 1825 году, когда Ф. Платен перевел «Кавказского пленника», Пушкин вступил в полемику с А. А. Мухановым по поводу путевых заметок г-жи Сталь о Финляндии. В книге «Десять лет в изгнании», вышедшей посмертно, г-жа Сталь, спасавшаяся от преследований Наполеона, описала свое пребывание в России, а затем переезд через Финляндию в Швецию. Ее финляндские впечатления были довольно безрадостны, природа края с ее бескрайними лесами показалась ей угрюмой. Нелестные отзывы писательницы о финляндской глуши, ее шутка о том, что вокруг Абоского университета рыскали волки и медведи, — все это показалось обидным А. Муханову, который был в восторге от Финляндии, зная ее по военной службе (он служил там одновременно с Баратынским в должности адъютанта Закревского, финляндского генерал-губернатора). В «Сыне отечества» (№ 10, 1825) Муханов напечатал «Отрывки г-жи Сталь о Финляндии, с замечаниями», где о знаменитой писательнице говорилось в крайне пренебрежительном тоне. Она именовалась «барыней», представительницей «щепетильных французинов» и т. д. Отвечая Муханову в «Московском телеграфе» (№ 12, 1825), Пушкин указал на неуместность такого лексикона по отношению к г-же Сталь, автору «Коринны» и «Дельфины». Гонимая «деятельным деспотизмом Наполеона, принимая мучительное участие в политическом состоянии Европы, она, — писал Пушкин, — не могла, конечно, в сие время (в осень 1812 года) сохранить ясность души, потребную для наслаждения красотою природы. Не мудрено, что почернелые скалы, дремучие леса и озера наводили на нее уныние». «О сей барыне, — писал далее Пушкин, подхватывая словечко Муханова, — должно было говорить языком вежливым образованного человека. Эту барыню удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки, не весьма острой и весьма неприличной»<sup>1</sup>.

Отвергая эту неудачную попытку Муханова «вступиться» за Финляндию, Пушкин вместе с тем питал интерес к этому краю и его жителям. Упоминания о финнах встречаются в стихах поэта. Это отметил еще П. А. Плетнев в статье «Финляндия в русской поэзии». Заявив, что до той поры «русские и финляндцы не довольно изучали друг у друга существенное для литературы: подробности истории народа, частности его быта, дух языка, предания и поверья народные, нравы, предрассудки и особенно памятники народной словесности»<sup>2</sup>, Плетнев в ка-

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. XI. Изд. АН СССР, 1938, стр. 27—28.

<sup>2</sup> Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, стр. 445.

честве «опыта описания жизни древних финнов» привел отрывок из «Руслана и Людмилы» Пушкина. Это был рассказ волшебника Финна, могучего повелителя духов, о его несчастной любви к прекрасной и гордой Наине. Финн повествует попавшему в беду Руслану:

Любезный сын,  
Уж я забыл отчины дальней  
Угрюмый край. Природный финн,  
В долинах, нам одним известных,  
Гоняя стадо сел окрестных,  
В беспечной юности я знал  
Одни дремучие дубравы,  
Ручьи, пещеры наших скал  
Да дикой бедности забавы.  
Но жить в отрадной тишине  
Дано не долго было мне.

Встретив Наину, пастух влюбился в нее, но был отвергнут. И только когда Наина стала горбатой старухой, она вспылала к нему любовью, теперь ужасной для Финна. Они стали врагами и своим волшебством воздействуют на события поэмы.

Относительно включения этого отрывка в статью Плетнев советовался с Гротом, которому писал: «К моей статье можно бы еще сделать прибавку. Ты помнишь прекрасный эпизод у Пушкина в Руслане и Людмиле о Финне, о его возлюбленной Наине . . . Конечно, это не описание Финляндии, не предание народное, не мнение ученое: это блажь, забава юношеского воображения, но заимствованная из темных стародавних рассказов, будто финны всегда славились колдовством . . .»<sup>1</sup> Плетнев просил Грота вместе с Ф. Сигнеусом просмотреть поэму и решить, стоило ли о ней упоминать. Грот отвечал, что отрывок из нее «составит презанимательное дополнение к твоей статье. Тут менее исторической неверности, нежели во всех других стихах наших поэтов о финнах и скандинавцах: предание о колдовстве финнов до сих пор живет и даже имеет основание в тех следах колдовства, которые еще и теперь существуют»<sup>2</sup>.

Ко времени появления статьи Плетнева, в Финляндии, помимо «Кавказского пленника», были известны «Цыганы» и некоторые стихотворения поэта, о чем речь еще впереди. Можно думать, что и Пушкин знал о переводе своих стихов в Финляндии, и не потому ли в «Памятнике» финны упоминаются в числе народов, которым всегда будет дорого имя поэта.

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 255.

<sup>2</sup> Там же, стр. 261.



Итак, в период 10—20-х годов в развитии финляндской литературы произошли заметные сдвиги. Правда, в этот период не было создано значительных художественных произведений, но проблема создания национальной литературы была уже поставлена. Оживился интерес к фольклору, что во многом подготовило появление «Калевалы» Лённрота. Благодаря публицистической деятельности Арвидссона, хотя и очень кратковременной, финляндский читатель впервые был введен в атмосферу столь острых идейных споров по важнейшим вопросам национального развития. В романтическом движении обозначились два основных течения: прогрессивное, представители которого выступали с критикой феодальной идеологии и ратовали за социально-политические реформы, и консервативное, связанное с идеализацией патриархальных устоев.

По сравнению с предшествующим периодом, в 10—20-е годы заметно оживились и русско-финляндские литературные связи. При всей их неразвитости и кажущейся случайности, здесь была уже известная тенденция взаимного культурного сближения. В какой-то мере стало ослабевать то недоверие финнов и русских друг к другу, которое явилось результатом враждебных отношений Швеции и России в прошлом. Наиболее передовые финляндские литераторы уже не видели в русских «варваров», постепенно уясняя себе, что у русского народа есть своя длительная история развития и своя культура.

Усилившаяся в начале 20-х годов общественно-политическая реакция помешала некоторым начинаниям финляндских писателей, причем самой чувствительной потерей была расправа властей над Арвидссоном. Только в 40-е годы финляндская публицистика сумела вновь обрести свой прежний пыл в постановке общественных и литературных вопросов. К тому времени произошел также сдвиг в развитии русско-финляндских литературных связей.

## Глава вторая

### «ГЕЛЬСИНГФОРССКИЕ РОМАНТИКИ» И ИХ СВЯЗИ С Я. К. ГРОТОМ

#### 1

С 1828 года, после пожара Або, столицей Финляндии стал Гельсингфорс. Сюда переместилась центральная администрация, а также единственный в стране университет, являвшийся центром ее культурной жизни. С университетом были связаны и многие литераторы, теперь сосредоточившиеся в новой столице. Этот период в истории финляндской литературы принято называть «гельсингфорским романтизмом».

Между первым и вторым «национальным пробуждением», то есть, условно говоря, между «Або Моргонбладом» Арвидссона (1821) и газетой Снельмана «Сайма» (1844—1846), лежит четверть века. Это было трудное для финляндской литературы и журналистики время. Все более усиливалась реакция. Оппозиционные настроения подавлялись. Вскоре после расправы над Арвидссоном вынужден был отказаться от издания своей газеты Беккер. В 1828 году власти конфисковали тираж философского сочинения Ютейни («Мысли на различные темы»), а в следующем году был введен более строгий цензурный устав. В результате стало безопасней печататься вне Финляндии. Оба тома «Отавы» Готлунда вышли в Стокгольме. Там же Сигнеус напечатал (под псевдонимом) свою «Песнь Костюшко орлу», явившуюся откликом на восстание 1830 года в Польше. В Швеции разгорелась и полемика между Вассером и Арвидссоном.

Сигнеус впоследствии следующим образом охарактеризовал гнетущую атмосферу университетской жизни в 20-е годы: «Царило молчание, никто не обменивался ни словом, не делился ни единой мыслью. Отмечались, правда, весенние празднества, но было похоже, будто туда собиралась рыба стая; никогда не приходилось слышать идущей от сердца речи, призыва стремиться к общей цели и к возвышенным помыслам, помнить о прошлом и ждать чего-то от будущего. Такое было время»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. Samlade arbeten, I—X. Helsingfors, 1881—1892. B. V, s. 135.



В год увольнения Арвидссона из Абоского университета (1822) в число студентов записалось трое юношей: Лённрот, Рунеберг и Снельман, сыгравшие потом столь выдающуюся роль в развитии финляндской национальной культуры и национально-освободительного движения. Это была символическая преемственность между представителями двух поколений. Она, однако, была не прямолинейной и характеризовалась не только дальнейшим развитием передовых традиций, некогда отстаиваемых Арвидссоном, но и временным отступлением от высокого гражданского пафоса его публицистики.

В условиях, когда свободололюбивая мысль была под запретом, у многих финляндских литераторов обнаружилось стремление как-то приспособиться к сложившейся обстановке, принять ее как должное. Лишенные «внешней» свободы, они утешали себя свободой «внутренней», свободой духа, однако и ею приходилось поступаться, придавая ей филистерское, зачастую уродливое толкование. Отказ от обсуждения злободневных общественных вопросов стал как бы обязательным принципом, который терпели безропотно и даже с жаром защищали, возводя его в норму для искусства. Споры, если они и вспыхивали, выносились в слишком далекие сферы, чтобы они могли иметь непосредственную связь с живой жизнью. Это относится, судя по некоторым весьма скудным сведениям, и к тому литературно-философскому кружку, который возник в 1830 году в Гельсингфорсе под названием «Субботняя Беседа». В следующем году его члены основали Финское литературное общество, а Рунеберг стал выпускать газету «Моргонбладет», имевшую характер преимущественно литературного издания.

Важным предметом споров в «Субботней Беседе» была философия Гегеля. Именно она явилась камнем преткновения для многих членов кружка. Некоторые из них, например Лаурель, а также Рунеберг, оказались не в силах воспринять ее прогрессивную сторону и остались на позициях шеллингианства, к тому времени уже деградировавшего. Споры шли и по вопросу об отношении искусства к действительности, о принципах ее «идеализации», как тогда принято было говорить. Именно в «Субботней Беседе» зародились уже те идейные разногласия, которые стали затем предметом журнальной полемики в 40-е годы, в период обострения общественной борьбы. Былые «собеседники», например Лаурель и Снельман, к тому времени оказались уже во враждебных лагерях. Хотя и не в столь резкой форме, это идейное размежевание коснулось и других финляндских литераторов той поры.

Поэтому нельзя согласиться с теми финляндскими исследователями, которые подчеркивают только то, что объединяло писателей 30—40-х годов, но забывают о разногласиях между ними, о противоречивом характере литературного развития.

Еще З. Топелиус, в молодости много полемизировавший со Снельманом, но затем, на склоне лет, избегая вспоминать былые раздоры, говорил в 1883 году в своей речи, посвященной Ф. Сигнеусу: «Рунеберг и Сигнеус, Лённрот и Снельман выросли на одной почве. Они были детьми межвременья, когда уже уходила ночь и наступал рассвет нового дня. В такие переломные периоды в жизни народа всегда рождается что-то могучее... Явилась «Калевала», явился Рунеберг, явился Снельман, и хотя следовавший за ними Сигнеус и не был равен им по масштабу, но, являясь их современником, он был костью от их кости, плотью от их плоти»<sup>1</sup>.

Подобная точка зрения весьма распространена среди финляндских исследователей.

Топелиус прав в одном: названные им литераторы, как и он сам, действительно жили в период «межвременья», как бы на стыке двух эпох, когда внутри разрушавшейся феодальной формации уже брезжил «рассвет» новых, буржуазных общественных отношений. Но именно потому, что это был «переломный» период (а он затянулся на несколько десятилетий), в Финляндии, при всей ее отсталости, не мог не углубляться процесс размежевания идейно-литературных течений, процесс мучительно долгий и потому запуганный, но тем не менее имеющий свои объективные закономерности. Топелиус же, помещая всех литераторов под одно знамя, не замечает противоречивого характера этого процесса. Для него все были людьми из одной и той же плоти, приверженцами одних и тех же верований.

Но при таком подходе к истории литературы нельзя объяснить многие ее явления. Например, в работах финляндских исследователей не найти ответа на вопрос, в чем историко-литературный и социальный смысл того факта, что в Финляндии 30—40-х годов наряду с так называемой «объективной» поэзией Рунеберга существовала поэзия «субъективная», которую с большим рвением защищал Сигнеус, «полнокровный романтик» как назвал его В. Таркиайнен в своей работе, вышедшей в 1911 году. По мнению автора, Сигнеус «даже теперь остается самым замкнутым романтическим субъективистом среди наших поэтов. Своеобразные глубины и красоты его стихов лишь смутно мерцают перед взором читателя, но никогда не открываются ему вполне. При знакомстве с этим поэтическим миром в воображении часто возникает картина бесформенного изначального хаоса с проносящимися над ним облаками. Взор бессилен проникнуть сквозь них, и лишь слабо виднеются самые высокие вершины. Время от времени светлый луч все-таки пробивает это туманное марево, озаряя обширные дали, и тогда возникает предчувствие, что там скрыто что-то необычайно пре-

<sup>1</sup> Z. Topelius. Pieniä kirjoitelmia. Porvoo-Helsinki, 1932, s. 761.



красное. Но вот наплывает новая туча, заволакивая все свою тенью, прежде чем взор успеваеt различить ясные очертания картины. Это борьба осознавшего себя разума с аморфной стихией эмоций»<sup>1</sup>.

В этой характеристике много верного, в ней образно передано общее впечатление от поэзии Сигнеуса. Однако творчество поэта в книге Таркиайнена рассматривается как явление строго имманентное, безотносительное к идейной борьбе эпохи. Между тем «субъективные» искания Сигнеуса, противостоявшие рунеберговской «объективности», являлись не просто результатом психологических особенностей натуры Сигнеуса. Он представлял определенное течение в «гельсингфорском романтизме», который, подобно «або-романтизму», не был единым направлением. Сигнеус был ближе к Арвидссону и как поэт и как мыслитель, а Рунеберг, идеализируя неподвижность патриархального быта, во многом шел за Линсёном и Тенгстрёмом.

## 2

Летом 1837 года Я. К. Грот (1812—1893), занятый переводом «Саги о Фритиофе» Тегнера, предпринял путешествие по Финляндии в целях усовершенствования своих познаний в шведском языке. В последующие годы он проводил в Финляндии свой отдых, ездил по ее городам, знакомился с местными литераторами, все более углубляясь в изучение финляндской и скандинавской культуры. В конце 1839 года, как рассказывает сам Грот, он встретился у П. А. Плетнева с профессором русского языка и словесности Гельсингфорского университета С. В. Соловьевым, который сообщил о своем намерении покинуть Финляндию. У Грота возникла мысль занять его место, и хотя Соловьев вскоре переменял свое мнение, Грот решил все же оставить прежнюю службу в канцелярии барона Корфа и при содействии В. А. Жуковского временно перешел на должность инспектора финляндских училищ по преподаванию русского языка. В июне 1840 года Грот выехал из Петербурга на постоянное жительство в Гельсингфорс. Вскоре по ходатайству Плетнева в Гельсингфорском университете была учреждена кафедра ординарного профессора русского языка, словесности и истории. В апреле 1841 года эту кафедру занял Грот.

Двенадцать лет провел Грот в Финляндии, и его деятельность за этот период представляет значительный интерес с точки зрения русско-финляндских литературных отношений.

Ко времени приезда Грота в Финляндию преподавание русского языка и русской словесности в финляндских учебных заве-

<sup>1</sup> V. Tarkiainen. Fr. Cygnaeus runoilijana. Porvoo, 1911, s. 101.

днях уже имело свою историю. Как известно, языковая проблема в Финляндии приобретала политический характер. Финский язык, язык народа, в школах не преподавался. Все образование было на шведском, отчасти на немецком языке, а в университете на протяжении первой половины XIX века употреблялась также латынь, на ней писались, защищались и издавались ученые диссертации — здесь уместно упомянуть о латинских диссертациях Г. Гейтлина, одна о русском языке (1826), другая «О литературных заслугах Ломоносова» (1829).

Естественно, что с возникновением финского национального движения его сторонники все чаще стали говорить о бесправии финского языка. Об этом писали национально настроенные литераторы, об этом слагали руны финские крестьяне, возмущенные засилием шведской речи. Царское правительство было не прочь ослабить шведское влияние в Финляндии, но, с другой стороны, царизм был заинтересован в распространении русского языка среди финнов, и вскоре после завоевания Финляндии стали предприниматься практические шаги в этом направлении. В царском рескрипте от 6 июня 1812 года указывалось, чтобы во всех финляндских учебных заведениях «в самоскорейшем времени» была учреждена должность учителя русского языка с обязанностью «преподавать публично русскую словесность». Было установлено, что «по истечении пяти лет, считая со времени снабжения вышеупомянутых училищ учителями русского языка, все молодые люди, желающие вступить в духовную, военную или гражданскую службу, обязаны будут публично доказать надлежащие свои познания в русском языке»<sup>1</sup>. Этот пятилетний срок, согласно рескрипту 1813 года, истекал 1 мая 1818 года. Впрочем, в 1823 году от обязательного экзамена по русскому языку были освобождены студенты, готовившиеся в священники.

Для подготовки учителей русского языка из числа финляндских уроженцев стали практиковаться командировки гельсингфорских студентов в Московский университет. Издавались учебные пособия: русские грамматики, словари, разговорники, школьные книги для чтения, хрестоматии, учебники русской истории. В частности, были переведены на шведский язык грамматики Н. Греча и А. Востокова, несколько учебных книг для финляндских училищ написал Грот. Все это в основном было рассчитано на учащихся со знанием шведского языка, и только в исключительных случаях выходили пособия на финском языке, например книга Лённрота и Тиклена по русской истории<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 1361, оп. 2, д. 55, л. 10.

<sup>2</sup> Приводим ниже перечень основных книг по русскому языку, литературе и истории, выпущенных для Финляндии в первую половину XIX века: М. Akiander. Rysk språklära för skolar. Helsingfors, 1835. М. Akiander. Ryska rikets historia. Helsingfors, 1844.



С октября 1840 года Грот состоял членом Финского литературного общества, присутствовал на его заседаниях, выписывал издававшийся этим обществом ежегодник «Суоми». Постепенно у Грота завязалось знакомство едва ли не со всеми деятелями финской культуры, он дорожил этими связями и со многими из финнов переписывался до конца своей жизни. В русской науке Грот справедливо считался лучшим знатоком Финляндии. Финны ценили в нем также специалиста по русской культуре и потому так часто обращались к нему за всякого рода справками, за практической помощью, не отказывая при случае и в обратных услугах.

Литература и наука Финляндии остро нуждались в материальной поддержке, и финны в этом смысле использовали влияние Грота, а через него и других лиц. Например, перед двухсотлетним юбилеем финляндского университета в 1840 году Грот писал Плетневу о своей беседе с Лённротом и Готлундом: «Мы говорили о вас, и добрые финны немощно спекулируют на вашу протекцию, к чему здешний юбилей представит удобный случай. Они давно задумывают отправить кого-нибудь из смышленных своих земляков, знающего по-русски, в Сибирь, для сравнения тамошних племен с финнами и отыскания сходства между теми и другими, но не видят к тому никаких способов. Есть у них еще один туз, К а с т р е н, который уже странствовал много по Лапландии и знает по-русски: его они назначают на это и хотят вам бить челом, не можете ли вы склонить Министерство просвещения на подачу им помощи для такого предприятия. Возвратясь с юбилея, вы, кажется, можете замолвить об этом словечко»<sup>1</sup>. По этому поводу Грот послал также особое письмо В. Ф. Одоевскому, прося его оказать содействие в

---

E. G. Ehrström. Öfversigt af ryska språkets bildning. Åbo, 1855.

E. G. Ehrström. Grammatikaliskt-praktiska öfningar i ryska språket. Petersburg, 1818.

E. G. Ehrström, C. G. Ottelin. Rysk språklära för begynnare. Petersburg, 1814.

E. G. Ehrström. Rysk läsebok med lexikon. Del. 1—3. Borgå, 1831—1834.

N. Gretsch. Praktisk rysk grammatik. Öfvers. af V. Avellan. Tavastehus, 1848.

J. Grot. Lärobok i rysk språket. Helsingfors, 1848.

J. Grot. Rysk läsebok, innehållande smärre arbeten. Helsingfors, 1848.

J. Grot. Handbok i Ryska rikets historia, 1—2. Helsingfors, 1850—1851.

F. V. G. Hjelt. Lärobok uti kejsardömet Rysslands historia. Åbo, 1842.

V. Hougberg. Rysk elementarbok. Helsingfors, 1830.

Läsebok för begynnare i ryska språket med ordbok. Åbo, 1813.

E. Lönnrot, G. Ticklén. Venäjän historia, lyhykäisest kerrottua. Helsinki, 1842.

O. Meurman. Svenskt och Ryskt lexikon. 1—2. Helsingfors, 1846—1847.

Rysk krestomati med mellanradig ordagrann öfversättning. Helsingfors, 1832.

Venäjän ja Suomen aapiskirja. Petersburg, 1833.

A. Vostokoff. Ryska språkets grammatik i sammandrag. Öfvers. af V. Avellan. Tavastehus, 1848.

N. V. Åberg. Rysslands historia för begynnare. Helsingfors, 1846.

<sup>1</sup> Переписка, т. 1, стр. 6.

изыскании средств для Кастрена<sup>1</sup>. Как явствует из этого письма, к нему был в качестве рекомендации приложен оттиск языковедческого исследования Кастрена, предназначенный для академика Бера. Неизвестно, чье влияние возымело действие, однако средства Кастрену были выделены. Здесь уместно упомянуть и о том, что Кастрен, убедившись во время своих странствий по Сибири в бедственном положении местного населения, пытался через Грота обратиться на это внимание правительства. 30 января 1844 года Грот писал Плетневу: «...получил я письмо от Кастрена. Он прислал мне бумагу о жалком состоянии самоедов (на русском языке), прося найти способ доставить ее графу Киселеву», министру государственных имуществ. Грот добавляет, что «бумагу» Кастрена он отправил барону Корфу, бывшему своему начальнику<sup>2</sup>.

Для русско-финляндского альманаха Кастрен написал статью «Несколько дней в Лапландии». Грот сообщил Кастрену, что она получила благожелательные отзывы в русских журналах. Возможно, что Грот имел в виду и рецензию Белинского на альманах, в которой статья Кастрена оценивалась как «в высшей степени любопытная». Рецензент указывал, что Кастрен «не раз путешествовал по разным областям Финляндии, собирая памятники народной словесности. Главный труд г. Кастрена есть шведский перевод в стихах большой финской поэмы «Калевала»<sup>3</sup>.

За время двух трудных поездок в Сибирь Кастрен окончательно подорвал свое здоровье. В связи со смертью Кастрена в 1852 году Грот поместил в «С.-Петербургских Ведомостях» о нем некролог, где, между прочим, отметил, что именно «Кастрену был обязан первоначальными своими познаниями в финском языке»<sup>4</sup>.

Финским языком Грот занимался и с другими своими финляндскими друзьями. Лённрот, например, придерживался при этом принципа взаимных услуг. Стремясь овладеть русским языком настолько, чтобы хорошо писать на нем, он в 1843 году сообщал Гроту из Каяни, что по приезде в Гельсингфорс намерен брать у него уроки, и добавлял: «Я отплачу тебе тем, что займусь с тобой финским языком»<sup>5</sup>.

Научные материалы Кастрена из Сибири поступали к Шёгрелю, в Петербургскую Академию наук. Связь с русскими

<sup>1</sup> Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, ф. 539, оп. 2, д. 451.

<sup>2</sup> Переписка, т. II, стр. 175.

<sup>3</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VI. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 113.

<sup>4</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 720.

<sup>5</sup> Письмо Лённрота к Гроту от 18 августа 1843 года. — Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания «Калевалы». Петро-заводск, 1950, стр. 203.



научными учреждениями поддерживалась и некоторыми другими финляндскими учеными. На Восточном отделении Петербургского университета в начале сороковых годов совершенствовал свои знания в арабском и персидском языках Георг Валлин, первый исследователь внутренней Аравии, ученый с мировым именем. «Именно здесь, в петербургской востоковедческой среде, у Валлина укрепилось давнишнее желание побывать на Востоке»<sup>1</sup>.

Грот не собирался ограничивать свою деятельность в Финляндии лишь чтением университетских лекций. В дневнике он писал: «Я не только профессор, я также русский литератор, обязанный особенно знакомить своих соотечественников с новым миром, в который я поставлен», а с другой стороны, как человек, владеющий шведским языком, Грот чувствовал себя обязанным «знакомить шведов и финнов с русским миром»<sup>2</sup>.

Этими мыслями Грот делился с финляндскими друзьями, находя понимание и поддержку с их стороны. Финское литературное общество в официальном письме<sup>3</sup> благодарило Грота за ту «благодарность и доброжелательство», с которыми он распространял «среди любителей литературы в России сведения о литературном движении в Финляндии», а также за переданные в дар Обществу книги «статистического и антикварного содержания». Письмо это датировано 5 марта 1841 г. и подписано Г. Рейном, председателем Общества, и М. Кастреном. С другой стороны, передовые финляндские литераторы, стремясь преодолеть известную национальную замкнутость финнов, неоднократно подчеркивали необходимость для них ознакомиться с достижениями других национальных культур, в том числе и русской. В письме к Гроту из Ижемской слободы, от 1 мая 1843 г., Кастрен указывал, что «достаточное знание русского языка для нас, финнов, было бы весьма полезно. У многих наших соотечественников наблюдается ограниченное понятие: они считают, что русский язык может причинить вред нашей национальности. Но зачем же изгонять все чужое? Соблюдай свое достоинство и уважай его у других — вот первое правило для благородного человека»<sup>4</sup>.

Сторонником русско-финляндского культурного сотрудничества был также Лённрот, с которым Грота связывали узы долголетней дружбы.

<sup>1</sup> Першиц А. Георг Август Валлин. Географгиз, М., 1958, стр. 5.

<sup>2</sup> Переписка, т. II, стр. 899.

<sup>3</sup> Русский перевод письма хранится в Архиве Карельского филиала АН СССР, разр. III, оп. I, колл. 153, п. I, л. 9.

<sup>4</sup> Там же, л. 23. (Перевод, хранящийся в архиве, цитируется нами с некоторыми стилистическими изменениями.)

Еще в студенческие годы Э. Лённрот (1802—1884) усиленно занимался русским языком. Его усердие в этом отношении удивило даже лектора Эрстрёма, известного своей строгостью. Когда Лённрот заявил, что одолеет требуемые двести пятьдесят страниц русского чтения, рассчитанные на полгода, за один семестр (то есть примерно за два месяца), то Эрстрём, приняв это за бахвальство, заметил молодому студенту: «Ты был бы славный малый и из тебя вышел бы толк, если б только не твоя самонадеянность». Но Лённрот сдержал слово и довольно сносно овладел русским языком, так что мог не только читать, но и писать на нем.

А. Анттила, из монографии которого мы заимствовали упомянутый эпизод, полагает, что первым печатным выступлением Лённрота был его шведский перевод стихотворения Карамзина «Берег», появившийся в газете «Або Ундерреттелсер» 14 февраля 1824 года.

К тому времени, когда Грот познакомился с Лённротом, «Калевала» и его составитель пользовались уже национальнoй, а отчасти и европейской известностью. Предсказание Готлунда об огромном значении будущего свода эпических рун в национальном движении и культурном развитии финского народа начинало оправдываться. Вскоре после своего появления «Калевала» стала предметом неоднократных обсуждений в университетской среде и в Финском литературном обществе, причем ее рассматривали как своего рода духовное знамя финского национального движения. Общенациональным значением «Калевалы» измерялись и заслуги Лённрота. Об этом красноречиво свидетельствуют, например, те тезисы, которые были 21 октября 1841 года вывешены членами «Саво-карельского землячества» университета для публичного обсуждения. Тезисы гласили:

«1. Значение великих людей должно определяться не личным их величием, а мерой их воздействия на свою эпоху и на будущее.

2. Рунеберг несомненно является более духовно одаренным человеком, чем Лённрот, и в настоящее время он не без причины пользуется большей известностью; но через сто лет Лённрот предстанет тем, кто он есть: более великим человеком, чем Рунеберг.

3. Причина тому: Лённрот — всемирно-историческая личность, а Рунеберг только историко-литературная.

4. Иными словами: Рунеберг только поэт и воздействует лишь в сфере искусства; Лённрота же следует считать освободителем финского языка и финской национальности. Он рассеял те злые чары, которые тяжким бременем давят на весь народ, так что однажды он, народ, сможет предстать перед Европой и заявить: мы являемся нацией.



5. И все-таки Лённрот всего лишь переписчик.

6. Следовательно, и переписчик может быть более великим человеком, чем самый великий поэт.

7. Лённрот — первый переписчик, который обретет бессмертие. (Ибо другие переписчики приносили свое и, стало быть, не были чистыми переписчиками — например, Макферсон)»<sup>1</sup>.

Эти тезисы примечательны тем, что в них отдается должное поэтическому гению народа, по отношению к которому Лённрот явился «всего лишь» великим «переписчиком».

Составитель «Калевалы» интересовал также Грота с Плетневым, причем они тоже сравнивали его с Рунебергом. Некоторые высказывания в их переписке за июнь 1848 года являются как бы продолжением обсуждения упомянутых тезисов, по всей вероятности, известных Гроту. В письме от 5 июня 1848 года Плетнев заявил: «Лённрот, если не ошибаюсь, по всему стоит выше Рунеберга. Тот, равнодушно отрешившись от общества, впился в идею человека и собою воплощает ее как нельзя выше и благороднее. Напиши ему, что для меня совсем не все равно, помнит ли обо мне какой-нибудь житель Каяны; что я услаждаюсь мыслью о нем и поздравляю человечество, любуясь на его высокое существование»<sup>2</sup>. Грот на это отвечал: «Рунеберг и Лённрот — люди совершенно различного калибра: их сравнивать трудно, — один поэт, а другой — труженик. Как человек, Лённрот выше Рунеберга, но Рунеберг выше, как талант»<sup>3</sup>.

О деятельности Лённрота Грот знал еще до личного знакомства с ним. обстоятельные сведения о «Калевале», народных рунопевцах и самом Лённроте сообщил Гроту Рунеберг в письме от 21 апреля 1839 года, которое было использовано Гротом в его статье «О финнах и их народной поэзии», появившейся в 1840 году в «Современнике».

Первая личная встреча Грота с Лённротом состоялась 18 июня 1840 года. О ней в письме к Плетневу Грот сообщал: «Ласково встреченный им, я увидел в нем человека средних лет с огненными глазами, с добродушной улыбкой, с лицом, почти багровым от загара, с приемами неловкими и вовсе не светскими; он одет был грубо, в длинном сюртуке из темно-синего, толстого сукна. но его обращение и речь так безыскусственны и просты, что я тотчас полюбил его от сердца. Он сам, кажется, и не подозревает в себе никакого достоинства и всякого считает выше себя»<sup>4</sup>. Далее Грот рассказывал о работе Лённрота над записями рун, о его игре на кантеле, о газете «Мехиляйнен», которую издавал Лённрот, о том, что во многих районах Финляндии

<sup>1</sup> A. Anttila. Elias Lönnrot, elämä ja toiminta, I. Helsinki, 1931, s. 352.

<sup>2</sup> Переписка, т. III, стр. 258.

<sup>3</sup> Там же, стр. 259.

<sup>4</sup> Там же, т. I, стр. 4.

и Карелии у него была сеть крестьянских корреспондентов, которых он отчасти сам научил писать во время своих странствий и которые теперь присылали ему письма и записи рун с просьбой напечатать их. Лённрот преподнес Гроту только что вышедшую из печати первую часть сборника народных лирических песен «Кантелетар» с дарственной надписью на финском языке, из которой Грот, по его признанию, разобрал только свое имя, а два других слова остались для него «пока тайной».

Впрочем, Грот постепенно занялся финским языком и даже писал письма на нем Лённроту, который иногда отвечал ему по-русски. В письме от 23 мая 1847 года Лённрот удивлялся успехам Грота: «Я не хотел верить своим глазам, когда увидел из твоего письма, насколько хорошо ты выучился финскому языку. Ты пишешь лучше, чем многие из наших здешних, привыкших к финскому языку с детства. В твоём письме ошибок очень мало, и к тому же пустых, их не стоит и считать».

Если ты не расстался с намерением провести лето в деревне для практики в разговорном финском языке, то я тебе теперь смогу порекомендовать другое, по-моему, весьма подходящее место — Лянгельмякский погост . . . Здесь ты прекрасно научился бы говорить по-фински, а заодно смог бы попрактиковаться в разговоре и на других языках»<sup>1</sup>.

С Лённротом Грот виделся нечасто, но между ними велась переписка. Лённрот информировал Грота о своей работе, в частности, над второй редакцией «Калевалы», а также интересовался его деятельностью в университете, стараясь, особенно на первых порах, морально поддержать нового профессора, понимая сложность его положения в необычной для него среде. В письме от 31 августа 1841 года Лённрот писал Гроту: «Тебе, наверное, встретится немало затруднений и неприятностей по новой твоей должности, но не бойся их, скоро их у тебя не будет, к тому же они полезны в жизни, как соль для пищи»<sup>2</sup>.

В этом письме Лённрот, уже зная о переводе Грота «Саги о Фритиофе», предлагал перевести еще одно произведение того же автора: «Сейчас вспомнил, о чем хотел тебя много раз просить, а именно: перевести «Акселя» Тегнера на русский язык. Этот перевод легче перевода «Фритиофа», притом материал настолько же русский, насколько и шведский, так что труд этот найдет, без всякого сомнения, большой спрос в России»<sup>3</sup>.

Как первая в своем роде книга на финском языке заслуживает упоминания изданная Лённротом «История России в кратком изложении». Первая ее часть, касающаяся раннего периода

---

<sup>1</sup> Письма Э. Лённрота к Я. К. Гроту. — Труды юбилейной сессии, посвященной 100-летию полного издания «Калевалы». Петрозаводск, 1950, стр. 206.

<sup>2</sup> Там же, стр. 202.

<sup>3</sup> Там же.



русской истории (от древних времен до Петра I), была написана Г. Тикленом и отредактирована Лённротом. Вторую часть писал сам Лённрот. В предисловии к книге, подчеркивая важность изучения русской истории, он указывал, что Россия является крупной державой, ее территория раскинулась в трех странах света — Европе, Азии и Америке. Уже по этой причине история России была достойным предметом изучения, в том числе и для иностранцев. «Но есть еще одно обстоятельство, — продолжал Лённрот, — которое делает эту историю поучительной для нас, финнов. Поскольку уже с древних времен, а может быть с самого начала, мы жили по соседству с Россией, то ее история, равно как и история Швеции, с другой стороны, касаются во многом и нас»<sup>1</sup>.

Книга Лённрота и Тиклена не отличалась новизной концепции. История России в ней периодизировалась по царям, причем каждому из них воздавалась хвала, но наряду с этим Лённрот в некоторых замечаниях выразил свое сочувствие угнетенному крестьянству России<sup>2</sup>.

Лённрот был читателем «Современника», в письмах к Гроту он выражал желание, чтобы финны шире знакомились с русской литературой. В письме от 17 марта 1843 года (на русском языке) Лённрот спрашивал Грота: «Что тебе кажется о учебной книге, изданной Эрстрёмом и Оттелином, которую теперь в наших училищах читают? Не нужно ли сделать новое, исправленное издание той же книги с назначением ударений, с прибавлением новых отрывков из сочинений Пушкина и других, с исправлением в ней находящейся литературной истории и с доведением ее до сих дней?»<sup>3</sup> Отметим, что у Грота, согласно его письму к Плетневу от 8 октября 1842 года, было намерение «издать для финляндских студентов особую хрестоматию, которая заключала бы в себе, в историческом порядке, извлечение из всех примечательнейших русских писателей, от Нестора до Гоголя». Такая книга, писал Грот, «должна быть составлена по совершенно другим соображениям, нежели для русских, и вот почему я хрестоматию Пенинского недоволен. Свою я могу снабдить краткими замечаниями и для языка и по истории литературы»<sup>4</sup>. Однако такая хрестоматия не была издана Гротом. «Книга для русского чтения», которую он выпустил в 1848 году для финляндских студентов, уже не соответствовала первоначальному замыслу, ибо включала лишь собственные его произведения (русский вариант книги так и назывался «Литературные опыты Я. К. Грота. Чтение для юношества»).

<sup>1</sup> E. Lönnrot, G. Ticklen. Wenäjän historia, lyhykäisesti kerrottu. Helsinki. 1842. alkusana.

<sup>2</sup> Там же, стр. 184, 210.

<sup>3</sup> Переписка, т. II, стр. 873.

<sup>4</sup> Там же, т. I, стр. 612.

Касаясь Лённрота и «Калевалы», Грот в значительной мере акцентировал в них то, что, по его представлениям, связывалось с патриархальным характером финляндской жизни. В этом смысле Грот солидаризировался с отдельными финляндскими литераторами, которых он или пересказывал, или непосредственно цитировал в своих статьях. Например, в статье «О финнах и их народной поэзии» есть места, напоминающие рассуждения Тенгстрёма о свойственной финнам «восточной» инертности, в отличие от политически активных европейских народов, с их стремлением воздействовать на внешний мир. Вторя Тенгстрёму, Грот писал: «Финны искони были равнодушны ко всему внешнему: к силе, к почестям, к влиянию в житейских делах, к красоте телесной. Этим-то объясняется и всегдашнее ничтожество их в мире политическом: никогда не искали они могущества и власти, не прельщались славою завоевателей, не предпринимали громких подвигов; но смиренно уединялись в самих себе и с неизменною верностию покорялись владычеству чуждому»<sup>1</sup>. У финнов, по словам Грота, был «страдательный характер».

Грот приводил отзыв Тенгстрёма (не называя его имени) о финских лирических песнях, выражающих «доверчивую покорность судьбе». Главное свойство народной поэзии, а также творчества Францена и Рунеберга заключалось, по Тенгстрёму, «в пленительной гармонии и спокойствии духа, под которыми кроется клад внутренней истины и свободы, жизнь, находящая удовлетворение в самой себе, светлая, как зеркало, и невозмутимая бурями, играющими в верхних сферах человечества. Этот общий характер народных песен является в обилии очаровательно-непорочных чувств и образов, свидетельствующих о самобытном и чисто внутреннем происхождении финской поэзии. Вот почему ее произведения заслуживают и большую известность и более внимательного изучения»<sup>2</sup>.

В подобных высказываниях народная поэзия рассматривалась в особом ракурсе, и такая ее пропаганда вызвала решительные возражения со стороны Белинского, а в Финляндии — Снельмана.

Однако статья Грота «О финнах и их народной поэзии» была первым изложением «Калевалы» в русском журнале (отдельные отрывки давались в стихотворном переводе), и в этом состоит ее ценность.

В своих письмах Плетнев настойчиво убеждал Грота написать обстоятельную биографию Лённрота, считая его «героем для Тацитовского пера». В письме от 28 июня 1848 года Плетнев даже определил желательное направление такой работы («совершенно в небывалом роде», «чтобы она изумила евро-

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. 1, стр. 110.

<sup>2</sup> Там же, стр. 122.



пейцев»). Вначале, писал Плетнев, необходимо было охарактеризовать Лённрота «по отношению к образованности, в чем он нисколько не уступает спесивым ученым Германии; после описать его внешность в девственной красоте северной природы; далее войти в подробности жизни его в этом краю, о котором нельзя составить идеи, не поживши там; потом провести его перед читателем по всем картинам местной цивилизации и, наконец, заключить все это Лённротом-сыном, живущим, как дитя, у отца и матери. Выйдет книга: Северный Плутарх — для невежественных европейских спесивцев»<sup>1</sup>.

Грот, однако, отклонил это предложение, сославшись на свою занятость. Можно полагать, что в 1848 году, в период европейских революций, когда и в Финляндии несколько оживилась политическая активность передовой части общества, Грот считал неуместным противопоставлять патриархальную фигуру Лённрота, как ее мыслил себе Плетнев, «европейским спесивцам», а вместе с тем и новым веяниям, относительно которых Грот в это время даже полемизировал с Плетневым, не соглашаясь с его слишком резкими выпадами против революционного движения и прогрессивных явлений современной литературы.

#### 4

Близким другом Грота был Ю. Л. Рунеберг (1804—1877) — крупнейший финляндский поэт первой половины XIX века.

По своему творческому облику и по характеру того периода, когда он вступил в литературу, Рунеберг является одним из тех «трудных» поэтов, при оценке которых особенно важно сохранить чувство историзма. С точки зрения современного читателя, в творчестве Рунеберга нет ни ярко выраженных демократических тенденций, ни достаточно близких нашей эпохе мыслей и чувств, однако в свое время его поэзия пользовалась большой популярностью и роль его в истории финляндской литературы была весьма значительной.

Если позволительны историко-литературные аналогии, то Рунеберг в финляндской литературе — это примерно Карамзин и Жуковский в русской. Аналогия эта, разумеется, довольно грубая, и мы прибегаем к ней единственно для того, чтобы у русского читателя возникло хотя бы отдаленное представление о литературной эпохе. Еще Грот отметил, что поэзия Рунеберга напоминала ему «русских муз прекраснейшие годы», а годы эти были для Грота в прошлом, не охватывая ни Белинского, ни натуральной школы. В условиях обострившейся идейно-литературной борьбы 40-х годов это прошлое казалось Гроту и Плет-

<sup>1</sup> Переписка, т. III, стр. 257.

неву, по ироническому замечанию Белинского, «блаженным временем» русской литературы и журналистики, от которого осталось только одно воспоминание, — так далеко вперед шагнула в своем развитии русская общественно-литературная жизнь.

Высоко оценивая литературные заслуги Карамзина и Жуковского, как это блестяще сделал еще Белинский, советский читатель вместе с тем усвоил исторический взгляд на их творчество. Никому не придет в голову переносить идейно-эстетические принципы и общественные идеалы авторов «Бедной Лизы», «Светланы» и «Певца во стане русских воинов» в наши дни, превращать их во «властителей дум» новых поколений. Между тем, по отношению к Рунебергу нечто подобное делается в Финляндии и по сей день. А с другой стороны, как реакция на это, продолжается спор с поэтом, с его представлениями о финском народе и национальной жизни. В этих спорах используется язык его поэтических образов, известных едва ли не каждому финну, что уже само по себе свидетельствует об одаренности художника. Язык этот всем понятен, к нему прибегают люди самых различных убеждений и с самыми различными целями, начиная от политических ораторов левых партий и кончая церковными проповедниками. Для одних Рунеберг выдающийся поэт, идеалы которого нужно понимать исторически. А другие по-прежнему хотели бы видеть финский народ таким, каким он запечатлен в стихах поэта более ста лет тому назад.

На творчестве Рунеберга сильно сказалась отсталость современной ему финляндской жизни. Как художник со своей особой темой и эстетическими принципами он сформировался в начале 30-х годов — во время свирепой реакции, наложившей отпечаток на его творческие искания. В поэзии Рунеберга с особой наглядностью отразились, с одной стороны, мечты о национальном возрождении и своеобразный патриархально-крестьянский демократизм, а с другой — неприятие буржуазной цивилизации и стремление во что бы то ни стало сохранить патриархальный уклад жизни, с чем был связан и страх поэта перед сильными общественными движениями.

Неразвитость классовых противоречий, национальный гнет, отсталость и забитость крестьянства, экономическая слабость и политическая нищета бюргерства, провинциальный характер всей финляндской жизни — все это послужило тому, что филистерство в «стране тысячи озер» приняло размеры общественного бедствия. Снельман, высмеивая в 40-е годы затхлую атмосферу провинциальных городов, с полным правом заявлял, что вся Финляндия — это «один сплошной маленький город», в котором все было так мелко, что уже какой-нибудь отставной майор казался себе и прочим обывателям персоной более важной и заметной, чем «сам Виктор Гюго в самом Париже».



Но Снельман писал это уже в 40-е годы, после того как успел основательно изучить Гегеля, побывать в Швеции и Германии, познакомиться с новыми политическими и литературными веяниями накануне европейских революций. В итоге он сумел выработать критическое отношение к финляндской жизни. А Рунеберг, который в начале 30-х годов активно занимался журналистикой и участвовал в литературных спорах, в 1837 году навсегда уединился в маленький городок Борго, мало общаясь с передовыми людьми и оставаясь равнодушным к событиям в большом мире. Круг его интересов не расширился, сколько-нибудь заметных прогрессивных сдвигов в его мировоззрении уже не наблюдалось.

Это важно иметь в виду, когда мы будем говорить, например, об эстетических воззрениях Рунеберга и Снельмана. Они относятся к разным периодам литературного развития, их разделяет примерно полтора десятилетия, и противопоставлять эстетику Рунеберга эстетике Снельмана в том ее виде, как она сложилась во второй половине 40-х годов, можно только с известной оговоркой. Взгляды Рунеберга на искусство сформировались раньше, оставаясь, однако, долгое время весьма распространенными и устойчивыми в Финляндии; в связи с чем критика их имела первостепенное значение, а до некоторой степени является актуальной и теперь.

Родившись в семье шкипера на западном побережье Финляндии, населенном преимущественно шведами, Рунеберг в детстве мало общался с коренными финскими крестьянами. Ему предстояло еще встретиться с ними, и встреча эта произвела на него большое впечатление. Плохо обеспеченный материально, он был вынужден прервать занятия в университете и несколько лет (1823—1826) быть домашним учителем в одном из поместий в приходе Саариярви, глубинном районе Финляндии, с финским населением. Рассказывая о своих впечатлениях, Рунеберг впоследствии писал Гроту: «Для меня воспоминание об этих годах невыразимо драгоценно. Будучи сам потомком шведских переселенцев, я представлял себе финна в душе его таким же, каким он казался мне по своей наружности, когда являлся с товарами в родном моем городе; но как изменилось мое мнение, когда я ближе познакомился с ним в его домашнем быту. Патриархальная простота, мужественное терпение, ясное от природы понимание самых сокровеннейших условий жизни — вот особенности, которые я открыл в нем, но которые я, к сожалению, мог только слабо передать в своих описаниях»<sup>1</sup>.

Под «описаниями» Рунеберг имел в виду свою поэму «Охотники на лосей», вышедшую в 1832 году. Еще за два года до

---

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 689.

того Рунеберг выпустил первый поэтический сборник, включавший его переводы сербских народных песен, а также «Идиллии и эпиграммы». Уже здесь Рунеберг воспел честного, трудолюбивого, мужественно борющегося с природой, но вместе с тем безропотного и богобоязненного крестьянина Паво. Этот созданный поэтом образ оказался очень живучим в Финляндии и даже в наши дни нередко выдается за истинно национальный тип финна. Крестьянина Паво, повествует поэт, постигло несчастье: заморозки погубили урожай на его полях. Жена его ропщет на бога, а мужу советует взять нищенский посох. Паво, однако, тверд в своей вере; бог, говорит он, только испытывает человека, но никогда его не оставляет. Питаясь сосновой корой, Паво вновь обрабатывает нивы, копает каналы, чтобы осушить болото, откуда поднимаются холодные туманы. Но недород повторяется. Только третья осень приносит крестьянину удачу, он собрал урожай. Теперь его жена уже не хочет есть кору, она истосковалась по настоящему хлебу. Но Паво, как истинный христианин, напоминает ей о воздержании, о необходимости помочь соседям, у которых теперь недород. И послушный христианскому долгу, крестьянин делится с ближними, а сам ест хлеб с примесью коры и усердно молится богу.

Уже в этой идиллии проявилась одна из особенностей изображения народа Рунебергом. Он не умалчивает о тяжких лишениях финского крестьянина, но картины нищеты в его стихах должны в то же время оттенить безграничность крестьянского смирения. На таком принципе построены многие произведения Рунеберга. Это была не просто бедность, а «гордая бедность», нечто вроде национальной святыни.

В «Охотниках на лосей» Рунеберг пытался создать своеобразный патриархально-идиллический эпос. В поэме, написанной гекзаметром, выступают торпари и батраки, нищие и разорившиеся крестьяне, служанки и карельские коробейники, помещик, с которым крестьяне охотятся, исполняя феодальную повинность. Повествование в поэме течет неторопливо, подробно описываются сборы на охоту, долгие беседы героев и, наконец, веселая помолвка крестьянина с работницей.

Крестьянам живется нелегко, у них много всяких забот, им угрожает разорение. Нищий старец Арон, потерявший и дом и семью, долго рассказывает о своих бедствиях, однако на бога не ропщет, смирившись с жестокой судьбой. Вместе с тем и у этого безропотного старца есть чувство собственного достоинства и независимости. Несмотря на свое низкое положение, он прежде всего человек и потому заслуживает к себе внимания и участия.

В этом заключается выдающееся значение поэмы. При всей идеализации крестьянства и подчеркивании его социальной пассивности, Рунеберг впервые ввел в литературу торпарей, бат-



раков, бобылей и силой своего таланта навсегда узаконил их место в «изящной словесности». Усилия в этом направлении прилагались и раньше, например, со стороны Ютейни, однако его стихи, в которых воспевалась гордость пахарей и которые отчасти стали народными песнями, не получили особого резонанса в образованных кругах, где финский язык был еще мало распространен.

Рунеберг своей поэмой пробуждал в обществе сочувствие и интерес к «низшему сословию», она нередко воспринималась как вызов аристократическому высокомерию по отношению ко всему «мужицкому», и примечательно, что было время, когда власти даже запрещали переводить ее на финский язык.

Изображение крестьянских характеров и крестьянского быта было в начале 30-х годов явлением необычным не только в финляндской, но и в шведской поэзии. Рунеберг должен был обосновать правомерность этой новой темы в литературе, изложить и утвердить свои творческие принципы. Именно в начале 30-х годов он довольно активно выступал с литературно-критическими статьями.

Смысл идейных разногласий в финляндском романтизме остается во многом неясным, если не разобраться в сущности эстетических воззрений Рунеберга. Это важно для того, чтобы, с одной стороны, выявить некоторые положительные для своего времени моменты в рунеберговской эстетике, а с другой, — понять, какие консервативные ее стороны приходилось в дальнейшем преодолевать прогрессивному течению в финляндском романтизме.

Являясь редактором газеты «Гельсингфорс Моргонблад», Рунеберг опубликовал в ней ряд критических статей, рецензий, фрагментарных размышлений (*reflexioner*). Целая серия статей была написана им в 1832 году. В них Рунеберг высказал свое отношение к борьбе шведских романтиков с классицистами, «новой школы» со «старой» (или, как ее еще называли, «густавианской»). К началу 30-х годов эта борьба в Швеции по существу уже закончилась, и Рунеберг понимал это. Одна из его статей о романтизме так и называлась: «Взгляд на господствующую теперь в Швеции поэтическую литературу» (*En blick på Sveriges nu gällande poetiska litteratur*). Рунеберг пытался дать уже историческую оценку романтикам и их борьбе с классицистами, подвести определенный итог, с подсчетом потерь и приобретений.

Чтобы напомнить финляндскому читателю о ранних выступлениях шведских романтиков против классицистов, Рунеберг в упомянутом обзоре привел длинную выдержку из статьи в шведском журнале «Полифем». Выдержка гласила, что шведская литература «густавианского периода» была целиком под

влиянием французского классицизма, что классицисты пренебрегали национальной тематикой, а истинные человеческие чувства подменяли риторикой. По ходу дела автор напал на материализм и атеизм просветителей.

В ответ на этот резкий приговор классицистам Рунеберг в не менее категорической форме заявил, что после «эстетической революции» романтиков в шведской литературе не появилось ничего такого, что свидетельствовало бы о художественном превосходстве новой школы над старой. Напротив, шведская литература XVIII века, по мнению Рунеберга, была богаче крупными именами и поэтическими достижениями. Романтики потешались над «низвергнутыми великанами старой школы», над их александрийским стихом и добросовестными рифмами, однако они, романтики, сами были очень легко уязвимы и могли вскорости стать объектом не менее едких насмешек. «По меньшей мере, бесспорно, что никто из новых авторов не зарекомендовал себя истинно-поэтической, творческой натурой. Их превосходство выступает более или менее только на поверхности и изменчиво вместе с нею. Ни один из них не открыл нам нового общего взгляда на природу, нового мира»<sup>1</sup>.

Это замечание Рунеберг относил ко всем шведским романтикам, а заодно критиковал и французов: «Никто из современных французских беллетристов, надо полагать, не усомнится поставить поэзию Виктора Гюго выше поэзии Вольтера, Корнеля и многих других; однако, какой жалкой поделкой выглядит, например, его «Эрнани» рядом с драматическими сочинениями последних, как бы их ни разносили за натянутость и прозаичность. Это же можно сказать, хотя и не в такой мере, о хваленых новых поэмах в Швеции, коль сравнить их с прежними»<sup>2</sup>.

Рунеберга трудно заподозрить в сколько-нибудь глубоких симпатиях к «вольтерьянству». Для него не было тайной, что идеология Просвещения имела непосредственное отношение к французской революции, о которой ему, впрочем, напоминали и мятежные настроения в творчестве прогрессивных романтиков. В специальной статье Рунеберга о Гюго утверждалось, что драматургия последнего — это «интеллектуальное отражение событий, осквернивших Францию в минувшем веке»<sup>3</sup>.

В борьбе романтиков с классицистами Рунеберг пытался занять «серединную» позицию, полагая, что тем самым он «возвысится» над обоими направлениями. Это была точка зрения, противоположная той, которую в начале 20-х годов защи-

---

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten. Normalupplagan, VI. Helsingfors, 1900, s. 59.

<sup>2</sup> Там же, стр. 64.

<sup>3</sup> Там же, стр. 221.



шал Арвидссон, утверждавший, что в этой борьбе не должно было быть «нейтральных». Рунеберг же осуждал и романтиков, и классицистов за «крайности».

Шведские писатели «густавианского» периода, указывал Рунеберг в одной из своих статей, загубили поэзию рефлексией, размышлением. У них «нигде не встретишься с наглядным восприятием жизни и природы», а жизнь и природа, подчеркивал Рунеберг, «всегда проявляются столь же многообразно, сколь многообразны индивидуальности, их созерцающие...»<sup>1</sup>

Подобно тому как читатель принимается читать книгу с заглавия, рассуждал Рунеберг, так шведские классицисты начинали работу над произведением с выдумывания заглавия, а само творчество сводилось к аналитическому раскрытию понятия, известного уже по заглавию; «достаточно было с помощью точного языка и благозвучной метрики исчерпать свою тему, и это уже считалось успехом, принималось за поэзию; иные достигали того же результата посредством антитез, рационалистической дидактики и исторических примеров»<sup>2</sup>. Критика всех этих пороков, продолжал Рунеберг, стала острой необходимостью, это был «человеческий и гражданский долг», сколько бы приверженцы «старой школы» ни упрекали своих противников в придирках и заблуждениях. Однако романтики в своем отрицании классицизма не избежали другой, противоположной крайности. Идеальный мир оказался оторванным от мира реального — к этому сводился смысл упреков Рунеберга в адрес романтиков.

В своих статьях Рунеберг постоянно выдвигал в числе основных требований к искусству принципы гармонии, художественного единства, пластической ясности образов и в этом отношении он мог найти нечто близкое для себя в эстетике классицистов. С их точки зрения, идеалом красоты была «прекрасная природа». Объективный характер этого идеала они, как и Рунеберг, объясняли всеобъемлющей гармонией мироздания.

В «Замечании об отношении художника к природе» Рунеберг утверждал, что природа как объект искусства не нуждается в том, чтобы ее приукрашивали, «облагораживали». Она и без того уже прекрасна, ее незачем улучшать. Бытование самого термина «облагораживать» (*förädla*) Рунеберг считал порочным недоразумением, запутывающим суть вопроса. Если принять этот термин, рассуждал он, то можно очень «легко прийти к выводу, что природа как она есть (действительность) является по отношению к искусству чем-то подчиненным и что

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten, VI, s. 90—91.

<sup>2</sup> Там же, стр. 91.

нужно якобы дополнить ее неким более совершенным, заложенным в индивидуальной сущности художника моментом, дабы она стала прекрасной и могла быть достойным объектом искусства. А от подобного вывода уже недалеко и до того, чтобы исключить из сферы искусства так называемые низкие классы природы, либо попытаться избавить их от этой участи, наделив их чуждыми им, но условно благородными качествами»<sup>1</sup>.

Это рассуждение, особенно в той его части, которая касалась «низких классов природы», имело сугубо практическое значение для Рунеберга, певца патриархального финского крестьянства, автора поэм о торпарях и нищих. Впоследствии Сигнеус в своих статьях часто подчеркивал это внимание Рунеберга к людям из народа.

Пытаясь определить грань между ложным и правдивым отражением действительности в искусстве, Рунеберг писал: «Если бы художник имел возможность в собственном смысле слова облагораживать действительность, тогда она должна была бы через него возвыситься до такого совершенства, которое лежит вне ее идеи, поскольку всякое иное совершенство заключено уже в ней самой. Но в этом случае результатом была бы как раз противоположность искусства — противоестественность (onatur). Художник не только лишен возможности облагораживать действительность, но и сам возвышается лишь через нее, и чем яснее он может увидеть и отразить ее красоту, тем более велик он. Стало быть, изображение внешних и духовных явлений природы прекрасно лишь в меру передачи их сущности, но не в меру наделения их красотами, им не свойственными»<sup>2</sup>. Подводя итог своей мысли, Рунеберг заявлял: «... облагораживать невозможно, прояснять — вот конечная и высшая задача искусства. А прояснять, значит — показать истинно действительное, освобожденное от несущественного, от того, что не есть необходимое, либо подчинить это таким образом, чтобы его условность стала очевидной и не отвлекала внимания»<sup>3</sup>.

В приведенных рассуждениях Рунеберга следует выделить два момента: во-первых, истинное искусство находит идеал прекрасного в самой действительности; во-вторых, для искусства важны лишь существенные, безусловно необходимые стороны действительности, все остальное должно в лучшем случае играть в искусстве только подчиненную роль. Внешне эти положения представляются весьма привлекательными и плодотворными, и, казалось бы, есть серьезные основания, вслед за финляндскими исследователями, говорить о реализме Руне-

---

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten, VI, s. 191.

<sup>2</sup> Там же, стр. 192.

<sup>3</sup> Там же, стр. 192—193.



берга. Однако подлинный смысл его высказываний определяется прежде всего тем, как понимал он действительность и какие ее стороны считал существенными.

Находясь под воздействием шеллинговой философии, Рунеберг в своих критических статьях прибегал к понятию «полярность». Всякое явление природы или духовной деятельности, говорил Рунеберг, представляет собой единство противоположных «полюсов», которые существуют только в совокупности и взаимосвязи. Рунеберг приводил пример с яблоком, в котором сладость сочетается с горечью. Взятые отдельно, ни одно из этих качеств не соответствует реальному вкусу яблока, и «мы замечаем, как едины эти видимые противоположности и какую цельность обнаруживают они, сливаясь друг с другом в сущности яблока. Этот закон пронизывает всю природу, примиряя нас с мыслью о том, что добро имеет свою противоположность»<sup>1</sup>.

Однако противоположности, с точки зрения Рунеберга, имели лишь характер «видимости», причем в самой «полярности» он учитывал только одну сторону — единство противоположностей, но не их борьбу. «Полярность» понималась им метафизически как неизменное состояние равновесия противоположностей, при котором все стороны явления равноценны. Один «полюс» не существует без другого, однако они пребывают в таком вечном единстве, которое совершенно исключает всякое внутреннее развитие явления, всякий сдвиг в соотношении его противоположностей. Их единство было для Рунеберга абсолютным, их борьба — относительной, несущественной, тогда как материалистическая диалектика утверждает как раз обратное: единство противоположностей относительно, их борьба абсолютна.

Рунеберг настойчиво отрицал реальный характер противоречий действительности. Единственно важной для искусства реальностью он считал гармонию мира, обусловленную вездесущей мудростью творца. С этой точки зрения «природа», как объект искусства, нуждалась в поэтическом «прояснении», в том, чтобы поэт силой своей интуиции открыл в ней божественную гармонию. Все противоречивое («несоразмерное») объявлялось недостойным внимания поэта. «Я не могу признать несоразмерное (*missförhållande*) в жизни за нечто реально существующее, — заявлял Рунеберг. — Я, конечно, знаю, что тысячи частных интересов ежечасно рушатся во имя высшего, но последнее как раз и делает все соразмерным, прекрасным и упорядоченным. Следовательно, когда я творю, то делаю это по врожденному инстинкту, исходя именно из такого воззрения на

---

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. *Samlade arbeten*. VI, s. 74—75.

жизнь и пренебрегая всем, в чем я не вижу примирения, кроткого порядка»<sup>1</sup>.

Если Арвидссон славил «бурю» как живительный источник обновления человечества, то для Рунеберга идеалом был полный, ничем невозмутимый покой. Именно в состоянии покоя должен был изображать поэт «природу». Море жизни бурно лишь на поверхности, говорил Рунеберг, и поэт своим взором должен проникнуть через все наносное и поверхностное, чтобы увидеть чистые и прозрачные глубины. Рунеберг называл это «спокойным» отражением жизни. Он исходил при этом из утверждения, что уже наличной действительности были присущи гармония и совершенство. Напрасно повторять, писал он, что «совершенство будет. Оно есть в каждый данный момент»<sup>2</sup>.

Приемля наличное бытие, Рунеберг не мог сочувствовать романтическому разладу мечты и действительности, романтическому томлению и душевной разорванности. Характерно, что в своих статьях начала 30-х годов Рунеберг осуждал не только драматургию Гюго, но и мистическую поэзию Стагнелиуса и Виталиса, о которой он писал, что в ней есть лишь «религиозность», но нет самой религии. Эта поэзия, по словам Рунеберга, выражала лишь борьбу и страстную тоску по «предчувствуемому», «предугадываемому» (anade) идеалу, но не «обладание идеалом».

Еще немецкие романтики (в частности, Вильгельм Шлегель) характеризовали античную поэзию как «поэзию обладания» и противопоставляли ей романтическую поэзию — «поэзию стремления». В начале 20-х годов Арвидссон, отстаивая этот принцип романтической эстетики, писал, что истинная поэзия стремится выразить «предчувствуемый» идеал, то есть идеал, который еще не имеет соответствия в действительности и которым нельзя еще «обладать».

Рунеберга, напротив, не удовлетворяла «поэзия стремления». С этим связана и его полемика с Ларсом Стенбеком, финляндским поэтом, который к середине 30-х годов стал фанатическим сторонником пиетизма. Секты пиетистов были распространенным явлением в Финляндии XIX века. Проповедники пиетизма, не ладившие с официальной церковью, проникали в самые глухие углы Финляндии, чтобы обратить в «истинную веру» отсталые крестьянские массы, внушить им религиозный аскетизм, презрение к «мирской суете», ненависть к положительному знанию. Пиетизм являлся реакционным религиозным движением, его распространенность в Финляндии объяснялась забитостью народных масс. Вместе с тем пиетизм свидетельствовал

<sup>1</sup> J. L. Runebergs efterlemnade skrifter, I. Viborg, 1878, s. 242.

<sup>2</sup> Там же, стр. 255.



о кризисе идеологии официальной церкви, освящавшей существующие порядки, хотя пиетисты и не противопоставляли этим порядкам ничего, кроме проповеди религиозного отречения.

Примкнув к секте пиетистов, Стенбек вскоре пришел к полному отрицанию светской поэзии. Музу он называл «великой блудницей», совращающей добрых христиан. Сам он писал стихи религиозного содержания, в которых доказывалось, что истинное благочестие обретается только в борьбе с земными радостями.

Этот воинственный характер проповеди пиетистов смутил Рунеберга. Хотя его собственная поэзия и все его мировоззрение были тесно связаны с религией, все же он не мог вполне согласиться с утверждением пиетистов, что финляндская действительность противоречила учению христианства. В «Письмах старого садовника» (1837) Рунеберг в беллетризованной форме выступил против крайностей пиетистских проповедей. Поведая о смерти дочери старого садовника, ставшей жертвой пиетистского аскетизма, Рунеберг доказывал, что, радуясь красоте земли, человек отнюдь не впадает в грех, но, напротив, прославляет творца. Видимый мир нельзя противопоставлять божьему слову, в каждом цветке, в каждой былинке проявляется мудрость провидения. Стенбек, в свою очередь, обвинял Рунеберга в пантеизме, в идеализации действительности. «Вы, — писал он в своем ответе, — хотите даже в несовершенном видеть совершенное, в дурном прекрасное, в порочном доброе — словом, в падшем мире только бога. Но разве вы сами не понимаете, что это всего лишь поэтическое поклонение природе, лишь пантеизм в более тонкой и изящной форме, лишь идолопоклонство»<sup>1</sup>.

Полемика между Рунебергом и Стенбеком, при всей ее религиозной отвлеченности, вызвала некоторый резонанс в Финляндии. Небезынтересно отметить, что уже тогда этот спор осмыслился в социальном плане. Некая А. Лундаль, приняв сторону Рунеберга, высказалась, например, в том духе, что обличение «падшего мира» пиетистами было сродни «проповеди против священных общественных уз»<sup>2</sup>. Современный финский исследователь Л. Вильянен, процитировавший эти слова, приходит к выводу, что Рунеберг уловил в пиетизме определенную угрозу тому идиллическому состоянию покоя, которое он воспевал в своих стихах. Другой исследователь нашего времени — буржуазный литературовед реакционного толка — К. С. Лаурилла посвятил полемике Рунеберга с Л. Стенбеком целую книгу. Лаурилла полагает, что в споре Рунеберга со Стенбеком отразился «вечный» конфликт между «эстетическим» и «религиоз-

<sup>1</sup> L. Viljanen, Runeberg ja hänen runoutensa, II. Porvoo-Helsinki, 1948, s. 40.

<sup>2</sup> Там же, стр. 38.

ным» человеком, между земными интересами людей и их долгом пред богом, причем Рунеберг не смог примирить эту противоположность.

Вскоре после «Писем старого садовника» Рунеберг заметно отступил от своего пантеистического взгляда на природу и земное бытие. В его статье «Макбет христианская ли трагедия?» (1842) религия и чувственный мир изображаются уже как два враждебных и взаимоисключающих начала.

Тема религиозного отречения в какой-то мере присутствовала в творчестве Рунеберга еще до 40-х годов. Уже в первой своей поэме — «Ночи ревности» (1830), он говорил о никчемности земного бытия, о том, что только в загробном мире человек обретает блаженство и покой, а «жизнь с ее радостями и страданиями — это лишь сон». В «Лебединой песне» (1832) поэт звал смерть как избавительницу от всех земных тревог:

Saliga timma,  
Härold av nattens frid  
Sörgernas dimma

Благословенный час,  
Вестник ночного покоя,  
Туман печалей

Skingsrar du, ljus och blid.  
Sluta du vill min strid,  
Saliga timma!

Ты рассеешь в сиянии нежном.  
Ты избавишь меня от борьбы,  
Благословенный час!

Размышления о бренности земного существования и тщетности всех мирских надежд проникли даже в те произведения Рунеберга, в которых патриархальный уклад жизни изображается как «обретенный» идеал совершенного бытия. При всем своем стремлении отвлечься от жизненных противоречий Рунеберг все же не мог избавиться от ощущения непрочности традиционных общественных связей старой формации. Над тихим патриархальным мирком нависла зловеющая и не до конца понятная Рунебергу опасность, этот мирок разрушался иными отношениями, гармония была лишь призрачной, и Рунеберг оплакивал ее, призывая смерть.

Когда Тенгстрём в конце 10-х годов противопоставлял Финляндию другим странам, она в его сознании выступала еще как некое целое в своей роли антипода буржуазного Запада. Правда, и Тенгстрём уже жаловался на проникновение в Финляндию пагуб цивилизации, однако он уповал на то, что дело еще поправимо, что в Финляндии сама природа способствовала сохранению патриархальных отношений.

Рунеберг в начале 30-х годов говорил уже о двух Финляндиях, о двух типах финляндской природы и соответственно этому о двух разновидностях национального характера. Финляндия была разделена Рунебергом на две части, причем все истин-



но добродетельное, с его точки зрения, сохранилось лишь в одной из них, а другая была уже заражена порчей цивилизации и обнаруживала тревожное сходство с Европой.

В очерке «Несколько слов о природе, народном характере и быте в волости Саариярви» (1832) Рунеберг писал, что если бы европейский путешественник посетил прибрежную Финляндию, он едва ли заметил бы там что-либо самобытно-финское как в ландшафте, так и в нравах жителей. Финляндское побережье скорее напомнило бы европейцу его собственную родину.

По сравнению с населением глубинных мест прибрежные жители обладали большим материальным достатком, они покорили природу, это был относительно развитый культурный край. Но зато природа у моря уже потеряла свою девственную красоту, ибо «как зверь утрачивает свою живую прелесть, когда человек приручает его, так и природа хиреет от усилий человека покорить ее; только оставаясь дикой, сохраняет она свою совершенную красоту, и только будучи покоренной, открывает она человеку свободный доступ к неисчерпаемым дарам своим». И если кому-либо «желательно увидеть природу в ее первобытном блеске, надобно отправиться туда, где она еще свободно являет свои исполинские силы, с насмешкой отражая слабые попытки увядающего племени покорить ее»<sup>1</sup>.

Крестьяне глухой волости Саариярви, повествовал Рунеберг, жили именно среди такой дикой и величественной природы. Они часто голодали, ютились в задымленных курных избах, но зато они были бескорыстны и добросердечны, им была свойственна склонность к внутреннему самосозерцанию, пренебрежение к мирской суете. А прибрежные жители, напротив, отличались практическим складом ума, они жили исключительно деловыми интересами.

Автор очерка ставил вопрос: какой части страны следовало отдать предпочтение? Ответ, по мнению Рунеберга, зависел от индивидуальных особенностей каждого человека. «Натуру, склонную к спокойному религиозно-поэтическому созерцанию, более всего впечатляют отдаленные селения. Жизнерадостный, смелый и предприимчивый человек, вероятно, полюбит берег моря; на прибрежных равнинах отлично будут чувствовать себя дельцы, предприниматели, эконоы. Но поскольку нет сомнения в том, что именно созерцательная натура наиболее правдиво воспринимает и чувствует природу, то с точки зрения высших интересов следует отдать предпочтение той местности, которая сильнее всего на такую натуру воздействует. Да и трудно представить себе более чистое, прекрасное и возвышенное проявление божественного, чем то, что мы находим в величественных картинах глухих краев, в их уединенности, в их

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten. VI, s. 3—4.

глубоком всеобъемлющем покое. Море, хотя оно и могуче, далеко не всегда отмечено этой печатью божественности. Только в его безграничном покое постигает и зрит душа бесконечное; когда же на море поднимается буря, то из бога оно превращается в титана, и человек тогда уже не шепчет молитвы, а готовится к борьбе»<sup>1</sup>.

Примечательно, что Рунебергу хотелось и море видеть только спокойным. Его отнюдь не привлекал образ разбушевавшейся морской стихии, столь часто встречающейся у романтиков. В финляндской поэзии едва ли не Топелнус первый воспел море, и это случилось под впечатлением революции 1848 года в Европе.

«Религиозно-поэтической» натуре Рунеберга импонировала патриархальная глушь. В своем очерке он указывал, что все написанное им о природе и жителях волости Саариярви имело отношение ко всей внутренней Финляндии. Только там, в глухомани, подальше от приморских торговых городов, оказывавших влияние на все финляндское побережье, можно было, по мнению Рунеберга, найти «финский дух» в его первозданной чистоте и невинности. Новым в этих настроениях было то, что уже не вся Финляндия считалась страной патриархальной благодати. Уже в самой Финляндии приходилось искать «истинную родину». Подобные искания были не только у Рунеберга, но и у молодого Топелиуса. Наиболее ярко они отразились в стихотворении Л. Стенбека «Моя финская родина» (Mitt Finska Fosterland). Оно было опубликовано в 1843 году в альманахе «Йоукахайнен».

В стихотворении рассказывается о странствии юного поэта, одержимого стремлением найти «финскую родину». Он пришел в шумный город, но все там было чуждо ему — и внешний блеск, и греховные страсти. Поэт посетил затем сельский край, который был прекрасен, но над которым уже «навис затхлый воздух просвещения, и не было там больше финского духа». Тогда поэт направился через горы и глухие леса, и долгие были его путь.

Men framåt gick han, och han fan i ro  
Ett folk i torvbetäckte hyddor bo,  
Och friskhet glänste ur dess öppna öga.  
Det var så välbekant, så svalt det var;  
Hans hjärta kände, att det ägde kvar  
Sitt Finska Fosterland.  
Och åter väcktes sången i hans bröst,  
Och fri som fogeln höjde han sin röst;  
De gråa bergen hörde hans förtjusning:

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten. VI, s. 7—8.



Mitt fosterland jag funnit har igen,  
I gömda hyddors skugga lever än  
Mitt Finska Fosterland! <sup>1</sup>

Только в глубокой таежной глуши нашел Стенбек ту мирную обитель, где еще был приют для патриархальных нравов. Старый мир, однако, отступал перед капитализмом не только в пространстве, но и во времени. В прошлое постепенно уходила патриархальная Финляндия, и вслед за нею устремлялась в отдаленные исторические времена поэтическая фантазия Рунеберга, уже не находившая для себя достаточно пищи в настоящем. Это, разумеется, не значит, что в Финляндии 40-х годов патриархальный уклад исчез уже бесследно. Нет, его «уход» был долгим, настоящая ломка финляндской деревни началась лишь после реформ 60—80-х годов. Еще Киви успел слегка погрузиться по «лесной свободе», еще Ахо и Ярнефельт не вполне смогли расстаться с патриархальными иллюзиями, и только Лассила весело посмеялся над старой деревней, не питая уже никакого сочувствия к ее ветхозаветным обычаям.

В 40-е годы патриархальный уклад лишь чуть «тронулся», причем на сознание финляндских литераторов повлияли не только и, пожалуй, не столько изменения в самой финляндской действительности (в общем очень незначительные), сколько глубокие сдвиги в политической обстановке Европы. Народы поднимались на борьбу со Священным Союзом, во многих странах надвигалась революция. Ее отдаленный шум доносился и до слуха некоторых финляндских писателей. Тревожное ожидание чего-то грандиозного, обостренное чувство углублявшегося раскола в мире, отвращение к реакционному режиму и в то же время нескрываемый страх перед грядущей бурей — все это отразилось, например, в следующих словах двадцатидвухлетнего Топелиуса, записанных им в 1840-м году: «Все более обнаруживаются ложность и неустойчивость государственной системы современной Европы, искусственность господствующего в ней режима. Лишь в результате крайних усилий дипломатии удастся поддерживать мир, не обеспеченный естественными условиями. Сложилась новая обстановка; народы осмеливаются иметь иные мнения, чем это предписывалось соглашениями 1815 года... Народы охвачены тревогой, и высоко вздымаются волны революции, чтобы разбить стесняющие их оковы. Наука,

---

<sup>1</sup> Но он шел вперед, пока не увидел народ, живущий в хижинах с крышами из дерна. Глаза этих людей светились бодростью. Они были столь близки ему и столь голодны! Он сердцем почувствовал, что у этого народа есть своя финская родина. Вновь пробудилась песня в сердце поэта, и он запел привольно, словно птица. Седые утесы прислушались к его ликование: «Я вновь обрел свою родину, она здесь — под сенью укромных хижин!».

с одной стороны, и сила пара, с другой, толкают человечество вперед. И нет никакой сдерживающей, направляющей силы, ибо религия и церковь стали уже мифом, а государство умерло в индивидуе... Народы предчувствуют приближение урагана, но когда он нагрянет, этого никто не может точно сказать. В атмосфере Европы есть что-то удушающее, и чтобы освежить ее, нужна гроза, нужна буря»<sup>1</sup>.

Снельман в середине 40-х годов также говорил, что пора политического «смирения и долготерпения» народов подходила уже к концу. С этим фактом он связывал и уход Рунеберга от современной ему действительности, уже настолько чреватой внутренними противоречиями, что «примирить» их совершенно было невозможно. Рунеберг уже не писал поэм на современные темы, но предпочитал сюжеты исторические, взятые из далеких эпох. Здесь было легче отвлечься от конкретной реальности, здесь поэт мог произвольно выдвигать свои излюбленные религиозно-нравственные проблемы, имеющие мало общего с логикой истории. Одной из таких исторических поэм Рунеберга является «Король Фьялар» (1844), которую сам автор назвал «гимном в честь богов».

О «Короле Фьяларе» упоминал в своем письме Грот. Он вообще довольно много писал о Рунеберге. Первая статья о нем — «Знакомство с Рунебергом» — была напечатана в «Современнике» еще в 1839 году.

После краткого экскурса в историю шведской литературы в этой статье довольно подробно описаны и тихий провинциальный город, и нравы его жителей, и сам поэт в подчеркнута патриархальной обстановке. В Рунеберге Грот не преминул заметить некоторую ограниченность кругозора, обусловленную провинциальной жизнью, но зато поэт импонировал ему своим «величавым спокойствием». Ссылаясь на отзывы Сигнеуса о Рунеберге, Грот писал, что «верность природе в малейших подробностях составляет отличительную черту нашего поэта. И не удивительно: он знает ее не из книг; она сама была всегда его главною, любимую книгою, и он читает, изучает ее беспрестанно. Он не может похвалиться ни обширною начитанностью, ни многообещающими сведениями: чистая душа, в которой природа отражается, как в светлом зеркале, — вот источник его песен. Скажу откровенно, что не ожидаю и глубокого знания света от человека, который, как г. Рунеберг, никогда не переступал за пределы тихого быта финляндских горолов: житель провинции имеет перед собою горизонт, слишком ограниченный, однообразный и бледный; он не может ни постигнуть всей суетности общественной жизни, ни проникнуть во все тайны отношений люд-

---

<sup>1</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III. Stockholm, 1918, s. 111—112.



ских, ни, наконец, представить себе полного результата успехов гражданственности. Но он остается тем ближе к природе, чем он чаще и совершеннее может вкушать наслаждения, которыми она дарит способных понимать ее»<sup>1</sup>.

Сходные мысли о Рунеберге вложил Грот и в свое стихотворение «Приветствие» финляндским литераторам, зачитанное на дружеском обеде во время университетского юбилея 1840 года.

О Рунеберг, беспечный друг природы!  
Тебя нам сладко видеть пред собой:  
Ты русских муз прекраснейшие годы  
Напомнил нам и ликом и душой.  
В твоих чертах есть что-то нам родное,  
В твоей груди любовь и теплота;  
С участием ты объемлешь все земное,  
Но в мысль твою не входит суета.

В стихотворении «Борго», развивая мысль о непричастности поэта к «суете», Грот писал о Рунеберге:

Мудрец, от бурь житейских удаленный,  
Свой мир он носит в глубине души,  
Чудесный мир, с которым, вдохновенный,  
И счастлив он и горд в своей глуши.  
Но, сам собой не полн в уединеньи,  
Он пламенно сочувствует всему,  
Что нам господь явил в своем твореньи,  
Что родственно иль сердцу иль уму.  
Люблю с ним весть живые разговоры,  
Когда как искры сыплются слова,  
А заодно с словами блещут взоры  
И грудь кипит и пышет голова . . .  
За часом час несется неприметно:  
Незванным гостем вдруг подходит ночь . . .  
Но дня не жаль: он прожит был не тщетно,  
Когда ко сну иду я весел прочь.

В статье «Знакомство с Рунебергом» Грот приводил переводы стихотворений поэта, главным образом из цикла так называемых «Идиллий и эпиграмм», причем подчеркивал, что «наклонность к идиллии» составляла одну из характерных особенностей финляндского поэта. Уже при этой первой встрече он, по словам Грота, проявил интерес к русской литературе. Рунеберг, писал Грот, «не знает русского языка, однако с большим любопытством расспрашивал меня о состоянии русской словес-

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 19.

ности и жалел, что лишен возможности познакомить шведскую публику с лучшими произведениями наших поэтов. По его желанию, я обещал прислать ему подстрочный перевод некоторых пьес Пушкина и Дельвига»<sup>1</sup>.

В письме к Гроту Рунеберг вскоре благодарил его и за статью об их встрече, и за сочувствие к нему как поэту, и за присланные письма и книги. «Жду выздоровления, — писал больной поэт, — чтобы показать, с каким интересом слежу за вашим стремлением познакомиться ваших соотечественников с литературой Швеции и Финляндии. Мне очень хотелось бы прислать вам заметки, какие удастся мне собрать о финских рунах, о Калевале и о том, как Лённрот обращается с крестьянами, чтобы выманить у них песни»<sup>2</sup>. Два месяца спустя Рунеберг, по просьбе Грота, сообщил ему ряд автобиографических сведений, дал краткий очерк современного состояния шведской литературы, а также подробно рассказал о собирательской работе Лённрота, приведя выдержки из его писем, на которые впоследствии не раз ссылались исследователи «Калевалы».

В Финляндии был известен двухтомник Пушкина в немецком переводе Липперта. Грот подарил его, в частности, Рунебергу, сделав на шведском языке шутивную надпись, русский вариант которой затем сообщил Плетневу. В этой стихотворной надписи повествуется о том, как к Пушкину в царство усопших явился вестник, которого поэт спрашивает о событиях на земле.

— «Брат мой!» — пришлец отвечает:

«Новость одну я принес. Среди финских угрюмых утесов  
Есть благородный поэт; его ты любил бы от сердца,  
Если б телесным слухом однажды внял его песням.  
Ныне с лирой в руках устремил орлиные взоры  
Он на отчизну твою в блестящие годы Фелицы.  
О, как сладко поет он любовь россиянки Надежды!  
Сам, с земли взлетая, вдали я слышал те звуки».  
Смолк. Тогда с нетерпеньем спросил восторженный Пушкин:  
«Можешь ли ты мне сказать: знаком он с музой моею?»  
— «Имя твое он знает», — пришлец отвечивал тихо, —  
«Но не музу: увы! язык твой ему непонятен!»  
Снова начал Пушкин со вздохом и вместе с улыбкой:  
«Слышно, муза моя гулять пустилась по свету  
В платье немецком; устрой, чтоб финнов певец благородный  
В фижмах ее хоть увидел, когда уж нельзя в сарафане!  
Тотчас письмо напишу в Россию; день нынче почтовый!»

Грот в шутку добавлял, что «письмо» это было отправлено

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 20.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 836, л. 1.



Пушкиным Плетневу, который поспешил исполнить желание покойного друга и выслал в Финляндию двухтомник его стихов.

Дружба Грота с Рунебергом весьма занимала Плетнева, о чем свидетельствует его переписка. В Рунеберге Плетнев и Грот видели талантливого поэта и вместе с тем влиятельную в Финляндии фигуру. Он мог существенным образом содействовать оживлению русско-финляндских литературных связей, и Плетнев просил Грота приложить все усилия к тому, чтобы дать Рунебергу возможность познакомиться с русской литературой. В письме к Гроту от 22 октября 1840 года Плетнев писал: «Как бы нам Рунеберга втянуть в наши интересы, т. е. чтобы он искал переводов или вас заставлял подготавливать для него что-нибудь о России или из русской литературы — и, таким образом, полюбив наше по сердечному убеждению, говорил бы потом иногда в своих пьесах о наших созданиях с чувством благоволения и решительной склонности ставить все хорошее наше на ряду с европейским! Я верю, что он вас любит, а по вас, конечно, и меня; но надобно ему знать высоту Державина, неподражаемость Крылова, вкус и ум Карамзина, божественность Жуковского и художественную прелесть Пушкина»<sup>1</sup>.

В какой-то мере Гроту удалось заинтересовать Рунеберга русской литературой. Когда поэт получил немецкий перевод Пушкина, он вскоре, 25 апреля 1841 года, писал Гроту: «Ради забавы посылаю тебе перевод пушкинского стихотворения, того самого, которое переведено уже Сигнеусом». Речь шла о стихотворении «Ворон к ворону летит». К тексту собственного перевода Рунеберг приписал: «Перевод несколько отклоняется от дословного, но иначе трудно было добиться ясности»<sup>2</sup>.

В свою очередь Грот все чаще рекомендовал своего финляндского друга русскому читателю. Вслед за статьей «Знакомство с Рунебергом» в «Современнике» появились переводы из произведений поэта: очерк «О природе финляндской, нравах и образе жизни народа во внутренности края» (1840), стихотворение «Вечер на рождество» (1840), две поэмы — «Охотники на лосей» в прозаическом пересказе и «Надежда», отчасти в поэтическом переводе (1841). Последняя поэма написана на русский сюжет, ее действие происходит в эпоху Екатерины II, «в блестящие годы Фелицы», как выразился Грот в дарственной надписи.

В начале 1841 года Грот изложил в письме к Плетневу краткое содержание «Надежды», которую поэт читал Гроту еще в рукописи. Узнав, что поэма написана на русский сюжет из екатерининских времен, Плетнев предупреждал Грота: «Только, ради бога, не проглядите вы вдвоем чего-нибудь несогласного с

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 106.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 836, л. 11.

правами и другими условиями местности и эпохи. Рунеберг не бывал в России. Он может надеть промахов»<sup>1</sup>. Тут же Плетнев предлагал Гроту порекомендовать Рунебергу в качестве сюжета для поэмы историю графини Шереметевой, «вышедшей за царского любимца, прожившей весь век свой в Сибири и умершей в Киеве монахиней. Вот предмет, достойный Рунеберга!.. Заготовьте для Рунеберга красок из записок же героини. Прибавьте о Сибири и проч. и проч. Я уверен, что все это увлечет его»<sup>2</sup>. Однако это предложение осталось без последствий.

Поскольку в «Надежде» встречались выражения о крепостном праве, о рабах и рабынях, то в русский перевод ее вмешалась цензура, кое-какие места были выброшены, кое-что смягчено. Прочитав этот «исправленный» перевод в «Современнике», Грот пришел в негодование и тотчас же написал Плетневу: «Бестолковость «Надежды» в теперешнем ее виде превзошла мои ожидания. Не только основная глубокая идея пропала, но и всякий вообще смысл, а следовательно и занимательность. Если бы ты не был так близок к редактору «Современника», я бы на него взбесился. Однако ж, позволь, любезный друг, откровенно заметить, что ты из уважения к себе и своему журналу не должен был печатать в нем статьи, которая, кроме своей нелепости и скуки, такова, что может бросить ложный свет и на Рунеберга и на его переводчика. Ты должен был или вовсе не помещать этой статьи, или, сказав от себя несколько слов о «Надежде», напечатать некоторые отдельные места, до которых не коснулось варварское оружие цензора. А что скажет потомок, который, зная шведский язык, сравнит перевод с подлинником и не найдет комментариев, которые бы объяснили ему дело. Здесь (в Финляндии. — Э. К.) я, однако ж, не намерен никому рассказывать об этом знаменитом факте»<sup>3</sup>.

Цензурные искажения русского перевода «Надежды» тем более возмутили Грота, что еще до выхода из печати шведского оригинала поэмы он успел в 1841 году в весьма многообещающих тонах сообщить о ней русскому читателю в «Литературных новостях из Финляндии», печатавшихся в том же «Современнике». Подчеркивая, что это была именно «русская поэма», сочиненная финном, Грот писал: «Все, знающие талант Рунеберга, ожидают «Надежды» с тем большим нетерпением, что здесь поэт, оставив свой любимый, простонародный мир, вступает в высшую, доселе чуждую ему сферу: «Надежда» составит блистательное выражение того общего участия, которое Финляндия все более и более начинает принимать в умственной жизни России. Кажется, в этом отношении можно, не обманув-

---

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 211.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 451—452.



шись, принять заглавие новой поэмы в смысле имени нарицательного и приветствовать в русской сельской красавице, воспетой на шведском языке, предвестницу того радостного времени, когда перед глазами соседних нам народов исчезнут и остатки тумана, препятствовавшего им доньше видеть Россию в настоящем ее свете. Стремление финляндцев к справедливой оценке нашего отечества, так поэтически обнаружившееся в «Надежде», заметно и в общем внимании, какое здешние периодические листки обратили, в особенности с нынешнего года, на нашу литературу. Еще в прошедшую осень некоторые из ее современных явлений подали им повод к спору, который хотя и не показал ни с одной стороны основательного знания предмета, однако ж примечателен как ясный признак пробудившейся в отношении к нам любознательности»<sup>1</sup>.

В Финляндии высказывалось предположение, что при написании «Надежды» автор, через посредство Грота, испытал влияние «Капитанской дочки» Пушкина. Эту мысль, правда, в очень осторожной форме, выдвинула Хертта Энквист в статье «Русское влияние на поэму Runeберга «Надежда»»<sup>2</sup>. Автор статьи учитывает, что ни в оригинале, ни в переводе Runeберг не мог читать «Капитанской дочки», так как русским языком не владел, а переводы пушкинского романа — шведский (1841) и немецкий (1846) — были опубликованы уже после написания поэмы. Энквист допускает, что «Капитанская дочка» стала известна Runeбергу из устного пересказа Грота. Такая возможность не исключена. Грот в своих статьях неоднократно подчеркивал, что с Runeбергом они беседовали о Пушкине.

По сохранившимся сведениям, мысль написать поэму на русский сюжет возникла у Runeберга после того, как он услышал «русское предание» от Генриэтты Алстуббе, когда-то жившей в России. Что это было за предание, сейчас установить трудно. Но оно, по свидетельству Ф. Сигнеуса, очень заинтересовало Runeберга и дало непосредственный толчок для написания поэмы. Грот помогал автору некоторыми советами, сохранилось его письмо к Runeбергу, в котором перечисляются русские имена. Познания поэта о России не отличались обширностью, однако он в какой-то мере был знаком с русской народной поэзией, как и с песнями других славянских народов. Русские фольклорные мотивы определенно чувствуются в «Надежде», и в этом отношении наблюдения Х. Энквист не вызывают сомнений. Что же касается влияния Пушкина на Runeберга, то сходство между некоторыми эпизодами «Капитанской дочки» и «Надежды» слишком отдаленное и чисто внешнее, в то время

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 180.

<sup>2</sup> H. Enkvist. Venäläinen vaikutus Runebergin Nadeschda-runoelmaan. — Valvoja-Aika, 1930, s. 372—385.

как по своей идее и поэтическому звучанию это довольно далекие друг от друга произведения. Каким бы сложным ни было отношение Пушкина к крестьянскому восстанию, оно все же оставалось в центре его внимания, в то время как Runeберг сторонился подобных тем. Его «Надежда» написана в идиллических красках, что было отмечено еще в сороковые годы финляндской критикой. Об этом говорил и Грот, называвший поэмы Runeберга «эпическими идиллиями». Правда, в «Надежде» выдвигается идея нравственного равенства крепостных и их господ, героиня поэмы наделена чувствительным сердцем, автор подчеркивает в ней примерно то же самое, что Карамзин выразил словами: «И крестьянки любить умеют!» Конфликт в поэме Runeберга во многом теряет свой социальный характер, его героиня страдает не столько от крепостной зависимости, сколько оттого, что ее притеснитель был недобродетельным по своей природе человеком.

Необходимо учитывать также, что «Капитанская дочка» написана художником-реалистом. Если романтические поэмы Пушкина довольно быстро проникли в Финляндию, то к реалистическим его произведениям финны долгое время относились недоверчиво, не умея по достоинству их оценить.

В письме Грота к Плетневу от 12 февраля 1841 года есть любопытное замечание, на которое не обращалось внимания. Из письма ясно, что сочинения Пушкина в немецком переводе Липперта были преподнесены Гротом не только Runeбергу, но и Ф. Сигнеусу, который в какой-то мере владел также русским языком. Грот сообщал Плетневу о своем посещении Сигнеуса: «Он читает присланного вами Пушкина. Ему в переводе не нравится Онегин. И не удивительно: как это перевести?»<sup>1</sup>

Думается, однако, что причина была не только в переводе. Здесь уместно вспомнить о той сдержанности, с которой встретили первые главы «Евгения Онегина» литераторы из декабристского лагеря, например, Рылеев и А. Бестужев-Марлинский<sup>2</sup>. После того как Пушкин в письме к Рылееву от 25 января 1825 года признал критику «Евгения Онегина» Бестужевым несправедливой, Рылеев тем не менее отвечал, что ставит роман, по прочтении первой его главы, ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника»<sup>3</sup>. Бестужев также ценил Пушкина прежде всего как автора романтических поэм. В «Цыганах», по его словам, были и «молнийные очерки», и «глубокие

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 240.

<sup>2</sup> Спор А. Бестужева с Пушкиным по поводу «Евгения Онегина» рассматривается, например, в книге: В. Базанов. Очерки декабристской литературы. М., 1953, стр. 406—418. О том же см. «Историю русской критики», т. I, изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 225.

<sup>3</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. XIII. Изд. АН СССР, 1937, стр. 141.



страсти», чего он уже не находил в «Евгении Онегине». Пушкина-реалиста Бестужев упрекал за недостаток «романтического». В письме к родным из якутской ссылки Бестужев писал: «...Пушкин, бог моды настоящего, весьма мало имеет в себе и идеального, т. е. романтического»<sup>1</sup>.

Сторонником «идеальной» поэзии был и Сигнеус, самый «полнокровный» в Финляндии романтик и «субъективист», как назвал его В. Таркаиainen. Сигнеус обнаруживал непонимание не только «Евгения Онегина», но и западноевропейского реализма, что было характерно для многих финляндских литераторов.

Теперь вернемся к поэме Рунеберга «Охотники на лосей». Одной из ее примечательных черт является то, что наряду с финскими национальными типами в ней изображены также карельские коробейники — в Финляндии их нередко называли «русскими», поскольку они были родом из «русской» Карелии, исповедовали православие, знали обычно русский язык и вообще стояли по своему быту и нравам ближе к русским, нежели к финнам. Рунеберг также именует своих коробейников «русскими», подчеркивая при этом отличия их национального характера от финского.

В описании поэта финны степенные и домовитые хозяева, неторопливые в движениях и сдержанные в чувствах; они остаются уравновешенными и в горе и в радости, в них во всех есть что-то от крестьянина Паво, героя рунеберговской баллады, который и в урожайный год продолжал есть хлеб с примесью коры, не поддаваясь ни малейшему искушению вознаградить себя куском посытнее за слишком продолжительное воздержание.

Не таковы коробейники в поэме. Это веселые балагуры, умеющие скрасить свой досуг забавной шуткой, лихой пляской после бутылки рому, на которую им не жаль изрядной доли их скромного заработка. Они не домоседы, в каждой деревне на чужой стороне есть у них друзья, все им рады за их общительный и веселый нрав. Эти пришлые бородачи (всех их Рунеберг рисует с бородами) не скупятся на чувства и их проявление. Когда Тобиас, самый молодой из них, влюбляется в красавицу служанку, он клянется ей самыми страстными клятвами и готов раздать все дары, даже из чужого короба. А Онтрус, его приятель, широким жестом разбрасывает перед красавицей все свои ассигнации, и хотя потом он бережно собирает их и даже целует каждую, прежде чем вновь схоронить в кармане, но зато на слова коробейник поистине щедр, безудержно рахваливая богатства Архангельска, своего губернского города, где он покупает товары.

---

<sup>1</sup> Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953, стр. 408.

Описание финнов и «русских» коробейников в поэме Рунеберга заставляет вспомнить приводимый Гротом отрывок из письма Кастрена. Характеризуя русских и финнов, Кастрен писал Гроту из Ижемской слободы: «Я бы сравнил русский народ со страстным юношею, у которого большие способности, но и искушения большие. Во всех своих поступках он обнаруживает предприимчивость, бойкость, дух открытый, веселый, бесстрашный и беззаботный, но особенно ум светлый, определенный и верно рассчитывающий. Часто мне самому бывает весело на душе, когда я вижу, как русский крестьянин поет и шутит за караваем хлеба, который составляет все его богатство, все его земное блаженство. Таков характер его от природы: о чем же ему тужить? С ним всегда остается непоколебимая вера в силу его духа и убеждение, что «бог даст» ему все, в чем он нуждается для скудного пропитания. Будучи весел и беспечен, он не всегда строго обдумывает законность своих поступков; ему нужна — закон. Но за это нельзя винить его слишком строго, когда видишь, как он готов делить со своими братьями то, что приобрел не совсем чисто. Вот еще характеристическая черта, свидетельствующая о юношеском духе русского простолюдина: правда, он жаждет несметных сокровищ и для приобретения их не пощадит самой жизни; но когда воля его исполнится, тогда он с удивительным легкомыслием все опять сбывает с рук или бросает. Дело в том, что он любит богатство не для пустого удовольствия и меть, а для существенного наслаждения жить. Короче: мне кажется, что русский национальный характер совершенно отражается в характере того удалого героя, который в народной поэзии древних финнов известен под именем Лемминкейнена, и русские к финнам находят, по характеру своему, в таком же отношении, в каком Лемминкейнен находится к Вейнемейнену: тот веселый юноша, этот — угрюмый старик»<sup>1</sup>.

Об «Охотниках на лосей» Грот писал, что Рунеберг в этой поэме поставил себе задачей изобразить основные черты быта и характера финских крестьян. «Правда, мир действительности, откуда взято ее содержание, не высок; в ней нет ни изображения сильных страстей, ни развития глубоких характеров, ни тех запутанных отношений между действующими лицами и того разнообразия событий, какими может воспользоваться поэт, когда изберет своих героев в другом мире; но разве и простая, однообразная жизнь поселян не имеет своей занимательности для ума наблюдательного? Звание людей и обстоятельства, их окружающие, суть одни случайности; все чисто человеческое, неизменное, вековое в нашей двойственной природе так же точно заслуживает изучения в поселянине, как и в вельможе, в худож-

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 285—286.



нике, в полководце. Вот отчего верная картина быта крестьянского, в отношении к искусству, может иметь столько же безусловного достоинства, как и та, в которой представлены люди и действия другого разряда»<sup>1</sup>. Все это было весьма близко собственным эстетическим воззрениям Runeберга, отстаивавшего в своих статьях право поэта изображать «низшие классы природы», но в то же время идеализировавшего «поселян» и их отношения с господами.

Следует сказать, что финляндские знакомые Грота подчас стремились внушить ему слишком однобокие представления и о финском народе, и о финской литературе, и о Runeберге. В бумагах Грота сохранилось, в частности, письмо к нему от А. Борга, финляндского помещика, с которым Грот лично встретился еще во время первой своей поездки к Runeбергу. Это письмо, датированное 21 октября 1846 года, примечательно как наиболее яркое проявление тенденции оценивать финский народ и всю его духовную жизнь исключительно с точки зрения квиетизма. «Да, кантеле Вайнямейнена, — писал Борг, — умолкло в той округе, где я живу, и хотя мне кажется, что ее звуки все еще слышатся в окружающей меня народной жизни, но выражены они не в словах и действиях, больших и прекрасных, а лишь угадываются в том спокойствии безмолвного отречения, которое столь привлекательно выступает в характере финского крестьянина, когда дух его угнетен нуждой и страданием. Это и есть то самое, что Runeберг воспел в сердце народном; нищего Арона, играющего на своей скрипке, «словно сверчок на листке пожелтевшем, хотя солнце ему не светит», я всегда считал кульминационным пунктом в «Охотниках на лосей». Из всего этого Борг делал вывод: «Цветок искусства, вдохновение поэта — это нежные растения, они чувствуют себя хорошо только в покое, но не в бурях. Прими эти мои слова не как совет тебе, а как доброе пожелание счастья»<sup>2</sup>.

Конечно, Runeберг подчас был близок к квиетизму, и этим его настроениям в значительной степени сочувствовал и Грот, цитировавший из писем поэта места, где восхвалялось смирение финнов, их склонность к религиозному самоуглублению. Но Грот замечал и то, что любовь Runeберга к патриархальному крестьянству подчас выражалась в протесте против верхних слоев общества, в подчеркивании нравственного превосходства простого народа перед аристократами. «Как умно, — писал Грот о Runeберге, — сравнивал он сегодня аристократию и среднее сословие, — первую с кораблем, гордо плывущим на парусах, но бессильным против прихотей погоды, а другое — с парохо-

<sup>1</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 949.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 110, л. 1.

дом, который с виду ничего не обещает, но изнутри развивает неодолимую силу»<sup>1</sup>.

Все же Рунеберг был дорог Гроту именно как поэт, сторонящийся «злобы дня», близкий по духу плетневскому «Современнику»; потому Грот положительно отнесся и к «Королю Фьялару», тогда как у Снельмана идея этой поэмы вызвала возражения.

Описанные в «Короле Фьяларе» события легендарны по своему характеру и приурочены к эпохе викингов. Престарелый король Фьялар намерен изменить образ жизни своих подданных. Его уже не привлекают ратные подвиги и воинская слава, он хочет заняться мирными делами, принести людям «покой и счастье». Фьялар полагает, что все подвластно его воле. Однако оракул Даргар напоминает ему о «вечных богах», управляющих судьбами людей, о том, что человек сам бессилен изменить окружающий его мир. По предсказанию оракула, боги должны отомстить Фьялару за его самонадеянную веру в собственные силы: дочь и сын короля совершат акт кровосмешения, весь его род погибнет. Но Фьялар, одержимый гордыней, бросает вызов богам и, чтобы избежать их мести, велит уничтожить свою дочь. Ойгонна брошена в море, но providение спасает ее от гибели. В конце концов она встречается с Ялмаром и, не узнав в нем брата, отдается его ласкам. Прорицание оракула исполняется. После «душевной борьбы» Фьялар признает всемогущество богов и кончает с собой.

«Er är segern», talte han, «höge gudar!  
Jag är straffad vorden, jag prövat er.»

«Вы победили, величественные боги! — сказал он. — Я понес кару, я испытал вашу силу».

О «Короле Фьяларе» Снельман в 1844 году написал одну из своих лучших критических статей. Анализу самой поэмы предшествовало вступление, в котором Снельман изложил свое понимание «романтического мировоззрения» с тем, чтобы определить отношение Рунеберга к романтизму.

Согласно установившейся традиции, которой придерживался и Гегель, Снельман именовал «романтическим» искусство средних веков и нового времени, в отличие от искусства античного. Истоки «романтического мировоззрения» он отыскивал в раннем средневековье, когда у народов, по его словам, уже была поэзия, выражавшая неудовлетворенность настоящим. Наличной действительности противопоставлялась «действительность воображаемая», существовавшая только как субъективное стремление к идеалу. Снельман подчеркивал, что реальное средневе-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, 198—199.



ковые было далеко не романтично, что беспристрастный историк не может обнаружить в прошлом той идеальной эпохи рыцарского духа, которая неоднократно воспевалась поэтами.

Возрождение романтического мировоззрения и романтической поэзии в новое время было вызвано, по мнению Снельмана, «прежде всего современными политическими и социальными переворотами, оказавшими глубокое влияние на всю культуру»<sup>1</sup>. Однако Финляндии эти «перевороты» не коснулись, она оставалась в стороне от «стремлений века», от бурной политической жизни европейских народов. Духовные интересы финнов ограничивались сферой семьи и общины. Между тем, для любого рода творчества, указывал Снельман, не может быть безразлично, на каком уровне цивилизации находится тот народ, к которому принадлежит художник. Отсталость Финляндии являлась, по мнению Снельмана, причиной того, что романтические тенденции в творчестве Рунеберга обнаруживались относительно слабо. Рунеберг, как и его предшественник Францен, воспевал семейную жизнь с ее маленькими радостями и печалью, и с этой точки зрения его можно было считать «национальным» поэтом, однако «национальная черта» в поэзии, подчеркивал Снельман, не всегда имеет позитивный смысл, есть и «отрицательная национальность», как следствие застойного характера национальной жизни.

Все же в поэзии Рунеберга в начале 40-х годов, как указывал Снельман, наступил некоторый перелом. Уже поэма «Надежда» (1841) свидетельствовала, по словам критика, о том, что Рунеберг стал отходить от «чистой идиллии» к «роману», к романтической поэзии. А поэму «Король Фьялар» Снельман именовал «романтическим эпосом», хотя тут же оговаривал, что и в этом произведении Рунеберг был бесконечно далек от «могучих стремлений» эпохи.

Снельман указывал, что в отличие от ранних поэм Рунеберга в «Надежде» и «Короле Фьяларе» была драматическая коллизия. В них сталкивались противоположные начала: сословные предрассудки и возвышающаяся над ними любовь в «Надежде», вера человека в собственные силы и месть богов в «Короле Фьяларе». В последней поэме Рунеберг попытался изобразить гордый и мятежный характер, которому присуща «сила духа», и в этом, по словам Снельмана, можно было уловить единственный отклик поэта на бурную современность. Однако «сильный духом» Фьялар преследует в поэме такую цель, которая была прямо противоположна интересам современного развития. Герой поэмы мечтает об идиллии неподвижного состояния, он всем сердцем жаждет «покоя». «Каждому ясно, — указывал Снельман, — что подобное желание Фьялара всецело является вы-

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, VIII, s. 29.

мыслом самого поэта и что оно не сообразуется ни с характером Фьялара, ни с характером его эпохи. И едва ли нужно говорить, что такое желание столь же мало свойственно и нашему веку. Однако можно смело сказать, что эта страсть к покою и бездействию присуща тому народу, к которому принадлежит поэт, вследствие чего она и составляет самую приметную черту его поэзии»<sup>1</sup>.

Даже в этой «романтической поэме», отмечал Снельман, не было интенсивности чувства; ее автор слишком «сдержанно» обращался с романтическими мотивами, его фантазия отличалась какой-то холодностью. Снельман писал, что в образе Фьялара «идиллия еще раз вступила в борьбу за свое место в поэзии Рунеберга и одержала победу, ограничив пафос героя и помешав его действиям. Уж не последняя ли эта схватка? Быть может, гений поэта нуждается в союзнике, чтобы освободиться от всего, что сковывает его? В таком случае поэт найдет его не в скандинавской мифологии, а в новейшей истории, укazyвающей, как нужно разбивать оковы духа»<sup>2</sup>.

Снельман, таким образом, выдвигал проблему активной личности, проблему героя, участвующего в историческом процессе. Поэзия, с точки зрения Снельмана, должна была символически отражать «работу истории», противоречивые «стремления века».

Для Рунеберга эти вопросы существовали только негативно, поскольку он считал, что человеку не дано вмешиваться в божий промысел. Всякая попытка как-то изменить установленный богом миропорядок была; по Рунебергу, уже заранее обречена на неудачу. Бунтарство должно было всегда кончаться трагически, бунтарь своей гибелью подтверждал незыблемость «божественного» миропорядка. Смысл мифа о Прометее Рунеберг сводил к акту расправы над титаном. Трагедия, писал Рунеберг, это «прославление вечного и всеобщего закона, каким он предстает при ниспровержении и гибели борющейся против него личности»<sup>3</sup>. Для Рунеберга главным был «порядок», личность же должна была покоряться, примиряя свою волю с божественным началом через искупление. При такой постановке вопроса идея исторического развития исключалась.

О творчестве Рунеберга вплоть до последнего времени высказывались весьма разноречивые суждения. Более или менее официальная точка зрения, установившаяся в Финляндии на поэта, отличается беспрекословным пиететом по отношению к нему — мы уже не говорим о критиках типа Лаурила, которым Рунеберг даже в наши дни кажется слишком левым писателем.

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, VIII, s. 46.

<sup>2</sup> Там же, стр. 50.

<sup>3</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, V. Stockholm, 1927, s. 372.



Достаточно и того, что финляндская реакция всячески стремилась сохранить незыблемыми те идеи Рунеберга, которые даже в его время выглядели довольно консервативными.

С другой стороны, были и такие мнения, что Рунеберг являлся только ретроградом, что его творчество всегда играло только реакционную роль. Подобные утверждения в большой степени были вызваны необходимостью подорвать тот национал-шовинистский «культ Рунеберга», который занимал важное место в идеологическом арсенале финляндских реакционеров и милитаристов. Такое стремление вполне понятно, но от этого упомянутая точка зрения не становится менее односторонней.

Сколь бы необходима и правомерна ни была критика сторонников «культа Рунеберга», утративших всякое чувство историзма, однако нельзя отрицать, что поэзия самого Рунеберга действительно была очень крупным явлением в истории финляндской литературы, и не только литературы, но и всей духовной жизни в эпоху национального возрождения.

В истории национальных литератур бывают начальные периоды, чрезвычайно благодарные для художников с выдающимся талантом. Это та пора, когда пробуждающаяся нация нетерпеливо ждет появления певца, который впервые произнес бы простые и прекрасные слова о простых и прекрасных вещах, о весне и первой любви, о нежном шелесте берез и пении птиц, о красоте озер и бескрайних лесов, о том, какое счастье жить в родном краю, под небом отчизны, даже если оно низко и пасмурно. Эти чувства Рунеберг сумел выразить как никто до него в Финляндии. Вот его «Лебедь», в переводе А. Блока:

Июньский вечер в облаках	Как счастлив, счастлив, кто
Пурпуровых горел,	найдет
Спокойный лебедь в тростниках	Там дружбу и любовь;
	Какая верность там цветет,
Блаженный гимн запел.	Рождаясь вновь и вновь.
Он пел о том, как север мил,	Так от волны к волне порхал
Как даль небес ясна,	Сей глас простой хвалы;
Как день об отдыхе забыл,	Подругу к сердцу он прижал
Всю ночь не зная сна;	И пел над ней средь злглы.
Как под березой и ольхой	Пусть о мечте твоей златой
Свежа густая тень;	Не будут знать в веках;
Как над прохладною волной	Но ты любил и пел весной
В заливе гаснет день;	На северных волнах.

Хорошо, если художник, рожденный в начальный период становления национальной литературы, обладает, помимо таланта, еще высокими гражданскими идеалами, если он активно ненавидит гнет и более всего на свете дорожит народной свободой. Рунебергу не дано было этого мужественного свободо-

любя, мысль его не устремлялась вперед в поисках справедливости, он всему находил оправдание, его пассивный ум мало тревожили те общественные неурядицы, над преодолением которых ломали голову его более демократические соотечественники. С этой точки зрения Рунеберг не только уступал своему современнику Снельману, но и сделал шаг назад по сравнению с такими своими предшественниками, как Ютейни, Готлунд, Арвидсон.

Однако наряду с потерями в творчестве Рунеберга были и крупные приобретения. Он привнес в финляндскую поэзию конкретную образность, предметность художественного мышления. «Або-романтики», а затем и Сигнеус мыслили чрезвычайно отвлеченными для поэта категориями, довольствовались слишком общими впечатлениями от жизненных явлений. В начале 30-х годов Рунеберг не без основания упрекал шведских романтиков за то, что они в своем творчестве отправлялись не от живой природы, а из умозрительных теорий, от философских представлений о ней, повторяя по-новому ошибку приверженцев рационалистической поэтики классицизма. Романтики, писал Рунеберг, «обнаружили в сочинениях прежних авторов (классицистов. — Э. К.) практическую назидательность, которая в свете новейшей философии не могла не показаться им ложной, а чаще всего пустой и поверхностной. Они заменили ее теоретическими результатами новейшего исследования, которые, будучи вознесены в мистические сумерки на крыльях мечтательной фантазии, должны были теперь составить содержание поэзии. При этом была предана забвению та истина, что голые философские тезисы, изложенные стихами, еще не являются поэзией, хотя из всякого истинно поэтического творения всегда можно извлечь свою философию»<sup>1</sup>.

Шведских романтиков Рунеберг порицал за их пристрастие к рефлексии, к рассудочности. В их стихах, по его мнению, было больше размышлений, чем поэтической образности. Этой «рефлексивной» поэзии Рунеберг противопоставлял поэзию «наивную», находя такую наивность и непосредственность мировосприятия в народных песнях. В собственной творческой практике Рунеберг стремился к наглядности и пластичности изображения. Сигнеус, отмечая эту особенность поэзии Рунеберга, сравнивал его талант с талантом ваятеля. В статье о «Сказаниях прапорщика Столя» Сигнеус подчеркивал также умение Рунеберга наделять своих героев «индивидуальными характеристиками». В этом отношении Рунеберг действительно явился новатором в финляндской поэзии. До него в ней по существу не было еще попыток изображать «частного человека» — Ютейни и «або-романтики» воспевали Финляндию и финский народ вообще, как

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Samlade arbeten, VI, s. 99.



бы не замечая отдельных людей. Рунеберг же стремился создать галерею национальных типов, и хотя он бесконечно идеализировал своих героев, тем не менее он первый показал финнам, как можно живописать человека средствами поэзии. Индивидуализация образов у Рунеберга во многом способствовала популярности его поэзии. Незадачливый солдат Свен Дува, маркитантка Лотта, майор фон Конов со своим капралом, русский полковник Кульнев и некоторые другие герои рунеберговских «Сказаний» довольно легко запоминаются. Это не просто носители какой-то абстрактной идеи, но образы, наделенные бытовыми черточками, только им характерными особенностями, и потому они рельефны.

Опираясь на народную лирику, Рунеберг стремился к непосредственному выражению человеческих чувств, к той «наивности», которая не допускает громогласных деклараций. И ему удалось значительно углубить финляндскую лирику, раздвинуть ее пределы. Приведем одну из идиллий Рунеберга, в переводе В. Авенариуса:

Раз из рощи воротилась дочка,  
Воротилась с красными руками.  
Мать пытается: «Что с тобою, дочка?  
Почему так красны твои руки?»  
Дочь в ответ: «Я розы, вишь, срывала;  
О шипы задела, знать, немножко».  
Вот опять из рощи воротилась,  
Воротилась с красными губами.  
Мать пытается: «Что с тобою, дочка?  
Почему так красны твои губы?»  
Дочь в ответ: «Ходила по малину;  
В соке, знать, окрасила немножко».  
В третий раз из рощи воротилась,  
Воротилась с бледными щеками.  
Мать пытается: «Что с тобою, дочка?  
Почему так бледны твои щеки?»  
Дочь в ответ: «Ох, дорогая, бледны!  
Рой мне яму, закопай поглубже,  
Крест поставь, да на кресте том вырежь:  
«Раз она из рощи воротилась,  
Воротилась с красными руками:  
Докрасна своими жал их милый.  
Как еще из рощи воротилась,  
Воротилась с красными губами:  
Горячо так целовал их милый.  
В третий раз из рощи воротилась,  
Воротилась с бледными щеками:  
Познобил изменою их милый».

Внимание Runeберга к частным явлениям определялось его эстетическими воззрениями. Однако в силу этих же воззрений его трактовка индивидуального и особенного отличалась ограниченностью, ибо, с его точки зрения, всякая особенность, всякая деталь должна была в конечном счете подчиняться нерушимой гармонии общего, находя в ней свой смысл и оправдание. С этой позиции ничто в человеческом характере и в жизни общества не заслуживало категорического осуждения. Runeберг, например, рисует Свена Дуву страшно тупым, но для поэта это не следствие отсталости и забитости патриархального крестьянства, а лишь повод для того, чтобы умиляться непосредственности Свена и показать, какое у него доброе сердце. Один из героев «Сказаний», офицер фон Фиандт, является на поле боя в домашнем одеянии и «по-отечески» погоняет солдат кнутом, но для автора эта характерная деталь служит не более как средством подчеркнуть все ту же милую «патриархальность в отношениях между начальством и солдатами», как выражался сам Runeберг.

Упрекая шведских романтиков в философствовании, Runeберг сам вообще отказывался от глубокого осмысления явлений жизни. По его мнению, поэт должен был созерцать «идеи» лишь издали, их нельзя было «приближать» к себе, подвергать тщательному анализу. «Идеи тогда наиболее прекрасны, — писал Runeберг, — когда они свободно мелькают перед нами, чтобы мы лишь созерцали их. Если же к ним прикоснуться вплотную, они, подобно мотылькам, утрачивают свои живые яркие краски, блекнут и покрываются пятнами»<sup>1</sup>.

Героям Runeберга чуждо чувство социального протеста; в то же время поэт воспевал мужественную борьбу финнов с суровой природой, их выдержку, настойчивость и терпение, то есть те черты, положительные и отрицательные, которые получили трудно переводимое название «suomalainen sisu» — «финское нутро», финский склад характера.

Хотя творчество Runeберга в сильной степени пронизано духом социальной пассивности, тем не менее оно, в тех исторических условиях, заметно способствовало росту национального самосознания финнов, пробуждению у них патриотизма и чувства гордости своей страной. Вслед за поэтом финны с восторгом повторяли песнь:

Наш край, наш край, наш край родной, —  
О звук, всех громче слов!  
Чей кряж, растущий над землей,  
Чей брег, встающий над водой,  
Любимей гор и берегов  
Родной земли отцов?

---

<sup>1</sup> J. L. Runebergs efterlemnade skrifter, I. Viborg, 1878, s. 249.



Ступай, надменный чужевек,  
Ты звону злата рад!  
Наш бедный край угрюм и сер,  
Но нам — узоры гор и шхер —  
Отрада, слаще всех отрад,  
Неоцененный клад.

Здесь с мыслью, плугом и с мечом  
Отцы ходили в бой,  
Здесь ночь за ночью, день за днем  
Народный дух пылал огнем —  
В согласьи с доброю судьбой,  
В борьбе с судьбою злой.

О, край, многоозерный край,  
Где песням нет числа,  
От бурь оплот, надежды рай,  
Наш старый край, наш вечный край,  
И нищета твоя светла,  
Смелей, не хмурь чела!

Он расцветет, твой бедный цвет,  
Страхнув позор оков,  
И нашей верности обет  
Тебе дарует блеск и свет,  
И наша песнь домчит свой зов  
До будущих веков.

(«Наш край», пер. А. Блока).

Патриотизмом пронизаны все «Сказания прапорщика Столя». Но в то же время в них нашла свое выражение и идея мнимой общности интересов всех финляндских сословий, что особенно импонировало идеологам реакции в более позднее время. Они всячески превозносили рунеберговский пафос ратного героизма в сочетании с социальной пассивностью.

В «Очерках из финляндских походов в 1808 и 1809 гг.» (1849) Грот подробно остановился на первой части «Сказаний», вышедшей из печати годом раньше. Пересказав содержание ряда баллад, Грот главное внимание уделил Кульневу, участнику финляндской кампании, и полностью перевел стихами балладу о нем. Кульнев оставил у многих финнов прочную память о себе. В их представлении он олицетворял широкую русскую натуру, с ее безудержной отвагой на поле брани, умением прокутить до утра в кругу друзей, незлопамятностью и простосердечием в обращении с окружающими. Детские воспоминания о Кульневе сохранились и у Рунеберга: «бородатый гость» был в доме будущего поэта и даже носил его на руках. В балладе

Рунеберг с любовью описал храброго полковника, павшего в Отечественную войну 1812 года.

В «Очерках» Грот еще не говорил о роли «Сказаний» Рунеберга в финском национальном движении. Даже в письме своем к Плетневу, рассказывая о памятном празднестве 13 мая 1848 г. в Гельсингфорсе, Грот еще ни словом не упомянул, с каким восторгом студенты тогда пели «Наш край» Рунеберга, ранее опубликованное вступление к «Сказаниям», успевшее к тому времени стать национальной песней. Еще в 1846 г. Р. Тенгстрём писал, что, «подобно острому мечу, она проникнет нам в сердце и в минуту опасности будет нашей Марсельезой»<sup>1</sup>.

Грот в ту пору мало сочувствовал росту национального самосознания финнов и потому не придавал особого значения этой стороне творчества Рунеберга. Только в одной из своих статей 1881 г. он отметил, что стихотворение «Наш край» вскоре после своего появления сделалось «народною песнью, без которой с тех пор не обходится ни одно общественное празднество в Финляндии». Баллады Рунеберга о войне 1808—1809 гг., заключал Грот, «много способствовали подъему национального духа и патриотизма в Финляндии»<sup>2</sup>.

При всей политической безобидности текста «Нашего края», эта песня впоследствии была превращена в официальный государственный гимн и, таким образом, приобрела политическое значение. Националистически настроенная буржуазная интеллигенция, создавшая к концу XIX и началу XX века реакционный «культ Рунеберга», враждебный прогрессивным идеям эпохи и задачам рабочего движения, умело использовала «Наш край» для националистической и чаще всего антирусской пропаганды среди широких слоев финского народа, в том числе и рабочего класса. Вот почему в первое десятилетие XX в., особенно после революции 1905—1907 гг., развенчивание «культа Рунеберга» приобрело уже актуальность. Когда в феврале 1908 года в Национальном театре в Гельсингфорсе был вновь отпразднован так называемый «День Рунеберга», Э. Лейно, крупный финский поэт, примыкавший тогда к демократическому лагерю, откликнулся на это событие статьей в журнале «Пяйвя», изобличающей псевдопатриотический ажиотаж вокруг имени Рунеберга. В период, когда демократическим силам нужно было отразить натиск самодержавия, шумные торжества под знаком рунеберговских идей, безнадежно уже устаревших, выглядели, по словам Лейно, «пляской на похоронах», — точно так же отзывался Снельман о чрезмерных восторгах некоторых финнофилов по поводу университетского юбилея 1840 года. «Во всем этом уже

<sup>1</sup> W. Söderhjelm. J. L. Runeberg, II. Helsingfors, 1906, s. 271.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 680.



нет истины, — писал Лейно. — Раньше, может быть, это и было правдой, но теперь стало ложью. Мы не верим в это больше. Не верим в балладу о «Заоблачном брате», в «Бьернеборгский марш», в «Солдатского сына» или в «Наш край». То были идеалы прошлых времен. Мы же должны устремить свои взоры вперед. Прочь от «Свена Дувы», от «Адлеркрейца», от «Девы из крестьянской хижины», от «Умирающего воина». Возможно, что когда-то они и пробуждали истинную любовь к родине. Но теперь они поддерживают только то псевдонациональное чувство, тот лжепатриотизм, тот барабанный треск, который мы слышим со всех сторон. . .

Я тоже был в Национальном театре, видел там студентов во фраках, слушал, как пели «Наш край», смотрел на батальные сцены и думал: все это привидения минувшего века. Но мертвецы не должны являться там, где время грозно движется вперед. Новый век не может рядиться в одежды минувшего. Наш патриотизм должен отвечать идеям нового времени. У нас же — только оперетта, только игра в оловянные солдатики. Но ни один народ не сможет долго играть в оловянные солдатики безнаказанно. Последует печальный конец, как бывает всегда при попытках обмануть самого себя.

В такие дни я всегда чувствую в себе пробуждение демократического инстинкта. И, возвращаясь из Финского национального театра, я подумал: все это — только развлечение для высших классов. Оно несколько не волнует огромное большинство финского народа. Это лишь господское щегольство и вовсе не национальное празднество. . .

Как никогда раньше, я осознал тогда, на краю какой пропасти мы стоим. Неужели у нас нет ни одного воспоминания, которое бы вместе с тем указывало путь в грядущее? Ни одного события, которое бы мы все могли отмечать с чистой совестью, ни одного дня, который был бы своим для всего народа и превратился бы в наш национальный день?

Есть такой день — тот самый, когда в результате всеобщей стачки Финляндия завоевала свою конституцию<sup>1</sup>.

Выражением истинного патриотизма Лейно тогда считал борьбу народных масс за демократические права. Вместе с тем это была с его стороны попытка ограничить историческое значение Рунеберга и развенчать реакционные потуги тех, кто хотел придать его творчеству и мировоззрению универсальный характер, обязательный для всех времен.

Постепенное преодоление консервативных идей Рунеберга началось в финляндской литературе задолго до Лейно, еще его современниками. Мы имеем здесь в виду не только Снельмана,

<sup>1</sup> E. Leino. Runeberg-päivän vietosta sananen. — Päivä, 1908. N 8, s. 51—52.

но и такого поэта, как Сигнеус, в творчестве которого уже обнаружались черты, не укладывающиеся в эстетическую систему Рунеберга.

5

Поэзия Фредрика Сигнеуса (1807—1881) никогда не пользовалась особым успехом на его родине, а в наши дни едва ли кому известна, кроме историков финляндской литературы. Финскому читателю стихи этого поэта попросту недоступны, ибо на финский язык они почти совершенно не переводились. К концу XIX века, когда не только книги Рунеберга, но и Топелиуса стали выходить в финском переводе, поэзия Сигнеуса была уже прочно забыта, а если о нем и вспоминали, то не как о поэте, а как об одном из «будителей».

Сигнеус и в самом деле не обладал большим поэтическим дарованием. В сравнении с ним Рунеберг был куда более талантлив. Некоторые исследователи склонны думать, что настоящим призванием Сигнеуса была вовсе не поэзия и даже не литературная критика, а ораторское искусство. Для финляндских историков и литературоведов стало уже традицией упоминать о «легендарной» речи Сигнеуса на празднестве студентов, университетских преподавателей и горожан Гельсингфорса 13 мая 1848 года. Эта речь никогда не была записана, о ее содержании сейчас трудно судить, однако мемуаристы, присутствовавшие на торжестве, дружно утверждают, что она произвела огромное впечатление на слушателей. В ту пору Сигнеус, по воспоминаниям Топелиуса, был возбужден февральскими событиями 1848 года в Париже и сочувственно прислушивался к звукам «Марсельезы», которую тогда распевали на улицах Гельсингфорса.

Было бы тщетно искать у Сигнеуса некую стройную систему общественно-литературных взглядов. Он, как и Топелиус, поражает современного читателя крайним эклектизмом, непостоянством своих убеждений. Однако сама эта неустойчивость являлась в известном смысле «знамением» времени. У Сигнеуса и Топелиуса уже не было той дурной «последовательности» Рунеберга, которая выражалась в его стоическом равнодушии к жгучим проблемам века. Топелиус завидовал умению Рунеберга «переплавлять в гармонию» противоречия действительности, но сам он уже не мог следовать этому главному принципу рунеберговской эстетики. Сигнеус в своих статьях об «Охотниках на лосей» и «Сказаниях прапорщика Столя» очень похвально отзывался о таланте Рунеберга, однако сам писал уже в ином духе, да и в поэмах Рунеберга нередко перемещал акценты, пытаясь истолковать их в более либеральном направлении. Для Сигнеуса Рунеберг был поэтом «третьего сословия», кровно за-



интересованного в «демократизации поэзии», в преодолении феодальной кастовости в сфере духовной культуры. У Сигнеуса было много общего с Рунебергом, и в то же время его творчество свидетельствовало уже о распаде рунеберговской эстетики. С этой точки зрения наследие Сигнеуса сохраняет значительный историко-литературный интерес.

В 1823 году Сигнеус выехал из Петербурга, где в то время жили его родители, в Або и был зачислен студентом в университет. К середине 20-х годов относятся его первые поэтические опыты. Частично сохранилась рукописная тетрадь со стихами, которые никогда не публиковались полностью. Э. Нервандер, биограф Сигнеуса и редактор собрания его сочинений, указывает, что среди упомянутых стихов есть любовная лирика, а подчас в них оплакивается счастливая пора детской невинности, навсегда оскверненная и растоптанная жестокой жизнью. Подобным «инфантильным» сетованиям на суровую явь предавались в той или иной мере почти все финляндские романтики, причем у иных это приобретало характер определенной идейно-эстетической установки. Рунеберг, например, писал: «Как лебедю свойственно нырнуть, чтобы сполоснуться в светлом ручье, так человеку следует переноситься в светлую детскую пору, чтобы сбросить с себя тяготы жизненной борьбы»<sup>1</sup>. Часто эти грезы о детстве человека ассоциировались у романтиков с их жалобами об утраченном детстве человечества, о том «золотом веке» в истории народов, когда они были настолько слиты с природой, что у них не было еще самосознания, они не знали еще губительной «рефлексии» и проклятых «вопросов». Эти мотивы встречаются, например, и в творчестве молодого Топелиуса.

Сигнеусу также были свойственны настроения усталости и разочарования, стремление уйти от противоречий действительности, однако уже в ранних его стихах звучали и такие нотки, которых нельзя уловить в творчестве Рунеберга. В рукописной тетради Сигнеуса есть стихотворение, написанное в форме прощания лирического героя с родиной, в которой «свобода погребена в саркофаге». В. Таркиайнен приводит следующие строфы из этого стихотворения:

Farväl, I gravar,  
Där fädren bo;  
Nu trampar slavar  
Er helga ro.

Прощайте, могилы  
Усопших предков.  
Теперь рабы попирают  
Ваш священный покой.

Farväl, o Frihet,  
Du bild av Gud;

Прощай, Свобода,  
Божественный образ!

<sup>1</sup> J. L. Runebergs efterlemnade skrifter, I. Viborg, 1878, s. 261.

Du var i livet  
Mitt hjärtas brud.

Farväl, I vänner  
Med trogen barm,  
Som stritt som männer  
Mot våldets arm.

Ты была мне в жизни  
Возлюбленной сердца.

Прощайте и вы,  
Верные друзья,  
Что геройски сражались  
С насилием.

В. Таркиайнен не без основания указывает на подражательный характер этих стихов молодого Сигнеуса, увлекавшегося Тегнером. Однако с точки зрения историко-литературной заслуживает внимания и другое, а именно: уже у Арвидссона наблюдалась эта тенденция к героизации условного прошлого; впоследствии оно, это прошлое, приобретало все более реальные черты, и, наконец, финляндские поэты «открыли» для себя тему «Дубинной войны», героическую страницу в истории финского народа.

Как Арвидссону, так и Сигнеусу современники казались немощными «рабами», оскорблявшими память предков. Эти поэты мечтали о «возрождении» гражданских добродетелей, и в этом смысле их внимание привлекало восстание греков. На это событие откликнулся и Готлунд в своем стихотворении «Эллада», которое помечено 1826 годом, хотя оно и было опубликовано лишь во второй части «Отавы» (1832). Сигнеус, как это явствует из его воспоминаний, намеревался в 20-е годы воспеть финляндца Мюрберга, принявшего участие в борьбе за свободу Греции. Замысел Сигнеуса остался невыполненным, однако сам по себе он свидетельствует о том, что мечтания поэта о свободе, при всей их туманности, были связаны с реальными историческими событиями.

В 1830 году умер отец Сигнеуса, и в связи с этим материальное положение семьи значительно ухудшилось. Сигнеус, все еще не закончивший университетского курса, должен был подумать о заработке. Он надеялся получить место лектора английского языка и в целях языковой практики решил предварительно пожить некоторое время в Англии. В 1831 году он покинул родину, однако дальше Стокгольма не поехал. Оказавшись в кругу шведских писателей, Сигнеус заинтересовался литературными делами и провел в шведской столице несколько месяцев. В период польского восстания продолжительное пребывание Сигнеуса в Швеции показалось подозрительным финляндским властям. Финляндская эмиграция в Швеции вообще не внушала доверия правительству, и русскому послу в Стокгольме было поручено следить за ее деятельностью. О возможных неприятностях с властями Сигнеуса предупреждал его друг Юльден, который писал: «Один человек (я не могу назвать его имени) просил меня передать тебе дружеский совет, чтобы ты как мож-



но скорее выехал из Швеции либо на родину, либо в Англию. По словам этого человека, обращено внимание на то, что ты, имея указание лишь проездом посетить Швецию, тем не менее задержался там надолго и, главное, в такое время, когда шведы в мыслях, речах и поступках своих выказывают ненависть по отношению к Российской империи»<sup>1</sup>.

Вскоре Сигнеус действительно вернулся на родину, оставив у шведских друзей рукописи своих стихотворений, включая отрывок из «героической поэмы» о Тадеуше Костюшко. В 1832 году, уже после выезда Сигнеуса из Швеции, этот отрывок под названием «Песнь Костюшко орлу» был напечатан в шведском альманахе «Винтербломмор». По вполне понятным соображениям Сигнеус не решился указывать своего имени и воспользовался псевдонимом «Рудольф».

Стихи о Костюшко были написаны Сигнеусом, разумеется, под впечатлением польских событий 1830—1831 годов. В обстановке политической реакции часть университетской молодежи тайно сочувствовала восставшим полякам. Известен, например, случай, когда группа молодых людей, в числе которых находился доносчик, провозгласила в гельсингфорсском кабаке тост: «Да здравствует Польша!» — весьма популярный в то время лозунг. Невольным свидетелем этой «польской истории» оказался также Рунеберг, который после возбужденного по этому поводу следствия пережил неприятные минуты, ожидая обыска и ареста. Впоследствии Рунеберг даже рассказывал, что если бы его коснулись репрессии, он совершил бы покушение на Николая I. Однако это была лишь фраза, не оставившая в творчестве Рунеберга абсолютно никакого следа. Напротив, именно Рунеберг высмеял поэтические «фрагменты» Сигнеуса о Костюшко.

Сигнеус снабдил свою «Песнь» примечанием, в котором изложил основные факты биографии героя. В примечании указывалось, что Костюшко сражался за независимость североамериканских колоний в армии Вашингтона, затем возглавил польское восстание 1794 года и, наконец, был брошен в Петропавловскую крепость, где находился вплоть до вступления на престол Павла I. Сигнеус писал о Костюшко: «Будучи в равной степени велик и благороден как человек, гражданин и воин, он использовал все свои блестящие качества ради единственной цели — содействовать освобождению своего народа»<sup>2</sup>.

В «фрагментах» эта идея национальной независимости и свободы Польши воспета Сигнеусом в форме романтического гимна юноши могучему орлу как символу мятежного, непокорного духа. Уже в этом стихотворении отразилось характерное

<sup>1</sup> E. Nervander. Fr. Cygnaeus. Muistokuva. Helsinki, 1907, s. 87.

<sup>2</sup> Fr. Cygnaeus. Samlade arbeten, VII, s. 259.

для Сигнеуса противопоставление духовного материальному. Чтобы обрести полную свободу, духу надлежит вызволить себя из пут земного «праха». Гордый орел смог взмыть в небеса, только сбросив с себя «бремя мрачной земли». Он вскормлен вольными стихиями, бурные потоки на кручинах утесов напоили его силой и мужеством, пробудили в нем жажду к свободе, презрение к «рабам», которые, словно «слизняки», пресмыкаются перед «судьбою», боясь бросить ей вызов, восстать против нее. Юноша славит орла за то, что тот в своем бунтарстве отвергает все «законы», послушный лишь зову сердца. В этом сказывалась не только неприязнь Сигнеуса к современной ему действительности, к политике Священного Союза, но и романтический субъективизм поэта, столь часто приводивший его к чрезвычайно произвольному обращению с историческими фактами. Лирический герой Сигнеуса, при всем благородстве его помыслов, пребывает в гордом одиночестве, изолирован от среды. И хотя «Песнь» была навеяна поэту освободительной борьбой поляков, в его стихах, однако, не ощущается грозная сила массы. Народ предстает герою страдающим «племенем, рожденным для слез». В условиях, когда всюду царит «кроваво-красное насилие» и когда духовное величие уступило место «низменной роскоши», оно, это племя, лишь

... kråla i mull  
 Och tigga om nåd  
 Och söka blott råd  
 Och hjälp och förnedring;  
 Och tvingas att tro,  
 av sorg och av nöd,  
 Att räddning skal bo  
 Hos iskall död...

... ползает по земле,  
 Молит о милости  
 И ищет совета,  
 Помоги и унижения;  
 От нужды и горя  
 Ему кажется,  
 Что спасение принесет  
 Только холодная могила...

Народ в поэзии Сигнеуса часто выступает как инертная масса, а восставший народ внушал поэту страх. В 30-е годы Сигнеус еще довольно близко сходил с Рунебергом в оценке финского народа, финского национального характера. В 1837 году была опубликована статья Сигнеуса о ранних поэмах Рунеберга, в которой «Охотники на лосей» именовались «самым национальным произведением» в финляндской литературе. Сигнеус указывал на народность поэмы и ставил в заслугу автору то, что он обратился к изображению крестьянского быта. «Я твердо убежден, — писал Сигнеус, — что настоящими читателями г. Рунеберга были бы финские крестьяне»<sup>1</sup>. Вслед за Рунебергом Сигнеус утверждал, что для поэзии ничто не может быть «слишком низким и презренным», что она и в «от-

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. Samlade arbeten, III, s. 165.



верженных существах» открывает прекрасное. Тем читателям, которые считали «божий свет своей монополией», муза Рунеберга, писал Сигнеус, казалась «слишком плебейской». Их утонченным вкусом претили картины крестьянской жизни, и если вторая поэма Рунеберга, «Ханна», была встречена уже более благосклонно, чем «Охотники на лосей», то объяснялось это, по мнению Сигнеуса, тем, что ее героями были не крестьяне, а люди из «общества». По этому поводу Сигнеус не без иронии заметил, что пасторская усадьба в «Ханне» пришлось высокопоставленной публике более по вкусу, нежели черная крестьянская изба.

Акцентируя «плебейство» рунеберговской поэзии, Сигнеус в то же время не удержался от выпадов против Гюго и других французских писателей, книги которых, по словам финляндского критика, были заселены «искусственным обществом нравственных Квазимодо». Отношение Сигнеуса к Гюго значительно изменилось в 40-е годы, когда он лично встретился с французским романтиком и посвятил ему стихотворение.

В своей статье Сигнеус отмечал «умение» Рунеберга видеть «природу» в состоянии покоя. В «наш век, потрясаемый тревогами», писал Сигнеус, Рунеберг сохранял «самообладание», причем это спокойное, ничем не возмутимое состояние ума было свойственно, по словам критика, и финским крестьянам, и, стало быть, Рунеберг в данном случае оставался верным «природе», народному характеру. В этой своей статье Сигнеус ни в коей мере еще не осуждал духовной инертности патриархального крестьянства, однако от его внимания не ускользнула и другая сторона народного мировоззрения. Приведя слова Лённрота о сатирической направленности многих произведений крестьянских поэтов, Сигнеус не без удивления заключал, что «дух горечи — этот ночной странник, обошедший весь мир, сумел найти себе тропу и к укромным хижинам Суоми»<sup>1</sup>. «Дух горечи» был для Сигнеуса симптомом определенных сдвигов в общественном сознании народа, признаком пробуждения его критического рассудка. Эти настроения отразились и в стихах Сигнеуса, помещенных в той же книжке, что и его статья о ранних поэмах Рунеберга. Особенно примечательно стихотворение «Я жажду покоя!» Поэт говорит, что в былые времена внутренние тревоги и разлады были только уделом обитателей «княжеских замков», а теперь беспокойством охвачены и жители «низких лачуг». Поэт заклинает эту символическую тревогу, чтобы она скорее обнаружила себя в более зримых формах, иначе с нею невозможно сладить, сколь бы желанным ни был душевный покой. А пока поэту остается только «страдать и молить о помощи у времени» (*lida och av tiden hjälpen bida*).

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. *Samlade arbeten*, III, s. 203.

Впоследствии Сигнеус называл это свое стихотворение «меланхолическим», указывая, что оно явилось детищем «николаевских дней». Если в 30-е годы Сигнеус усматривал еще нечто зловещее в проникновении «духа горечи в укромные хижины Суоми», то в середине века он уже довольно решительно выступил против утверждений, будто истинно национальной чертой финского народа является безропотное смирение.

В течение некоторого времени, с 1833 по 1837 год, Сигнеус работал преподавателем в кадетском училище в Фридрихсгаме, небольшом финляндском городке. Основным его предметом была всеобщая история. Частично сохранились тексты лекций Сигнеуса и записи его слушателей. Э. Нервандер, в частности, приводит длинную выдержку из одной лекции, в которой освещаются события французской революции конца XVIII века. Это была очень злободневная тема, и споры по этому поводу были довольно тесно связаны с вопросом о путях исторического развития самой Финляндии. Например, Снельман в 40-е годы недвусмысленно заявлял, что социально-политические идеалы просветителей сохраняли свою значимость для целого ряда стран, в том числе и для Финляндии. Сигнеус в своей лекции говорил сочувственно об этих идеалах, хотя сама французская революция, в особенности период якобинской диктатуры, казалась ему (как, впрочем, и Снельману, хотя в меньшей мере) цепью «ошибок» и «крайностей». Сигнеус не скупился на бранные слова в адрес Робеспьера и его приверженцев. Все они, с его точки зрения, были демагогами и властолюбцами. Якобинцы, с одной стороны, «и аристократы, с другой, — писал Сигнеус, — были в основном повинны в том, что революция приняла столь печальный оборот»<sup>1</sup>. Феодалная аристократия упорно не желала расстаться с сословными привилегиями, и в этом была ее «ошибка». Осуждая обоюдные «эксцессы», Сигнеус в то же время с восхищением отзывался о мирных, компромиссных актах революции.

Не питая особых симпатий к феодальному строю и не закрывая глаза на его пороки, Сигнеус тем не менее осуждал решительную революционную ломку старой формации. Это была типичная позиция филистерствующего мелкобуржуазного интеллигента, который был готов бесконечно сетовать на неустроенность мира, но который незамедлительно апеллировал к «человечности», а то и к начальству, если только появлялась реальная сила, способная этот мир переделать. Как тургеневский Василий Васильевич из «Гамлета Щигровского уезда» мог любить свою жену лишь в воображении, сидя к ней спиной, так и Сигнеус мечтал о каком-то «действии», о какой-то

---

<sup>1</sup> E. Nervander. Fr. Cygnaeus. Muistokuva. Helsinki, 1907, s. 107.



«борьбе» только до тех пор, пока не сталкивался с этой борьбой вплотную, в ее суровой реальности.

Уповая на победу «света» над «тьмой», Сигнеус любил сочинять стихотворения по поводу разных торжеств в университете и воспевать успехи просвещения в Финляндии. Однако в этом оптимизме была изрядная доля прекраснотушия, против которого и обрушился летом 1840 года Снельман в своем знаменитом письме из шведской эмиграции. Оно было адресовано Сигнеусу, но упреки Снельмана относились, разумеется, не к нему одному. Это письмо ходило по рукам, вызывало споры, будило мысль. Снельман призывал своих друзей не обольщаться университетскими торжествами, но взглянуть трезво на положение крестьянства, на его нищету, забитость и бесправие, на то, как финляндская аристократия пресмыкалась перед царизмом и угнетала народ.

Переписка Снельмана с Сигнеусом в 40-е годы оказала на последнего заметное влияние, оно чувствуется уже в некоторых его письмах. Расширению кругозора Сигнеуса способствовало также его продолжительное (1843—1847) путешествие по странам Западной Европы.

Официальной целью поездки Сигнеуса являлось обследование европейских архивов, где он должен был собрать документы, касающиеся истории Финляндии. Он провел около четырех лет в различных городах Германии, Франции, Италии, Швейцарии, завязал там знакомство со многими писателями и общественными деятелями. Сигнеус установил контакты с французскими историками Гизо, Минье и Мишле, имел встречи с Гюго, Жорж Санд и Ламартином, Георгом Гервегом и Арнольдом Руге, Н. В. Гоголем и Е. Ростопчиной.

Будучи за границей, Сигнеус переписывался с Гротом, с которым познакомился еще в конце 30-х годов. Уже с самого начала он всячески поддерживал интерес Грота к Финляндии. В письме к нему от 5 января 1839 года (на шведском языке) Сигнеус выразил надежду, что Грот был призван сыграть большую роль во взаимном сближении финнов и русских. «Мне уже давно казалось, что Финляндия является как бы написанной на неведомом языке книгой для большой державы (России. — Э. К.), которая издали замечает только ее внешний, не очень привлекательный вид. Мне часто хотелось, чтобы к этой книге приблизился человек с открытой, незапятнанной и горячей душой, способный понять внутреннее ее содержание и достаточно умный, чтобы свободно передать во всей полноте скрытую в ней истину, какой бы простой она ни казалась. И мне приятно верить, что такой человек отыскался в лице г. надворного советника (Грота. — Э. К.) и что он переведет Финляндию для России столь же верно и искусно, как и «Сагу о Фри-тиофе». Кто таким образом заслужит себе награду, тот

поймет также, что этой прекрасной наградой будет благодарность всего финского народа, пусть во многих отношениях ничтожного. А что такая благодарность последует, в этом я убежден»<sup>1</sup>.

Подростком, до поступления в университет в Або, Сигнеус несколько лет воспитывался в Петербурге, где его отец был главой лютеранской епархии. Дом епископа навещали приезжавшие в Петербург финны, например, Готлунд, а у Шёгрена Сигнеус брал домашние уроки. Видимо, к этому времени относится его первое знакомство с русским языком. Из переписки Грота с Плетневым явствует, что Сигнеус, как и его брат, владел русским языком в такой мере, чтобы удовлетворять некоторым практическим нуждам. 3 сентября 1840 года Грот писал, что Сигнеус, высказав желание регулярно получать «Современник», за один вечер прочел статью Грота «о финнах» (Грот имел в виду, вероятно, статью «О финнах и их народной поэзии», которая в «Современнике» занимала более девяноста страниц)<sup>2</sup>. Сигнеус участвовал в переводе статей для русско-финляндского альманаха. В письме к В. Ф. Одоевскому, приславшему для задуманного альманаха повесть «Необойденный дом», Грот писал 24 мая 1841 года: «Вашу быль очень удачно перевел один студент, брат Сигнеуса (так Грот передавал фамилию поэта. — Э. К.), который и сам помог ему»<sup>3</sup>. А когда Сигнеус в 1847 году вернулся из продолжительной заграничной поездки, Плетнев спрашивал Грота: «Не забыл ли он говорить по-русски?»<sup>4</sup>

Во время этой поездки Сигнеус, разыскивая в европейских архивах материалы по истории Финляндии, натолкнулся и на документы, имеющие отношение к русской истории. По этому поводу Грот в марте 1845 года писал Плетневу о Сигнеусе: «Нашедши в Венеции множество актов касательно русской истории, особливо времен Петра, — на русском и латинском языках, он просит похлопотать, чтобы археографическая комиссия дала ему поручение взять с этих документов копии и за то назначила вознаграждение. С помощью русских он берется разбирать и русские бумаги»<sup>5</sup>. Грот просил Плетнева дать ход этому предложению, но Плетнев вынужден был ответить, что упомянутая археографическая комиссия «и скупа и глупа»<sup>6</sup>, к тому же она, как известили его, не имела права печатать

---

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 866, л. 1.

<sup>2</sup> Переписка, т. I, стр. 39.

<sup>3</sup> Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, ф. 539, оп. 2, № 451, л. 1.

<sup>4</sup> Переписка, т. III, стр. 141.

<sup>5</sup> Там же, т. II, стр. 417—418.

<sup>6</sup> Там же, стр. 450.



архивные документы, касающиеся Петра и более позднего времени.

В Риме Сигнеус посетил находившегося там Гоголя, о творчестве которого у него, видимо, были кое-какие сведения, хотя особым ценителем «натуральной школы» Сигнеус, как нам представляется, быть не мог. Об интересе Сигнеуса к русской литературе свидетельствует и его участие в полемике финляндских газет вокруг Булгарина, на которой мы остановимся в дальнейшем. Сигнеус с живостью встретил статью Плетнева «Финляндия в русской поэзии», которую прочел еще в рукописи. Грот сообщал, что Сигнеус «в восхищении от предмета» статьи и «находит, что она будет лучшим украшением» альманаха<sup>1</sup>.

Сигнеус дарил Гроту свои произведения, которые тот рецензировал в «Современнике». «Во всем, что он ни пишет, — гласит один из отзывов Грота о Сигнеусе, — видна глубоко-поэтическая душа: он кипит мыслями, которые его роскошное воображение беспрестанно облекает в картины и образы; но этим богатством он не всегда умеет управлять — и вместо того, чтобы распоряжаться им с умеренностью и порядком, он расточительно сыплет на пути своем перлы и кораллы. Оттого между драгоценными камнями иногда попадают у него и поддельные; оттого же по временам теряешь в его стихах нить главной мысли посреди лабиринта побочных или находишь местами неясность в выражении. Но так как самые эти недостатки происходят не от слабости, а от избытка сил, то стихов Цигнеуса нельзя читать без истинного наслаждения: они всегда носят на себе печать оригинальности и могучей юности таланта и часто возвышаются как содержанием своим, так и внешним изяществом до той красоты, какой поэт более осторожный и более правильный, может быть, никогда бы не достигнул. Но ясно, что при этих свойствах Цигнеус никогда не сделается любимцем всей публики: его могут оценить только люди с чувством истинной критики»<sup>2</sup>.

В этом отзыве, как и в прочих своих суждениях о Сигнеусе, Грот близко сходил с мнением ряда финляндских критиков и, видимо, в какой-то мере опирался на них. Плетнев, получив статью Грота с отзывом о Сигнеусе, просил его посоветовать поэту не спешить с печатанием своих вещей, но прежде продержать их несколько месяцев в столе с тем, чтобы затем основательно пройти по ним, добиваясь ясности выражения. Подобные советы Сигнеусу подавались и в Финляндии, хотя от них не было заметной пользы.

В черновом наброске письма к Сигнеусу, написанном по-французски и относящемся, судя по содержанию, к концу

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 235.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 150.

1838 — началу 1839 года, Грот сообщал, между прочим: «... я готовлю несколько маленьких статей о моем пребывании в Финляндии; как и следовало ожидать, они будут весьма поверхностными и неудовлетворительными для того, кто уже знает кое-что об этой стране; однако в России она столь мало известна, что и при минимальной осведомленности можно всегда сказать о ней что-нибудь новое»<sup>1</sup>.

Грот здесь, по всей вероятности, имел в виду свое пребывание в Финляндии летом 1838 года, когда он впервые встретился с Сигнеусом и вместе с ним совершил поездку в Борго, чтобы увидеться с Рунебергом, преподавателем местной гимназии. Результатом этой поездки явилась статья «Знакомство с Рунебергом», появившаяся в следующем году в «Современнике».

В этой же статье Грот писал и о Сигнеусе. Его отзывы о поэте были довольно снисходительными, но вместе с тем следует сказать, что Грот, в отличие от Снельмана, не сумел заметить в произведениях Сигнеуса тех новых веяний, которые особенно обнаружились в годы его пребывания за границей.

В этот период Сигнеус довольно много писал, отсылая свои произведения на родину. В 1845—1846 годах вышло два сборника его «путевых картин» под названием «Свет и тени». Здесь были стихотворения, посвященные Байрону, Гюго, Руге, большая поэма «Чужой в родном краю» (*Främlingen på egen strand*) и другие произведения.

В «Императоре» (*Kejsarn*) Сигнеус отдал дань романтическому культу Наполеона. Поэт изображал французского императора могучим титаном, который бросил вызов миру и которому все было подвластно. Он играл коронами царей, низвергая их с престолов, и в то же время он мог вручить простому пастуху маршальский жезл. Угнетенные Наполеоном народы ненавидели его, но императором нельзя было и не восхищаться. Все было необычайным и ярким в этом человеке, даже его падение. То было героическое время, говорил Сигнеус, но оно уже кануло в прошлое, мир состарился и одряхлел; если бы седой император мог встать из могилы, он показался бы слишком юным среди современных «героев биржи». Они извлекали барыш даже из славы Наполеона, превратив в шумное торжество перенос его останков в новую гробницу. Они были бы готовы вновь надеть на него корону, но только при одном условии: император должен был бы научиться «мудрости Ротшильдов».

Враждебное отношение Сигнеуса к буржуазной действительности в 40-е годы уже не приводило его к идеализации смиренного патриархального крестьянина, которая была еще ощутима в его статье о ранних поэмах Рунеберга. Сигнеус осознал при-

<sup>1</sup> Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 16. 103, сб. 8, л. 303.



зрачность идиллии «естественного состояния». Развенчанию иллюзорной свободы на лоне дикой природы, вдали от людей, уделяется важное место в поэме «Чужой в родном краю», которую Сигнеус называл «карбонарийской», поскольку ее сюжет имеет отношение к итальянскому движению карбонариев.

Герой этой романтической поэмы, родом из Венеции, еще в молодые годы бежал от царившего там гнета в девственные леса Нового Света, чтобы обрести истинную свободу. Он презирает «толпу», которая не может отречься от цивилизации ради «дикой воли». Ему, однако, пришлось убедиться в том, что и сынам Нового Света угрожал натиск цивилизации. Их сгоняли с земель, и на месте первобытных селений возникали города.

Till slut han tror, att ödemarken ej  
Kan bjuda någon annan verklig vinning  
Än den, att från hans hemlands kust en stämna  
Ej uppstår honom der med bistert budskap<sup>1</sup>.

Но через такого же беглеца, как и сам герой поэмы, эта «горькая весть» все же доходит до него. Он узнает, что «Венеции уже нет». Ее сыны не отстаивали свободы республики, они послушались старого дожа, который призывал жителей к терпению. В Венеции восторжествовала тирания. Героя поэмы мучают угрызения совести, свой поступок он расценивает уже не как гордый уход от суетного света, а как предательство. Он с тоской вспоминает о том, что у него была возможность помочь родине: он должен был обратиться к простым труженикам Италии с призывом к сопротивлению.

Hans egna nycker jagat honom hän  
Från staden, vilkens luft stärkt denna arm,  
Som egt ett värde blott, emedan den  
Till fosterlandets värn sig kunnat höja.  
Ha, varför vissnar denna arm ej nu,  
Då intet, intet mera finnes övrigt,  
Till vars försvar det möden skulla löna  
Att höja upp ett enda finger. Livet  
Kan minst ett anspråk ha på sådan värde!  
Hans vilja hade visat sig så mäktig  
I att fördöma allt, varav ändå  
Den fostrats, upphöjts, stärkts. O varför vände  
Den sig ej stark till dessa skördare  
Uppå Lagunens blåa teg? De arma,  
Som knappt förmå att skyla sina lemmar,

---

<sup>1</sup> В конце концов он понял, что пустыня не может дать ничего, кроме утешения, что до него никогда не дойдет горькая весть с берегов его родины.

Men ännu mindre dölja dessa tankar,  
Av vilka deras inre fylles opp  
Med tro och heder. Intet att förlora  
De ägde. Detför skulle de försvarat  
Sin böljas frihet . . . . .  
Hur lätt de skulle fattat opp hans maning  
Att följa honom in i döden hellre  
Än att sig lägga på Venedigs grav . . .<sup>1</sup>

С этими думами герой поэмы, уже глубокий старец, спешит на родину. На площади в Венеции он застал толпу людей, присутствовавших при оглашении приговора двум итальянским патриотам, одним из которых был писатель Сильвио Пеллико, связанный с движением карбонариев. Он был в 1820 году приговорен к смертной казни, которую затем заменили пятнадцатью годами тюрьмы.

Герой поэмы, вернувшийся из Америки, был возмущен этим новым актом деспотизма, однако на лицах своих соотечественников он прочитал смиренную покорность. Эти люди, говорит поэт, «были созданы не для действия, а только для страдания». Старец все же нашел в себе мужество обратиться к ним с призывом воспрепятствовать насилию, однако даже наиболее смелые из толпы не решились поддержать его. Из жалости к старику они распространили слух о его безумии, после чего он был отправлен в дом для умалишенных, где вскоре умер.

Поэма Сигнеуса, как и все его произведения, написана в необычайно вычурном, нарочито цветастом стиле. В ней много всяких отступлений, уводящих читателя от основной мысли автора, а язык усложнен искусственными метафорами и сравнениями. Сигнеус, казалось, избегал называть вещи своими именами, выдумывая всякого рода иносказания. Например, в цитированном выше отрывке рыбаки называются «жнецами на голубой ниве лагуны». Все это давало обильную пищу для критических насмешек, которые Сигнеус воспринимал очень болезненно.

Краткую, но обстоятельную рецензию на второй сборник «Свет и тени» опубликовал в журнале «Литтературблад» Снель-

---

<sup>1</sup> По собственной прихоти он покинул город, воздух которого дал силу его руке, чтобы защищать родину. Так почему же не отсохнет теперь эта рука, когда ничего уже не осталось, ради чего стоило бы пошевелить хоть пальцем! Рука теперь ни к чему! У него хватило духа отвергнуть все, чему он был обязан своей силой. Почему же он не подал знака рыбакам в лагуне, этим беднякам, которым нечем прикрыть свою наготу и которые не умеют скрывать свои мысли, наполняющие их сердца преданностью, благодарством. Им нечего было терять, и они отстояли бы свободу волн . . . О, как легко поняли бы они его призыв лучше последовать за ним на смерть, нежели прозябать в вымершей Венеции . . .



ман, которому Сигнеус посвятил свою поэму «Чужой в родном краю». Правда, в самом посвящении Сигнеус не осмелился назвать имя Снельмана, опасаясь повредить ему, о чем он сообщил в письме к Снельману. «Если бы твое имя, — писал Сигнеус, — заметили на столь карбонарийской вещи, какой во многих отношениях является, к моему удовольствию, «Чужой в родном краю», то подобная приманка умножила бы число тех жалких псов, которые готовы разорвать тебя, а у меня не было никакого желания увеличивать эту гонящуюся за тобой стаю»<sup>1</sup>. Сигнеус учитывал, что после запрета «Саймы» Снельман был на особом подозрении у властей.

Снельман в своей рецензии не пощадил авторского самолюбия Сигнеуса, уделив много внимания композиционным и прочим несуразностям в его произведениях. Вместе с тем рецензент подчеркивал, что в стихах сборника «все с большей силой обнаруживается особое направление. Они согреты благородным сочувствием автора к нравственным устремлениям человечества, в них выражены идеи и чувства, побуждающие трудиться на благо определенных общих интересов, например, во имя свободы мысли и слова, справедливости и родины. Однако, чем ценнее такое содержание, тем большего сожаления достойно то, что при его изложении г-ну Сигнеусу, как это слишком часто бывает в его стихах, не удается вполне сосредоточиться, а его способу выражения недостает художественной законченности»<sup>2</sup>.

В творчестве Сигнеуса действительно было «особое направление», которого Снельман не находил у Рунеберга, равнодушного к «стремлениям века». За романтическими красотами поэтического стиля Сигнеуса некоторые критики (например, Берндтсон) попросту не заметили этого «особого направления», а восторженным поклонникам таланта Рунеберга оно было чуждо и враждебно. Сигнеус, в свою очередь, не мог понять, в чем он уступал Рунебергу. Надо сказать, что в частных письмах Сигнеус был гораздо более сдержан в своих оценках рунеберговской поэзии, чем в статьях, где он довольно часто впадал в преувеличения, ставя Рунеберга в один ряд с величайшими поэтами мира. В письме к брату от 1846 года Сигнеус, рассуждая об уровне литературных вкусов финляндской публики, указывал, что успех Рунеберга и всех его «духовно убогих» приверженцев «еще не очень много значит», то есть не может служить в данном случае надежным критерием. Гораздо важнее было то, что в Финляндии сумели оценить, хотя бы отчасти, шведского писателя Альмквиста, а это, с точки зрения

---

<sup>1</sup> E. Nervander. Fr. Cygnaeus. Muistokuva, Helsinki, 1907, s. 245.

<sup>2</sup> Litteraturblad för allmän medborderlig bildning, 1847, s. 113.

Сигнеуса, свидетельствовало уже о более развитом эстетическом вкусе. Но странное дело — к поэзии самого Сигнеуса финляндская критика относилась холодно, и он никак не мог найти этому объяснения. У него было довольно высокое мнение о своем таланте. В том же письме к брату Сигнеус заявлял, что из всей известной ему новой немецкой поэзии, вышедшей в последние годы, только стихи его «великого и мужественного друга Гервега» казались ему недостижимым образцом, но подобные стихи, добавлял Сигнеус, финн мог писать «только под стук молотков в нерчинских рудниках»<sup>1</sup>. Эту же мысль Сигнеус повторил в письме к Снельману, написанном в конце 1846 — начале 1847 года. «Только перед могучим дарованием гордого, благородного и храброго Георга Гервега я преклоняюсь с глубоким почтением, но и перед ним главным образом потому, что беспросветные условия не позволили мне развить в себе задатки свободной личности, хотя они мне были глубоко свойственны»<sup>2</sup>.

Эти замечания, если отвлечься от авторского самомнения Сигнеуса, представляются весьма любопытными. Его увлечение «карбонаризмом» и политическая поэзией Гервега, его упоминание о ссылке декабристов и его мысль о том, что современные ему финляндские условия уродовали человеческую личность, — все это свидетельствовало об усилении демократических тенденций в мировоззрении Сигнеуса в период его заграничной поездки, накануне революции 1848 года в Европе.

Во второй половине 40-х годов Сигнеуса, как и Топелиуса, все более волновал вопрос: являлось ли царившее в Финляндии «спокойствие» благом для нее? Раньше этот вопрос не вызывал особых сомнений, ответ на него давался утвердительный. Но с приближением революции в Европе и с усилением реакции в Финляндии Сигнеус и Топелиус все чаще стали задумываться над зловещей сущностью «покоя» на их родине. Это не значит, что они совершенно подавили свой страх перед революцией. Нет, она все еще больше пугала их, чем ободряла, однако «лед на Оулуйоки уже двинулся», как писал в одном из своих стихотворений Топелиус в ожидании каких-то новых времен. Сигнеус и Топелиус осознали, что по-старому жить было уже нельзя, и они пристально следили за европейскими событиями, на фоне которых финляндская жизнь казалась им мелкой и незначительной, оставшейся где-то в стороне от столбовой дороги истории. Вскоре после февральских событий 1848 года в Париже Сигнеус, собиравшийся до этого написать статью о Финляндии для французского журнала, но затем отступивший от своего намерения, сообщал по этому поводу

<sup>1</sup> E. Nervander. Fr. Cygnaeus. Muistokuva. Helsinki, 1907. s. 243.

<sup>2</sup> Там же, стр. 250.



О. Фуруельму: «В эти дни Европа занята другими делами и ей недосуг уделять внимание одной-единственной стране, которая ни коим образом не может способствовать созиданию столь бурной ныне европейской истории. Если это наше счастье, что только одна Финляндия остается даже теперь инертной, без всякого движения, то ради справедливости мы должны уступить другим также и право на сочувствие (*deltagande*) и внимание. Было бы грубейшим анахронизмом теперь, когда мировой океан объят бурей, хотя бы на один миг сделать главным объектом наблюдения пустынный утес, только тем и примечательный, что о него тщетно разбивается все, что его окружает»<sup>1</sup>. Отметим, что эта образная мысль через десять лет легла в основу прекрасного стихотворения Ю. Векселля «Утесы Финского залива».

Отсталость Финляндии, этой «страны троглодитов», воспринималась особенно остро Снельманом, который в письме от 29 июля 1848 года высказал Сигнеусу свои грустные размышления о том, что если до революции 1848 года Финляндия отставала от Европы примерно на сорок лет, то после революции этот разрыв должен был увеличиться до столетия. «Я не имею в виду политических учреждений, они за пределами наших возможностей, — писал Снельман, подчеркивая политическую независимость Финляндии. — Но общая культура, которая проявляется в литературе, в промышленности и социальных институтах, в науке и народном образовании, в уголовном законодательстве, в деятельности муниципалитетов и во всей общественной жизни, — все это остается у нас на таком уровне, что наша отсталость обнаруживается только на фоне теперешних движений в остальной Европе. Я не хочу сказать, чтобы эти движения сами по себе были добрыми плодами цивилизации. Однако создаваемые ими условия являются результатом воздействия предшествующей культуры, а они, в свою очередь, подготавливают такой прогресс, в котором мы разбираемся еще меньше, чем наши отцы, в результатах революционного экстаза 1791 года»<sup>2</sup>.

Уже в этом признании отсталости Финляндии было нечто отрадное, противостоящее филистерскому благодушию, заставляющее напряженно искать выхода из положения. Еще в 1840 году Снельман высказал в письме Сигнеусу мысль о том, что только народ сможет возродить Финляндию, что истинные патриоты должны выйти из народных масс. Но вследствие многовекового угнетения, писал Снельман, народ был духовно забитым, он не проявлял осмысленно-критического отношения к существующим порядкам, в нем не пробуждалась активная мечта «о возмож-

<sup>1</sup> E. Nervander. Blad ur Finlands kulturhistoria. Helsingfors, 1900, s. 207.

<sup>2</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 144.

ности лучшего». Христианское смирение уже не считалось добродетелью, и в связи с этим возникла острая необходимость доказать, что финны не всегда отличались бесконечным терпением и что не оно составляло лучшую черту их национального характера. Развитию нового взгляда на народ во многом содействовала работа Сигнеуса «Элементы трагического в Калевале».

Необходимо подчеркнуть, что как прогрессивные, так и консервативные финляндские литераторы первой половины XIX века видели в фольклоре важнейший источник «народоведения». Еще «або-романтики» говорили об универсальной, всеобъемлющей роли поэзии вообще и народной в особенности. Поэзия, говорили романтики, была для народа всем: религией и философией, историей и искусством. Не удивительно поэтому, что свои рассуждения о народной психологии и народном характере финляндские литераторы, как правило, подкрепляли ссылками на фольклор.

Упомянутая работа Сигнеуса о «Калевале» была остро полемической по своему духу. Ее автор выступил против утверждений, что у финнов была только эпическая, «объективная» поэзия. Что стояло за этим спором об «эпическом» и «драматическом», «объективном» и «субъективном» в поэзии? Чтобы получить представление о том, какие взгляды пытался развенчать Сигнеус, обратимся для примера к рассуждениям И. Тенгстрёма, опубликованным в 1836 году, то есть через год после выхода первого издания «Калевалы».

Подразделяя народы на «европейские» и «восточные», Тенгстрём утверждал, что только первым из них было присуще «беспокойное стремление к субъективному самоопределению», тогда как «основной чертой восточных народов», с точки зрения автора, являлись «гармоническая естественность и ничем не нарушимое однообразие; неподвижность и спокойствие». К числу «восточных» Тенгстрём относил и финский народ, который, «робко замкнувшись в себе, обрел свое счастье в верно-подданстве и самоотверженном служении общему благу и отечеству»<sup>1</sup>. Финский народ, писал Тенгстрём, «может с искренней теплотой благодарить судьбу за то, что он входит в великое государство и через него в группу государств (Священный Союз. — Э. К.), в которой высшая политика не только позволяет, но и принуждает его оставаться верным своему характеру и именно таким образом в ограниченной для себя сфере исполнять свой долг по отношению к всеобщему»<sup>2</sup>.

Поскольку стремление к «субъективному самоопределению»

---

<sup>1</sup> Arwidssonista Snellmaniin. Kansallisia kirjoitelmia vuosilta 1817—1844. Helsinki, 1929, s. 56.

<sup>2</sup> Там же, стр. 54.



было свойственно не финнам, а лишь «европейским» народам, постольку и народная поэзия финнов не имела, по Тенгстрёму, «ничего общего с романской и германской поэзией; она отличается и от славянской, хотя с этой последней состоит в более близком родстве». В карело-финских рунах Тенгстрём находил «яркую объективность», однако это не мешало ему говорить об их «идиллическом характере» и о том, что в них «есть та меланхолия, тот минорный тон, которым отличается всякая естественная поэзия». О «Калевале» Тенгстрём писал, что «содержания рун соответствует их внешняя форма, в связи с чем средства языка использованы с глубоким чутьем и сообразно с его внутренними законами. У нерифмованного, но с аллитерацией стиха замедленный ритм, который своим мерным течением усыпляет земные печали и тяжкие горести, навевая золотые грезы фантазии»<sup>1</sup>.

По терминологии Тенгстрёма, древняя поэзия финнов была эпической. Позже у них появилась и лирическая поэзия, однако она даже по своей форме была еще тесно связана с эпической традицией. Как указывал Тенгстрём, эта связь произведений народной лирики «с древней отечественной поэзией проявляется, кроме того, во всем их поэтическом строе, в том мягком и невинном спокойствии, которым от них веет, в память о поэзии эпической. Они по существу носят характер элегии в собственном смысле этого слова, то есть той элегии, которая в наиболее ярких своих формах появилась после эпической поэзии, положив начало лирике... Новая финская поэзия стоит на первой ступени развития лирического жанра»<sup>2</sup>.

Термины «эпическая», «объективная» и «идиллическая» поэзия были для Тенгстрёма тождественны, они обозначали такое состояние поэтического сознания народа, при котором он находился еще в полной гармонии с окружающим миром, ничего в нем не отрицая и не пытаясь его изменить. «Элегическая лирика» также еще не выходила за пределы подобного мирозерцания, она не стала еще «субъективной» и, по Тенгстрёму, вообще не могла стать таковой, поскольку финнам не дано было «стремления к субъективному самоопределению».

В соответствии с «объективным» духом народной поэзии творили, по мнению Тенгстрёма, и финляндско-шведские поэты, в числе которых он упоминал Фрезе, Крейца, Францена и Рунеберга. Эту же мысль высказал в 1842 году И. Э. Эман в статье «О финском национальном характере», где он заявлял: «Замечательно, что и все финляндские поэты, которые писали по-шведски и часто вовсе не были знакомы с поэзией финскою, отличаются в высокой степени отсутствием всякой суетности,

---

<sup>1</sup> Arwidssonista Snellmaniin. Kansallisia kirjoitelmia. Helsinki, 1929, s. 64.

<sup>2</sup> Там же.

естественною простотою, глубоким чувством и каким-то идиллическим направлением»<sup>1</sup>.

Как известно, цикл народных рун о Куллерво был опубликован в завершённом виде только во втором издании «Калевалы» в 1849 году. Трагическая судьба мятежного раба, описанная в этом цикле, плохо увязывалась с представлениями об идиллическом характере «Калевалы». Куллерво «совершенно одинок в финской поэзии, словно он не совсем у себя дома»<sup>2</sup>, писал Топелиус, недоумевая по поводу того, откуда у финнов могла появиться столь бунтарская фигура. После некоторых раздумий Топелиус высказался в том духе, что моралью рун о Куллерво все же является осуждение бунтарства, что в них доказывается в «негативной» форме вред распрей. Впрочем, уже Лённрот не воздержался от искушения закончить весь цикл рун о Куллерво нравоучительной сентенцией, из которой явствует, что вся причина трагедии героя сводится к дурному его воспитанию.

Все это Сигнеус остроумно высмеял в своей работе. Одна из ее глав, написанная, по словам автора, задолго до опубликования статьи (1853), была посвящена критике «некоторых несостоятельных теорий» в фольклористике. Их приверженцы, писал Сигнеус, отказывали финнам не только в драматической, но и в лирической поэзии. Теории о чисто «эпическом» характере поэтического мышления финнов согласовывались, однако, не с народной поэзией, а с творчеством финляндско-шведских поэтов — Фрезе, Крейца, Францена и «других», под которыми Сигнеус определенно имел в виду Рунеберга. Авторы «теорий» хотели, по словам Сигнеуса, «втиснуть все возможности развития вечно живого и свободного творческого духа в тесные деревянные клетки, воздвигнутые на ветхом фундаменте прошлого»<sup>3</sup>. Все неугодные им фольклорные явления авторы «теорий» объявляли незаслуживающими внимания, считая их мало поэтическими. Но в таком случае, писал Сигнеус, теории явно злоупотребляли узурпированной ими властью, уподобляясь многим религиозным сектам и общественным режимам, при господстве которых некогда объявлялось грехом и предавалось анафеме все то, что противоречило существующим законам. Утверждая, что у финнов уже издавна была лирическая поэзия, Сигнеус указывал при этом на заклинательные руны. Они, по его словам, отличались «наивысшим напряжением субъективности», то есть в них выражалось стремление человека как-то повлиять на ход событий, высказать свое отноше-

---

<sup>1</sup> Calender till minne af kejsrerliga Alexanders universitetets andre secular-fest. Helsingfors, 1842, s. 274.

<sup>2</sup> V. Vasenius. Z. Topelius ihmisenä ja runoilijana, V. Helsinki, s. 447.

<sup>3</sup> Fr. Cygnaeus. Kalevalan traagillinen aines. Porvoo, 1907, s. 14.



ние к явлениям окружающей действительности. «Эпическую», или «объективную» поэзию Сигнеус называл холодной.

Наиболее ярко «субъективность» проявлялась, с точки зрения Сигнеуса, в рунах о Куллерво. Как выражение народного сознания, они свидетельствовали о том, что пассивность народа нельзя было абсолютизировать. «Во всяком случае, — писал Сигнеус, — следовало бы честно признать, что в финской поэзии осталась незамеченной одна черта, которую Олаус Магнус уже давно со всей определенностью отнес к финскому народному характеру вообще, а именно: хотя финн обычно и отличается неописуемой инертностью и медлительностью, однако если какие-либо веские причины привели его в возмущение и негодование, то он скорее выходит из себя, чем это бывает с другими народами»<sup>1</sup>.

Руны о Куллерво Сигнеус считал «революционным» явлением в том смысле, что они опровергли консервативные представления о народной поэзии и духовном облике финского народа. Характеризуя причину трагедии Куллерво, Сигнеус писал: «Природа создала его героем, а судьба низвела его до положения раба. По своему внутреннему призванию он был рожден для деяний, которые бы дали ему возможность свободно проявить титаническую мощь, дарованную ему природой; но вместе с тем он родился в угнетающей атмосфере рабства, а унижительный рабский труд приводит героическую волю к непростительным заблуждениям»<sup>2</sup>. Восхищаясь напряженностью трагической коллизии, Сигнеус все же считал бунтарство Куллерво «заблуждением», ибо герой, по мнению автора, преступил все нравственные законы. И все же работа Сигнеуса сыграла положительную для своего времени роль. В обстановке свирепой реакции конца 40-х и начала 50-х годов Сигнеус попытался осмыслить сюжет рун о Куллерво как трагедию угнетенного народа. Работа Сигнеуса привлекла внимание писателей к этому сюжету. Через несколько лет после ее появления Киви написал романтическую трагедию «Куллерво», которая была сочувственно встречена Сигнеусом, ратовавшим за создание национального театра.

Сигнеус и сам сочинял пьесы, довольно слабые в идейном отношении и совершенно беспомощные с точки зрения драматургии. Еще в бытность свою за границей он задумал написать историческую трагедию в стихах, которая затем стала именоваться «драматической поэмой в пяти актах». Полностью это большое по размеру произведение было опубликовано в 1851 году под названием «Времена Класа Флеминга». Видимо, сознавая драматургическую рыхлость своей пьесы, Сигнеус в

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. Kalevalan traagillinen aines. Porvoo, 1907, s. 19.

<sup>2</sup> Там же, стр. 39.

эпиграфе, взятом из байроновского предисловия к «Марино Фальеро», предупреждал, что его произведение не предназначалось для сцены.

Сюжет пьесы Сигнеуса разворачивается на фоне политических событий в Швеции конца XVI века, когда герцог Карл, опираясь на среднее и мелкое дворянство и на часть крестьянства, возглавил силы нации для борьбы с контрреформацией и крупными феодалами, объединившимися вокруг короля Сигизмунда. В пьесе косвенно упоминается и «Дубинная война» (1596—1597), крупнейшее в истории Финляндии крестьянское восстание. Флеминг, финляндский наместник, сохранивший верность королю, разгромил восставших, однако и сторонники Сигизмунда вскоре были разбиты высадившимися в Финляндии войсками герцога Карла.

Эта эпоха привлекала к себе внимание не только Сигнеуса, но и других современных ему финляндских литераторов. Так, например, в 1840 году было опубликовано стихотворение Ютейни — «Дубинная война 1597 года в Финляндии», а через три года Э. Грёнبلاد издал сборник документов по финляндской истории конца XVI — начала XVII века, то есть периода, центральным событием которого было крестьянское восстание. В связи с изданием этого сборника З. Топелиус отмечал, что в европейской историографии все более укреплялось направление, представители которого обращали основное свое внимание не на королей и полководцев, а на историческую деятельность масс. «С этой точки зрения, — писал Топелиус, — современная историческая мысль свергает в хрониках королей с тронов, срывает с войн сияющий ореол ратного блеска и объявляет основным предметом истории постепенное развитие масс, человечества, внутренние устремления народов»<sup>1</sup>. Снельман в рецензии на сборник Грёнبلاد также подчеркнул, что задача отечественных историков заключалась в том, чтобы дать картину поступательного развития финского народа и его общественных институтов. Снельман осыпал насмешками тех исследователей, которые пытались свести всю национальную историю к родословным знатных фамилий. Несклько позже, в 1848 году, Снельман писал: «Теперь наступает уже такое время, когда только платные фальсификаторы истории могут изображать всемирно-исторические события как результат прихотей каких-то «особ» . . . Им и невдомек, что ныне даже у малообразованного читателя это вызывает только усмешку, которая означает: «Помилуйте, но ведь мы тоже ума не пропили»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III. Stockholm, 1918, s. 115.

<sup>2</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VIII, s. 214.



Для Сигнеуса, остро чувствовавшего «разорванность» современного ему века, «Дубинная война» и борьба Карла с Сигизмундом были событиями, в которых особенно ярко отразились противоречия феодального общества. В своей пьесе Сигнеус попытался показать столкновение противоположных социальных сил, изобразить представителей различных сословий. Фанатическими врагами финских крестьян в пьесе выступают польские аристократы, презирующие и короля за его неспособность привести крестьян в повиновение. Однако в трактовке образа Флеминга у Сигнеуса есть непоследовательность. С одной стороны, почти каждый персонаж пьесы произносит длинные тирады о бесчеловечности Флеминга, о его жестокой расправе над крестьянами, о том, что он превратил страну в пустыню; и в то же время Флеминг изображен горячим патриотом Финляндии, любящим ее природу, язык и поэзию ее народа. По субъективному произволу автора, Флеминг защищает крестьян от нападков польского магната Красинского, чем окончательно привлекает к себе участника «Дубинной войны» крестьянина Бенгта. В беседе с наместником Бенгт заявляет, что если бы Флеминг и раньше был добр к крестьянам, то они никогда бы не восстали и дубины могли бы спокойно сгореть в печах. Когда же Флеминг спрашивает, кто повинен в кровопролитии, Бенгт отвечает: все — и дворяне, и крестьяне. Их вина, по Сигнеусу, заключается в том, что они не проявили взаимопонимания, стремления решить все споры полюбовно. Флеминг в описании автора покоряет всех героев пьесы своим духовным величием. Ему неведомы сомнения, он дорожит понятием дворянской чести, он хранит верность Сигизмунду и твердо убежден в том, что его действия в конечном счете принесут пользу родине и народу.

Такой же твердостью характера отличается и другой персонаж пьесы — полуфантастический образ Колдуньи, которая олицетворяет собой и народную ненависть к феодалам и Немезиду истории. Когда-то Флеминг погубил ребенка этой женщины, и она поклялась отомстить палачу, причем это не только ее личная месть, но и возмездие народа, истории. Безвольному мечтателю Даниэлю Юрту, которого одолевают сомнения и который хотел бы навсегда уйти из слишком жестокой жизни, Колдунья говорит: «Это слабое утешение. Сильный мечтает об одном — о мести». И далее:

Gå du och dröm, som du drömde  
I kojan och i slotten. Jag vill handla,  
När stunden är förhanden: min och hämnens.  
Du kan blott lida under klagan, medan  
Ditt arma land förblöder ljudlöst. Jag,

Jag handla skall för dig och för er alla,  
Som hämndens andar i min själ befalla <sup>1</sup>.

В разговоре с другим персонажем пьесы Колдунья предвещает Флемингу гибель: он тщетно будет противиться Судьбе, его ратники могут как угодно притеснять крестьян, однако есть еще «иные силы, которых он не испытал» и от которых он должен пасть. Под этими «силами» Сигнеус, видимо, подразумевал историческое развитие, которое понималось в духе провинциализма.

Заметив приближение флота герцога Карла к Або, Колдунья объявила Флемингу, что час его пробил:

Se här, hur vinden vändt sig. Dessa vimplar,  
Som där i fjärran peka hitat, visa  
Åt Hertig Carl den väg, du sökte stänga.  
Giv rum! Du falla måste under bördan  
Utav ditt folks förbannelse, vars röst  
Förkunnas genom mig <sup>2</sup>.

Когда Флеминг перед своей гибелью взывает к королю Сигизмунду, Колдунья отвечает, что «падение короля — спасение для страны», а посол Карла объявляет, что корона впору только герцогу. Сигнеус, таким образом, считал поражение сил феодально-католической реакции исторически неизбежным, но вместе с тем он бесконечно опоэтизировал Флеминга, окружил его гибель ореолом трагического величия. В пьесе Сигнеуса нет драматизма и поэзии борьбы за передовые общественные идеалы, нет прославления практического действия во имя прогресса. Колдунья упрекает Юрта за бесплодную мечтательность, однако и ее собственное «действие» является не более как фантастическим прорицанием.

Для понимания эстетических взглядов Сигнеуса важное значение имеет его работа «Король Эрик XIV как драматический характер» (1853). Это была его академическая диссертация, после защиты которой он занял кафедру эстетики и новой литературы в Гельсингфорсском университете.

Сигнеус в своей работе всячески подчеркивал глубоко противоречивый, переходный характер того исторического периода,

<sup>1</sup> Ступай и предавайся грезам, как ты грезил и в хижине и в замке. Я же буду действовать, когда пробьет мой час, когда настанет миг возмездия. Ты способен только страдать и сетовать, в то время как твоя несчастная родина безмолвно истекает кровью. А я буду действовать и за тебя и за всех вас, как велит моему сердцу гений возмездия.

<sup>2</sup> Смотри, как изменился ветер. Те флаги, что развеваются там вдали в нашу сторону, указывают герцогу Карлу путь, который ты пытался ему закрыть. Так исчезни же навеки! Ты должен был рухнуть под бременем проклятий твоего народа, вещающего моими устами.



когда правил шведский король Эрик XIV (1560—1568). Он, по словам Сигнеуса, жил на стыке двух эпох: медленно отступавшего средневековья, с одной стороны, и во многих отношениях уже наступившего нового времени, с другой. Этим обстоятельством Сигнеус объяснял противоречивость характера Эрика XIV. Его внутренняя и внешняя жизнь, писал Сигнеус, представляла собой «непрерывную цепь взаимоисключающих противоположностей. Благородство и дикость, любовь и ненависть, величие и низость — все эти качества уживались в нем рядом друг с другом, оставаясь, однако, непримиренными»<sup>1</sup>.

В этой «непримиренности» противоречий состояло одно из основных различий между эстетическими воззрениями Сигнеуса и Рунеберга. Рунеберг в 30-е годы доказывал, что только рационалистический рассудок не способен увидеть противоречия примиренными. «Напряженность» противоречивых черт характера была, с точки зрения Рунеберга, важна лишь постольку, поскольку она делала более впечатляющей последующее примирение противоречий, причем никакого внутреннего движения, никакого развития характера такая «напряженность» не предполагала. Примером такого «напряженного» построения образов у Рунеберга могут служить и крестьянин Паво из одноименной «идиллии», и нищий Арон из «Охотников на лосей» и старик Пистоль из «Рождественского вечера». Они либо бедны материально, либо немощны телом, однако им свойственно величие духа, под чем Рунеберг подразумевал стоическое спокойствие и терпение.

Хотя изображаемые Рунебергом характеры и лишены внутреннего драматизма, тем не менее они отличаются своеобразной цельностью, им неведома душевная раздвоенность, вызываемая, как полагал Сигнеус, особыми историческими обстоятельствами. Если Сигнеуса привлекали переходные ситуации, кризисные моменты в истории, то Рунеберг и в настоящем и в прошлом ценил лишь то, что, с его точки зрения, было устойчивым, традиционным, уже давно сложившимся. Описывая эпоху Эрика XIV, Сигнеус старался подчеркнуть, что в это время столкнулись интересы враждебных классов: феодальная аристократия цеплялась за свои привилегии, по-прежнему претендуя на исключительную роль в национальной жизни, тогда как крестьянство («древнейшее благородное сословие» в Швеции, как выражался Сигнеус) требовало человеческого к себе отношения. Между этими «двумя социальными антиподами», продолжал Сигнеус, появилось еще «третье сословие, прежде едва приметное, но теперь . . . искусно и смело вышедшее из темных углов к свету и свежему дуновению занимающегося утра. Если дворянство хотело казаться всем и вся, то

---

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. Samlade arbeten, III, s. 7.

третье сословие на первых порах стремилось, по меньшей мере, значить что-либо с тем, чтобы со временем занять позиции, постепенно оставляемые аристократией»<sup>1</sup>.

Рассматривая пьесу Лиднера об Эрике XIV, Сигнеус отмечал, что ее автору не хватало «исторического чутья». Лиднер, по словам Сигнеуса, был поэтом, которого привлекали катаклизмы в природе, но не драматические моменты в истории народов. Ему не дано было «постичь полную бурных потрясений жизнь истории» (*historiens vildt skakade liv*), его более поражали «разрозненные и бессмысленные катастрофы в природе, чем внутренние и внешние исторические сдвиги в их строгой каузальности»<sup>2</sup>. Сигнеус упрекал Лиднера в том, что тот искажал правду истории, изобразив представителей аристократического рода Стуре верноподданными шведского короля. Своеобразие этого исторического периода, подчеркивал Сигнеус, в том и состояло, что Стуре возглавляли феодально-аристократическую оппозицию королевской власти, пока их сопротивление не было окончательно сломлено.

Однако, стремясь понять диалектику истории, осмыслить противоречивый характер общественного развития, Сигнеус тем не менее проявлял крайнюю робость, будучи не в силах расстаться со своими либеральными иллюзиями. В той же работе об Эрике XIV он писал о тщетности попыток создать «новые условия» вдруг, в «один момент», то есть методом решительных, революционных действий. По мнению Сигнеуса, все должно было «свершить время»: если семя доброе, оно в конце концов произрастет и даст плоды; но если «сеятель» хочет все сделать безотлагательно, его постигает «трагическая судьба», дабы он убедился в тщетности своих усилий.

С точки зрения Сигнеуса, трагическая ситуация, в которой очутился Эрик XIV, была обусловлена тем, что он жил на грани двух исторических эпох — средневековья и нового времени. В такие смежные периоды, рассуждал Сигнеус, все становится неустойчивым, текучим; старое уже пошатнулось, новое еще не определилось; действительность не имеет четких форм и ясных очертаний, она представляет собой лишь переходную ступень к чему-то неизвестному. Эрик XIV не понимал, куда «ведет время», он не чувствовал твердой почвы под ногами, не мог «ни на кого и ни на что положиться», хотя в душе испытывал глубокую потребность «в преданности, в любви, в помощи провидения». В душевной раздвоенности героя, в его нерешительности, в отсутствии у него ясной цели — во всем этом Сигнеус находил нечто трагическое. В его пьесе «Времена Класа Флеминга» трагическим героем такого типа является Даниэль

<sup>1</sup> Fr. Cygnaeus. Samlade arbeten, III, s. 13—14.

<sup>2</sup> Там же, стр. 58.



Юрт. Он живет в замке Флеминга, хотя родился в крестьянской хижине; он был вскормлен теми людьми, которых кровавый наместник замучил в неволе. Уже этими внешними обстоятельствами жизни Юрта подчеркивается неопределенность его положения. Он мечется между двумя враждебными силами, не примыкая ни к одной из них. В нем не остыло чувство благодарности к крестьянам, их страдания отзываются глухой болью в его сердце, и в то же время он подавлен, покорен «железной волей» Флеминга и не может противопоставить ей ничего, кроме жалоб на свою немощность. Неприкаянный Юрт никому не нужен. Крестьянин Бенгт подозревает его в предательстве народных интересов, а один из сторонников Флеминга считает Юрта лазутчиком герцога Карла. Юрт сетует на то, что он родился не вовремя. Мир кажется ему холодной тюрьмой. Он понимает, что по-настоящему свободен только тот, кто борется за свою свободу, но сам он бессилен что-либо предпринять. Юрт сравнивает себя с комнатной птицей, которую выпустили из клетки в зимнюю стужу и у которой уже нет ни сил, ни решимости устремиться в далекий цветущий край. Она слишком долго жила в неволе, ее крылья ослабли в бездействии, угасла ее вера в возможность счастья.

Однако и в том случае, когда герой (например, Куллерво) вступал на путь борьбы и мстил своим притеснителям, он, с точки зрения Сигнеуса, опять-таки совершал нечто предосудительное и становился носителем «трагической вины». Таким образом, трагедией оказывалось как социальное бессилие, так и бунтарство. Из этого порочного круга либерального мудрствования относительно трагического в истории и в искусстве не сумел вырваться и Снельман, хотя его критика феодальных порядков отличалась гораздо большей остротой, чем у Сигнеуса. Тем не менее для Снельмана революция также была нежелательной «крайностью», он, как и Сигнеус, мечтал о том, чтобы как-то достичь результатов французской революции без самой революции. Правда, обозревая историю, Снельман констатировал, что переход от одной формы правления к другой редко когда обходился без насильственной борьбы; подчас Снельман даже был склонен считать революционный метод общественного переустройства исторической необходимостью, однако он тут же именовал такую необходимость «жестокой», она была для него трагическим «несчастьем». Описывая в одном из своих рассказов («Могила на берегу реки Зиль») восстание швейцарских крестьян, Снельман не преминул подчеркнуть неразрешимое, с его точки зрения, «противоречие», заключающееся в том, что борьба угнетенных крестьян против насилия господ сама являлась насилием. Подобно «неприкаянному» Даниэлю Юрту из пьесы Сигнеуса, герой снельмановского рассказа, молодой аристократ Жером, трагичен по той причине,

что, оторвавшись от своего класса, он не может пристать и к другому. Сначала Жером сражался против крестьян, но под воздействием своей возлюбленной, дочери повстанца, он порвал с патрициями и перешел к восставшим. Не признанный ими, он после долгих колебаний, пребывая в состоянии крайнего нервного возбуждения, возглавил их ночную стычку с отрядом правительственных войск. Однако, когда крестьяне на утро опознали в Жероме аристократа, они оттолкнули его от себя, он не нашел с ними общего языка. А отец Жерома, увидев с крепостной стены сына возле бунтовщиков, приказал артиллеристам сразить его картечью. Гибель Жерома явилась своего рода искуплением его «трагической вины».

Все же нетрудно заметить, что драматическая коллизия в снельмановском рассказе достигает большей остроты и напряженности, чем в «драматической поэме» Сигнеуса. Снельман берет в основу сюжета момент крестьянского бунта, открытой борьбы двух враждебных классов, тогда как в пьесе Сигнеуса «Дубинная война» присутствует лишь в воспоминаниях Бенгта и служит поводом для рассуждений о том, каким образом можно было бы избежать борьбы. Снельмановский «трагический герой» и сам отваживается на действие, он примыкает к восставшим, и хотя его поступок и не является следствием глубоких и прочных убеждений, тем не менее это уже не «трагедия» бесплодных сетований на жестокий век, которым предается в пьесе Сигнеуса Даниэль Юрт.

Когда Топелиус в статье «Почему безрадостно наше время?» (1845) изложил свои унылые размышления по поводу все большего обострения классовых противоречий в Европе, то Снельман ответил на это статьей, полемическая направленность которой отразилась уже в заглавии — «Радость нашего времени». Снельман доказывал, что жалобы на скуку исходили от тех людей, которые предавались праздности, не желая содействовать прогрессу. А где есть деятельность, писал Снельман, там всегда есть и радость. Апатия, по его словам, царила в высших классах общества, а труженику совершенно некогда было скучать, потому что «труд и радость означают одно и то же, если только труд — не рабский труд, если труженик — свободный человек»<sup>1</sup>. Снельман считал свою эпоху «радостной», ибо у народов пробуждалось стремление к исторической деятельности. В мировой истории, писал он, едва ли могла найтись другая такая эпоха, когда произошло бы «столько революций» в политической жизни, науке, промышленности, образе мыслей и нравах. И тот, кто утверждал, будто эти перемены не подвинули человечество ни на шаг вперед, тот, по мнению Снельмана, расписывался в своей слепоте, либо в превратности своего обра-

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, IV, s. 200.



зования. Стремление народов «установить лучший государственный строй, свободу совести и слова, равенство в гражданских правах, словом, стремление добиться такого положения, чтобы обеспечить свободное развитие всех духовных сил человека, — эта деятельность является могучим доказательством радостных дерзаний и живых интересов нашего времени». А если в Финляндии, продолжал Снельман, было «мало радости», то это означало лишь то, что «у нас дух времени еще не смог воодушевить людей на радостную деятельность ... И менее всего следует хулить наш век за то, что некоторые его сыны не усвоили его духа, ибо это дано не тем, кто спит, а тем, кто занят делом. К сожалению, у нас спят во многих отношениях»<sup>1</sup>.

Такого пристального внимания к настоящему у Сигнеуса не было. Современность, полная противоречий и борьбы, теряла для него свое самостоятельное значение, он рассматривал ее только как переходную ступень от прошлого к будущему, сближаясь в этом отношении с немецким эстетиком Фридрихом Фишером, имя которого довольно часто упоминается в статьях Сигнеуса. Э. Нервандер указывает, что свой курс эстетики в университете Сигнеус читал в основном по Фишеру. По мнению Фишера, у современного ему века не было «настоящего, а только прошлое и будущее. Мы, — добавлял он, — боремся за новые формы жизни; только после их возникновения у искусства будет свое содержание»<sup>2</sup>. Упования на «новые формы жизни», однако, не помешали Фишеру взять под защиту контрреволюционность немецкой буржуазии, подобно тому как «карбонаризм» Сигнеуса не помешал ему в 1855 году произнести по случаю смерти Николая I раболопную речь, в которой он не только отпускал покойнику все его грехи, но даже возвел его в сонм радетелей за народное благоденствие.

«Либеральный период» в творчестве Сигнеуса к тому времени уже закончился. Правда, и после этого его роль в истории финляндской литературы была во многом положительной. Достаточно вспомнить, что Сигнеус был одним из тех, кто выступил в защиту Киви от нападок эпигона консервативного романтизма Оксанена, в то время как Рунеберг считал оправданной эту травлю крупнейшего финляндского писателя. Однако в 60-е годы Сигнеус уже не поспевал за литературным развитием. Если Рунеберга Сигнеус изображал в своих статьях более «левым» поэтом, чем он был на самом деле, то демократического содержания творчества Векселля и Киви он уже не сумел по-настоящему оценить. В исторической трагедии Векселля «Даниэль Юрт» Сигнеус прежде всего обратил внимание на фигуру епископа Эрикуса, который пытается, хотя и тщетно, примирить противобор-

<sup>1</sup> J. V. Snellman. *Samlade arbeten*, IV, s. 201.

<sup>2</sup> G. Lukacs. *Beiträge zur Geschichte der Ästhetik*. Berlin, 1954, S. 237.

ствующие социальные силы. Однако историко-философской проблематики этого произведения Сигнеус попросту не уловил, она не поразила его своей новизной. Сигнеус только недоумевал по поводу того, что главным героем трагедии Векселля является не Арвид Столарм (преемник Флеминга) и не герцог Карл, а Даниэль Юрт. Но это был уже не безвольный, «неприкаянный» мечтатель из пьесы самого Сигнеуса. Юрт у Векселля — человек активный, символ вечного плебейского бунтарства. Когда актер, исполнявший роль Юрта, придал ему черты «гамлетизма», Векселль, уже тяжело больной, высказал в частной беседе свое несогласие с такой трактовкой этого образа. Трагедия векселлевского Юрта заключается не в его неспособности действовать, а в том, что его мечта о народной свободе не стала явью и после того, как он помог войскам герцога разгромить феодально-католическую реакцию. В конечном итоге герцог и Юрт презирают и ненавидят друг друга. Юрт для герцога — плебей, «предатель», поскольку он отверг феодальные понятия о чести.

Сигнеус не понял всей глубины драматургического замысла Векселля, избравшего для своей трагедии ту же тему, которую десятью годами раньше попытался разработать автор «Времен Класа Флеминга».

## 6

В октябре 1844 года в Гельсингфорсе гостила немецкая театральная труппа, которая на одной из постановок исполнила «Марсельезу». Присутствовавшие в зале студенты встретили ее бурей восторга, так что актеры должны были повторить песню. Под впечатлением этого случая З. Топелиус (1818—1896) сочинил на мелодию «Марсельезы» собственные слова, обращенные к финляндской молодежи.

Det går ett rop kring nord, kring söder,  
att världen hör den frie till.

Vem följer röstens maning bröder?

Vem strida och vem segra vill?

Stor är den undens kraft, som glöder,  
sitt ödes överman.

Han kämpar för sitt folk som blöder;  
dess tunga fjättrar bräcker han.

Han ger för frihet god

sitt varma hjärteblod;

för Suomis folk han offra vill

sitt liv i styrkans dar.

Hans namn, hans bragd för sagan till

i sången lever kvar <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> И на севере и на юге раздается клич: мир принадлежит свободным! Братья, кто готов следовать этому кличу? Кто хочет бороться и победить?



В следующей строфе Топелиус заявлял, что финны не станут ни шведами, ни русскими; что тени предков зовут их защитить «покой древних богов»; что «мечом мысли» они будут сражаться за «свободу духа», за финский народ и его язык, за возрождение прекрасной Суоми.

Конечно, по сравнению с «Марсельезой» Руже де Лиля, ее грозным «Трепещите, тираны!», перетекстовка Топелиуса была не бог весть что. Она сочинялась не для батальонов революционной армии, а для безобидных молодых людей, отваживавшихся разве только на то, чтобы иногда устроить обструкцию какому-нибудь сервильному профессору. Но на фоне финляндской жизни и это было событием. И когда студенты запели «Марсельезу», хотя бы и на слова Топелиуса, начальство было не на шутку обеспокоено. Студентам запретили петь, а Топелиус получил анонимную записку, в которой сообщалось, что к нему могли нагряться с домашним обыском, в связи с чем ему следовало уничтожить компрометирующие его бумаги. Хотя беды и не последовало, но Топелиус был встревожен. В дневнике он каялся в своей «опрометчивости», обещал впредь «прикинуться консервативным», не вмешиваться в политику, думать о семье, а несколькими строками ниже признавался: «Ах, тут и впрямь становишься обывателем!»

В этом факте весь Топелиус, вся «линия» редактируемой им газеты «Гельсингфорс Тиднингар», в ту пору самой крупной в Финляндии. Топелиус умел не только «прикинуться» консервативным. В силу своих убеждений он подчас проповедовал крайне отсталые взгляды, и напрасно П. Нюберг, по монографии которого мы изложили упомянутый факт, берется утверждать, что консерватором Топелиус никогда не был. Еще Снельман называл газету Топелиуса консервативной, считая ее тем более опасной, что ее редактором был человек с литературным талантом. Любопытно, что в свое время, еще до «Саймы», Снельман сам предлагал свои услуги издателю «Гельсингфорс Тиднингара» Васениусу, но получил отказ. Наслышавшись о вольнодумстве Снельмана, Васениус заявил, что тот в две недели загубил бы газету, то есть вызвал бы ее запрет. «Сайму» Снельман действительно «загубил», правда, не в две недели, а в три года, тогда как «Гельсингфорс Тиднингар» во главе с Топелиусом в общем благополучно пережила всю мрачную пору реакции, хотя и у него были иногда трения с цензурой.

По поводу истории с «Марсельезой» Нюберг пишет: «Она еще раз свидетельствует о лирическом складе характера Топе-

---

У юноши много сил и страсти, чтобы быть хозяином своей судьбы. Он будет бороться за свой народ, истекающий кровью, он разобьет его тяжелые оковы. Он отдаст жаркую кровь своего сердца во имя милой свободы и посвятит жизнь народу Суоми. И тогда о нем и о его деяниях будут складывать легенды, он будет жить в песне.

лиуса. Временами он предается целиком власти мимолетного чувства, все в нем бурлит, и тогда он изливает в песне сокровеннейшие движения своего сердца. Но минутой позже он уже начинает сомневаться и каяться. Отсутствие цельности, отчего он часто страдал сам, ощущается и в этом случае. Основной причиной его неуравновешенности явилось, по-видимому, то, что он опять-таки попытался связать между собой две различные по самой своей сущности вещи — поэзию и политику»<sup>1</sup>.

Топелиус действительно хотел остаться в стороне от «политики», она, по его мнению, была не для Финляндии, у которой не могло быть политической истории. Финнов он считал не «политической» нацией, а «культурфольком», то есть народом, деятельность которого должна была ограничиваться сферой «чистой» культуры. Все это Топелиус неоднократно излагал на разные лады в своей газете.

И в то же время он был уже далек от того равнодушия к прогрессивным общественным движениям, которое обнаруживал в течение всей своей жизни Рунеберг. Статьи и стихи Топелиуса в известном смысле являлись довольно чувствительным барометром политической атмосферы в европейских странах, и чем больше она накалялась, тем сильнее трепетал поэт в напряженном ожидании грозовой бури. При всем своем страхе перед революцией Топелиус в 1848 году благодарил судьбу за то, что она не позволила ему «пасть так низко, чтобы остаться трусливо безучастным к страданиям и надеждам века»<sup>2</sup>. Вопреки утверждениям Нюберга и прочих буржуазных литературоведов о несовместимости поэзии и «политики», именно внимание Топелиуса к важнейшим событиям своего времени, к «страданиям и надеждам века» делает его творчество несколько более близким современному читателю по сравнению с поэзией Рунеберга, которая уже в 40-е годы XIX столетия казалась многим «холодной».

Мировоззрение Топелиуса, и в этом Нюберг прав, не отличалось цельностью. Это был «мир, разбитый на кусочки» (*en värld i spillror*), как выразился в 1850 году один критик, сожалевший о том, что у Топелиуса уже не было «по-детски гармонического взгляда» на жизнь, взгляда, согласно которому все сущее имеет свое оправдание в «высшем миропорядке».

Уже в юношеских стихах Топелиуса отразилась противоречивость и быстрая сменяемость его настроений, очень неглубоких и неопределенных по своему содержанию. Часто в этих стихах варьируются слова «покой» и «буря», причем они относятся как к внешнему миру, так и к душевным состояниям поэта. То ему хочется остаться равнодушным к бурям и тревогам и, не смотря на «насмешки черни», искать успокоения в гордом оди-

<sup>1</sup> P. Nyberg. Z. Topelius, I. Porvoo-Helsinki, 1950, s. 235.

<sup>2</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, III, s. 336.



ночестве, либо в стремлении к небесным далям, «прочь от земли»; то его, напротив, угнетает царящее кругом спокойствие. Например, в стихотворении «Летняя ночь в лесу» (En sommar-natt i skogen) лирический герой повествует, что ночная тишина усыпила в его груди страсти, доставившие ему много страданий; однако в самом этом покое есть что-то жуткое и безжизненное, что заставляет поэта воскликнуть:

Jag kan ej mera lida  
den dova, döda frid;  
jag vill ha liv och svalka,  
jag vill ha storm och strid.  
Upp själens dolda makter,  
till liv jag kallar er!  
Om onda eller goda  
det frågar jag ej mer.

Нет, мне больше нестерпим  
Этот душный мертвый покой.  
Я хочу жизни, свежего ветра,  
Я жажду бурь и борьбы.  
Проснитесь же, силы,  
Что скрыты в моей груди!  
К добру ли, к худу ли —  
Об этом я уже не вопрошаю.

Нередко Топелиус утверждал в своих стихах, рассказах и статьях реакционную мысль о том, что причины душевных мук человека таятся в нем самом, в его неумной жажде познания, в отрыве науки от иррациональной веры в сверхъестественное. В назидание тем, кто тщетно ломал себе голову над будущим человечества, Топелиус воспевал скромного бедняка, который скудно ест и жестко спит, но не позволяет яду безверия проникнуть в свое сердце и потому счастлив и доволен судьбой.

Страшась грозных противоречий действительности, Топелиус стремился уйти в мир туманной мечты, иллюзорность которой он осознавал и сам. В одном из своих рассказов от 1844 года он рисовал фантастическую «страну Викторию», где нет церкви с ее догмами, но есть религия всеобщей любви; нет государства, но есть справедливость; нет частной собственности, ибо все принадлежит всем, как солнце и воздух; наука и искусство там не разъединены друг от друга, но существуют слитно. На возражение, что все это утопия, рассказчик отвечает, что на свете существует много такого, чего нельзя понять разумом, но о чем надо страстно мечтать, и тогда законы жестокой яви «раздвигнутся», чтобы через трещину в «расколоте веке» явилось новое время, цельное и прекрасное.

В сознании Топелиуса как бы стиралась грань между явью и грезами. В одном из своих стихотворений он так и писал:

Tu livets dröm och vaka, vem kan dem följa?  
En fin omärklig linie är mellan båda:  
Svårt är att skilja himmel från fjärran bölja,  
Och verklighetens gränser kan ingen skåda <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кто может понять, где сон и где явь в нашей жизни? Между ними слишком тонкая и незаметная грань. Трудно различить небо от морской дали, и никто не может обозреть границы действительности.

Это смешение реального мира с миром фантазии не позволяло Топелиусу осознать все убожество финляндской действительности, что особенно отразилось в его журналистской деятельности. Снельман в «Сайме» не раз писал о том, что Топелиус, пребывая в царстве прекраснотушних мечтаний, часто выдавал желаемое за сущее, в результате чего Финляндия под его пером превращалась в некую сказочную страну благоденствия. В середине 40-х годов полемика между Снельманом и Топелиусом носила довольно острый характер, причем Снельман защищал критическое направление в журналистике, тогда как Топелиус настаивал на необходимости акцентировать «светлые стороны» жизни. Снельман обвинял Топелиуса и других финляндских журналистов в том, что они усыпляли общество «успокаивающей ложью» и пустой занимательностью.

Определенный сдвиг в мировоззрении и творчестве Топелиуса произошел в период революционных событий 1848 года, на которые он откликнулся в ряде своих стихотворений. В политической лирике Топелиуса, а отчасти и Сигнеуса, авторское восприятие общественной борьбы часто передается через образы природы, что стало затем весьма традиционным в финляндской поэзии, как шведской, так и финской. Весенний ледоход, морской прибой, борение весны с зимней стужей, сковавшей землю, утренний рассвет после ночного мрака — все эти поэтические образы приобретали особый политический смысл, вполне понятный современникам.

К 1847 году относится стихотворение Топелиуса о море (*Den blå randen på havet*), полное ожидания бурных событий.

Ja, det är havet! Det sover icke,  
det lever än:  
det slår mot bojan; oemotståndligt  
det krossar den.  
Jag hör de unga, de fria böljor;  
till strids de gå;  
de storma valven, och valven brista,  
och sjön är blå<sup>1</sup>.

В мае 1848 года, когда революция уже началась, Топелиус в стихотворении «Весна 1848 года» пел о нагрянувшей «могучей буре» с ее «мрачным громом»; она перевернула мир, рассеяла призрачные тени, окрасив небосвод кроваво-красным заревом. Эта буря валила все на своем пути — и могучие ели в лесах, и нежные цветы на лужайке. Гроза революции была, по

<sup>1</sup> Вот оно — море! Недремлющее, полное жизни, оно надвигается на преграды и неудержимо разбивает их. Я слышу шум юного, свободного прибоя — это волны устремляются в схватку; они штурмуют ледяные своды, ломая их, и море голубеет.



Топелиусу, разрядкой гнетущей атмосферы, и в то же время поэт слышал в раскатах грома «глас божий», суровый окрик людям, не умеющим полюбовно улаживать свои дела. В воображении поэта буря приближалась и к Финляндии, однако явилась она в эту страну в облике мирной цветущей весны. В Финляндии царит тишина, но поэта уже мучает вопрос, что означает она: жизнь или смерть? Топелиусу хотелось верить в пробуждение родины, и хотя революция пугала его, он все же надеялся, что она косвенным образом «прояснит горизонты» также для финляндского народа.

С наибольшим вниманием Топелиус следил за ходом венгерской революции. Венгры сражались за свою национальную независимость, и их борьба была финляндцам ближе, чем, скажем, июньские события 1848 года в Париже. Здесь примешивалось еще и то, что венгры были для финнов родственным народом. Эти мотивы нашли отражение и в одном из студенческих инцидентов, о котором докладывал генерал Норденстам<sup>1</sup>, проканцлер университета и губернатор Ньюландской губернии. Инцидент этот был связан с тем, что лейб-гвардии финский стрелковый батальон собирались отправить на подавление венгерской революции. Норденстам сообщал, что когда во время смотра батальона генерал Вендт предложил присутствующим на площади гражданским лицам, в том числе студентам, вербоваться, чтобы пойти добровольцами в венгерский поход, то студенты заявили: «В другом случае мы бы, может быть, и пошли на службу, но против своих единоплеменников не пойдем». Кроме того, Норденстам приложил к своему донесению анонимное письмо на шведском языке, полученное генералом Вендтом «несколько дней спустя» после упомянутого инцидента. Видимо, оно тоже принадлежало студентам. Они взывали к патриотическим чувствам генерала, напоминая ему, что речь идет о грубом нарушении финляндской конституции. «Только собрание народных представителей, — говорится в письме, — имеет право дать санкцию на отправку нашей гвардии за границу. Вы, как и всякий друг отечества, понимаете, с каким неодобрением встретит страна этот самовластный акт нашего почтенного Сената, члены которого готовы продать свое отечество за самое незначительное вознаграждение.

Вы можете быть уверены, что вся Финляндия, сокрушаясь о беде, которая постигнет финляндскую гвардию, если только ее вынудят драться против своих единоплеменников и братьев венгров с целью подавить их стремление к свободе и независимости, — вся Финляндия скорее проклянет свою гвардию вместе с ее предводителем, нежели встретит ее благословениями и поздравлениями, когда она, посодержав поражение

<sup>1</sup> ЦГАМФ, ф. 19, д. 36, лл. 59—64.

венгров, вернется с пальмою победы домой. Вот почему мы именем отечества заклинаем Вас приложить все силы к тому, чтобы гвардия была использована против кого-либо другого или в другом месте, но не в Венгрии. Мы знаем, что Вы не устраситесь доложить об этом деле его величеству, который, вероятно, примет это во внимание, узнав, что финны и венгры являются столь родственными народами».

Письмо это, с одной стороны, свидетельствует о том, что оппозиционность студенчества выражалась не только в устройстве «кошачьих серенад» под окнами неугодных профессоров, но вместе с тем оно показывает и политическую ограниченность этого протеста с его «единоплеменными» мотивами.

Своего рода иллюстрацией этих настроений могут служить статьи и стихи Топелиуса о венгерской революции. Среди его бумаг сохранилось, в частности, стихотворение, написанное в 1849 году, когда венграм угрожало поражение. Поэт призывал их воспрянуть духом и драться, пока еще не угасла заря свободы.

Och det är din framtids sol, Magyar,  
som stiger ur nattens skyar;  
och det är ditt land hon lyser klar,  
din sjunkna glans hon förnyar;  
vak opp! vak opp  
till segerns hopp,  
till vedergällningens timma.  
Ty låter den solen du sjunka bort,  
förn svärdet du ruckt ur slida,  
och spiller du dagens stund så kort  
förutan att blodigt strida,  
så bleknar hon av  
och över din grav  
snart nattens stjärnor skrida <sup>1</sup>.

В другом стихотворении Топелиус славил Кошута, героя венгерской революции. Видимо, в связи с тем, что в правительственном сообщении, оглашенном и в финляндских церквах, венгры назывались предателями и клятвопреступниками, Топелиус отвергал обвинения Кошута в измене, заявив, что он был «верным до конца» и за меч взялся лишь для того, чтобы «отомстить за грубейшую несправедливость». Поэт утверждал, что «солнце

---

<sup>1</sup> Мадьяр! Это солнце твоего грядущего восходит из ночного мрака. Оно согреет твою страну, обновит ее померкшее сияние. Проснись! Проснись для возмездия, с верой в победу. Если ты позволишь солнцу скрыться, не обнажив меча, и упустишь этот краткий миг, не сражаясь насмерть, то тогда померкнет светлый день, и над твоей могилой уже будут мерцать ночные звезды.



Венгрии, которое только что закатилось, взойдет опять, обновленное и прекрасное».

Эти «бунтарские» настроения Топелиуса были очень непрочными. Особенно его напугало «знамя социализма» над июньскими баррикадами в Париже. Он утверждал, что «демократия 1848 года была сама повинна в своем поражении»<sup>1</sup>. Однако, если раньше Топелиус, вслед за Рунебергом и Стенбеком, нередко искал спасения от пагубы цивилизации в патриархальной глуши, то революция во многом избавила его от этих консервативных иллюзий. Несмотря на усиление реакции и свирепую цензуру (согласно цензурному уставу 1850 года даже перевод рунеберговских «Охотников на лосей» на финский язык был запрещен), Топелиус все более осознавал неизбежность исторического прогресса. В конце 1852 года он писал: «Вот и год уже на исходе, девятнадцатое столетие движется вперед. Говорят, что оно пятится назад — по мнению одних, к 1815 году, по утверждению других, к 1804 году. Нет, это мираж! Колесница истории никогда не катится вспять. Иногда она несется под уклон, скользкий от крови, и тогда с горных вершин и высоких деревьев можно видеть, как стремителен ее бег. Временами она мучительно тащится в гору, усыпанную камнями, и тогда многие вскрикивают, что колесница движется назад. Заблуждение! Меняются окрестности, и возле дороги уже поднимаются всходы от идей, когда-то зароненных здесь. Их час пробьет, он уже пробил»<sup>2</sup>.

Хотя этот оптимизм Топелиуса был отчасти следствием того, что он недооценивал сил реакции и значения борьбы с нею, тем не менее его интерес к проблеме исторического развития оказался плодотворным. В 50-е годы Топелиус начал писать произведения исторического жанра. Самым крупным среди них являются его «Рассказы фельдшера» — первый исторический роман в финляндской литературе. В этом огромном произведении Топелиус попытался художественно воспроизвести финляндскую историю как смену эпох, каждая из которых обладает характерными ей особенностями, показать борьбу между различными общественными классами, в ходе которой постепенно ослаблялось политическое и экономическое значение феодального дворянства. В «Рассказах фельдшера» отразились настроения их автора в период общественных реформ, начавшихся в Финляндии в конце 50-х годов<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, III. Stockholm, 1918, s. 472.

<sup>2</sup> Там же, стр. 384.

<sup>3</sup> Топелиус прожил до 1896 г., основной период его творчества падает на вторую половину века и поэтому в данной работе не рассматривается.

## Глава третья

### РУССКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА

#### 1

Финляндией в 40-е годы заинтересовались представители самых различных направлений в русской литературе. О финнах по тому или иному поводу писали Белинский, Булгарин, Грот, Плетнев, Соллогуб, Сенковский, В. Ф. Одоевский, Даль, Кукольник, Дершау. Деятельность Грота в Финляндии привлекала внимание Шевырева, под руководством которого финляндские студенты изучали русский язык в Московском университете. Шевырев стремился приобщить Грота к литературной полемике и с готовностью предоставил ему страницы «Москвитянина» для статьи против Белинского. В «Москвитянине» изредка появлялись и материалы о Финляндии — например, стихотворение Ф. Миллера «Финский рыбак», стихи Рунеберга.

В своей книге «Финляндия в русской литературе»<sup>1</sup> В. Кипарский учитывает, что о финнах в России писали по-разному. В этой связи он говорит о «западниках» и славянофилах, причисляя к первым Грота, Плетнева, Соллогуба, Одоевского, но некоторые суждения автора книги нуждаются в уточнениях. Не останавливаясь на несколько упрощенном понимании им «западничества» и славянофильства в целом, коснемся лишь тех моментов, которые имеют непосредственное отношение к Финляндии.

В период николаевской реакции, пишет В. Кипарский, уменьшились возможности посещения русскими западноевропейских стран. В этих условиях своеобразной «компенсацией» явились поездки в Финляндию, куда в летнее время устремлялось довольно много русских, прежде всего из Петербурга. Русские литераторы, особенно из числа «западников», были приятно удивлены тем, что в Финляндии, которую они представляли себе страной бедных рыбаков, можно было встретить евро-

<sup>1</sup> V. Kiparsky. Suomi Venäjän kirjallisuudessa. 2. painos. Helsinki, 1945.



пейски образованных людей, выдающихся писателей и ученых. Гости, разумеется, заметили вскоре, что культура высших слоев финляндского общества была шведоязычной, а истинно финская культура, как отмечает В. Кипарский, оставалась иной, не вполне «западной», но и не примитивной, «оссиано-скандинавской», как это казалось еще Батюшкову. Общаясь с финляндскими литераторами, Грот, Плетнев, Соллогуб, Одоевский прониклись чувством восхищения и уважения к этой стране. Но все, что они писали о ней, не имело большого влияния в России. В. Кипарский объясняет это двумя причинами. Во-первых, никто из названных русских литераторов не обладал достаточно крупным талантом; во-вторых, «западникам» противостояли славянофилы и сторонники «официальной народности», идеализировавшие патриархально-крестьянский быт и самодержавно-крепостнический строй, оправдывавшие русификаторскую политику царизма по отношению к многочисленным национальностям России, в том числе к финнам.

Но думается, что дело обстояло сложнее. Из книги В. Кипарского может сложиться впечатление, что идеология славянофилов не имела ничего общего с некоторыми настроениями в самой Финляндии и что как финляндские писатели, так и их русские друзья, воспринимали Финляндию преимущественно как «западную» страну. Между тем и в Финляндии, и в России были литераторы, в сближении которых существенную роль играли взгляды, имеющие общие точки соприкосновения со славянофильством: идеализация патриархально-крестьянского уклада и отсталых сторон народного мировоззрения, неприятие буржуазных форм жизни и противопоставление им «исконно» русского или финского путей исторического развития. Более того, даже в выступлениях тех русских литераторов, которых В. Кипарский называет «западниками» (например, Соллогуба), нередко на первый план выдвигалась социально-историческая антитеза России и буржуазного Запада, имевшая также свой финляндский вариант. Финляндия изображалась чуть ли не единственным уголком Европы, где люди не знали европейской «порчи», где процветала «незаинтересованная» поэзия, чуждавшаяся злободневных вопросов.

Нельзя игнорировать этих консервативных моментов в русско-финляндских литературных связях 40-х годов, как нельзя видеть в них и главного итога взаимного культурного сближения.

Прежде всего следует учитывать, что и в России и в Финляндии этим консервативным тенденциям, сказавшимся и на русско-финляндских литературных отношениях, противостояли иные идейно-литературные направления. В книге В. Кипарского совершенно не упоминается о Белинском и революционно-демократической идеологии в России, не говорится и о литературно-

публицистической деятельности Снельмана в Финляндии. Между тем, именно Белинский первый выступил против того, чтобы русско-финляндское культурное сближение развивалось в духе консервативных верований, в стороне от передовых идей времени.

Постепенно «финляндская тема» стала одним из аспектов идейно-литературной борьбы в русской журналистике. А в Финляндии ревниво следили за всем тем, что писалось о ней в России. Финнам приходилось выслушивать не только похвалы, но и упреки, и тогда перед финляндскими литераторами различных убеждений остро встал вопрос, кто в России им друг и кто недруг. Вопрос этот был не прост, если учесть, что в самой Финляндии размежевание идейных направлений в 40-е годы еще не вполне четко обозначилось, хотя этот процесс уже протекал, порождая идейно-литературные явления, имеющие много общего с русской жизнью того периода. Некоторые финнофилы не так уж далеко отстояли от славянофилов, чем отчасти и объяснялась возможность того духовного союза между ними, с критикой которого выступил Белинский.

В 40-е годы в Финляндии еще не сумели с достаточной ясностью разобраться в литературных направлениях в России, но вопрос этот уже был поставлен, он беспокоил умы, и постепенно открывалась та истина, что русская литература не одна, что в ней есть разные «партии», из которых сами финляндские литераторы могли избрать себе родственника по душе.

Довольно шумный спор возник на страницах финляндских газет в начале 40-х годов по поводу Булгарина. Важен был здесь, конечно, не сам Булгарин, а то, в какой мере споры о нем способствовали распространению в Финляндии более правильных сведений о русской литературе. Для самого Булгарина полемика имела лишь негативное значение, совершенно уронив его в глазах финляндских читателей.

Имя Булгарина стало известно в Финляндии по шведским переводам. Еще в 1830 году в Стокгольме появился «Иван Выжигин», а в 1838 году — «Дмитрий Самозванец»<sup>1</sup>. Переводы эти имели хождение также среди финляндских читателей. Булгарин интересовал финнов особенно потому, что он писал о Финляндии. Участник русско-шведской войны 1808—1809 годов, Булгарин не упускал случая напомнить о давности своего знаком-

<sup>1</sup> Шведский славист А. Енсен в статье о переводах Пушкина на шведский язык (Alfred Jensen. Puškin in der schwedischen Literatur. В сборнике: Jagic — Festschrift, Berlin, 1908, S. 71—80) высказывает предположение, что «Дмитрия Самозванца» Булгарина перевел О. Мерман, известный своими переводами Марлинского, Пушкина, Лермонтова; но Енсен, видимо, не учитывает того, что сам Булгарин называет переводчиком «Дмитрия Самозванца» некоего Бара (Jean Frederic Bahr), с которым имел встречу в Стокгольме. — См. Ф. Булгарин. Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году. Ч. I, СПб., 1839, стр. 273.



ства с этим краем, где бывал и впоследствии. Летом 1838 года он совершил поездку в Финляндию и Швецию, и в «Северной пчеле» печатались его путевые заметки, вышедшие затем отдельной книгой. В легковесной и полуразвязной манере Булгарин описывал все, что ему попадалось на глаза, особенно напирая на верноподданнические чувства финляндцев, а там где эти чувства были, с точки зрения автора, выражены недостаточно, как, например, среди лифляндской молодежи (Булгарин совершил свое путешествие в Финляндию через Ригу), вина за это возлагалась на «красноречивые бредни» Руссо, вредное влияние которого сочинитель предлагал искоренить строгостью воспитания. Увидев, что во время бала в Гельсингфорсе члены дворянских фамилий и даже сенаторы не гнушались танцевать в смешанном обществе, Булгарин тут же заключил из этого, что в Финляндии господствовало «братское сочувствие» между условиями. В то же время в книге осуждались антиправительственные волнения 1838 года в Швеции.

По ходу изложения автор иногда в лестных выражениях вспоминал «своего друга» и компаньона по «Северной пчеле» Греча, однако не скупился и на похвалы самому себе, настойчиво подчеркивая свою литературную известность в самых дальних уголках империи. Что Булгарин мнил себя чуть ли не крупнейшим русским писателем, это было, разумеется, лишь проявлением безмерного самодовольства со стороны человека, чье творчество, по определению Белинского, представляло собой «факт заднего двора российской словесности»<sup>1</sup>. Но вместе с тем, как отмечал тот же Белинский, у Булгарина был свой круг читателей, притом немалый, на что обратили внимание и финны. Грот, например, следующим образом передает наблюдения М. Кастрена, много путешествовавшего по Сибири: «Кастрен рассказывал, что везде, где б он ни был, даже у самоедов, в Обдорске и Березове, самый известный писатель — Булгарин. «Северная пчела» всюду. Сочинения его совершенно изодраны от чтения, поля испещрены отметками против мест, которые особенно нравятся, эти места знают наизусть. Наблюдения эти Кастрен сделал особенно над священниками, которые в Булгарине хвалят особенно легкость и то, что он «пишет что ни попало»<sup>2</sup>.

У Булгарина нашлись почитатели и в Финляндии. Некоторые газеты стали в конце 30-х годов печатать переводы из него. Два рассказа о русско-шведской войне 1808—1809 годов появились в газете «Васа Тиднинг»<sup>3</sup>. В том же 1839 году в шести номерах

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 21.

<sup>2</sup> Переписка, т. II., стр. 252.

<sup>3</sup> Lopatinskys död. Af Bulgarin. — Vasa Tidning, 1839, N 4. Ryska härens tåg öfver Qvarken 1809. Af Bulgarin. — Vasa Tidning, 1839, NN 9, 10.

газеты «Гельсингфорс Тиднинггар» печатались отрывки из «Летней прогулки по Финляндии и Швеции в 1838 году»<sup>1</sup>. Переводчик был довольно высокого мнения о Булгарине, о чем можно судить по тому примечанию, которым снабжен в «Гельсингфорс Тиднинггаре» перепечатанный из «Северной пчелы» болгаринский фельетон «Встреча Нового года с прошлым»<sup>2</sup>. Переводчик, правда, указывал, что Булгарин не получил систематического образования, что его взгляды не имели прочной «философской основы» (чем Булгарин был весьма обижен и при случае не замедлил выступить с опровержением в «Северной пчеле»). В примечании отмечалось, что Булгарин писал очень много, и хотя в его сочинениях часто искажались факты и высказывались ложные суждения, тем не менее они, как утверждал переводчик, были отмечены «печатью гения». Литературные вкусы финляндского критика и его мнение о русской литературе не отличались новизной. Перечисляя современных «корифеев» русской словесности, которая, по его словам, развивалась «гигантскими шагами», он называл имена Греча, Сенковского, Булгарина, Полевого, но даже не обмолвился о Пушкине, в ту пору уже известном в Финляндии.

Литературная репутация Булгарина среди финнов оказалась, однако, непрочной. Уже в 1839 году газета «Борго Тиднинг» выступила с полемической статьей<sup>3</sup> по поводу переводов Булгарина в других финляндских газетах. Статья называлась «Булгарин и история войны в Финляндии». Она принадлежала перу Эмана, издателя газеты. Этой статьей, насколько нам известно, и началась полемика вокруг Булгарина. Эман уличал его в фактических неточностях и неверном, с точки зрения критика, освещении событий последней русско-шведской войны. Эман уже в то время был знаком с Гротом, который и подал ему идею выступить с критикой Булгарина.

В январе 1840 года статья против Булгарина появилась в «Гельсингфорс Тиднинггаре»<sup>4</sup>, той самой газете, которая незадолго до того напечатала отрывки из болгаринской «Летней прогулки». Теперь редакция уже иначе судила об авторе, объясняя это тем, что отрывки были взяты из «Северной пчелы», когда «Прогулка» еще не вышла отдельной книгой, и потому о ней в целом нельзя было составить правильного мнения. Вынося приговор книге, редакция теперь писала, что «на каждой странице автор обнаруживает недостаток настоящей учености, острого критического чутья, здравого смысла и сдержанности в

<sup>1</sup> Sommar-promenader i Finland och Sverige, af T. Bulgarin, år 1838. — Helsingfors Tidningar, 1839, NN 5—10.

<sup>2</sup> Det nya årets möte med det gamla. Af T. Bulgarin. — Helsingfors Tidningar, 1839, N 16.

<sup>3</sup> Bulgarin och finska krigshistorien. — Borgå Tidning, 1839, NN 34, 37, 39.

<sup>4</sup> Något om Bulgarins Sommar-promenader i Finland och Sverige. — Helsingfors Tidningar, 1840, NN 2—5.



своих суждениях, слишком опрометчивых и несправедливых, поверхностных и бездоказательных. Газета усматривала основной порок книги в том, что ее автор на основе случайных наблюдений судил о всей стране, о целом народе, о котором не имел понятия.

Хотя в упомянутой статье и не говорилось прямо о политическом облике Булгарина, однако сам он воспринял ее именно как вызов своим политическим убеждениям. «Северная пчела» ответила статьей «Хвалить столь же опасно, как и порицать. (Письмо из Финляндии к автору книги: Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году)»<sup>1</sup>. Трудно сказать, действительно ли эту статью написал финляндский корреспондент «Северной пчелы» или же она принадлежит самому Булгарину. Отметим, что в ту пору в «Северной пчеле» сотрудничал Ф. Дершау, помещавший в ней свои статьи о Финляндии. Он хорошо знал шведский язык и финляндские дела, потому что долго жил в этом крае, где его отец был комендантом крепости в Або. Впоследствии Дершау поссорился с Булгариным и неоднократно полемизировал с ним на страницах «Финского вестника». Но не исключено, что в период их относительно мирного сотрудничества Дершау, следивший за финляндской печатью, информировал Булгарина о статьях против него. Возможно, что он даже переводил их, а сам Булгарин уже писал ответную статью в форме «письма из Финляндии».

Разъясняя причину неудовольствия финнов книгой Булгарина о Финляндии и Швеции, его «финляндский корреспондент» недвусмысленно выдвигал на первый план не фактические ошибки, выискиванием которых увлекались финляндские газеты, а мотивы идеологического характера. «Северная пчела» подчеркивала, что ее оппоненты не разделяли политических симпатий и антипатий Булгарина, о которых «корреспондент» говорил, например, следующее: «В описании пребывания вашего в Швеции вы хвалили нынешнего короля и исчислили все его благодеяния для страны; вы объявили себя приверженцем Густава III, противника демократии».

Летом 1838 года, во время своей поездки в Швецию, Булгарин стал очевидцем политических волнений в Стокгольме, получивших презрительное название движения «рабулистов» («подстрекателей»). В своей книге Булгарин осудил это оппозиционное движение и теперь полагал, что это также явилось причиной раздражения против него. Его «финляндский корреспондент» писал: «Наконец, говоря о беспорядках, бывших в Стокгольме во время вашего там пребывания, вы напали на тех адвокатов, которые, оставив свое ремесло и пускаясь в политику, были везде первою причиною неустойств и переворотов». Бул-

<sup>1</sup> «Северная пчела», 1840, № 92.

гарин считал свою благонамеренность заслугой, но финнам, как он теперь подозревал, она пришлась не по вкусу.

В июле 1840 года торжественно отмечался двухсотлетний юбилей Гельсингфорского (Александровского) университета. В финляндскую столицу съехалось много гостей из русских городов. В Гельсингфорсе был в то время и Булгарин. В «Северной пчеле», в нескольких номерах, появились его «Путевые заметки и впечатления», выдержанные в сугубо официозном духе. Булгарин всячески превозносил «отеческую» опеку самодержавия над финнами. Еще раньше «Северная пчела» утверждала, что заботами правительства просвещение в Финляндии «возвышается наравне с народным благоденствием»<sup>1</sup>. Теперь же Булгарин писал о юбилее университета, что «благодарное внимание отца отечества к сему общенародному торжеству возвысило его и придало ему какой-то религиозно-патриотический характер»<sup>2</sup>.

Во время юбилея состоялась встреча финляндских и русских литераторов, было решено выпустить совместный литературный альманах, который затем и вышел в 1842 году на русском и шведском языках. От всех этих дел Булгарин оказался отстраненным: ни финны, ни присутствовавшие на юбилее русские литераторы (Грот, Плетнев, Одоевский, Соллогуб, Максимович) не приняли его в свой круг. Булгарин отомстил за обиду в «Путевых заметках». Описывая свой проезд через Борго, где жил Рунеберг, Булгарин добавлял, явно метя в своих обидчиков: «Я видел его в Гельсингфорсе, но не имел случая с ним познакомиться, потому что он попал в круг людей, выдававших себя за великих русских писателей перед теми, которые вовсе не знают по-русски»<sup>3</sup>.

Этот иронический выпад привел в негодование Грота и Плетнева. Их раздражал, кроме всего прочего, бесцеремонно-фамильярный тон Булгарина, его потуги изобразить себя не только знатоком, но и другом Финляндии. Когда в том же 213-м номере «Северной пчелы» Булгарин, перепутав даже имена затронутых лиц, распространялся о познаниях финляндского духовенства в языке и литературе «общего нашего отечества», Плетнев с горячностью писал по этому поводу Гроту: «Право, это стоит, чтобы растеребить по ниточке и доказать финляндцам по пальчикам, что это за автор, старающийся оботечествениться у них»<sup>4</sup>.

Заметки Булгарина об университетском юбилее дали новый повод для выступлений финляндских газет. Видимо, не без влияния Грота Сигнеус напечатал в «Гельсингфорс Моргонбладе»

<sup>1</sup> «Северная пчела», 1840, № 8.

<sup>2</sup> Там же, № 162.

<sup>3</sup> Там же, № 213.

<sup>4</sup> Переписка, т. I, стр. 66.



статью «О мистификациях г. Булгарина», которая отличалась ироническим тоном, хотя содержала мало конкретных упреков.

Грот и Плетнев стремились всеми способами разъяснить финнам, кто такой Булгарин и каково его место в русской литературе. Здесь пригодились и пушкинские эпиграммы о Булгарине, которые Грот читал в дружеском кругу финляндским литераторам. Сообщая об этом Плетневу в письме от 3 октября 1840 года, Грот добавлял о Булгарине: «Если б он слышал, как финляндцы, друзья, отделявают его»<sup>1</sup>. В том же письме Грот упомянул, что направил Эману номер «Северной пчелы» с болгаринским выпадом против «великих русских писателей», а в письме от 17 октября 1840 года уже с удовлетворением спешил сообщить Плетневу, что наконец-таки в «Борго Тиднинге» против Булгарина появилась «убийственная статья». Она принадлежала перу Эмана, редактора газеты, и называлась «Нечто о Булгарине как писателе»<sup>2</sup>. Эман писал: «Мы часто думали над тем, чтобы хоть сколько-нибудь познакомить финскую публику с русской литературой, но увы! наше намерение до сих пор остается невыполненным из-за отсутствия времени и помощи. Булгарин чуть ли не единственный русский писатель, о котором широкая публика в Финляндии кое-что знает; но полагать, что он занимает какое-то особо почетное место в русской литературе, было бы в высшей степени неверно». Далее автор статьи пытался объяснить причину временной известности Булгарина: «Талегкость, с которой он описывает случаи, пережитые им самим, обусловила популярность его «Ивана Выжигина». Однако вскоре выяснилось, что это сочинение представляет собой не картину русских нравов и русского уклада жизни, как он сам на то претендует, а пасквиль на русский народ, изображающий лишь людей развратных или полудиках, картежников, воров, доносчиков...»

Нечто подобное высказал о «Выжигине» и Рунеберг. В письме от 2 января 1841 года Грот сообщал Плетневу: «Рунеберг в старые годы читал Выжигина в переводе и судит об нем очень справедливо. Это, — говорит он, — род исчисления всяких мерзостей, не проникнутого ни искоркою поэзии и приданного лицам, не отличенным ни малейшею индивидуальностью. Это полная клевета на своих соотечественников»<sup>3</sup>. Плетнев пришел в восторг от такой оценки, заявив, что Рунеберг «в высшей степени одарен эстетическим чувством и, кажется, более, нежели все факультеты Александровского университета... Но ничто меня так не поразило, как точность в его отзыве о романе Булгарина, этого олицетворенного Выжигина, этого оскототворен-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 78.

<sup>2</sup> Något om Bulgarin såsom skriftställare. — Borgå Tidning, 1840, N 82.

<sup>3</sup> Переписка, т. I, стр. 193.

ного Чайльд-Гарольда. Все мы давно чувствовали, что семейство Выжигиных (т. е. отец Фаддей и его дети) — дрянь. Но никто не умел из нас в коротких словах определить со всею истиною, чего недостает Булгарину. Рунеберг это выразил так легко и ясно, как будто сделал из арифметики задачу на сложение»<sup>1</sup>.

В Финляндии стали говорить, что Булгарин своими выступлениями о ней приносил вред русско-финляндским литературным отношениям. Упомянув о выпаде «Северной пчелы» против «великих» русских писателей, тесным кольцом окружавших Рунеберга, Эман в статье «Нечто о Булгарине как писателе» заявлял: «Мы совершенно уверены, что ни один финн не дал Булгарину повода для такого выпада, и надеемся, что ни это оскорбление, ни подобные ему в будущем не смогут разорвать связей между русскими и финскими литераторами, установившихся при столь счастливых обстоятельствах. И если кто-нибудь сумел бы удержать г. Булгарина от его писаний о Финляндии, он тем самым оказал бы услугу и русским и финнам»<sup>2</sup>.

Но в Финляндии раздавались голоса и в защиту Булгарина. В ноябре 1840 года в газете «Гельсингфорс Тиднинггар» появились две анонимные статьи, очень резкие по тону, в которых Булгарин расценивался как друг Финляндии, незаслуженно оклеветанный финляндской прессой. Автор первой из статей — «О вандализме в критике Булгарина»<sup>3</sup>, полагал, что финны должны бы быть только благодарны «Северной пчеле» за то, что она так часто писала о них. В русской литературе Булгарин, по словам автора, был «первым или по крайней мере одним из первых, кто представил русской публике финляндские условия в их истинном свете». Правда, он иногда допускал ошибки и неточности, но кто не делал этого, описывая чужую страну? В целом же выступления Булгарина о Финляндии, писал автор статьи, «предвещали приближение той поры, когда рассеется туман национальных предрассудков» и когда финны и русские проникнутся доверием друг к другу. Однако эта русско-финляндская дружба в статье истолковывалась в самодержавно-верноподданническом духе. Автор хвалил Булгарина за то, что он правдиво изобразил «главнейшие черты финского национального характера: простоту нравов, любовь к наукам, уважение к закону и необычайную преданность монарху».

Статья не обнаруживала в ее авторе глубоких познаний в современной русской литературе. В России, по его словам, были две взаимно враждебные литературные «партии»: «грамматическая» и «орфографическая» — возможно, что автор имел

<sup>1</sup> Там же, стр. 201.

<sup>2</sup> Borgå Tidning, 1840, N 82.

<sup>3</sup> Om vandalism i Bulgarin-kritik. — Helsingfors Tidningar, 1840, N 87.



в виду борьбу карамзинистов с шишковистами. Булгарин, как утверждалось в статье, является поборником одной из них (неизвестно, какой именно), и потому его писания становились предметом партийных распрей. Но финны, как подчеркивал автор статьи, должны были оставаться в стороне от литературной борьбы в России, соблюдая строгий «нейтралитет». Poleмика финляндских газет против Булгарина рассматривалась в статье как грубое нарушение литературной этики, могущее принести вред интересам Финляндии.

Другая статья в защиту Булгарина<sup>1</sup> была опубликована непосредственно по поводу выступления Эмана, утверждавшего, что «Иван Выжигин» представляет собой не картину русских нравов, а «пасквиль на русский народ». Оппонент Эмана в свою очередь доказывал, что Булгарин и не ставил перед собой цели дать всестороннюю картину русской жизни. Его роман — это сатира «на те неполадки, которые кое-где встречаются в России, заслуживая того, чтобы стать объектом сатирического обличения». В этом отстаивании сатиры как художественного жанра было свое рациональное зерно, если учесть, что в тогдашней финляндской литературе господствовало патриархально-идиллическое направление.

Но собственные литературные взгляды Булгарина, его «сатирические обличения» были слишком банальны, чтобы затрагивать насуточно важные стороны русской жизни.

Следует оговорить, что некоторые из финляндских оппонентов Булгарина — например, тот же Эман — не были людьми особо прогрессивных социально-политических и литературных убеждений. Через несколько лет, когда «Сайма» Снельмана начала ратовать за критическое направление в финляндской литературе, ее голос вызвал бурю негодования со стороны других газет, причем особенно усердствовала в полемике против Снельмана «Гельсингфорс Тиднинггар», равно как и «Борго Тиднинггар». Малейшая попытка критики финляндской жизни встречалась как неуважение национальных традиций. Это относилось и к отзывам русских литераторов о Финляндии. Булгарина финляндские газеты подчас осуждали не столько за реакционный, реп-тильно-официозный дух его писаний, сколько за то, что он недостаточно лестно отзывался о финнах, допуская к тому же фактические неточности. «Северная пчела», например, упомянула об узких улочках Борго, и хотя это замечание, видимо, не было слишком далеким от истины, но «Борго Тиднинггар» не преминула высказать свою обиду на Булгарина. Столь болезненная реакция финляндских газет на малейшие замечания обратила на себя внимание Грота, тем более, что подчас она касалась его самого.

---

<sup>1</sup> Också några ord om Bulgarin såsom författare. — Helsingfors Tidningar, 1840, N 88.

Грот готов был гласно вмешаться в споры о Булгарине. 4 ноября 1840 года он писал А. О. Ишимовой: «Наконец, и я решился положить гирьку на правую весовую чашку и написал статью, разумеется, не полемическую, а только излагающую спокойно и без едкостей настоящее положение дела. В ней не упоминается ничего имени и только говорится о вещах, причем употреблены и любимые идеи Петра Александровича (Плетнева. — Э. К.), что о дурных писателях вовсе не нужно распространяться и чтобы стараться дать финляндцам истинное понятие о русской литературе и русских. Что я сочинитель этой статьи — останется тайной, если (что, впрочем, трудно) сами не догадаются. Я сперва написал ее по-русски, а теперь сам перевожу по-шведски»<sup>1</sup>.

Грот и Плетнев опасались, что затянувшаяся полемика финляндских газет по поводу Булгарина принесет ему еще более широкую известность среди финнов, а скандальный характер этой известности мог создать у них неблагоприятное впечатление о всей русской литературе. Это опасение высказывалось Плетневым, оно заметно и в том кратком плане предполагаемой статьи, который Грот изложил в письме к Плетневу от 5 ноября 1840 года. «Всегда и везде, — гласил этот план, — было два рода писателей: характеристика хороших-истинных, характеристика самозванцев-надувал; естественная борьба между теми и другими; эта противоположность существует и в русской литературе, причем последний разряд подразделяется на множество ветвей, ибо в царстве лжи свирепствуют междоусобия. Не то ли и в Финляндии? Вообще здесь писатели добросовестные — публику трудно надуть. Но не мог ли обмануть ее заморский наездник? Отвечали бы решительным отрицанием, если бы не последняя война (т.е. споры о Булгарине. — Э. К.). Между одномыслящими повсюду родство, но не ему надо приписать это странное явление, ибо, очевидно, судили без знания дела; чему же? не наше дело. Это пятно для финской журналистики; однако ж дело имеет и полезную сторону — начало знакомства с русскою литературою. Если финляндцы хотят заниматься ею, то пусть обратят внимание на ее светлую сторону, вот чем докажут благодарность хвалителям ее. Стыдно, что финляндцы еще не знают России, когда ее уже изучают немцы. Ссылка на немецкие статьи о русской литературе. — Шведы, финны, русские должны составлять в литературе только один народ». Здесь же Грот сообщал, что Эман, редактор «Борго Тиднинга», в письме благодарил «за совет прекратить полемику» и просил на будущий год помощи Грота «для распространения сведений о русской литературе»<sup>2</sup>. Через некоторое время Грот уже упо-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 123.

<sup>2</sup> Там же, стр. 124—125.



минал, что работает над несколькими статьями о русской литературе на шведском языке. «Между прочим, написал одну комическую. Вечером пришел Цигнеус, а я ему читал написанное, а когда он ушел — Грипенбергу. Получил одобрение обоих; в языке не было ни одной значительной ошибки, и дух его схвачен, говорили они, очень верно. Теперь я смелее буду, в случае надобности, писать по-шведски. Употреблением статей своих в дело я приостановился: комическая немного едка, а серьезная всегда будет к стати»<sup>1</sup>.

Нам неизвестно, были ли статьи Грота напечатаны в Финляндии. Скорее всего, нет. В архивах Грота, однако, сохранилась черновая рукопись на шведском языке (последние восемь строк написаны по-русски), которая, видимо, представляет собой один из вариантов предполагавшейся «серьезной» статьи. Рукопись озаглавлена, в переводе на русский язык: «Нечто по поводу последнего спора финляндских газет»<sup>2</sup>. Приведем из нее наиболее интересные выдержки. Некоторые из появившихся в финляндских газетах статей по поводу Булгарина, писал Грот, «убедительнейшим образом свидетельствуют о том, что Россия и русская литература для финнов покрыты мраком ночи и являются для них terra incognita, равно как и Финляндия для большинства русских. Между тем некоторые русские литераторы уже начали обращать на Финляндию внимание своих соотечественников. Как следствие этого, что же можно было ожидать со стороны финских литераторов? Что они ответят доброжелательностью на доброжелательность и, приковав свое внимание к русским условиям, будут стараться распространять более справедливые сведения. Увы! вместо того, чтобы с беспристрастием находить достоверные данные о русских авторах, составляющих славу русской литературы, и по их сочинениям изучать современное положение этого народа, довольствуются тем, что выхватывают случайное имя и, не исследовав причины его известности, выдвигают в качестве единственного критерия при оценке автора лишь то, насколько он похвалил Финляндию. Надобно, однако, признать, что это обстоятельство довольно-таки безразлично для здравой критики. . .» Отметив, что финляндские газеты обратили внимание на «теневую сторону» русской литературы, Грот продолжал: «Но нет худа без добра, и упомянутая полемика нашла оправдание в себе самой. Она впервые показала многим читателям, что в русской литературе есть два совершенно различных и взаимно враждебных класса писателей». «Мы, таким образом, считаем эту полемику хмурым рассветом, за которым последует прекрасный день. Да, пора уже развеять ста-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 135.

<sup>2</sup> Något i anledning af de finska tidningarnas sista strid. — Архив АН СССР, ф. 137, оп. I, д. 41, лл. 1—2.

рые предрассудки, окутавшие Россию! (Дальше в оригинале по-русски. — Э. К.) Не показывает ли она сама пример такого освобожд[ения] от предрас[судков] на счет других народов? Не русские ли с любовью изуч[ают] иностр[анные] лит[ературы] и беспристрастно призн[ают] все прекрас[ное], что находят у других народов? После того и они, кажется, вправе требовать такого же беспристрастия и в отношении к себе! Не безусловной похвалы требуют они у других народов; одною хвалою никто не купит их уважения».

Грот все же нашел, видимо, неудобным для себя выступать с такой статьей в финляндской газете, опасаясь, что это будет воспринято не как дружеский совет, а как выполнение служебного долга университетским профессором русской словесности. Обязательное преподавание русского языка в университете было и без того связано с личными неприятностями для Грота, обострившими его взаимоотношения с частью студенчества. Он, по всей вероятности, счел за лучшее порекомендовать финнам переводную статью с немецкого. В цитированном выше письме к Ишимовой Грот упоминает найденную им в лейпцигском журнале «превосходную статью о русской литературе, написанную, по-видимому, с рассказа какого-нибудь москвича»<sup>1</sup>. В начале марта 1841 года в газете «Гельсингфорс Моргонبلاد» была как раз напечатана переводная статья с немецкого — «Русская литература и ее современные направления»<sup>2</sup>. В ней содержались резкие суждения о Булгарине и сочувственный отзыв о «Современнике», а в редакционном вступлении особо отмечались осведомленность и беспристрастность автора. В апреле 1845 года в «Гельсингфорс Моргонблде» появилась еще одна переводная статья с немецкого — «Русская литература 1844 года»<sup>3</sup>. Здесь уже с относительно большей обстоятельностью перечислялись литературные направления в России. Одно из них возглавлялось «Отечественными записками» и, по словам автора статьи, объединяло в себе приверженцев «французской философии». Сторонники второго направления во главе с «Сыном отечества» и «Русским вестником» придерживались «несколько устаревших взглядов» и защищали существующее положение вещей. Журнал «Маяк» представлял, согласно статье, «ультрапатриотическое или панславистское» направление, а «Москвитянин» — «доктринерское». Статья эта не отличалась особой глубиной, но по сравнению с тем, что финны читали раньше о русской литературе, она была уже «более удовлетворительной», как писал Грот в «Литературных новостях

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 123.

<sup>2</sup> Ryska litteraturen och dess närvarande riktningar. — Helsingfors Morgonblad, 1841, NN 17—19.

<sup>3</sup> Rysslands litteratur 1844. — Helsingfors Morgonblad, 1845, NN 26—27.



из Финляндии», печатавшихся в 1841 году в «Современнике». Из нее можно было все же получить кое-какое представление о литературных направлениях в России в период обострявшейся общественной борьбы. В качестве «Аристарха» русской критики в статье фигурировал Краевский, хотя, как известно, критическим отделом в его журнале ведал Белинский, имя которого в финляндской газете не упоминалось. Критик «Отечественных записок», как говорилось в статье, «не миловал даже таких величин в русской литературе, как Державин, Карамзин, Жуковский. Между ним и гг. Гречем и Булгариным уже давно ведется ожесточенная перепалка, в которой последние, кажется, терпят поражение».

Грот старался поддержать престиж «Современника» в Финляндии и всемерно пропагандировал его среди своих знакомых. Плетнев регулярно высылал в Гельсингфорс экземпляры журнала для передачи финляндским литераторам, а Грот в одном из писем с радостью сообщал: «Каков Эман! Сам, на счет гимназии, выписал «Современник», чтобы из каждого № делать (статью за статью) краткое извлечение для своей газеты... Я у него был и с удивлением нашел «Современник» на его столе. Первое извлечение уже печатается»<sup>1</sup>.

Извлечения эти делались обычно из статей Грота в качестве примера, как литераторов Финляндии оценивали в России. Когда в финляндских газетах помещались сведения о русских журналах, то «Современнику» отводилось особое место, о нем говорилось подробнее. Например, «Борго Тиднинг» писала в марте 1841 года о «Современнике», что этот журнал «содержит периодические обзоры русской литературы за текущий год, исторические и этнографические статьи... Часто помещаются повести талантливого Основьяненко, а также стихи Жуковского, Баратынского, Бенедиктова и других авторов, известных и у нас»<sup>2</sup>. Затем говорилось о финляндских статьях Грота.

В полемике финляндских газет по поводу Булгарина Грот во многом повлиял на ее направление посредством дружеских советов в частных беседах с финляндскими литераторами. Эта полемика была одной из первых попыток финнов разобраться в современных явлениях русской литературы и определить к ним свое отношение. В результате споров пошатнулись ложные авторитеты. Если раньше Булгарин пользовался в Финляндии репутацией чуть ли не «гениального» писателя, то теперь финны поняли его одиозность и более уже к нему никогда не возвращались. Их внимание все чаще стали привлекать действительно великие представители русского художественного гения — Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 4—5.

<sup>2</sup> Borgå Tidning, 1841, N 18.

Но чем отчетливей обозначалось в русской литературе социально-критическое направление, тем меньше сочувствия к нему обнаруживали Грот и Плетнев. Понять Булгарина они помогли финнам, но в отношении натуральной школы это были уже плохие советчики, ибо сами они, прямо или косвенно, зачастую не одобряли передовых явлений в литературе. Позиция Грота и Плетнева в идейной борьбе русского общества во многом определяла также их симпатии и антипатии в вопросах финляндской литературы. Уже в начале 40-х годов некоторые совместные печатные выступления русских и финляндских литераторов насторожили Белинского, усмотревшего в них плохо скрытое раздражение против передовых идей времени.

## 2

В 1842 году Грот издал в Гельсингфорсе на русском и шведском языках «Альманах в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета».

Идея издания совместного литературного альманаха возникла во время встречи русских и финляндских литераторов на университетском юбилее 1840 года. Плетнев, который вместе с Жуковским (отсутствовавшим на юбилее) был удостоен звания почетного доктора Александровского университета, следующим образом описал в «Современнике» эту встречу: «Посреди великолепных праздников университета русские литераторы, находившиеся в Гельсингфорсе, почли за долг свой отплатить финляндским литераторам угощением, хотя скромным, но тем не менее радушным и искренним. 7(19) июля, в воскресенье, накануне промоции магистров, они, числом семь человек, пригласили на обед такое же число гостей. Само собою разумеется, что Францен, Рунеберг и Лённрот должны были своим присутствием украсить это маленькое собрание. Языки латинский, русский, немецкий, шведский, французский и даже финский звучали в небольшой зале»<sup>1</sup>. Грот прочитал сочиненное им по этому случаю стихотворение, которое начиналось строфами:

Сыны племен, когда-то враждовавших,  
Мы встретились как старые друзья  
На празднествах наук, толпы созвавших  
В гостеприимные сии края.  
И не давно ль божественные музы  
Нас подлинно сроднили меж собой?  
Привет же вам! Скрепим святые узы:  
Кто чувствами возвышен, тот нам свой.  
Здесь, на конце России исполинской,

<sup>1</sup> Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, стр. 440.



Мы руку жмем вам ныне от души,  
Вам, украшенье старой ветви финской,  
Развившей сладкие плоды в тиши.  
Меж сих плодов сияет цвет душистый:  
То песен дар, излитый в ваш народ,  
Чтоб радостней являлся брег скалистый  
И черный бор и бледный неба свод.

С этим стихотворением Грота перекликается отправленное в марте 1844 года письмо Плетнева, ректора Петербургского университета, профессору Урсину, ректору Гельсингфорсского университета, о взаимном обмене студентами. Плетнев подчеркивал, что прежде всего необходимо было «уничтожить народные предрассудки, старинную недоверчивость между нациями и соединить их общим стремлением к обрабатыванию общей истории и литературы Севера. Показывая друг к другу уважение, мы всем даем чувствовать, что понимаем друг друга и всех равно приглашаем в союз нашего братства. Таким образом, те из молодых ученых, которые от Вас являются к нам, или наоборот, должны находить при первом своем к нам появлении более готовности допустить их к общему делу и более снисхождения, нежели туземцы»<sup>1</sup>.

Задуманный русско-финляндский литературный альманах должен был «как бы служить знаменем мира», и с этой точки зрения Грот вначале считал даже неудобным включать в него откровенно полемическую статью В. Соллогуба.

Статьи Грот собирал довольно долго, затем их взаимно читали, исправляли и переводили, пока наконец альманах не вышел в следующем составе: Грот («Воспоминания Александровского университета»), Плетнев («Финляндия в русской поэзии»), Соллогуб («О литературной совестливости»), Одоевский (повесть «Необойденный дом»), Лённрот («Нынешние крестьяне в Финляндии»), Кастрен («Несколько дней в Лапландии»), Эман («О национальном характере финнов»), Рунеберг («Макбет» христианская ли трагедия?), Францен (стихотворение «Путешествие на юбилей 1840 года»).

Плетнев и Соллогуб написали свои статьи в форме дружеских посланий Сигнеусу и Рунебергу, причем Соллогуб по духу своей статьи перекликался не только с Рунебергом, но и с Эманом. Касаясь финского национального характера, Эман приходил к выводу, что в наиболее чистом виде этот характер сохранился в патриархальной крестьянской среде. Основной чертой финнов автор считал их склонность к внутреннему самоуглублению, отсутствие интереса к внешним обстоятельствам жизни,

---

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 892.

политике, широким национальным стремлениям, равнодушие к «мирской суете». Указывая на свойственный крестьянскому мышлению «консерватизм», Эман тем не менее усматривал в нем идеал истинной народности, а все те явления в жизни народа, которые не совпадали с этим идеалом, считал результатом «порчи» нравов, предосудительной aberrацией от «нормы».

Обосновывая далее эту характеристику национальных особенностей финнов, Эман ссылаясь на «Калевалу», а также на современную ему литературу, в которых видел отражение пассивной созерцательности финнов, их идиллического взгляда на мир.

Что касается статьи Рунеберга в альманахе, то она была пронизана острой неприязнью к стихийному материализму античности и к просветительской философии, причем эту неприязнь он постарался приписать и Шекспиру. «Макбет» в конечном счете оказывалась вполне «христианской трагедией». Такое сближение поэзии с религией было сочувственно встречено Соллогубом. В своей статье, обращенной к Рунебергу, который, кстати сказать, был удостоен степени доктора теологии, Соллогуб не случайно говорил: «Многие из ваших поэтов принадлежат к духовному званию. Одно это свидетельствует, что поэзия у вас чистое, безмятежное отдохновение, святыня, которая свыше нисходит к вам после благочестивых трудов ваших и озаряет путь вашей жизни не земным светильником, а божественным лучом»<sup>1</sup>.

Если Эман в своей статье изображал своих соотечественников идеальными носителями патриархальных добродетелей, то Соллогуб, всячески расхваливая эти качества финнов, вместе с тем уже открыто выступал против европейской «порчи». Ратуя за «литературную совесть» и «священное чувство народности», Соллогуб находил эти качества именно в той патриархально-идиллической поэзии, основным представителем которой в Финляндии был Рунеберг, возмущавшийся французскими «литературными республиканцами» в не меньшей степени, чем Соллогуб «письменной испорченностью» тех же французов. Творчество Лённрота, как и Рунеберга, Соллогуб противопоставлял литературам европейских стран с их «бессовестными» журналистами. Лённрот, пропагандируя народную поэзию, также не удержался от выпадов против «европейской образованности». Он явно идеализировал патриархальный уклад жизни, когда с тоской говорил о том, что «былая простота нравов и быта разрушается год от года, уступая место внешней мишуре», и что

---

<sup>1</sup> Альманах в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета. Гельсингфорс, 1842, стр. 265.



старомодные, но «добротные суконные кафтаны» все чаще сменялись «дрянными сюртуками». Но вместе с тем Лённрот — и это коренным образом отличает его от безоговорочных приверженцев патриархальности — отдавал себе отчет в том, что сопротивление историческому развитию бессмысленно. Он не хотел оказаться в числе тех, «кто, не постигнув своей эпохи, косо поглядывает на все, что не напоминает ему о былых временах». У каждой эпохи, писал Лённрот, «есть свой характер, своя жизнь, своя сущность, и былое нельзя вернуть назад, на какой бы веревке его ни тянули. Мы говорим это не для того, чтобы прославлять настоящее по сравнению с прошлым, а лишь в наидание тем, кто вечно печалится, глядя, как валится наземь старая ель, и не понимая того, что из молодого побега, если не затоптать его, может вырасти новое дерево»<sup>1</sup>. Этих мыслей не учитывали ни Соллогуб, ни Грот с Плетневым, когда они изображали Лённрота человеком по-детски простодушным и слишком наивным не только в своих привычках и по своему крестьянскому облику, но и в своих социальных раздумьях. Между тем Лённрот в статье о крестьянских поэтах, помещенной в юбилейном альманахе, не скрывал того, что народная поэзия содержала в себе социальную сатиру, чего никак не хотел признать, например, Рунеберг с его проповедью религиозного отречения. Во всяком случае Белинский в своей рецензии на альманах назвал статью Лённрота «прелюбопытнейшей статьей», в то время как о статье Рунеберга отозвался отрицательно.

### 3

Белинский внимательно следил за всем, что печаталось в России о финнах. Ему были известны, в частности, и болгаринская «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году», и книга Дершау «Финляндия и финляндцы». Сравнивая эти два сочинения, Белинский писал, что последнее из них гораздо более достойно «уважения, нежели те «прогулки» в Финляндию или куда-нибудь, которые, при видимом расчете на карманы простодушных читателей, еще возводят небылицы, — да еще какие! — на добрых финляндцев»<sup>2</sup>.

В своих обозрениях журнальной литературы Белинский касался также финляндско-скандинавских материалов Грота в плетневском «Современнике», причем его прежде всего инте-

<sup>1</sup> Kanteletar. Helsinki, 1942, s. XXXIII.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 236.

ресовала их фактическая сторона. Однако Белинский не мог согласиться с той тенденцией, которая обозначалась в пропаганде финляндской и скандинавской литературы в России.

Особенно резкие возражения со стороны Белинского вызвала упомянутая статья Соллогуба «О литературной совестливости», причем критик высказал в этой связи ряд удивительно верных мыслей о тех явлениях в финской литературе, которые стали ему известны. Уже в рецензии на юбилейный альманах Белинский отверг попытку Соллогуба противопоставить финляндских литераторов как носителей «истинной» народности писателям других, более развитых стран, особенно Франции. «И как сравнить Париж с Або?» — спрашивал Белинский, имея в виду патриархальную отсталость тогдашней Финляндии, несовместимую с бурной историей французов. Образно называя Финляндию маленьким ручейком, Белинский писал, что в этом «ручейке нет подводных камней, на нем не бывает бурь и ураганов, — плыви себе, ничего не бойся, ничем не соблазняйся, созерцая бедную, но величавую природу и погружаясь во внутрь святилища души своей. . . Париж — море, океан; но там-то и слава смелому пловцу, презирающему и ярость волн, и губительную твердость подводных камней. А такие отважные пловцы только и бывают, что на больших морях»<sup>1</sup>.

Все это во многом сходно с тем, что высказывали в 40-е годы некоторые передовые люди Финляндии. «Мы не можем не высказать нашего мнения, — указывал в 1847 году П. Ханникайнен, — что главное препятствие, мешающее развитию отечественной повести, таится в нашей национально-общественной жизни». Конечно, продолжал Ханникайнен, «в настоящее время у нас могут быть Рунеберг и прочие поэты, поющие о восходе солнца, о весне, зиме и осени, о снегах и льдах, о любви и печали, о синеоких девах. . . но у нас невозможен поэт, который бы создал нечто равное «Акселю и Вальборгу», «Марии Стюарт», «Валленштейну» и проч. Подобные творения могут появиться только там, где есть высшая политическая и национально-общественная жизнь, а ее-то нам и не хватает»<sup>2</sup>.

Еще определеннее писал об этом Снельман, который в первом же номере «Саймы» (1844) выдвинул полемически заостренный тезис, гласивший, что в Финляндии не было еще национальной литературы, — и это заставляет нас вспомнить о подобном же тезисе отрицания в «Литературных мечтаниях» Белинского.

Как известно, в общественно-литературной борьбе сороковых годов Белинский принадлежал к иному лагерю, чем Грот, Плетнев, Соллогуб. Следует, однако, заметить, что Грот и Плетнев

<sup>1</sup> Там же, стр. 113.

<sup>2</sup> Suomen kansalliskirjallisuus, XII. Helsinki, 1933, s. 332.



не всегда сходились в своих оценках Белинского и возглавляемого им направления в русской литературе. Более последовательным противником этого направления был Плетнев, хотя на первых порах, до начала сороковых годов, и он еще не усматривал в статьях Белинского ничего особо предосудительного. Но затем в его отзывах появилась уже открытая неприязнь к критику, и Грот, не во всем склонный следовать примеру друга, писал ему: «О Белинском ты прежде не то говорил, что теперь; значит, что о нем могут быть противные мнения»<sup>1</sup>.

Обнажение пороков общества казалось Плетневу предосудительным копаньем в «мерзостях», недостойным истинного поэта. Эту точку зрения разделял и Грот. Вот почему, между прочим, его так умиляла поэзия Рунеберга, хотя он и сознавал, что в ней бесполезно было искать глубокого проникновения в «тайны отношений людских». И вот почему о «Мертвых душах» Грот писал: «таланту бездна, но грязненько, и дружба к Гоголю не должна скрывать, что *rudeur*, одно из главных оснований общества, необходима и в книге, как в труде, посвященном обществу»<sup>2</sup>. А Плетнев в своей статье о романе Гоголя находил образы Манилова и Плюшкина «сочиненными», их пороки неправдоподобно преувеличенными<sup>3</sup>.

Вместе с тем у Плетнева возникала тревожная мысль, что вопреки всем его заклинаниям развитие литературы неудержимо шло вразрез с его собственными представлениями о ней. Порой его одолевали подозрения, что взгляды его уже устарели. Узнав, что даже Ростопчина считала «Семейство» Фредерики Бремер «прескучным романом» (его русский перевод был напечатан в «Современнике» и прорецензирован Белинским в «Отечественных записках»), Плетнев совершенно озадаченный, но в то же время бессильный изменить свои взгляды, писал: «Вот куда зашел наш век с такими вожатыми, как Краевский и Белинский. Право, я начинаю думать, не поглупел ли я от старости. Но пусть все кричат противное: я не отстану от своих убеждений; я буду любить и умру с любовью к истине, природе и жизни в искусствах. Все хитрые вымыслы нового искусства будут мне противны»<sup>4</sup>.

У Плетнева и Грота подчас возникали разногласия, не учитывать которые нельзя. Плетнев последовательно отстаивал «незаинтересованное» искусство, непричастное к злобе дня, а Белинского обвинял в том, что он хотел поэзию сделать служанкой политики. Плетнев стал более определенно ориентироваться на скандинавский мир, требуя от Грота переводов из

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 61.

<sup>2</sup> Там же, стр. 566. *Rudeur* (фр.) — целомудрие, стыдливость.

<sup>3</sup> Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. I, СПб., 1885, стр. 489.

<sup>4</sup> Переписка, т. II, стр. 198.

шведской литературы для «Современника», что тоже было до известной степени результатом стремления его редактора уйти от острых вопросов русской жизни, зараженной, по его мнению, пагубным влиянием европейских идей. «Мне сдается, — писал Плетнев 7 октября 1842 года, — что «Современник» со временем весь превратится в чисто северный журнал и плюнет на гнилую Западную Европу»<sup>1</sup>.

Но, видя, как детище Пушкина в руках Плетнева все больше и больше хирело, теряя и авторов и подписчиков, Грот позволил себе открыто высказать свои сомнения относительно пользы «незаинтересованности». Как журнал, «Современник» не соответствовал своему названию. Конечно, писал Грот, вовсе нетрудно было заполнять его страницы переводными материалами. «Но тут другой вопрос: в журнале должна отражаться современная отечественная литература или лучше — жизнь этой литературы в известный момент; он должен касаться интереснейших вопросов эпохи, если не в политическом, то, по крайней мере, вообще в умственном мире, должен показывать столкновение мнений, судить решительно, даже спорить в защиту своих убеждений. Все это придает журналу жизнь и привлекает к нему читателей». А журнал, «имеющий много читателей, составляет силу в обществе, и не утешительно ли, при благонамеренной деятельности, знать, что она не остается бесплодной? Согласись, что ты был бы гораздо довольнее и работал бы несравненно усерднее, если б у «Современника» была большая публика»<sup>2</sup>. Однако Плетнев не внял убеждениям Грота, назвав его «воспитанником мелких современных идей, тем более ложных, что они русскими заимствованы и никогда не приобретут у нас действительности»<sup>3</sup>.

Взгляды Грота и Плетнева расходились по многим вопросам, и это весьма отчетливо отразилось в их переписке. Стоило Гроту сочувственно отозваться о Грановском<sup>4</sup>, как Плетнев тотчас же обрушил на последнего град упреков, стремясь развенчать его в глазах друга<sup>5</sup>. Когда же Плетнев в 1848 году попытался изобразить революционные потрясения в Европе как следствие уничтожения «авторитета во всем: в религии, в политике, в науках и в литературе», а заодно заявил, что в России подобное учение, «слегка» начатое Булгариним, было затем во всем блеске «развито Полевым, Сенковским и Белинским»<sup>6</sup>, то Грот на это отвечал: «Мне кажется, что ты, указав на падение авторитета, как на причину новейших буйств, не

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 611.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 276.

<sup>3</sup> Там же, стр. 281.

<sup>4</sup> Там же, стр. 453.

<sup>5</sup> Там же, стр. 458.

<sup>6</sup> Там же, т. III, стр. 208.



решил еще вопроса. Это только признак внутреннего расстройства. Оно же, по моему мнению, произошло от неестественной диспропорции между классами общества; тогда как одни пользуются всеми благами жизни, другие получают в удел только зло всякого рода: труд, бедность, невежество, разврат и часто угнетения. Социалисты, стараясь воскресить или пересоздать общество на новых началах, внушили низшим классам (посредством свободы книгопечатания), что они имеют право на улучшение своей судьбы. Вместе с тем легко было внушить презрение к авторитетам, когда люди, пользующиеся ими, часто показывали себя совершенно недостойными никакого уважения»<sup>1</sup>.

Когда «Современником» ведал уже Некрасов, Грот прямо писал Плетневу, что этот журнал теперь обладает достоинством, что он стал таким же «львом», как и «Отечественные записки». Хотя оба эти журнала, заявлял Грот, «на меня самого нападают, однако ж я в их критике часто нахожу справедливость и ум, и вообще многое читаю в них с удовольствием. Такой успех, каким они пользуются, не достается совершенно даром»<sup>2</sup>. Позиция же Плетнева вызывала у Грота недоумение: «Признаться, я не совсем понимаю твоих антипатий и симпатий. Нынче ты благоволишь к «С.-Петербургским ведомостям» и к «Москвитянину». Но (я основываюсь на твоих собственных словах) чем издатель их лучше Булгарина и Греча? «Москвитянин» побратался с «Пчелой»<sup>3</sup>.

Эти симпатии и антипатии Грота и Плетнева, а также их расхождения в оценке литературных явлений имели довольно близкое отношение к русско-финляндским и русско-скандинавским литературным связям, в частности к выбору художественных произведений для перевода. Можно указать на следующий пример как наиболее характерный. В письме к Плетневу от 14 августа 1848 года Грот рассказывал, что один его знакомый в Стокгольме, прежде живший в Финляндии, хотел бы заняться переводом какого-нибудь русского романа на шведский язык и просил помочь советом. Отметив, что некоторые русские романы (например, «Капитанская дочка» Пушкина) уже были переведены на шведский, Грот спрашивал Плетнева: «Может быть, стоило бы рекомендовать что-нибудь из напечатанного в новом «Современнике». Ты читал тамшние повести; нет ли между ними чего-нибудь, что могло бы увлечь внимание иностранцев? Или не предложить ли ему некоторых повестей Гоголя или Павлова (последнего недавно расхвалили немецкие журналы в переводе Вольфсона)»<sup>4</sup>. Плетнев, не склонный восторгаться

<sup>1</sup> Переписка, т. III, стр. 210—211.

<sup>2</sup> Там же, стр. 390.

<sup>3</sup> Там же, стр. 390.

<sup>4</sup> Там же, стр. 299.

некрасовским «Современником», отвечал на этот вопрос Грота: «Из новых повестей «Современника» ни одной нет, которая бы стоила перевода. Конечно, например, повесть «Кто виноват?» Искандера читается с интересом; но это интерес лихорадочный, а не натуральный. Впрочем, я могу заблуждаться. Может быть, ныне только и требуется от автора, чтобы он читался, а о другом никто не заботится»<sup>1</sup>.

Расхождения во взглядах Грота и Плетнева нужно, конечно, учитывать, но вместе с тем необходимо иметь в виду, что это были разногласия не слишком глубокие. К тому же их не предавали огласке, о них говорилось лишь в частной переписке, а перед публикой и литературными противниками, напротив, демонстрировалось единство.

В рецензии 1842 года на русско-финляндский альманах Белинский еще не полемизировал с самим Гротом, однако уже в следующем году между ними возник спор по поводу романа шведской писательницы Фредерики Бремер «Семейство, или домашние радости и огорчения». В русском переводе этот роман печатался в «Современнике», затем, в 1842 году, вышел отдельным изданием. Плетневу роман рекомендовал Грот, переводчицей была его сестра, Роза Карловна. Упомянем, что Грот переписывался с Бремер, а в 1847 году, во время поездки в Швецию, лично встречался с писательницей, равно как и с другими шведскими авторами.

«Семейство» было написано, по словам Белинского, «под влиянием односторонней мысли»<sup>2</sup>, гласившей, что человек находит счастье только в семейной жизни. Заметим, что роман Бремер является одним из эпизодов той полемики, которая проходила в шведской литературе в конце 30-х — начале 40-х годов. Поводом послужил роман Альмквиста «Можно!». Альмквист, защищая эмансипацию женщины, пропагандировал идею свободной любви, независимой от сословных перегородок и церковного брака. Его произведение вызвало много откликов, в том числе со стороны находившегося тогда в Швеции Снельмана, который в начале 1840 года опубликовал свое продолжение к роману. В ту пору общественные взгляды Снельмана отличались умеренностью, а подчас прямой консервативностью, что сказалось и в данном случае. Под его пером свободная любовь героев Альмквиста получила трагическую развязку. Альберт, офицер шведской армии, покинул свою жену, дочь стекольщика; семья его гибнет в нищете, сам он кончает с собой. Все это воспринимается как кара за нарушение традиционных устоев. Развенчивая саму идею протеста личности против об-

<sup>1</sup> Там же, стр. 302.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 105.



щества, Снельман оправдывал действительность как воплощение разумности. В конце своего повествования автор заявлял: «Что бы ни говорили, но ход мира, в общих чертах, вполне разумен; по крайней мере, трудно предложить что-либо более разумное»<sup>1</sup>. Вскоре, однако, во взглядах Снельмана наступил некоторый сдвиг влево, и он, как мы увидим в дальнейшем, уже иначе истолковывал тезис Гегеля о разумности действительного.

На упомянутый роман Альмквиста откликнулся в 1843 году и Грот в «Листках из Скандинавского мира», печатавшихся в «Современнике». Касаясь брошюры «О браке» И. Вассера, в свое время полемизировавшего с Арвидссоном, а теперь выступившего против романа Альмквиста, Грот писал, что в этой брошюре опровергалось «то ложное и опасное учение, которое начало было возникать в западной Европе, будто брак есть установление лишнее и только препятствующее истинному счастью людей. Все знают имя французской писательницы (Жорж Санд. — Э. К.), поднявшей знамя этой безумной школы и увлекшей за собою многих, так и в Швеции даже человек с талантом, Альмквист, заразился заблуждением и написал в подтверждение мнимой истины роман: *Det går an* («Можно!»). Эти примеры, столь вредные для толпы, всегда склонной принимать слепо мнения, льстящие ее чувственности, внушили чело-веколюбивому профессору (Вассеру. — Э. К.) мысль упомянутого сочинения»<sup>2</sup>.

«Семейство» Фредерики Бремер, а вместе с тем и его перевод на русский язык, тоже несли в себе полемический заряд против новых веяний, против выдвигаемого прогрессивными кругами идеала активного человека с широкими общественными интересами. Это подчеркнул Грот в своем ответе на рецензию Белинского. Еще раз напомнив о выступлении Вассера против романа Альмквиста, оказавшегося под влиянием «секты сенсимонистов» и Жорж Санд, Грот писал: «Но еще гораздо вернейшим оплотом против разрушительного направления этой книги (Альмквиста. — Э. К.) служили романы шведской писательницы Фредерики Бремер, известные под общим заглавием: *Очерки из ежедневной жизни*»<sup>3</sup>.

Полемическую направленность «Семейства» Бремер уловил и Белинский.

Основная идея этого произведения, по словам Белинского, не отличалась новизной. В качестве предшественника шведской романистки рецензент называл Августа Лафонтена, писателя, который «также во всяком человеке видел прежде всего мужа или жену». Впрочем, Бремер, как отмечал Белинский, вынуж-

<sup>1</sup> J. V. Snellman. *Kootut teokset*, III, s. 381.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 273.

<sup>3</sup> Там же, стр. 316.

дена была сделать уже некоторую уступку духу времени: в заглавии ее романа значились не одни только «радости» семейные, но и «огорчения». «А! так эта утопия имеет и свои огорчения, даже в романах! — саркастически восклицал по этому поводу Белинский. — Прочтите роман г-жи Бремер — и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полного семейного счастья мало одной любви, но еще более нужно эгоистического сосредоточения в маленькой и тесненькой сфере домашнего быта, — нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна дает человеку силу заткнуть уши от всех других обстоятельных зовов бытия и закрыть глаза на все другие обаятельные картины широко раскинувшейся, бесконечно разнообразной жизни...»<sup>1</sup>

Ответ Грота на рецензию Белинского был помещен в «Москвитяине» (1844). Грот довольно отчетливо очертил основной предмет спора. Романы Бремер, по его словам, пользовались успехом «у всех наций, у которых еще не поколебались священные опоры здания общественного»<sup>2</sup>. Что же касается рецензии Белинского в «Отечественных записках», то она, как писал Грот, «поразила нас духом своим совершенно противоположным, даже враждебным направлению Семейства, и так как она по решительности тона, с которым написана, могла бы иметь влияние на умы неопытные или слабые, то мы считаем нужным рассмотреть ее довольно подробно»<sup>3</sup>. После такого рассмотрения Грот еще раз подчеркнул цель своей статьи: «обратить внимание публики» на рецензию Белинского как «на замечательный образчик того направления, которое да мимо идет нашей современной литературы»<sup>4</sup>.

Эти недвусмысленные характеристики ставили Белинского в затруднительное положение; он расценил их как донос, и в то же время с Гротом нельзя было полемизировать открыто по всем пунктам, ибо его нападки, как указывал Белинский, относились к предметам, «до которых образованному литератору нельзя касаться»<sup>5</sup>. Ответ Белинского Гроту был уже куда более резким, чем его первая рецензия на роман Бремер. Грот, писал критик, нашел в «Семействе» подтверждение своим собственным взглядам, увидел в нем для себя нечто вроде корана, «несомненной книги» мусульман, и «с чего-то вообразил, что пошленькие романы г-жи Бремер — совсем не апокрифические писания и что сметь не преклоняться перед их авторитетом —

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 104.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 316.

<sup>3</sup> Там же, стр. 316—317.

<sup>4</sup> Там же, стр. 327.

<sup>5</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 194.



значит отрицать брак как религиозное (вишь куда метнул!) и гражданское установление, значит, «отвергать законы, совесть, веру»!!»<sup>1</sup>

Если в первой рецензии Белинский упомянул о финляндских статьях Грота в хвалебно-ироническом тоне, то теперь он уже без обиняков назвал их «довольно жиденькими и пустенькими статейками»<sup>2</sup>. К этому времени обострилась борьба Белинского со славянофилами и сторонниками «официальной народности». Он не мог не заметить, что в этой борьбе противный лагерь пытался использовать и «северную» литературу. Обращал на себя внимание также тот факт, что «филиппика» Грота, как назвал ее Белинский, появилась в «Москвитянине». Критик был вправе подозревать в ее авторе нового союзника Шевырева, который действительно искал сближения с Гротом, находя в его финляндских статьях нечто приемлемое для себя.

Под руководством Шевырева некоторые финны занимались в Московском университете русским языком. В письме от 9 ноября 1849 года Шевырев, например, сообщал Гроту: «Студенты Ваши: Пальдани и Леврен, были у меня. Просьба Ваша относительно всех финляндцев, здесь пребывающих, уже исполнена. Они занимаются практически с помощником моим на 1-м курсе, учителем словесности Преображенским, который отдает мне отчет в их занятиях. Кажется, успехи пошли быстрые»<sup>3</sup>.

В Москве у Шевырева учился и магистр К. Коллан, брат Фабиана Коллана, редактора газеты «Гельсингфорс Моргонблад». При отъезде магистра из Москвы Шевырев послал с ним письмо Плетневу, помеченное 9 мая 1844 года. С похвалой отозвавшись о Коллане, Шевырев писал: «вообще все ваши добрые и милые финляндцы достойны уважения — и мне всегда приятно было с ними беседовать. Москва им тоже нравится своею тишиною и радушием, и они выносят из нее, как кажется, приятное впечатление и сочувствие к России». Тут же Шевырев высказал Плетневу свое одобрение относительно «изящного выбора» тем в «Современнике»: «К тому же у вас только могу знакомиться с движением соседнего нам Севера, которого литература обнаруживает прочность оснований, на каких воздвигнуто государственное и гражданское бытие Швеции»<sup>4</sup>.

С Колланом Шевырев послал также письмо Гроту. Оно было написано уже после появления статьи Грота в «Москвитянине», за которую Шевырев и приносил свою признательность. «Мне приятно воспользоваться этим случаем, — писал он, — чтобы выразить вам хоть на бумаге то сочувствие, которое питал я

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 195—196.

<sup>2</sup> Там же, стр. 194.

<sup>3</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 1024, л. 5.

<sup>4</sup> Переписка, т. II, стр. 897.

всегда к вашим трудам и мнениям. Мне с своей стороны было очень по сердцу найти то же в вас»<sup>1</sup>. Шевырев, таким образом, был рад подчеркнуть общность своих взглядов с Гротом. Он предлагал ему продолжительный союз и дружбу: «Сделайте милость, не прерывайте дружелюбных сношений с нами: в нашей пространной и рассеянной России так трудно сблизиться и хранить святое единство мысли и слова. Потребна великая сила любви, чтобы связать одною жизнью все разнородное в нашем огромном царстве... Ваша статья (против Белинского. — Э. К.) возбудила здесь большое сочувствие во всех наших благомыслящих литераторах и нелитераторах: ответ «Отечественных записок» так слаб, что не обратил на себя никакого внимания»<sup>2</sup>.

Отмечая, что Грот своими статьями о литературе Финляндии и Швеции делал «прекрасное дело» и что сама эта литература была «замечательна внутренним своим движением», Шевырев вместе с тем давал недвусмысленно понять, что в Коллане можно было найти «живой отголосок нашего ученого и литературного движения в Москве»<sup>3</sup>.

Все это показывает, что Белинский не без причины усомнился в полезности неумеренных и слишком назойливых похвал, которые расточались финляндской литературе, например, в статье Соллогуба «О литературной совестливости».

Белинский еще раз вернулся к статье Соллогуба в своей рецензии на книгу М. Эмана «Главные черты из древней финской эпопеи Калевалы» в связи с тем, что из упомянутой статьи был заимствован эпиграф к книге, который гласил: «Вы едва ли поймете, как утешительно теперь, когда из литературы сделался какой-то безобразный рынок, найти в уголке Европы столь неожиданное явление». Книга была снабжена также предисловием, в котором приводились высказывания финских литераторов о «Калевале» и, в частности, слова Тенгстрёма о том, что она «стеснила в себе весь национальный дух» финнов, якобы не нуждавшихся ни в каких иных идеях, более близких к современности. Пораженный такой узостью взглядов и, видимо, полемизируя также с И. Э. Эманом, который в юбилейном альманахе утверждал, что если другим народам для их деятельности нужна «целая вселенная», то финну «достаточно тесного мира, в собственной груди его сокрытого», Белинский с сарказмом писал: «Иной национальный дух так мал, что уложится в ореховой скорлупе, а иной так глубок и широк, что ему мало всей земли. Таков был национальный дух древних греков. Гомер далеко не исчерпал его весь в своих

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 896.

<sup>2</sup> Там же, стр. 896.

<sup>3</sup> Там же.



двух поэмах. И кто хочет ознакомиться и освоиться с национальным духом древней Эллады, тому мало одного Гомера, но будут для этого необходимы и Гезиод, и трагики, и Пиндар, и комик Аристофан, и философы, и историки, и ученые, а там еще остается архитектура и скульптура и наконец изучение всей внутренней домашней и политической жизни»<sup>1</sup>.

Высмеивая тех, кто приходил в экстаз от всякой вновь найденной пословицы и в то же время оставался по-старчески глух к передовым веяниям эпохи, Белинский писал: «Как во всех иллюзиях старости, тут все дышит преувеличением и фанатизмом. Но если таким археологам-патриотам часто случается встречать холодность и равнодушие, а иногда и насмешку со стороны людей, которым чужды их оболъщения, зато иногда они встречают не только сочувствие, но и готовность на те же преувеличения, там, где бы, кажется, всего менее могли они ожидать найти их. Это самое нашла финская литература в известном русском литераторе, графе Соллогубе»<sup>2</sup>. В словах Белинского звучало предостережение финнам, чтобы они были более разборчивы в поисках идейных союзников и не походили на того старца, который «весь в прошедшем, весь в своих воспоминаниях, он молодеет, говоря о них, делается счастлив и горд, хваля доброе старое время. Это жизнь в воспоминании, жизнь задним числом!»<sup>3</sup>

Познакомившись с «Калевалой» только в сокращенном и очень плохом прозаическом пересказе, Белинский не смог понять ее огромного значения в истории финской и карельской культуры. Однако в его критике консервативных любителей старины нельзя усматривать какого-то нигилизма по отношению к народной поэзии. «Мы первые готовы отдать справедливость прекрасному и благородному подвигу г. Лённрота, — писал Белинский, — но не считаем нужным впадать для этого в преувеличение. Как! все литературы Европы, кроме финской, превратились в какой-то безобразный рынок?.. Как! бескорыстное служение науке или литературе существует теперь только в Финляндии?.. Помилуйте, господа энтузиасты! прочтите жизнь таких людей, как Гумбольдт и Араго, и посмотрите, такие ли еще жертвы принесли они науке!.. Корысть, расчет и торговля действительно проникли теперь во все литературы; но вы близоруки, если за ними не рассмотрели тех благородных и прекрасных явлений, которые хотя и в меньшинстве, но есть и всегда будут везде, к чести человеческой натуры»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. X, 1956, стр. 274.

<sup>2</sup> Там же, стр. 277.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же, стр. 277—278.

Попытку познакомить русских с финляндской культурой предпринял и Ф. К. Дершау, с которым у Грота и Плетнева были довольно холодные отношения. Сначала Плетнев не мог простить Дершау его участия в «Северной пчеле», а когда он стал с 1845 года издавать «Финский вестник», то Плетнев причислил его к лагерю Белинского, для чего были известные основания. По целому ряду вопросов «Финский вестник» выступал с прогрессивных позиций, и новейшие исследователи считают возможным уже определенно говорить об участии Белинского в журнале<sup>1</sup>.

Ф. Дершау, сын абоского коменданта, долгое время жил в Финляндии, что давало ему преимущество перед другими русскими путешественниками в этот край, зачастую не знавшими даже языка. В рецензии на книгу Дершау «Финляндия и финляндцы» Белинский отметил это выгодное положение автора. Хоть небольшая по размеру, но книга, по словам критика, «довольно полно и весьма искусно» познакомила читателя с краем. Она принадлежала «человеку не глубоко ученому, но образованному и умному, вздумавшему наблюдать страну. Финляндия же — страна очень стоящая наблюдения человека и просто образованного и собственно ученого!»<sup>2</sup>

Несколько позже, во «Вступлении» к «Физиологии Петербурга» (1844), Белинский все же указал на недостаток «беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России», в том числе и Финляндией<sup>3</sup>. Уже в следующем году с этой целью стал выходить «Финский вестник».

Первоначально Дершау собирался издавать свой журнал в Або. Но затянулась переписка с цензурными учреждениями, к тому же у него еще не было средств и сотрудников для журнала. С просьбой о сотрудничестве он обратился к Гроту, объясняя ему, что журнал «будет зеркалом замечательнейшего в области литературы, науки и искусств Севера Европы, т. е. Дании, Скандинавии, Финляндии и России» и что в нем будут принимать участие лучшие писатели этих стран<sup>4</sup>. Грот и Плетнев

<sup>1</sup> См., напр.: В. М. Морозов. К вопросу об идейно-общественной позиции журнала «Финский вестник». — «Ученые записки Карело-Финского Государственного университета», т. V, вып. 1, Петрозаводск, 1955, стр. 85—112. Его же. «Финский вестник» в борьбе против литературно-общественной реакции. — «Ученые записки Петрозаводского Государственного университета», т. VI, вып. 1, Петрозаводск, 1957, стр. 49—66.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VI. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 235—236.

<sup>3</sup> Там же, т. VIII, стр. 376—377.

<sup>4</sup> Переписка, т. II, стр. 886.



сразу почувствовали в Дершау конкурента, бросившего вызов, «Современнику» с его финляндско-скандинавским уклоном. Вместо сотрудничества Плетнев подал Гроту совет: «Из чело-веколюбия ты должен остановить глупое предприятие Дершау. Он разорится и надует — не финляндцев, которые не подпи-шутся на журнал — а литераторов, которые, не зная России, примут участие в журнале»<sup>1</sup>. Но Грот в письме от 17 ноября 1843 года отвечал, что остановить предприятие Дершау уже невозможно, поскольку он к тому времени успел объявить об из-дании журнала в финляндских газетах. В утешение своего друга Грот сообщал: «Но я в своем ответе на его письмо намекнул на смелость и трудность предприятия, прибавив, что, впрочем, конечно он все это лучше меня понимает и наперед обдумал все средства к исполнению такого серьезного плана. Кроме опы-та, никто не может проучить неопытности. Поверь, что никакой литератор Скандинавии не примет участия в этом хвастливом предприятии человека неизвестного и ненадежного»<sup>2</sup>.

Отказавшись сам сотрудничать в «Финском вестнике», Грот, надо думать, не советовал делать этого и своим финляндским друзьям. Между тем, у Дершау были попытки связаться с фин-ляндскими и скандинавскими литераторами. В. Сёдерьельм, в частности, упоминает, что с письменной просьбой о сотрудниче-стве Дершау обратился к Рунебергу и шведскому писателю Меллину<sup>3</sup>. Об их ответах ничего не известно, можно только отметить, что Меллин был в числе тех шведских авторов, ко-торых «Финский вестник» переводил, а в статье «О пиетизме», появившейся в пятом томе журнала за 1845 г., использованы «Письма старого садовника» Рунеберга, выступившего в свое время против пиетистских сект в Финляндии.

Начав издавать журнал, Дершау отлично сознавал, что к тому времени в России значительно возрос интерес к Финлян-дии. Участились поездки в этот край, для многих жителей Пе-тербурга он, по свидетельству Дершау, явился настоящим от-кровением. «В былые, еще недавние времена мы, русские, зная Финляндию по одной лишь географии, воображали ее какою-то таинственную и мрачною страну, населенную диким, необуз-данным народом, чуждым всякого европеизма. И никто из нас не пытался проникнуть во внутрь Финляндии, чтобы поверить истину со сказанием; и долго, долго господствовало это неле-пое мнение о наших добрых северных соседях. Но вот настало время сближения и сродства финнов с русскими, и Петербург первый протянул руку дружбы великолепной столице Финлян-дии. Все то, что прежде казалось нам и смешным и диким,

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 150.

<sup>2</sup> Там же, стр. 151—152.

<sup>3</sup> W. Söderhjelm. J. L. Runeberg, II. Helsingfors, 1906, s. 90.

вдруг сделалось полным прелести и очарования, и тысячи петербургских жителей понеслись по волнам Балтики, к веселому и шумному Гельсингфорсу. И гордая бедность финнов, и дикая, угрюмая природа страны, в воображении нашем навевавшая холод на душу, — все сделалось для нас очаровательным, и мы с восторгом спешим к финским скалам, начиная постигать дивные, поражающие красоты этой величественной природы. Мода на Гельсингфорс составляет исключение из общего закона мод. Каждая современная мания более или менее непостоянна, как петербургское небо; но вот уже 7 лет как проявилась в Петербурге сознательная гельсингфорсомания, и с каждым годом она видимо вкореняется в публику и обращается в потребность петербургского человека»<sup>1</sup>.

В «Финском вестнике» печаталось сравнительно много материалов о Финляндии. Недаром Белинский в обзоре «Русская литература в 1845 году» назвал журнал Дершау «специальным сборником». В первом же его томе за 1845 г. были напечатаны очерк Дершау «Лалли. Финн XII столетия», легенда «О построении ресоской церкви», статья «Биргер-Ярл». Эти материалы пронизаны мотивами борьбы финнов против шведского господства и насильственной христианизации. В «Биргер-Ярле», кроме того, подчеркивается помощь финнам со стороны русских, которые во главе с Александром Невским разгромили шведов. В первом томе появилась также повесть Н. Кукольника, переведенная вскоре Готлундом на финский язык («Егор Иванович Сильвановский, или завоевание Финляндии при Петре Великом»). «Финский вестник» напечатал повесть Снельмана «Любовь и любовь».

Журнал Дершау и «Современник» Плетнева были во многом антагонистами. Между ними время от времени возникала открытая полемика. В письмах Плетнев негодовал на то, что о его журнале Дершау писал «с презрением». И это было близко к истине. Подобно Белинскому, «Финский вестник» иронизировал над «тоненькими книжками «Современника», в которых «весьма мало современности». В статье приводился «образчик дум и мнений» журнала: «Вся Европа утвердила знаменитость за именами Жорж-Занда, Скриба и Дюма — Современник же величает их, по своему понятию — авторами болезненной школы (!)»<sup>2</sup> Когда же «Современник» перешел в руки Некрасова и Белинского, «Финский вестник» выразил свою уверенность в том, что эти люди сумеют «на уде вытянуть» журнал «из того несовременного положения, в котором он находился до сих пор, страдая сухоткою...»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Финский вестник», 1846, т. XI, отд. VI, стр. 27.

<sup>2</sup> Там же, стр. 24—25.

<sup>3</sup> Там же, 1847, т. XII, отд. VI, стр. 58.



Наряду с Белинским, рецензировавшим русско-финляндский литературный альманах, на университетский юбилей 1840 г. откликнулся также Ю. В. Снельман (1806—1881).

Чтобы понять его реакцию на это официальное торжество, необходимо учесть, что для многих в Финляндии оно явилось поводом для прекраснодушных упований и обманчивого самодовольства. О Финляндии стали говорить как о просвещенной «стране благодати», форпосте цивилизации на Севере. Молодой Топелиус, например, полагал, что университетский юбилей имел значение «не только для Финляндии, но и для всего культурного мира»<sup>1</sup>. Эта склонность к преувеличениям, которые приводили к забвению истинного положения вещей, была свойственна и Ф. Сигнеусу. В известном письме к нему<sup>2</sup> Снельман и попытался открыть своим соотечественникам глаза на действительность. Для него Финляндия была не обетованной землей, а отсталой «страной троглодитов», «родиной страдания», где народ прозябал в нищете и невежестве.

Снельман в это время жил в Швеции, куда он был вынужден уехать после того, как его лишили возможности преподавать в университете. Его письмо было написано в 1840 году, еще до выхода юбилейного альманаха. Однако те консервативные идеи финнофилов, против которых ополчился вскоре Белинский, были хорошо известны Снельману и без юбилейных статей. И нетрудно заметить, что Снельман и Белинский, независимо друг от друга, во многом одинаково отнеслись к самозабвенным восторгам по поводу успехов «истинной образованности» в отсталой, патриархальной Финляндии.

Хотя письмо Снельмана смогло появиться в печати лишь через несколько десятилетий, оно уже в 40-е годы ходило по рукам, вызывая оживленные споры.

«Оглянись кругом, — писал Снельман, — и найди, кого из правящих лиц трогает материальная нищета деревни или кто из университетских мужей ломает голову над тем, чтобы просветить финское крестьянство. Я уже не говорю о легионе тех, у кого не оказывается совести, когда приходится выбирать между интересами родины и жалованьем, орденами и т. д.». Шведская дворянская верхушка, по мнению Снельмана, была неспособна защитить национальные интересы финнов от притеснений царизма, ибо «из нее образовалась чиновничья аристократия, которая пресмыкается и угнетает народ». Истинные патриоты, утверждал Снельман, должны выйти из народа. Но «продолжительное угнетение народной массы привело к тому, что она

<sup>1</sup> V. Vasenius. Z. Topelius ihmisenä ja runoilijana, I, s. 200.

<sup>2</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 133—135.

замкнулась в себе: решаются критиковать разве только исправника да священника, а губернатор — это уже маленький бог, сенатор — поп plus ultra. Мысль о возможности лучшего едва ли когда проникала в народ».

«Что ты думаешь, — спрашивал Снельман Сигнеуса, — как финский крестьянин воспринял ваш юбилей? Что он знает об университете? Да только то, что все, кто там был, люди другого рода, чем он сам, и потому вправе поступать с ним как угодно. Быть может, он получает оттуда судей с законами и справедливостью? Спроси его, что он думает об этой справедливости? Лишь то, что господин всегда прав, а он всегда неправ».

Охарактеризовав широко распространенный в Финляндии пиетизм как следствие неудовлетворенности народа идеологией феодальной церкви («половина страны ищет христианства по-своему, ибо его нет у священников»), Снельман заключал: «Иначе не может быть там, где существуют только угнетатели и угнетаемые . . .» Финская нация, по мнению Снельмана, была уже на краю гибели, и финский крестьянин знал это — вот почему была так печальна его песня. В этих условиях юбилейные торжества, писал Снельман, выглядели «пляской на похоронах». Не в выпренних речах нуждался народ, а в действительном просвещении, в пробуждении его критического рассудка и национального самосознания.

Это была нелегкая задача, говорил Снельман. «Правительство (фактическое) не позволит этого. Образованные круги не понимают этого, а если бы и понимали, то не в их интересах трудиться ради такой цели». Однако выход все же был в том, чтобы будить массы, нарушить рабье молчание и громко заговорить о положении народа. «Погибнуть вместе с нацией еще прилично, — писал Снельман Сигнеусу, — но умирать с нею смертью немощного раба недостойно человека. Если ты, делая выводы отсюда, попытаешься применить их ко мне, то вот мой ответ: я уже выполню свою задачу, если сумею раструбить по свету все то, что прошептал здесь, и докажу это историей страны с 1809 года. Отсюда также следует, что я готов идти на риск — с исстрадавшимся сердцем вернуться домой, на родину страдавший».

Снельман выполнил свое обещание. Его газеты сыграли выдающуюся роль в общественно-литературной жизни страны.

По широте своих интересов Снельман был едва ли не самой колоритной фигурой эпохи так называемого «второго национального пробуждения» в Финляндии. Широта эта объясняется не только его личными качествами, но и потребностями того времени. В период, когда основной задачей передовых сил Финляндии являлась борьба против феодализма и когда подъем революционного движения в Европе дал новый толчок этой



борьбе, возникла острая необходимость противопоставить всей господствующей феодальной идеологии более или менее целостную систему идей, охватывающих всю общественную жизнь, а это требовало рассмотрения проблем самого различного порядка в их совокупности и взаимосвязи. Неудивительно поэтому, что в своих литературных обзорах Снельман нередко уделял много внимания философским вопросам. Его весьма занимала, например, проблема связи развития литературы с общественно-политическим развитием страны.

Необходимо сразу же подчеркнуть, что Снельман был буржуазным мыслителем либерального толка. Пределом его политических стремлений были мирные буржуазные реформы. Однако при этом следует учесть то немаловажное обстоятельство, что революционная идеология вообще не была свойственна тогдашней Финляндии. В условиях 40-х годов либерализм Снельмана не был либерализмом того рода, который противостоял бы более прогрессивному общественному сознанию в Финляндии. Напротив, Снельман в 40-е годы представлял как раз наиболее левые общественно-политические взгляды в стране и сделал очень много для ознакомления своих соотечественников с идеями, ранее им неизвестными.

Снельман родился в семье шкипера. В 1822 году, одновременно с Лённротом и Рунебергом, он поступил в университет в Або, где вначале занимался богословием, потом философией. В 1837 году, являясь уже преподавателем университета, Снельман хотел прочитать курс бесплатных лекций «об академической свободе», и хотя его политические взгляды в то время отличались умеренностью, тем не менее это был вызов безраздельному контролю властей над умственной жизнью страны. Когда лекции были запрещены, Снельман потребовал публичного разбирательства дела и обвинил власти в нарушении университетского устава. Это было настолько необычной «дерзостью» в Финляндии 30-х годов, что против Снельмана ополчились не только официальные власти, но и некоторые университетские преподаватели. Линсён, один из «або-романтиков», который сыграл весьма неблагоприятную роль в расправе над Арвидсоном в 1823 году, увидел в поведении Снельмана новый «бунт» и предложил лишить его доцентуры, что и было сделано. Вынужденный эмигрировать в Швецию, Снельман сотрудничал некоторое время в одной из шведских газет, а в начале 40-х годов совершил поездку в Данию, Германию и Швейцарию. В Германии он познакомился с некоторыми младогегельянцами (А. Руге, Д. Ф. Штраусс), следил за немецкой философской литературой и сам опубликовал там книгу.

Столкнувшись с немецкой действительностью, Снельман убедился, что по сравнению с Францией и Англией Германия была отсталой страной. Это было важное наблюдение для Финлян-

дии того времени, если учесть, что даже Арвидссон в своей брошюре «Финляндия и ее будущее» отводил Пруссии ведущее место в европейской цивилизации.

Причину отсталости Германии Снельман стал искать в области идеологии и пришел к выводу, что между немецкой ученостью и немецкой действительностью существовала глубокая пропасть. Немецкий идеализм, включая философию Гегеля, не удовлетворял Снельмана своей умозрительностью, непоследовательностью, оторванностью от жизни и жгучих вопросов времени, а для Финляндии, как уже говорилось, эти вопросы сводились к борьбе против феодальных общественных устоев. В поисках практической философии, «мировоззрения, обращенного к действительности и формирующего ее»<sup>1</sup>, Снельман, подобно немецким младогегельянкам, проявлял в 40-е годы живой интерес к наследию англо-французских материалистов XVII—XVIII веков. Снельман никогда не принимал философского материализма просветителей, но в то же время он неоднократно с искренним восхищением говорил об их социально-политических идеях, об активном начале их философии, проникнутой антифеодальным пафосом. В этом смысле Снельман всегда подчеркивал превосходство французского просветительства над немецким идеализмом. В путевых заметках «Германия» он указывал, что немецкая наука «едва ли хоть в какой-либо области знания была реформирующей, за исключением самой реформации». Со времени Канта немецкая философия «оставалась изолированной, оторванной от мировых событий, тогда как выступления французских энциклопедистов, которых немцы, может быть, не без причины считают поверхностными, создали европейскую цивилизацию в ее современном виде и реформировали саму Германию»<sup>2</sup>. В области политических и правовых идей немцы, по мнению Снельмана, мало чем обогатили французов и англичан. Именно там, во Франции и Англии, возникали новые политические учения и происходили политические перевороты, а немецкая наука лишь задним числом пыталась выводить из этих событий свои «принципы», вовсе не заботясь об их практическом осуществлении.

В результате таких размышлений Снельман в 1843 году признавался в письме к немецкому философу Райфффу, что хотя он и находился еще под влиянием Гегеля, однако стремился избавиться от него. «От влияния немецкой философии, — писал он, — меня освободила старая и поверхностная французская. В ее поверхностности я, ей-богу, нахожу более теплоты, более деловой серьезности, чем в тяжеловесной основательности то-

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, II, s. 258.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 256.



временных немецких философов. Дух истины от них улетучился. В самом Гегеле много трусости и притворства»<sup>1</sup>.

Некоторую оговорку Снельман делал для тех немецких младогегельянцев, которые группировались вокруг «Немецких ежегодников». Если Райфф утверждал, что это издание не содержало «никакой философии», то Снельман, возражая Райффу, писал: «Как бы превратно «*Deutsche Jahrbücher*» с их единомышленниками иногда ни поступали, я все же не могу не признать, что только практическое направление, обратившееся к жизни, может отвечать требованиям времени»<sup>2</sup>.

Но вместе с тем Снельман не мог не заметить и заслуг немцев в развитии диалектики. В том же письме к Райффу Снельман подчеркивал, что немецкие идеалисты конца XVIII — начала XIX века совершили «переворот в мышлении», и здесь, разумеется, прежде всего имелся в виду Гегель. Однако Снельман выступал против того, чтобы этот переворот служил лишь «схоластике». Он даже опасался, что бесплодность абстрактно-умозрительного исследования может породить сомнения в самом методе и потому предлагал «отказаться от абстракций и обратиться к фактам».

Снельман подчеркивал, что идея, взятая сама по себе, еще не обладает активной силой, пока она остается лишь в голове мыслителя и не проявляется в «жизни, где она только и может обнаружить свою способность к развитию». С этой точки зрения Снельман утверждал, что «философия, если она действительно наука, должна быть также знанием для общественности»<sup>3</sup>.

Допуская, что науку могли двигать вперед только выдающиеся личности, Снельман вместе с тем делал упор на то, что в современную ему эпоху наука перестала быть только делом присяжных ученых-специалистов; «напротив, по своему общему характеру и по своим задачам она должна быть общим достоянием народов, и ученый поэтому должен постоянно принимать участие в разрешении тех вопросов, которые представляют непосредственную важность для народа. В этом, применительно к науке, и состоит практическое направление нашего времени: оно нуждается в знании для жизни, а не для школы. По той же самой причине наша эпоха является, с другой стороны, и самой теоретической из всех эпох, ибо она во всем требует научной основы и стремится творить, опираясь на общие принципы, ввиду чего ученый становится важным лицом в решении вопросов общественного устройства»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 248.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VIII, s. 21.

<sup>4</sup> Там же, т. VII, стр. 63.

В путевых заметках «Германия» Снельман настойчиво повторял, что в процессе дальнейшего развития немецкая философия должна была впитать в себя достижения гегелевской философии. По мысли Снельмана, философы не имели права игнорировать Гегеля и попросту отбрасывать его в сторону. На примере реакционной «философии откровения» Шеллинга Снельман доказывал, что «в Германии не может возникнуть ни одна философская система, пока она не разобьет систему Гегеля. Но прежде чем разбить ее, необходимо овладеть ею. Новая система не может существовать параллельно с нею, но должна превзойти ее. Шеллинг же хочет (и это единственное, на что он способен) создать что-то лишь параллельно Гегелю, а это значит, что его философия уже окончательно сошла со сцены»<sup>1</sup>. В другой главе своих заметок Снельман вновь затронул эту тему, чтобы подчеркнуть, что «путь дальнейшего прогресса немецкой философии проходит только через Гегеля и в перед от него. А на это потребуется много времени, пока наука и действительность в Германии, сближаясь друг с другом, преодолеют ту пропасть, которая разделяет их теперь. Наука не может двигаться вспять, но действительность способна одним шагом вперед покрыть тот путь, на преодоление которого наука потратила десять мучительных шагов»<sup>2</sup>.

Сама постановка вопроса о критическом освоении Гегеля весьма любопытна для Финляндии начала 40-х годов. Но Снельман ни в коей мере не сумел разрешить этой проблемы. Она оказалась по плечу только основоположникам диалектического материализма.

Полагая, что в дальнейшем немецкая философия должна была сближаться с действительностью, Снельман усматривал первый шаг в этом направлении в известном положении Гегеля: все действительное разумно; все разумное действительно. Однако в трактовке этого положения, говорил Снельман, имелось «одно но, которое не было учтено надлежащим образом, а именно: что под солнцем нет ничего вечного и что лишь отмирание каждой формы, развитие существующего, процесс суть то действительное, которое разумно. Когда же обнаружилось это «но», то возникло беспокойство и тревога, хотя для этого нет ни малейшего повода. Ибо отмирание всего и вся не относится к тому роду событий, которые можно предотвратить»<sup>3</sup>.

Снельман, однако, был против такого «учения», которое требовало безоговорочного уничтожения старого, он довольствовался таким «разумным осмыслением» действительности, которое не приводило бы к насильственным переворотам. Снельману

---

<sup>1</sup> Там же, т. II, стр. 101.

<sup>2</sup> Там же, стр. 139.

<sup>3</sup> Там же, стр. 260.



оставалось только недоумевать, почему «немецкие правительства до сих пор приходили в ужас» от подобной трактовки гегелевского тезиса о разумности действительного; он вынужден был признать, что «судя по последним данным, такое положение будет продолжаться и впредь»<sup>1</sup>.

Размышляя о путях перехода от феодально-абсолютистского режима к буржуазному строю, Снельман подчас склонялся к мнению, что революционный метод является исторической необходимостью. Но это не стало основой его мировоззрения. Даже тогда, когда он почти с завистью говорил о том, какие огромные перспективы для быстрого капиталистического прогресса открывались в странах, проделавших буржуазную революцию, — даже тогда он испытывал тайный страх перед этой революцией, само его сочувствие к ней было не революционным. Он усматривал «неразрешимое» противоречие в том, что восстанавливая идеал социальной справедливости, в то же время сам прибегает к методу революционного насилия. Такой взгляд нашел отражение не только в теоретических работах Снельмана, но и в его беллетристических произведениях.

В то же время Снельман признавал, что «мы пожертвовали бы исторической правдой, если бы взялись утверждать, будто революция объясняется случайностью... И мало веры тем, кто говорит, будто революция — это результат тайных интриг со стороны кучки демагогов». Люди больше всего ценят мир, и никакой «демагог» не смог бы поднять их на бунт, «если бы глухой ропот недовольства в народе, чувство собственного угнетения и смутное сознание того, что гнет исходит от правительства, не заставляли народ хвататься за каждый подходящий случай, чтобы изменить свое положение. Всегда должна быть действительная, притом достаточно веская причина для того, чтобы народ захотел любой ценой добиться перемены»<sup>2</sup>. Подобные высказывания расширяли кругозор финнов, будили общественную мысль, приковывали ее к важнейшим историческим событиям.

Считая революцию нежелательным методом переустройства общества, Снельман выдвигал требование политической свободы как условие избежания насильственных переворотов. «В государстве, в котором господствует политическая свобода, — указывал он, — всегда можно добиться социальных реформ законным путем»<sup>3</sup>. Но как добиться политической свободы без революции, этого он не знал. В конечном счете все его доводы и упования сводились к тому, что монарх должен пойти

<sup>1</sup> J. V. Snellman, *Samlade arbeten*, II, s. 260.

<sup>2</sup> Там же, т. I, стр. 968—969.

<sup>3</sup> Там же, стр. 970.

на уступки, во избежание революции. И в то же время Снельман вынужден был признать, что «история, к сожалению, редко упоминает о случаях, когда переход от одной формы правления к другой происходил бы мирным путем. Это — несчастье, это — жестокая необходимость; но очевидные факты невозможно отрицать»<sup>1</sup>.

При всей противоречивости Снельмана, его взгляды не могли не оказать влияния на развитие общественного сознания в Финляндии. В частности, взгляд на революцию как на историческую необходимость, хотя и трагически воспринимаемую, будет особенно волновать Векселля на рубеже 50—60-х годов в его лирике и философской трагедии «Даниэль Юрт».

Одной из основных задач Снельмана являлось развенчание теоретических основ той литературы, которая изображала жизнь патриархального крестьянства как идеальное в своей неподвижности бытие. На словах защитники патриархального уклада не отрицали исторического развития. Само слово «развитие» стало своего рода модой, которой вынуждены были платить невольную дань люди далеко не прогрессивных убеждений. Под так называемым «естественным» развитием они, однако, понимали лишь необходимость как-то «развивать» уже существующие феодальные институты, которые в действительности не оставляли никакого простора для социального прогресса. За этим скрывалось стремление упрочить феодальные устои, доказать их жизнеспособность. В своей ненависти к иным, более прогрессивным формам общественного бытия, финляндские консерваторы начисто зачеркивали историческое значение эпохи Просвещения и Французской революции. А. Лаурель, например, заявил, что вся эпоха буржуазного развития Европы была «нестественной», антиисторической. Соответственно этому единственно «естественным» объявлялось только искусство, которое изображало жизнь в состоянии абсолютного покоя.

Снельман, взгляды которого в 40-е годы были пронизаны историческим оптимизмом, верой в общественный прогресс, считал такую поэзию ложной и противоестественной именно потому, что в основе ее лежало отрицание исторического развития. «Если бы ученый экономист, — писал он, — выступил против торговли и промышленности под тем предлогом, что они порождают новые потребности, и стал превозносить пастушескую жизнь как самое блаженное состояние человечества, его посчитали бы за умалишенного»<sup>2</sup>.

В задачу искусства, по мнению Снельмана, как раз и входило художественное отображение исторического процесса, «работы истории». Правда, Снельман объяснял исторический про-

<sup>1</sup> Там же, стр. 977.

<sup>2</sup> Там же, т. IV, стр. 535—536.



цесс идеалистически, как следствие саморазвития мирового духа. Но сильной стороной этой объективно-идеалистической концепции было то, что история понималась именно как процесс, как непрерывное отрицание изживших себя общественных форм. Только таким образом понятая действительность могла, по мнению Снельмана, являться предметом подлинного искусства. В полемике с Рунебергом он утверждал, что простое подражание «природе» еще не есть искусство. Художник обязан отыскать в природе «ее дух», то есть постичь смысл изображаемого, увидеть жизнь в движении, в ее наиболее существенных проявлениях.

В данной связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что, хотя Рунеберг постоянно звал к примирению и возводил это в эстетический принцип, Снельман считал возможным говорить именно о нежелании Рунеберга примириться с действительностью. Более того, Снельман усмагивал здесь один из основных недостатков поэтического мышления Рунеберга и сам при этом заявлял, что поэт обязан примириться с действительностью, дабы примирить с нею своих современников.

Общеизвестно, что слово «примирение» стало ходячим термином идеалистической философии. Однако в данном случае, для понимания сущности идейных разногласий между Снельманом и Рунебергом, мы должны пристальнее приглядеться к тому, как интерпретировали Снельман и Рунеберг «примирение» с действительностью. Дело в том, что Рунеберг и Снельман по-разному понимали действительность, а, следовательно, и примирение с нею.

Если Рунеберг относил все то, что подрывает феодальный миропорядок, к области небытия, если единственной реальностью для него был патриархальный уклад, в незыблемость которого он призывал уверовать других и с которым он вполне примирился сам, то, с точки зрения Снельмана, противоречия действительности, наличие антифеодальных тенденций внутри феодального общества, существование ряда стран, в которых феодализм был уже свергнут, но которые не избежали новых противоречий, — все это было не менее реальным, не менее действительным, чем патриархальный уклад в Финляндии. Более того, Снельману это представлялось наиболее важной стороной действительности, поскольку единственно разумным он считал ее развитие. В своей статье о поэме Рунеберга «Король Фьялар» (1844) Снельман обвинял поэта в равнодушии именно к этим «могучим стремлениям эпохи». В этом смысле Снельман не без основания утверждал, что Рунеберг не хотел «примириться» с действительностью, то есть отрицал закономерность новых явлений в ней. Когда же художника умиляет только патриархальность, а это Снельман расценивал как увлечение

«никчемной» стороной действительности, или когда художник, по примеру Рунеберга в «Короле Фьяларе», пытается найти в прошлом убежище от противоречий современности, то такое искусство не может правдиво отразить ни настоящего, ни прошлого. Как указывал Снельман, подлинный смысл и значение одного исторического периода познаются из последующих периодов, в свете бесконечного развития прошлого в будущее. В этом, по его словам, и состоит вечно живое в мировой истории. Правда, Снельман тут же сетовал на трудность определения точной грани между «объяснением» и «искажением» истории, но подлинный художник, добавлял он, и узнается по тому, сумеет ли он уловить здесь истину.

В рассуждениях Снельмана много неясного, не вполне отстоявшегося, и все же в них прослеживается одна общая мысль: большое искусство связано с величайшими вопросами поступательного развития человечества. Эта связь, по словам Снельмана, вытекает из самой природы прекрасного. Если поэту и дано нечто «божественное», писал Снельман, то это «божественное» таится и в самой действительности, это то, что живет и действует в современной поэту эпохе. «Именно эту работу истории должен символически изображать поэт; это единственный путь, не отступая от которого поэт может дать нам наслаждение прекрасным, ибо это примирение прекрасно»<sup>1</sup>. Иными словами, прекрасно «примирение» с диалектикой истории, а не бессмысленное отрицание ее.

Снельман ставил также вопрос о необходимости для художника предвидеть будущее, с тем чтобы он смог не только воспроизвести «картину волнений и борьбы эпохи»<sup>2</sup>, но и показать исход этой борьбы. Вновь прибегая к термину «примирение», Снельман указывал, что поэт «не сможет примирить борющиеся тенденции своего века, если он не продвинулся ни на шаг вперед от них, если он лишен божественного дара уже заранее увидеть их исторически примиренными»<sup>3</sup>. Очевидно, что такое «историческое примирение» противоречий эпохи мыслилось Снельманом, в отличие от Рунеберга, не просто как отказ от всякого общественного прогресса, во имя сохранения старого миропорядка, а как результат определенного сдвига в историческом развитии, что, по мнению Снельмана, должно было привести к исчезновению тех противоречий, которые были характерны для феодальной действительности. При этом Снельман, разумеется, не имел в виду революционного переустройства общества. «Историческое примирение» у него практически сводилось к либеральным реформам компромиссного порядка, но и в этом было

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman, *Samlade arbeten*, VII, s. 39.

<sup>2</sup> Там же, стр. 36.

<sup>3</sup> Там же, стр. 37.



уже нечто отличное от назойливых призывов Рунеберга и ему подобных законсервировать патриархальный уклад.

Своеобразие терминологии, которой пользовались в Финляндии 40-х годов, при недостаточном внимании исследователя к тому, какой смысл вкладывался в тот или иной термин, может привести к неправомёрным выводам. Например, высказывание Рунеберга о том, что поэзия должна не приукрашивать «природу», а находить прекрасное в ней самой, некоторые финляндские литературоведы рассматривают как довод в пользу реалистической устремленности рунеберговской эстетики. Но все дело в том, что у Рунеберга отыскивание прекрасного в «природе» сводилось к любовному выписыванию мелких деталей патриархального быта, а это еще не реализм.

Снельман весьма нелестно отзывался о тех литераторах, под пером которых «каждая понюшка табаку» превращалась в поэзию, для которых вся патриархальная действительность была не чем иным, как сплошной поэзией. Снельман считал это бездумным, обывательским взглядом на литературу. Отстаивая искусство, которое возвышалось бы над убожеством финляндской действительности и носило в себе идеал более совершенного общественного бытия, Снельман пришел к утверждению, что прекрасное в искусстве является мерилom прекрасного в природе и что истинное искусство — это не рабское подражание природе, а ее «идеализация». Хотя эти положения были в немалой степени связаны с идеализмом Снельмана, но нельзя не видеть и того, что в них заключалось также нечто положительное, поскольку это была попытка обосновать право и обязанность искусства говорить о несовершенстве окружающей действительности. И кто внимательно прочтет повести и рассказы Снельмана, тот не может не заметить авторского стремления осуществить эту попытку и в области художественной практики.

Еще до издания «Саймы», а затем на ее страницах Снельман публиковал повести и рассказы, в которых проявились его антифеодалные настроения. Он подчеркивал мысль о нелепости законов сословного общества, о противоестественности его моральных норм, являвшихся зачастую причиной человеческих трагедий. В рассказе «В Финляндию приехал доктор» излагается история влюбленных, счастье которых разбивается о сословные предрассудки родителей. В рассказе «Гибель» богатый дворянин безнаказанно обольстил красавицу швею, а когда узнал о ее падении и самоубийстве, то отделался веселой шуткой, еще более укрепившей в нем чувство собственного достоинства.

В своих небольших рассказах Снельман, как никто другой в Финляндии 40-х годов, сумел подметить социальные процессы, подчас лишь едва пробывавшиеся на поверхности, но тем

не менее характерные для дореформенной финляндской действительности. В отличие от Рунеберга, который и в своей поэзии и в своих прозаических произведениях с умилением воспевал патриархальную Финляндию, Снельман пытался показать, как патриархальные отношения постепенно разрушались, как мало-помалу изменялись ветхозаветные обычаи и нравы, как неумолима была поступь «нового времени» — эпохи капитализма.

В рассказе «Сельская девушка» (1846) Снельман описывает традиционную ярмарку в городе, на которую обычно съезжались помещики и крестьяне окрестных деревень и хуторов. Раньше, говорит автор, тяжелые на подъем сельские домоседы встречали друг друга на ярмарке троекратными лобызаниями и прочими нежностями, чего нет теперь, когда на торговых площадях царит деловая атмосфера. И только легкомысленные городские обыватели полагают, что ярмарка — это удобный случай купить дешевых кренделей. Правда, продолжает Снельман, все еще сохраняется традиционный обычай отмечать ярмарку особым балом. Столичное «общество» считает признаком дурного тона, чтобы на этот бал являлись городские мещанки. «Но ярмарочная неделя, — подчеркивает Снельман, — это время для торговых сделок, и утонченный вкус, как правило, приносится в жертву более деловым интересам». Таким образом, проза жизни, материальные расчеты оказываются сильнее сословных предрассудков. Автор нарочито дает и любовную завязку в самом прозаическом плане. Нерасторопный крестьянин наезжает в сугроб, сани опрокидываются, дочка возницы Августа, героиня рассказа, падает в снег, а проезжающий мимо магистр поднимает ее. Усадив Августу в сани, застенчивый молодой человек исчезает. Пораженный ее миловидностью, он надеется увидеться с нею вновь.

Мечтательная Августа совершенно иначе представляла себе свое первое знакомство с настоящим городским баринном. Ей втайне хотелось, чтобы на обратном пути из города на нее напали разбойники и чтобы ее спаситель, все тот же робкий магистр, явился на сей раз в облике романтического героя. Но эти мечтания Августы сразу же блекнут, когда отец справляется у нее, не выпал ли из саней какой-то сундучок. «Если душа твоя парит в облаках, — замечает Снельман, — то подобные вопросы падают на тебя, точно картофелина в пенное шампанское».

Августа так и не встретила больше магистра. Не интересуясь любовной интригой, Снельман останавливается лишь на том, чтобы высмеять духовное убожество столичного общества. Офицеры, чиновники и их жены ведут пустопорожние разговоры о погоде, а бедная Августа никак не может понять, в чем заключается премудрость светских любезностей и почему эти



«образованные» люди зачастую говорят обратное тому, что они говорили минутой раньше.

К 1846 году относится также рассказ Снельмана «Узник», в котором описывается судьба разорившегося крестьянина. Сельский ростовщик сумел опутать торпаря Хейкки долговой кабалой. Чтобы спасти свою семью от голодной смерти, Хейкки готов платить ростовщику огромные проценты. Ростовщик услужливо вносит за крестьянина казенную подать и собирает долговые расписки с целью овладеть затем крестьянским хозяйством. Ростовщику помогает уездный писарь. Хотя Хейкки и не силен в знании законов, он все же надеется найти защиту у правосудия. Но его жалоба губернским властям оказывается бесполезной. «Бедняге Хейкки, — пишет автор, — довелось наконец убедиться в том, что он поклонялся ложным идолам, полагая, будто закон и высокопоставленные чиновники существуют именно для того, чтобы помогать беднякам избавляться от нужды и притеснений». С целью ускорить разорение Хейкки, ростовщик злоумышленно отравил его посевы. Поймав ростовщика на месте преступления, Хейкки учинил над ним расправу и убил его.

Эту крестьянскую трагедию рассказчик услышал от жены торпаря, встретив ее у ворот тюрьмы, куда был брошен Хейкки. Сочувствуя тяжелой доле крестьян, Снельман, однако, в конце рассказа утверждает, что единственный выход заключается в мирном просвещении социальных низов, чтобы посвятить их в сущность общественного строя и научить добиваться правды не путем самоуправства, а средствами «законного» правосудия. Снельман писал: «В то время как тысячи людей истекают кровью, а миллионы других страдают от нищеты, у нас все еще говорят об опасности более широкого просвещения для этих людей! Но нельзя отрицать, что защитой, обеспечиваемой законом и общественной организацией, прежде всего могут воспользоваться люди просвещенные и что от нужды и преступлений их оградит только более широкое просвещение, каким бы половинчатым и недостаточным оно ни было с точки зрения высших потребностей человечества».

Хотя у Снельмана и нет точного определения его принципа «идеализации природы», можно было бы привести целый ряд его высказываний, которые позволяют думать, что искусство «идеализации» означало для него искусство, богатое обобщающими идеями, рассчитанное на людей мыслящих и противостоящее обывательскому восхвалению всего и вся. Существенно и то, что, выдвигая тезис «идеализации природы», Снельман тут же выступал с недвусмысленной критикой идиллической поэзии. Если многие финнофилы обольщались идиллическим направлением финляндской литературы, видя в этом ее преимущество перед литературами других народов, то Снельман заявлял, что

идиллия вовсе не является высоким родом поэзии, тем более в новую эпоху, с ее усложнившейся общественной жизнью, столь далекой от идиллического спокойствия и эпической уравновешенности. Это была эпоха совершенно иного накала, и ее напряженному характеру соответствовала драма, а не идиллия. Именно в драматической поэзии, писал Снельман, «нуждается наше время, дабы она выразила его могучие стремления»<sup>1</sup>.

Значительное место в общественно-литературной полемике в Финляндии 40-х годов занимал вопрос об отношении искусства к политике. Защитники консервативных верований пытались всячески утвердить тезис о непричастности так называемой «истинной» поэзии к социально-политическим движениям эпохи. Само слово «политика» упоминалось ими не иначе как с презрением. Рунеберг, например, заявлял: «Всю мою жизнь я старался держаться как можно дальше от политики»<sup>2</sup>. Ему вторил Топелиус, который, определяя желательное направление всей журнальной литературы Финляндии, выдвинул следующее требование: «От политики и партийных распрей нам следует отказаться; то, что мы слышим об этом из других стран мира, не вызывает у нас охоты писать на подобные темы»<sup>3</sup>. В собственной газете «Гельсингфорс Тиднингар» Топелиус демонстративно подчеркивал, что она рассчитана на «читателя, неискушенного в политике»<sup>4</sup>. А когда Снельман собирался издавать для крестьянства газету на финском языке, Топелиус еще до ее выхода в свет предупреждал, что она должна быть проникнута духом религиозного назидания. С этих позиций финляндские консерваторы ополчились против прогрессивных литературных явлений. Подобные высказывания с достаточной ясностью свидетельствуют о том, что их авторы, даже при всей искренности своих намерений остаться вне политики, на деле поддерживали реакционный политический режим. И Снельман превосходно уловил эту связь между реакцией в литературе и реакцией в политике. В статье о «Короле Фьяларе» Снельман недвусмысленно указывал, что Рунеберг в своей поэме воспевал в качестве общественного идеала «такой покой и такое счастье, которые может дать только деспотизм»<sup>5</sup>. Поэзия Рунеберга была несозвучна передовым веяниям эпохи, она являлась специфическим продуктом застоя финляндской жизни, следовательно, не могла пользоваться сколько-нибудь значительным успехом в более развитых странах. Объясняя, почему произведения Рунеберга были довольно холодно встречены, в частности,

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VII, s. 10.

<sup>2</sup> L. Viljanen. Runeberg ja hänen runoutensa, II. Porvoo-Helsinki, 1948, s. 313.

<sup>3</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III, s. 73.

<sup>4</sup> Там же, стр. 120.

<sup>5</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VII, s. 47.



датским читателем, Снельман ссылаясь на то, что в 40-е годы «даже там (в Дании. — Э. К.) и тем более в Германии пора воздержания и долготерпения уходит уже в прошлое»<sup>1</sup>.

В отличие от Рунеберга и Топелиуса Снельман открыто провозглашал, что если под политикой понимать не мелкие, скоро преходящие партийные дрязги, а стремление целых народов к самостоятельности, свободе и прогрессу, то подлинно великое искусство всегда было связано с такой политикой. «С помощью многих веских аргументов, — писал Снельман, — пытались доказать, что политическая поэзия не способна возвыситься до той благородной красоты, которая требуется от произведения искусства, поскольку поэт в этом случае подчинен партийным страстям. Даже те, кого обычно причисляют к прогрессивно мыслящим людям на их родине (например, Фишер в Германии), предостерегали, чтобы искусство не сходило со своего высокого пьедестала, возвышающегося над всем случайным. Однако под этим, конечно, никак нельзя подразумевать партийную борьбу и политические устремления целой нации, целой эпохи. Ведь в противном случае пришлось бы утверждать, что «Илиада» Гомера, многие трагедии Шекспира и Шиллера, песни Тиртея и Кернера тоже относятся к произведениям, прелесть которых омрачается политическими тревогами их эпохи. Не подлежит сомнению, что свобода духа и права человека, независимость народов и их честь, самопожертвование во имя человечества и родины всегда составляли достойную тему для поэзии и поистине вдохновляли поэтов на создание прекраснейших творений»<sup>2</sup>.

Снельман требовал от искусства служения прогрессивным общественным идеалам. В этом направлении он истолковывал и проблему народности и национальности литературы. Понятие народности и народного духа (*folklynnet*) истолковывалось в Финляндии, как и в России, в различных значениях.

Народность в понимании консервативных финнофилов сводилась к идеализации отсталых сторон патриархально-крестьянской жизни. Религиозное терпение, духовная замкнутость, инертность и пассивность, отсутствие каких бы то ни было общественных интересов, — словом, весь идиотизм сельской жизни поднимался на щит в качестве высшей национальной добродетели.

Такую народность Снельман называл отрицательной народностью. Чем больше отстала нация в своем развитии, писал он, «тем хуже представляет она себе свою национальную жизнь»<sup>3</sup>. Снельман утверждал, что народность достигает своего полного развития лишь тогда, когда народ покончит с национальной замкнутостью и пассивностью, когда в широких слоях общества

<sup>1</sup> J. V. Snellman. *Samlade arbeten*, VII, s. 35.

<sup>2</sup> Там же, стр. 36.

<sup>3</sup> Там же, стр. 36.

пробудится сознание необходимости социального прогресса. Отсталость финляндской литературы Снельман объяснял как раз общей отсталостью всей финляндской жизни, политической инертностью социальных низов. Снельман довольно отчетливо понимал, что периоды расцвета искусства всегда были связаны с подъемом общественного сознания масс, что великий художник — это глашатай народных дум. По словам Снельмана, «милости двора никогда не порождают гениев; история дает много примеров тому, что гении появляются как выразители широких идейных движений народа, эпохи»<sup>1</sup>. Гениальная личность лишь более или менее четко выражает то, что еще смутно, но уже зреет в народном сознании.

Но, понимая, что слабость финляндской литературы была обусловлена общественным застоем в Финляндии, Снельман тем не менее был далек от того, чтобы усматривать в этом некую фаталистическую, односторонне-пассивную зависимость литературы от действительности. Этот взгляд был скорее присущ идейным противникам Снельмана. Некоторые финляндские литераторы пытались оправдать свой консерватизм тем, что они, дескать, не могли отразить более передовых веяний, поскольку их не было в самой финляндской действительности и поскольку общественность не ощущала никакой потребности в них. Практически это была проповедь бездействия. Более того, постоянно сетуя на пессимизм века, на то, что былая простота патриархальных нравов уходит в прошлое, такие писатели провозгласили целью искусства воспевание «светлых сторон» феодальной действительности, чтобы посредством искусственного оптимизма успокоить умы и утешить страждущих. Топелиус, например, писал: «Зачастую человеку нужен сущий пустяк, чтобы он почувствовал себя хорошо: звуки песни, несколько ударов в тамбурин помогают негру-рабу забыть о своих страданиях»<sup>2</sup>.

Снельман, развернувший страстную борьбу против этой «успокаивающей лжи» филистеров, борьбу за критическое направление в финляндской литературе и публицистике, настойчиво повторял, что долг писателя — не усыплять общество, а будить его, что он не должен угождать вкусам отсталого читателя, что при самых тяжелых условиях никто не освобождает писателя от его прямой обязанности просвещать своих соотечественников. Место поэта — на открытой площади. Песнь его должна излучать свет, привлекающий к себе взоры всей нации, призывающий ее к благородным помыслам и высоким деяниям. По словам Снельмана, «никто не в состоянии воспитывать свою нацию, свою эпоху лучше, чем поэт»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Там же, т. VIII, стр. 175—176.

<sup>2</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III, s. 94.

<sup>3</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VII, s. 39.



Поскольку история рассматривалась Снельманом как процесс неизбежного отмирания старых и зарождения новых общественных форм, то и литература, отражающая эту «работу истории», была, с его точки зрения, не чем иным, как процессом. Стало быть, в самой литературе должно было постоянно что-то исчезать и появляться что-то новое, ибо в противном случае она не соответствовала бы своей задаче — на каждом этапе исторического развития выражать «высшее сознание эпохи». Этот принцип историзма Снельман распространял как на литературу, так и на фольклор, что имело важное значение, ибо в Финляндии укоренилась сомнительная тенденция противопоставлять народную поэзию книжной. Сторонники такого противопоставления пытались опереться на некоторых зарубежных эстетиков, в частности, Гердера, известного в Финляндии еще с конца XVIII века. Гердером интересовался Портан, а Францен посвятил диссертацию гердеровским взглядам на так называемый «детский» период в истории человечества. Рунебергу гердеровские сборники фольклора разных народов служили основным источником в его переводческой деятельности.

Как известно, Гердер, борясь с немецкими эпигонами французского классицизма и метафизическими условностями их поэтики, стремился к художественному воссозданию исторических эпох и его усилия в этом направлении содействовали развитию исторического взгляда на культуру. Ратуя за сближение литературы с народной жизнью, Гердер подчеркивал огромную важность фольклора для художника и не случайно пытался, например, доказать, что в основе шекспировских пьес лежат народные баллады. В фольклоре Гердер находил могучее естественное чувство, не стесненное никакими правилами. Однако, отвергая рационалистическую поэтику классицистов, Гердер подчас высказывал спорные или, по крайней мере, такие положения, которые оставляли широкий простор для самых различных толкований. Одно из них сводилось к тому, что гердеровский «культ чувства» предполагал принижение роли разума в творческом процессе. Гердер не раз высказывался в том духе, что развитие логического мышления отрицательно влияет на силу художественного воображения. Отсюда вытекало внимание Гердера к «песням дикарей» (*Lieder der Wilden*), то есть к фольклору малоразвитых народов, к той естественной поэзии, которая зародилась в пору «детства» человечества и о превосходстве которой над «искусственной» книжной литературой так часто говорится у Гердера. Он, например, писал: «Чем дальше отстоит народ от искусственного, научного склада мыслей, языка и письма, тем менее его песни предназначены для бумаги, для того, чтобы стать мертвыми книжными виршами»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> J. G. Herder. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Von W. Dobbek. Weimar, 1955, S. 135.

Противопоставление чувства разуму, художественного воображения научному мышлению, фольклора книжной литературе — эти идеи, затем уже преломленные в духе шеллингианства и доведенные до логического абсурда некоторыми немецкими и шведскими романтиками, были подхвачены в Финляндии и использованы в борьбе против передовой литературы. При этом совершенно упускалось из виду, что взгляды самого Гердера на народную поэзию не исключали его антифеодальной оппозиционности; что он оставался просветителем, ненавидящим деспотизм и мракобесие церкви; что и в фольклоре он находил отзвуки народной мечты о свободе, мотивы социального протеста<sup>1</sup>.

«Калевала» многими в Финляндии также объявлялась исключительно идиллическим эпосом. Именно в таком смысле утверждал, например, Тенгстрём, что «Калевала», как апофеоз патриархальности и смирения, являлась всеобъемлющим выражением финского национального духа. Получалось, что больше выражать было уже нечего, для финнов все сосредоточилось в «Калевале», и финская литература, если она хотела оставаться «естественной» и верной народному духу, должна была чуждаться новых идей, «пагубно» отразившихся на развитии других литератур. В Финляндии много говорилось о том, что прогресс цивилизации разрушает искусство, что гибель патриархального уклада означает смерть народной поэзии.

Полемизируя с подобными взглядами, Снельман отстаивал мнение, что народный эпос, в том числе и «Калевала», является продуктом определенной исторической эпохи, которую он называл языческой. В «Калевале» отразилось народное сознание, каким оно было именно в эту древнюю эпоху, и, следовательно, «Калевалу», при всем ее поэтическом величии и при всем ее значении для развития национальной литературы, нельзя рассматривать как некий универсальный свод готовых ответов на те жгучие вопросы, которые встают перед народом в новые исторические эпохи и которыми обязана заниматься национальная литература. В этом смысле и следует понимать утверждение Снельмана о том, что древний эпос «выражает дух минувших поколений, а не ныне живущего народа»<sup>2</sup>. Снельман доказывал историческую несостоятельность всяких попыток искусственно культивировать эпос. Как бы его ни пропагандировали, писал Снельман, «все равно таким путем нельзя возродить древних народных певцов»<sup>3</sup>.

Однако тезис о невозможности возродить древний эпос вовсе

---

<sup>1</sup> Ср. одну из последних работ о Гердере: Н. Begenau. Grundzüge Aesthetik Herders. Weimar, 1956.

<sup>2</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III, s. 225.

<sup>3</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VII, s. 212.



не осмыслялся Снельманом таким образом, что это означало вообще гибель всякой народной поэзии. Правда, Снельман смутно подозревал, что существуют исторические условия, мало благоприятные для расцвета народного творчества, и он говорил о «непоэтических эпохах» в истории народов. Но он никак не мог примириться с мыслью, будто прогресс цивилизации в целом несет проклятие искусству, как это утверждали певцы патриархального уклада. Напряженно размышляя над судьбами народной поэзии в ходе исторического процесса, Снельман вплотную подошел к пониманию того, что при смене исторических эпох исчезает не фольклор как таковой, а лишь определенные его формы, которые были порождены предыдущей эпохой и вместе с ее уходом в историческое прошлое должны неизбежно уступить место другим формам, отражающим новую эпоху, жизнь народа в новых исторических условиях. Выражая свою уверенность в том, что поэтический гений народа никогда не может иссякнуть, Снельман писал: «Еще в былые времена случалось так, что эпоха, означавшая новую эру в истории человеческой культуры, оказывалась вместе с тем новой эпохой в развитии народной поэзии»<sup>1</sup>. В качестве примера Снельман ссылаясь на германские народы, которые, по его словам, имели как языческую, так и христианскую народную поэзию, причем под последней он разумел «народные книги», шванки, рыцарскую лирику и т. д.

Когда финнофилы сетовали на разрушительную роль цивилизации, то здесь, разумеется, имелась в виду прежде всего буржуазная цивилизация, угрожавшая патриархальному укладу. Снельман не мог не понимать, что ссылки на фольклор средневековья еще не являлись достаточным аргументом для того, чтобы доказать, что и в условиях вполне развитого буржуазного общества практически существуют сугубо своеобразные, характерные именно для этих условий виды поэтического творчества народа. В патриархальной Финляндии было, конечно, трудно найти ростки этого нового фольклора, в котором отражалось бы народное сознание в эпоху капитализма. И тем более любопытно, что в поисках этих ростков Снельман обратил внимание на творчество английских чартистов. Он склонен был видеть в чартистской поэзии не только своеобразное продолжение народно-поэтических традиций в условиях буржуазного общества, но и более широкое, исторически закономерное направление развития новой литературы в целом.

Историческую специфику этого нового искусства Снельман усматривал в том, что оно так или иначе должно быть связано с рабочими массами, с их повседневной жизнью и устремлениями. Возражая тем, кто отзывался о чартистской поэзии с высо-

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, VII, s. 142.

комерным пренебрежением и считал ее псевдоискусством, Снельман не без возмущения спрашивал: «Почему мужественная борьба рабочего против нищеты и угнетения, на которые обрекает его состояние современного общества, являлась бы менее поэтической темой, чем борьба республикански настроенного аристократа против деспотизма?»<sup>1</sup>

Хотя сочувствие Снельмана рабочему движению и носило весьма ограниченный характер, о чем будет сказано в дальнейшем, тем не менее именно это сочувствие позволяло ему, как никому другому в Финляндии 40-х годов, схватывать в некоторых общих чертах перспективу исторического развития, верить, хотя и по-своему, в справедливость народных движений и не терять при анализе литературных явлений чувства историзма.

Преодолевая консервативные фольклористические концепции, Снельман, таким образом, доказывал, что и фольклор должен развиваться, что поэтические памятники прошлого нельзя фетишизировать и противопоставлять их закономерному литературному процессу. Снельмана не оставляло сознание того, что идеализация прошлого грозит привести к реакционным выводам, к отрицанию прогресса, к защите несовершенной действительности. Об этом Снельман говорил еще в своих путевых заметках «Германия». В связи с намерениями немецких клерикалов достроить Кельнский собор, этот мрачный символ феодально-католической реакции, ставший тремя годами позже объектом блистательной сатиры Гейне в его «Зимней сказке», Снельман поднимал вопрос о том, как не следует понимать исторические традиции. «Прекрасно и похвально, — писал он, — что народ любит и почитает своих мертвых предков, с уважением и гордостью вспоминает их героические подвиги в дни войны и мира. Но если это преклонение перед их памятью превращается в культ, вследствие чего прошлому отдается предпочтение перед настоящим и будущим, это уже показывает, что годы возмужания у такого народа позади, ибо только старец находит наибольшую радость в минувшем, забывая и презирая настоящее. Еще хуже обстоит дело, если народ хочет возродить учреждения прошлого и своими заклинаниями вызвать его дух. Такое стремление доказывает его неспособность развивать дальше свое настоящее и создать себе новые формы, в которых проявлялся бы дух современности. В Германии многие явления последнего времени свидетельствуют об этом пристрастии к уже давно изжившим себя формам. В религии — тенденция к католицизму, правоверный пиетизм, мнимый возврат к ортодоксальному протестантизму. В политике за последнее время наблюдается та же тенденция к возрождению старых условий, и от буршей древне-

<sup>1</sup> Там же, т. VIII, стр. 60.



германизм перешел к монархам. Это проявляется и в изящных искусствах: в литературе — у романтиков, в живописи — в дюссельдорфской школе, в мюнхенской и берлинской архитектуре, равно как в забавах отдельных аристократов с их попытками возродить разбойничьи гнезда средневековья (феодалные замки. — Э. К.). Решение завершить строительство Кельнского собора тоже можно расценивать как следствие широко распространенного, хотя и не всеобщего, стремления немецкого народа закопать себя в могилы праотцев»<sup>1</sup>.

В полемике со своими финляндскими соотечественниками Снельман вновь подчеркивал, что при оценке исторического прошлого никогда не следует забывать главного, а именно: оно уже прошло, его не вернуть назад. Связь времен сводится не к повторению тождественных эпох, а к тому, что одна эпоха порождает другую, которая, являясь продуктом первой, в то же время означает дальнейший шаг вперед в развитии человечества.

Обращаясь к литературе, Снельман выдвигал задачу создания произведений широкого историко-литературного характера, в которых «объяснялось бы, почему предшествующая эпоха переходит в последующую»<sup>2</sup>. Ключ к решению этой проблемы Снельман усматривал в том, что изменения в литературе вызваны изменениями в социально-политической структуре общества. «Литература всех народов, — писал он, — поучительна, ибо замечаешь, что уровень цивилизации, проявляющийся в общественной истории каждой эпохи, и даже сама форма государства имеют свое соответствие также в национальной литературе и ее формах»<sup>3</sup>. Всего отчетливей это прослеживалось, по мнению Снельмана, на примере Франции. Напомним, что эта страна была в особой немилости у финляндских консерваторов. Она казалась им источником «порчи» цивилизации, рассадником вольнодумства. Правда, когда-то Снельман тоже питал некоторую неприязнь к французской культуре, однако в 40-е годы Франция все более и более представлялась ему страной с классической историей, ее народ — самым развитым в политическом отношении народом в Европе. Снельман писал: «Едва ли существует хоть одна область человеческого знания, в которой французы в разное время не выступили бы в качестве пионеров, несущих с собой пробуждение, просвещение и обновление»<sup>4</sup>.

Снельман высказал ряд весьма любопытных наблюдений над историей французской литературы. К ним относится, в частности, его оценка французского классицизма. В этом отношении Снель-

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, II, s. 57—58.

<sup>2</sup> Там же, т. VIII, стр. 156.

<sup>3</sup> Там же, стр. 157.

<sup>4</sup> Там же, стр. 171.

ман преодолел ту односторонность, которая была свойственна, скажем, Арвидссону, склонному причислять всю литературу классицизма к разряду «придворной» поэзии. К тому же Арвидссон никак не выделял литературы эпохи Просвещения. Снельман, напротив, проводил историческую грань между французскими классицистами XVII века и писателями-просветителями, причем он обосновывал такое разграничение историческими особенностями каждой из двух эпох.

Абсолютизм был на первых порах исторически прогрессивным явлением, поскольку он, как отмечал Снельман, содействовал уничтожению феодальной раздробленности. Не в пример Германии, Франция рано стала централизованным государством. Силы ее нации, указывал Снельман, «почти целиком объединились вокруг королевской власти, деспотизм которой не усугублялся могущественными вассалами»<sup>1</sup>. И то обстоятельство, что в произведениях крупнейших французских классицистов утверждалась идея сильной центральной власти, вовсе еще не позволяло считать эту литературу «придворной, антинациональной». Напротив, в ней, как утверждал Снельман, отразились интересы широких слоев нации, и, стало быть, произведения классицистов XVII века не переставали быть «продуктом народного сознания, хотя оно и не могло проявить себя иначе, как в форме абсолютистского государства»<sup>2</sup>.

Просвещение же являлось идейным течением эпохи упадка абсолютизма. Не вдаваясь в подробности, Снельман указывал, что идеология Просвещения была порождена теми же историческими причинами, которые привели Францию к буржуазной революции. Признавая известную генетическую связь между рационализмом XVII века и просветительским культом разума, Снельман тем не менее подчеркивал, что по своей идейной сущности Просвещение коренным образом отличалось от предшествующего классицизма, поскольку оно было направлено против абсолютистского режима. И тут уже не было никакого основания говорить о «придворном» характере философии и литературы Просвещения, которые, по выражению Снельмана «увлекали и волновали не дворы и салоны, а народы»<sup>3</sup>.

Хотя Снельман, на мировоззрении которого не могла не отразиться политическая отсталость его родины, был довольно далек от понимания подлинного антагонизма классовых противоречий в феодальном, а тем более в буржуазном обществе, все же у него были догадки относительно того, что разные эпохи в истории культуры каким-то образом связаны с определенными общественными классами. Выше уже упоминалось о взглядах

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 174.

<sup>2</sup> Там же, стр. 176.

<sup>3</sup> Там же.



Снельмана на чартистскую поэзию, о том, что он усматривал в ней признаки искусства новой эпохи. Снельман вновь вернулся к этому вопросу в полемике с Лаурелем, университетским теологом, о котором ходила молва, что он сперва потратил десять лет на изучение гегелевской философии, а затем десять лет отучивался от нее, убедившись в ее крамольности. Развенчивая утверждение Лауреля об «антиисторичности» эпохи капитализма, Снельман заявил, что Лаурель «совершенно не понял хода развития современной цивилизации»<sup>1</sup> и, считая единственно естественной только культуру феодального дворянства, попросту «проглядел» целый общественный класс — буржуазию. Этому классу, по словам Снельмана, пока что принадлежала решающая роль в политической, экономической и культурной жизни в передовых странах Европы. Однако, продолжал Снельман, за буржуазией «встает уже новый класс, представители рабочих, широких масс — как в литературе, так и во всех областях общественного развития. Современная цивилизация вступает в третий период, автор же (Лаурель. — Э. К.) по-прежнему признает лишь представителей первого периода, титулованных посетителей великосветских салонов и жалуемых ими литераторов»<sup>2</sup>.

Как видим, Снельман вполне ясно определял начало «третьего периода» в общественном и культурном развитии человечества выходом рабочего класса на историческую арену, широким размахом рабочего движения. Снельман придавал этому факту общемировое значение и не случайно оспаривал взгляд, будто чартизм, как движение рабочих, был лишь чисто английским явлением. Родственные чартизму движения, указывал он, существовали и в других странах — как в Европе, так и в Америке. Однако при оценке этих движений Снельман впадал в противоречия, неизбежные для буржуазного либерала.

Снельман понимал, что в рамках буржуазного общества невозможно никакое существенное изменение положения рабочих. Он издевался над близорукостью тех мелкобуржуазных идеологов, которые, не отказываясь от принципа частной собственности и свободы конкуренции, в то же время мечтали об имущественном равенстве. Принимая капиталистический способ производства, но отвергая его последствия, они, по выражению Снельмана, пребывали «в положении того волшебника, который своими заклинаниями вызвал страшные силы подземного царства, но затем забыл, как вновь избавиться от их тягостного присутствия»<sup>3</sup>.

Однако, понимая все это, Снельман и сам был не в силах отказаться от принципа частной собственности и поэтому гово-

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, IV, s. 429.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, т. I, стр. 819.

рил не о коренной ломке буржуазного общества, а лишь о том, чтобы как-то облегчить судьбу рабочих при капитализме. Не доверяя филантропическим чувствам капиталистов, Снельман допускал, что рабочие должны оказывать известное давление на своих хозяев. Исходя из этого, он в 40-е годы сочувствовал рабочему движению, но лишь в той мере, в какой оно представлялось ему мирнопросветительной самодеятельностью рабочих масс, их бескровной борьбой за свои политические и экономические права. Впоследствии, особенно в 70-е годы, когда Снельман убедился в том, что рабочее движение развивается в ином направлении и ставит своей целью свержение буржуазного порядка, он стал открытым врагом освободительной борьбы пролетариата.

Отсюда понятны и колебания Снельмана в его оценках литературных явлений. Ему были ближе те писатели, творчество которых содействовало борьбе против феодальной реакции. Он высоко отзывался не только о писателях эпохи Просвещения, но и о Беранже, называя его величайшим поэтом-песенником. Реакционным немецким романтикам Снельман противопоставлял литературную группу «Молодая Германия».

Но Снельман почти всегда высказывался с весьма существенными оговорками о писателях, лишенных оптимистического взгляда на буржуазное общество. В этом отношении заслуживают внимания его заметки о немецкой литературе кануна революции 1848 года (они были опубликованы в мае 1847 года). Снельман привел пространные выдержки из критических работ о немецкой литературе, появившихся в Германии и Франции. Затем он прокомментировал эти работы и высказал ряд общих замечаний о характере общественного и литературного развития Германии. Он отметил, что немецкая публика к тому времени уже потеряла вкус к абстрактно-умозрительному философствованию. На первый план выступили «практические вопросы» социально-политического переустройства Германии, которая, по словам Снельмана, все еще оставалась опорой феодализма. В связи с подъемом демократического движения появилось новое направление и в литературе. Его представители отвергли культ средневековья реакционных романтиков и обратились к жгучим проблемам современности.

В Германии, писал Снельман, появилась «политическая и социалистическая поэзия». Самым выдающимся ее представителем Снельман считал Гервега. Его творчество, как отмечалось в снельмановских заметках, получило «очень широкое признание с художественной точки зрения», то есть оно было искусством. Выше уже упоминалось, что еще в 1844 году Снельман полемизировал с теми, кто не хотел признать политическую поэзию за полноправное искусство. Он и теперь считал «политические и социалистические тенденции» в немецкой поэзии 40-х го-



дов закономерным следствием происшедших в Германии общественных сдвигов. Литература, писал он, неотделима от развития национальной жизни в целом. И поскольку «события эпохи» заставили немецкую нацию обратить свои взоры «от прошлого к настоящему», то это же направление избрала и литература. Так в ней появилась «тенденция».

И все же, в силу своих буржуазно-либеральных политических убеждений, Снельман не смог вполне оценить немецкую революционную поэзию 40-х годов. Он в какой-то мере сочувствовал ей, равно как и чартистской поэзии, но в то же время он заявлял как само собою разумеющееся, что в немецкой литературе того периода не могло появиться ничего особенно выдающегося в художественном отношении именно потому, что она слишком тесно была связана с общественной борьбой, непосредственно с «явлениями сегодняшнего дня». С точки зрения Снельмана, подлинный расцвет немецкой литературы мог наступить лишь после осуществления в Германии социальных преобразований буржуазно-демократического характера. Только тогда, по мнению Снельмана, появлялась возможность выразить идеал средствами искусства или, как говорил Фишер, только с возникновением «новых форм жизни» искусство приобретало свое содержание. И хотя Снельман не во всем соглашался с Фишером, тем не менее ими обоими руководило стремление как-то избежать решительной классовой борьбы, в связи с чем они недооценивали и порожденную ею поэзию.

Считая политическую «тенденцию» в немецкой литературе закономерной, Снельман, однако, распространял ее действие только на определенный период, пока не были достигнуты буржуазные реформы, а в дальнейшем необходимость в ней уже отпадала как в политическом, так и в эстетическом смысле. Она должна была содействовать победе буржуазного общества и зарождению такого искусства, которое обрело бы в этом обществе идеальное для себя содержание и уже не нуждалось бы ни в какой «тенденции»<sup>1</sup>.

Таким образом, если Рунеберг в начале 30-х годов противопоставлял смутно «предугадываемому» идеалу романтиков идеал, «обретенный» в финляндской патриархальной действительности, то, с точки зрения Снельмана, разлад между идеальным миром романтической мечты и миром реальным мог быть преодолен только в результате социальных реформ. Эти реформы по своей сущности не могли быть иными, кроме как буржуазными, но в то же время Снельман в 40-е годы еще верил, что с их помощью удастся как-то «демократизировать» буржуазное общество, к тому времени уже утвердившееся в передовых европейских странах.

---

<sup>1</sup> Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, 1847, s. 40.

Теперь обратимся к вопросу об отношении Снельмана к России и русской культуре.

Размышляя об историческом прогрессе и судьбах Финляндии, Снельман уделял внимание и славянским народам. Он сочувствовал их национально-освободительному движению и особенно обращал внимание на их усилия в создании своей национальной культуры. В 40-е годы он не раз отмечал успехи чешской, сербской, хорватской литератур и в этой связи выражал свою «безусловную уверенность в том, что славянская культура, особенно в области литературы, однажды встанет рядом с германской и романской культурой, а возможно, и превзойдет ее»<sup>1</sup>.

Считая плодотворным и необходимым использование культурных достижений других народов, Снельман в то же время утверждал, что каждый народ сам создает свои духовные ценности. «Богемия, этот рассадник музыки в Европе, — писал Снельман, — является славянской страной, и кто знает о любви и наклонностях простого русского народа к музыке, тот, вероятно, не поставит музыкальность чехов в заслугу немецкой культуре»<sup>2</sup>. В этих словах, по-видимому, заключена скрытая полемика Снельмана с теми, кто относил славян к числу «неполноценных» народов по сравнению с германцами.

Публицистическая деятельность Снельмана в сороковые годы не особенно импонировала Гроту, и еще менее Плетневу, который относил издателя «Саймы», как и Белинского, к числу «безнравственных литераторов».

Среди финляндских знакомых Грота Снельман занимал особое положение. В печати о нем Грот упомянул только один раз — в путевых записках «Переезды по Финляндии», вышедших отдельной книгой в 1847 году. Описывая свое посещение Куопио, Грот рассказывал: «Здесь издаются две газеты: одна на шведском языке, другая, для простого народа, на финском. Первая, под заглавием «Сайма», читается едва ли не более всех других финляндских газет, имея сот восемь подписчиков. Редактор ее, г-н Снельман, ректор здешнего училища, — писатель с большим талантом; он не только в Финляндии, но и за границу приобрел известность в разных родах литературы»<sup>3</sup>.

Когда книга Грота вышла из печати, «Сайма» к тому времени была уже запрещена. Снельман давно был известен как человек либеральных убеждений, за что подвергался преследованиям. Зная об этом, Грот еще в 1840 году записал в «Практическом журнале гельсингфорсского жителя»: «Снельман, признаваемый всеми за человека с большими дарованиями, выслан

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, IV, s. 232.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 212.

<sup>3</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 358.



тайным образом на два года. Поводом к тому было следующее»<sup>1</sup>, — и далее Грот излагал конфликт в университете, в результате которого Снельман был вынужден временно эмигрировать в Швецию.

Грот был знаком с сочинениями Снельмана; в письме от 21 июля он, например, упоминает, что «читал очень любопытную шведскую книгу»<sup>2</sup>, имея в виду путевые заметки Снельмана о Германии, в которых действительно содержались интересные мысли, в частности, о путях развития немецкой философии.

«Сайма» начала выходить в январе 1844 года, а в марте Грот уже информировал Плетнева о ней и ее издателя: «Он, будучи умен, учен, но вместе и самонадеян, жестоко напал на все другие финляндские газеты, трактуя их с презрением, как добреньких, но глупеньких тварей. Вероятно, он думал, что все они . . . в прах повергнутся перед ним, но они преисправно огрызаются как между собою, так и против него. Впрочем, «Сайма» в самом деле самый лучший из здешних листков, часто содержит в себе общезанимательные статейки, особливо по предметам, касающимся прямо Финляндии, и старается доказать, что прошла пора господства шведского духа в этом крае и теперь должен развиваться быть во всех направлениях национальный дух с национальным языком. С некоторого времени это сделалось песнею всех здешних газетчиков»<sup>3</sup>.

Хотя Грот и рекомендовал «Сайму» как лучшую в Финляндии газету, однако к новому подъему финского национального движения Плетнев отнесся весьма настороженно и на цитированное выше письмо отвечал следующим образом: «Я очень хорошо знаю Снельмана как по твоим рассказам, так и по рассказам Мермана. Как-то принято будет нами это антишведство? Ужели оно заменено будет финством? Нет, уж не воцарится ли тогда россиянство?»<sup>4</sup> Здесь «нами» означало: русским правительством, позицией которого в финляндском вопросе интересовался Плетнев. Разъясняя официальную точку зрения, Грот 18 марта 1844 года писал: «Для постепенного искоренения шведства ничто не может быть благоприятнее утверждения финства, впредь до дальнейшего развития вещей в творческом лоне времени. Так мыслит само правительство и не без цели споспешествует успехам финского языка, покровительствует здешнему литературному обществу и т. п.»<sup>5</sup>

Русское правительство действительно было заинтересовано в ослаблении шведского влияния в Финляндии. Оно не могло

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 1, д. 37, л. 6.

<sup>2</sup> Переписка, т. I, стр. 570.

<sup>3</sup> Там же, т. II, стр. 205.

<sup>4</sup> Там же, стр. 209.

<sup>5</sup> Там же, стр. 210.

не считаться с реваншистскими настроениями в Швеции, которые уже в ту пору находили поддержку со стороны английских кругов.

Вот почему русское правительство не препятствовало национальным устремлениям финнов в этот период, поскольку они не выходили за рамки дозволенного. Ценой незначительных уступок, касавшихся преимущественно финской филологии, самодержавие пыталось установить опеку над финским национальным движением. В университете была учреждена должность лектора финского языка, выходили некоторые финноязычные газеты, было основано Финское литературное общество, издававшее ежегодник «Суоми», печатались фольклорные памятники, финские грамматики и, наконец, в 1850 году при университете была создана особая кафедра финского языка и литературы. Вместе с тем почти одновременно были приняты и ограничительные меры по распространению политической литературы. В том же, 1850 году был издан цензурный закон, позволявший печатать на финском языке лишь книги экономического и религиозного содержания.

Таково было, выражаясь словами Грота, «дальнейшее развитие вещей в творческом лоне времени». Примечательно, что вскоре после того, как Грот разъяснил в письме к Плетневу, что правительство сознательно поддерживает «финство» в целях борьбы со «шведством», Снельман в письме к Тенгстрёму говорил примерно то же самое, но с той разницей, что для него уже тогда было ясно, что эта правительственная поддержка «фенномании» была явлением временным. «Ясно, что фенномания теперь пользуется сочувствием сверху, — писал Снельман. — Может, однако, настать время, и оно настанет, когда дело будет обстоять иначе. Сочувствие основано на расчете. Но политика всегда ошибается, если она исходит из того, что можно произвольно управлять духом нации, уже допустив ее пробуждение»<sup>1</sup>. Этот политический расчет царизма Снельман призывал безотлагательно использовать в интересах финского национального движения с тем, чтобы к тому времени, когда царизм спохватится и попытается подавить это движение, оно было уже достаточно сильным и способным выдержать этот натиск.

М. Кастрену Снельман писал о «двух силах», противостоявших финскому национальному движению: с одной стороны, «шведство», то есть национальный гнет шведского дворянства и чиновничьей бюрократии; с другой — верховная власть русского самодержавия. Учитывая, что между этими «силами» были некоторые трения, вследствие чего они не полностью «совпадали», Снельман писал: «Теперь для нас счастье в несчастье, что национальное сознание финского народа угнетается прежде всего другой

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 309.



силой, а не той, которая подавляет нашу государственную независимость. Если бы вместо этих двух сил была одна, то и тогда не оставалось бы иного выхода, кроме как проиграть или выиграть, то есть рискнуть. Однако чуждая нам культура («шведство». — Э. К.) имеет иное происхождение, и ясно, что борьба с нею составляет исключительную обязанность литературы»<sup>1</sup>.

Отметим также, что в отличие от Арвидссона, который в свое время обращался с кличем «национального пробуждения» ко всем «соотечественникам» вообще, независимо от сословий, пропаганда Снельмана уже имела более конкретный социальный адрес. Дворянство он считал сословием антипатриотическим, оно, по его словам, пресмыкалось перед царизмом и угнетало народную массу. Истинные патриоты должны были выйти из народа, а в понятие «народ» Снельман включал национальную буржуазию и крестьянство. В повести «Любовь и любовь», опубликованной в 1842 году в Швеции, Снельман устами одного из ее героев заявил: «Что нам толку в оппозиционности дворянства? Дай им каждому по камергерскому ключу, и они будут довольны. Нет, бюргеру и крестьянину — вот кому следует помочь осознать свое значение . . . Газета, ставящая перед собой исключительно такую цель, должна иметь успех».

Такой газетой и стала «Сайма», пропагандировавшая необходимость реформ буржуазного характера.

Повесть «Любовь и любовь» была в 1845 году напечатана в «Финском вестнике». Возможно, что Дершау обращался с просьбой о сотрудничестве не только к Рунебергу, но и к Снельману. Во всяком случае Дершау пытался установить с ним практическую связь. Грот, ссылаясь на беседу с профессором Гельсингфорского университета Гейтлиным, сообщает Плетневу в письме от 4 мая 1846 г., что Дершау хотел поместить в «Сайме», газете Снельмана, «бранную статью» на С. И. Барановского, преподавателя русского языка в Гельсингфорсском университете, с которым у издателя «Финского вестника» была полемика. Как явствует из письма Грота, статья была уже набрана в «Сайме», но была задержана и запрещена цензурой<sup>2</sup>. Проезжая вскоре через Куопио, где Снельман был ректором местной гимназии и издавал «Сайму», Грот имел с ним беседу, в которой речь шла и о Дершау. «Я объяснил Снельману, что за журнал «Финский вестник» и его издатель. Он этого и не подозревал»<sup>3</sup>. Плетнев был благодарен Гроту. Уже давно он просил его при каждом удобном случае внушать финнам правильный, с его точки зрения, взгляд на различные направления в русской литературе и журналистике. На письмо Грота он отвечал: «Хорошо,

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 117.

<sup>2</sup> Переписка, т. II, стр. 753.

<sup>3</sup> Там же, стр. 781.

что теперь Снельман сколько-нибудь знаком с фамилиею и доблестями баронов «Финского вестника». Этого только и желал я, когда советовал тебе ввести в ясность понятий Рунеберга, Снельмана и других финляндцев с талантами»<sup>1</sup>. Плетнев изъявлял готовность присылать Снельману «Современник», надеясь, видимо, обрести в нем когда-нибудь единомышленника, тем более, что его внимание привлекла повесть «Любовь и любовь».

Основной ее герой, учитель Магнус, наделен чувствительным сердцем и большой наблюдательностью. Сознывая незначительность и бесперспективность собственного своего положения в словесном обществе, Магнус сочувствует горестям бедняков, он не прочь пофилософствовать о неустроенности жизни, о печальных ее сторонах. В отличие от многих героев Рунеберга, Магнус не находит утешения в религии. Напротив, он иронизирует над церковью, чьи служители усыпляют бедняков обещаниями райского блаженства в загробном мире. Магнус рассказывает историю такого же, как он сам, бедного учителя, который после тридцати лет работы в школе был удостоен особой милости и назначен пастором в церковный приход. Рассматривая это как подачку, за которую нужно пожертвовать своими убеждениями, Магнус рассуждает: «Если вконец отощавшим беднякам обещают округлые формы лишь на том свете, школьному учителю, видимо, хотя бы внушить, что он из числа тех достопочтенных особ, коим надлежит явиться в рай уже в исправном виде, и, стало быть, их надобно заранее ставить на откорм, вследствие чего и учителя допускают к бочке с маслом. Но увы! к тому времени зубы у него уже никуда не годны, потому что они не привыкли что-либо жевать, а посему учителю приходится по-прежнему довольствоваться только духовной пищей, тогда как откормленный пастор может с истинным усердием утешать своих братьев велеречивыми проповедями о грядущей благодати для нищих и голодных».

Не лишенный критического взгляда на окружающую действительность, Магнус остается, однако, бездействующим созерцателем, старается найти свое счастье в семейных радостях. Правда, Снельман, иронизируя над мещанским бытом, на примере двух других героев, Фредерика и Мерты, хочет показать, что интересы человека не могут ограничиваться исключительно кругом семьи, но какими должны быть его общественные интересы в их конкретном проявлении, этого автор не может сказать. Повесть завершается весьма идиллической картиной. Магнус нашел себе подругу жизни, с которой он вполне счастлив; Фредерик, когда-то покинувший Мерту, теперь возвращается к ней, после того как они оба уже испытали губительные последствия своих эгоистических поступков.

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 786.



В русском переводе повесть Снельмана появилась с некоторыми изъятиями, по-видимому, цензурного характера. Были сняты рассуждения Магнуса о революции 1830 года во Франции, выпады против религии и духовенства, а также слова о том, что именно бюргеру и крестьянину нужно помочь осознать свое значение. В таком препарированном виде повесть понравилась Плетневу. «Он презамечательный талант, — писал Плетнев Гроту о ее авторе. — Вот бы какие повести выбирать для «Современника» Лундалю! Передай ему это замечание. А Снельмана я желал бы сблизить как-нибудь с нами, если он не вепрь»<sup>1</sup>. Эта восторженность Плетнева побудила Грота в первом же письме предупредить его относительно Снельмана: «не пиши о нем ничего, пока не поговоришь со мной; тут есть особые обстоятельства»<sup>2</sup>. Грот, видимо, намекал на то, что Плетнев принимал Снельмана не совсем за того человека, каким он был на самом деле. Власти подозрительно относились к Снельману, и его имя должно было остаться своеобразным табу для «Современника». После предупреждения Грота Плетнев спрашивал: «Снельман — уж не похож ли на Альмквиста или (хоть пониже) на Сенковского, что влезает всем в душу, помышляя совсем о другом?»<sup>3</sup> Грот разъяснял Плетневу, что Снельман «слишком резко судит о людях и вещах, касаясь иногда и того, о чем бы лучше было промолчать. Он слишком проповедует свободу мыслей, а за ним пустились и другие молодые газетчики. Цензура часто получает выговоры. Снельман позволяет себе даже говорить напрямик о стеснении цензуры»<sup>4</sup>. Этого было достаточно для Плетнева, чтобы заявить: «Снельман (как я угадал) безнравственный литератор, приобретающий за свой талант только деньги»<sup>5</sup>. А когда Грот сообщил, что в связи с запрещением «Саймы» Лённрот исходатайствовал разрешение издавать новую газету, чтобы «дать приют статьям Снельмана»<sup>6</sup>, Плетнев в недоумении спрашивал: «Разве Лённрот разделяет образ мыслей Снельмана? Или он любит его просто как умного писателя?»<sup>7</sup> Впрочем, Плетнев, признававший талантливость Снельмана, не терял надежды на его «исправление», полагая, что «в достойном обществе из него мог бы выйти презамечательный писатель для Севера»<sup>8</sup>. Но эта допускаемая Плетневым возможность не сулила Снельману особой славы. Некоторое поправление его взглядов со временем действительно наступило,

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 478. (Лундаль — переводчик ряда произведений русской литературы на шведский язык.)

<sup>2</sup> Там же, стр. 481.

<sup>3</sup> Там же, стр. 603.

<sup>4</sup> Там же, стр. 619.

<sup>5</sup> Там же, стр. 621.

<sup>6</sup> Там же, т. III, стр. 4.

<sup>7</sup> Там же, стр. 9.

<sup>8</sup> Там же, стр. 69.

однако вместе с тем практически пришел и конец его литературной деятельности. В данном случае Плетнев так же ошибся в своем предсказании, как и в оценке «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, когда заявил в письме к Гроту, что «с этой книги в Европе станут вести летосчисление появления в мире русской литературы»<sup>1</sup>.

В 60-е годы, когда Финляндия вступила на путь буржуазных реформ, Снельман почти целиком отдался практической политической деятельности. Он стал сотрудничать с правительством и, войдя в сенат, получил пост управляющего финляндскими финансами. Вместе с тем исчерпала себя его политическая оппозиционность. Правда, и в этот период он не был ретроградом. Давно ратуя за буржуазные реформы, он теперь содействовал проведению их в жизнь. Но это был уже трезвый буржуа-практик, гораздо более умеренный, чем прежде. Теперь он уже не советовал своим соотечественникам, как в 40-е годы: «Время идет влево — следуйте за ним, ибо оно ведет вперед»<sup>2</sup>. Нет, теперь он все более осознавал, что интересы его класса требуют отказаться от честных раздумий над судьбами народных низов. Дальнейший сдвиг вправо во взглядах Снельмана произошел в 70-е годы, после Парижской коммуны, показавшей, какую грозную опасность представляет собой рабочее движение для господства буржуазии. Поправлению Снельмана не помешало и то обстоятельство, что самодержавие, почувствовав достаточно твердую почву под ногами, стало теснить либералов, вследствие чего и Снельман оказался удаленным из сената. Словно забыв о своей прежней критике тех обскурантов, которые считали просвещение простого народа величайшей опасностью, Снельман теперь сам не стеснялся публично заявлять, что в образовании нуждается только буржуа, а нищим оно ни к чему. Снельман никогда не одобрял социалистических учений, посягавших на право частной собственности, но если в 40-е годы они казались ему недостойными его внимания, то в конце своей жизни он уже высказывался в том духе, что рабочие осуждены на прозябание самой историей и что следует серьезно подумать над тем, как более эффективно бороться с социалистами, причем в этой борьбе буржуазия, по мнению Снельмана, могла рассчитывать на поддержку мелкобуржуазной стихии крестьян-собственников. Политический инстинкт Снельмана приобрел откровенно классовый привкус, и дело не только в отдельных глубоко антидемократических его высказываниях этого времени, но и в том, что если ранее его мысль, несмотря на всю ее либеральную робость, была все же направлена вперед, в историческое будущее, то теперь она оказалась полностью парализованной страхом перед

<sup>1</sup> Там же, т. II, стр. 860.

<sup>2</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, XII, s. 355.



грядущим. Восторги Снельмана по поводу достигнутых пореформенной Финляндией экономических успехов были уже не проявлением исторического оптимизма в подлинном смысле слова, а благодушием человека, для которого борьба уже позади и который уверовал, будто буржуазный строй является пределом общественного развития. Это в сущности означало уже духовную смерть Снельмана, а вместе с тем и начало кризиса буржуазного либерализма в Финляндии.

Однако, памятуя об ограниченности мировоззрения Снельмана уже в 40-е годы и тем более о его дальнейшей идейной эволюции, нельзя забывать и его заслуг. Например, без учета его литературно-критической деятельности попросту невозможно понять ход литературного процесса в Финляндии первой половины XIX века, равно как трудно объяснить, в результате развития каких традиций в финляндской литературе 50—60-х годов могли возникнуть такие явления, как, скажем, творчество Векселля и Киви, а в известной мере и исторический роман Топелиуса.

Взгляды Снельмана на литературу, в особенности его утверждения о том, что художник должен познавать жизнь в ее развитии, в свете передовых идей своего времени, что литература в целом есть художественное отражение исторического процесса, что большое искусство всегда связано с народом, выражает его думы и вместе с тем просвещает его, — все это было поистине отрезвляющим по сравнению с той религиозно-филистерской заумью, которая сплошь и рядом выдавалась в Финляндии за эстетику.

Снельман был далеко не во всем оригинален. Он опирался на достижения европейской мысли, а также был многим обязан своим финляндским предшественникам (Ютейни, Готлунду, Арвидссону), которые в первой трети XIX века выступали с идеей национального пробуждения и просвещения народа, связывая это с задачей создания национальной литературы. Однако Снельман, уже в новых условиях, поставил эти проблемы с гораздо большей теоретической глубиной, его деятельность получила более широкий общественный резонанс. У Снельмана появились союзники, поддерживавшие его гласно и негласно, причем снельмановские газеты были именно тем духовным центром, к которому тянулись, правда, еще очень немногочисленные, но постепенно пробуждавшиеся оппозиционные силы Финляндии 40-х годов.

Естественно, что идейное наследие Снельмана, крупнейшего деятеля «национального пробуждения», привлекало к себе внимание различных общественных кругов Финляндии.

Первым крупным исследованием о нем явилась уже упоминавшаяся монография Т. Рейна<sup>1</sup>, первое издание которой вышло

---

<sup>1</sup> Th. Rein. J. V. Snellman, I—II. Helsingfors, 1895—1901.

в двух объемистых томах более полувека тому назад и которая затем неоднократно переиздавалась, в том числе и в сокращенном русском переводе. В последующие десятилетия Снельману посвящались в Финляндии новые книги и статьи, хотя можно отметить, что в целом литература о нем не так обширна, как о его современнике Рунеберге.

Приходится только удивляться закоренелости той традиции, в силу которой литературно-критическая деятельность Снельмана, в сущности, исключается из общих курсов истории финляндской литературы, изданных на его родине. Но если буржуазная академическая наука и находит идейное наследие Снельмана не столь привлекательным объектом для исследования, как творчество Рунеберга, то это, быть может, отчасти потому, что споры вокруг Снельмана менее всего имели отвлеченно-академический характер; они почти всегда выносились в сферу политической жизни, приобретая особую остроту в переломные моменты финляндской истории.

Уже вскоре после буржуазных реформ, когда усложнились противоречия внутри финского национального движения, за Снельмана стали цепляться всевозможные консерваторы, абсолютизовавшие отдельные его позднейшие высказывания и видевшие в нем не пропагандиста передовых для своего времени идей, а человека, превыше всего ставившего трусливую осторожность. С другой стороны, о Снельмане вспоминали прогрессивные люди Финляндии, в их числе такие поэты, как Крамсу и Эркко. Они ценили в нем «будителя народа», издателя оппозиционной «Саймы», оставившей неизгладимый след в истории финляндской журналистики. Здесь, однако, необходимо указать на одно существенное обстоятельство, дабы не создалось ложного впечатления, будто названные поэты всецело вращались в кругу снельмановских идей, ни в чем не порывая с ними. Была, разумеется, определенная идейная преемственность, внешне повторялись даже некоторые призывы, и все же эти поэты выражали уже иные общественные устремления. Если Снельман увидел в половинчатых буржуазных реформах практическое воплощение своих идеалов, вследствие чего клич «пробуждения» уже сам по себе снимался с повестки дня, то Крамсу, напротив, с глубоким трагизмом отразил в своем творчестве разочарование народных масс в результатах реформ. В этом трагизме было куда больше гражданской честности, чем в узкоклассовом оптимизме преуспевших буржуа. Мрачные настроения Крамсу были порождены его болью за судьбу обездоленных, его тоской по широкому демократическому движению, способному противостоять реакции. И в то время, когда либералы благодушно говорили о пробуждении народа как о свершившемся факте, Крамсу вновь заявил, что народ спит, что нужно будить его. Как понимал поэт такое пробуждение, об



этом можно судить по его историческим балладам, в которых воспеты герои крестьянских восстаний.

В XX веке, особенно в периоды обострения классовой борьбы в Финляндии, имя Снельмана вновь и вновь появлялось на страницах финляндской печати. В 1906 году, то есть во время революционных событий, вышел специальный номер журнала «Валвоя»<sup>1</sup>, целиком посвященный Снельману в связи с его юбилеем. Напряженность обстановки отразилась уже в самих названиях некоторых статей: «Снельман и современные споры», «На чьей стороне был бы Снельман...?» и т. д. Юбилейный номер журнала открывался стихотворением Эрко «Твое время», в котором Снельман чествовался, как «первый будитель». Но вместе с тем поэт подчеркивал, что пробуждение народа — это не акт далекого прошлого, а постоянно нарастающий, еще не завершившийся процесс. Эрко писал о Снельмане: «Теперь ты живешь в народе, и исполнилось твое слово. Но оно исполняется все снова и снова, по мере того как встает и крепнет Финляндия. А она встает — народ волнуется, и наступает новый день!» Из всех материалов юбилейного выпуска это стихотворение было самым оптимистическим откликом на события. Здесь сказалась близость Эрко к рабочему движению.

В начале века некоторая часть финляндской буржуазии еще не отказалась от самой идеи политического развития, — в той мере, в какой это касалось обеспечения буржуазно-демократических свобод. В упомянутых статьях подчас встречаются робкие рассуждения о методах дальнейшей демократизации страны и выражается протест против неправомерной канонизации снельмановских идей, не соответствовавших новым условиям.

Однако отношение буржуазии к Снельману в значительной степени изменилось накануне и во время финляндской рабочей революции 1918 года. В обстановке глубокого кризиса капитализма бывшие либералы перешли на сторону контрреволюции. Буржуазные идеологи обращались к прошлому не для того, чтобы выявить закономерности исторического развития, а с целью опровергнуть тот факт, что дальнейший общественный прогресс требует ломки капиталистического строя. Как писал в 1916 году Майю Лассила, финляндская буржуазия была уже «осуждена на то, чтобы увеселять себя погремушками из костей мертвецов»<sup>2</sup>, в том числе и Снельмана, о котором упоминает Лассила.

И хотя революция в Финляндии была подавлена, буржуазную интеллигенцию все же охватил пессимизм. Кризис капитализма она нередко пыталась изобразить как трагедию всей человеческой культуры, раздираемой якобы фаталистически не-

<sup>1</sup> J. V. Snellmanin muisto. Valvojan juhlaulkaisu, 1906.

<sup>2</sup> Maiju Lassila — Irmari Rantamala. Totuuden nimessä. Helsinki, 1948, s. 29.

разрешимыми противоречиями. Утратив веру в исторический прогресс, буржуазия менее чем когда-либо раньше была способна объективно оценить культурное наследие прошлого, в том числе и заслуги тех ее ранних представителей, которые в свое время содействовали становлению буржуазного общества в борьбе с феодализмом. В этом смысле весьма характерна опубликованная в 1918 году статья Х. Хейккинена «Ю. В. Снельман и современный кризис культуры»<sup>1</sup>. Прежде всего любопытно, что, жалуясь на тревожные симптомы «кризиса культуры», автор статьи, подобно консервативным финнофилам первой половины XIX века, с бесконечной грустью говорит о навсегда минувшем «золотом веке» человечества, об идиллической цельности первобытного мировоззрения, о преимуществах духовных ценностей охотничьих и пастушеских племен перед культурой современных народов. И хотя автор не может отрицать того, что развитие человечества является непреложным фактом, однако это печальный и досадный для него факт. Всем строем своих чувств Хейккинен прикован к превратно понятому прошлому, которое представляется ему не конкретной исторической реальностью, а неким условным антиподом всякого развития, пусть иллюзорным, но удобным убежищем от грозных противоречий буржуазного общества в период революционного его отрицания. И когда автор статьи пытается выяснить отношение Снельмана к проблемам буржуазной цивилизации, то в его рассуждениях мало смысла, ибо он ни единым словом не упоминает о том, что у Снельмана эти проблемы были связаны с критикой старого, феодального миропорядка; что он отрицал этот миропорядок не с оглядкой на прошлое, а во имя утверждения более прогрессивных форм общественного бытия; что именно Снельман развенчивал потуги современных ему консерваторов противопоставить закономерному историческому развитию ту же самую идиллию первобытного состояния, которая теперь понадобилась Хейккинену в условиях кризиса уже не феодального, а капиталистического строя. Таким образом, исторической преемственностью характеризуются не только прогрессивные, но и реакционные идеи. Совсем в духе некоторых современников Снельмана Хейккинен, например, презрительно именуется снельмановскую эстетику «утилитарной» и, несмотря на все свои оговорки, третирует ее только по той причине, что она требовала от художника чуткости к ведущим проблемам времени и содействия общественному прогрессу. Автор статьи пишет: «Для прагматического мышления Снельмана показательно, что он и поэзию оценивал соответственно тому, насколько она была способна активно влиять на жизнь эпохи. Как пророки устремляли свое слово в гущу мира деяний, так же и поэт

<sup>1</sup> H. Heikkinen. J. V. Snellman ja nykyajan kultuurikriisi. — Valvoja, 1918.



должен был сверкать путеводной звездой над борющимся миром. Снельман не давал пощады тому аристократическому эстетизму, который ограничивается узким кругом знатоков, оставаясь духовным лакомством. С этой точки зрения он холодно относился к Гете, считая его гениальным эгоистом, любовавшимся своим отражением в колебаниях собственной души. Несомненно, что в понимании поэзии Снельманом была какая-то узость и близорукость»<sup>1</sup>.

Еще дальше в критике Снельмана пошел К. С. Лаурилла. В специальной статье об эстетических взглядах Снельмана<sup>2</sup> он заявляет, что хотя сами по себе они мало известны в Финляндии, однако многие другие идеи Снельмана, особенно в области социально-политической, зачастую «совершенно некритически» считаются авторитетными «в широких кругах», в связи с чем в статье высказывается опасение, что такое некритическое отношение может распространиться и на эстетику Снельмана. А она, по мнению автора, является «ложной», способной лишь ввести в заблуждение современных финляндских писателей.

Как и Хейккинен, Лаурилла прежде всего пытается доказать несостоятельность тезиса Снельмана о том, что поэт должен быть на уровне передовых идей времени, отражать чаяния широких масс. Этому тезису Лаурилла противопоставляет свое понимание творческой индивидуальности, утверждая, что поэт всегда исходит только из «индивидуального, а не коллективного сознания», что он должен прислушиваться не к «стремлениям века», быть может совершенно чуждым ему, а лишь к «голосу собственного сердца». Автор ссылается на то, что полное соответствие индивидуального и коллективного сознания встречается весьма редко, и когда этого соответствия нет, поэт вовсе не обязан считаться с несвойственными ему идеями, в противном случае он погубит свой талант.

Конечно, художнику трудно отразить в своем творчестве идеи, не ставшие его личным убеждением. Но Лаурилла совершенно забывает о том, что индивидуальное сознание художника не есть что-то постоянное и строго имманентное, не зависящее от самой действительности. В статье утверждается, например, что патриотические мотивы в творчестве Рунеберга явились всецело личным «откровением» поэта и вовсе не были подготовлены определенным уровнем общественного и литературного развития страны. Лаурилла полагает, что Рунеберг ничем не был обязан народу, нации, — напротив, именно он своей поэзией пробудил к жизни идею патриотизма.

Но в действительности поэзия Рунеберга не зародилась на

<sup>1</sup> Valvoja, 1918, s. 204—205.

<sup>2</sup> K. S. Laurilla. Några drag i J. V. Snellmans estetiska åskådning. — Skrifter av Svenska Litteratursällskapet i Finland, bd. 271. Helsingfors, 1938, s. 197—226.

пустом месте, она была частным проявлением роста национального самосознания в Финляндии, причем Runeberg, при всей своей одаренности, не сумел уловить наиболее передовых тенденций современного ему общественного развития. На это и указывал Снельман, мысли которого Лаурила объявляет «опасным лжеучением».

В связи с тем, что Снельман требовал от художника отражения существенных сторон действительности, Лаурила пространно рассуждает о бесплодности всех попыток выяснить, что же понимать под «существенным» в жизни и искусстве. По его мнению, идея художественного произведения вообще не поддается определению. В чем, вопрошает автор, идея «Короля Фьялара» Runeberga, пьес Ибсена или симфоний Сибелиуса? На этот вопрос, по мнению Лаурила, нет ответа. Но Снельман довольно верно охарактеризовал идею поэмы Runeberga, да и сам Runeberg не скрывал ее. Но в отличие от автора поэмы, Снельман не считал эту идею полного смирения личности перед высшей властью сколько-нибудь созвучной эпохе. Выше уже указывалось, что Снельман и Runeberg по-разному понимали «существенное» в жизни и искусстве, равно как и «примирение» с действительностью. Не вполне уяснив себе это различие, Лаурила тем не менее отдает предпочтение Runebergу, полагая, что его эстетика «гораздо богаче». Любопытно, что когда-то Лаурила, деятель «Христианского общества искусств», считал и Runeberga, по сравнению со Стенбеком, недостаточно правоверным христианином, а его поэзию слишком «мирской», ущемляющей своим пантеизмом церковные догмы. Тогда Лаурила весь свой критический пыл направил против Runeberga. Но в сравнении с ним Снельман теперь показался автору статьи столь опасным «лжепророком», что для борьбы с ним пригодились уже любые авторитеты, в том числе и ранее разруганный Runeberg.

Упомянутым критикам Снельмана угодно видеть в гражданском пафосе его литературно-критической деятельности не ее достоинство, а слабость. Утверждается, что пафос этот мешал Снельману по-настоящему понимать искусство, и не только Runeberga, но и Гете. Об этом писал еще Хейккинен, а сравнительно недавно Г. Грельман в своей книге «Влияние Гете в Финляндии»<sup>1</sup>. Прежде всего Грельман пытался доказать, что творчество Гете было вполне приемлемо для Runeberga. С этой целью он берет под сомнение достоверность известного высказывания Runeberga (в передаче Я. Грота) о том, что хотя образы у Гете полны жизни, но кисть его груба, и что вся его поэзия относится к стилю фламандской школы в живописи. Можно,

---

<sup>1</sup> H. Grellman. Goethes Wirkung in Finnland. Von Porthan bis Lönnrots Tod. Helsinki, 1949.



кстати, отметить, что Л. Вильянен, автор одной из последних работ о Рунеберге, не видит причины не верить Гроту. Но если даже допустить, что Грот неверно передал слова Рунеберга, то это вовсе еще не снимает самого вопроса о существенных расхождении идейно-художественных принципов Гете и Рунеберга. Дело не только в том, что наличие таких расхождений очевидно из всей творческой практики обоих художников, но и в том, что у Рунеберга можно найти ряд положений, которые весьма близко перекликаются с упомянутым его высказыванием о Гете, причем их дословную достоверность уже ничем нельзя опровергнуть. Формулируя свое творческое кредо и сообразно с этим подразделяя поэтов на две взаимоисключающие категории, Рунеберг, например, писал: «Поэт в душе своей должен напоминать глубокую прозрачную волну (bölja). Однако есть поэты двоякого рода: глубокая прозрачная волна может прийти в движение от ветра, и тогда ее отражение богато, но беспокойно; она может остаться и неподвижной, и тогда ее отражение бедно, но спокойно»<sup>1</sup>.

К поборникам «спокойной» поэзии Рунеберг причислял, разумеется, себя. Характерно, что этот образ «неподвижной волны», каким бы парадоксальным и маловразумительным он нам ни казался, проистекал тем не менее из вполне определенного взгляда Рунеберга на действительность, как на нечто совершенно статичное. До известной степени понимая, что «богатое» отражение жизни возможно лишь тогда, когда она берется в движении, когда в самой человеческой «природе» художника привлекает порыв мысли и страсти, стремление людей к более высокому земному идеалу, Рунеберг, однако, отвергал такое искусство, ибо оно пугало его, оно казалось ему «тревожным». Этот страх заставлял его считать истинным «бедное» отражение жизни и воспевать неподвижную патриархальную «природу» в духе плоских библейских назиданий — так оно было куда спокойней. И когда, по словам Грота, Рунеберг заявлял, что образы у Гете полны жизни, то это было скорее в его устах упрехом, чем похвалой.

Грельман ссылается на то, что Рунебергу могли импонировать такие гетевские вещи, как «Герман и Доротея». Это возможно. Но не менее вероятно и то, что вечно ищущий, вечно мятущийся дух гетевского Фауста был Рунебергу чужд и враждебен.

Хорошо известна противоречивость великого немецкого поэта, блестяще охарактеризованная творцами марксизма. В Гете, по словам Ф. Энгельса, никогда не прекращалась «борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфурт-

<sup>1</sup> J. L. Runeberg. Efterlemnade skrifter, I. Viborg, 1878, s. 249.

ского патриция, либо веймарским тайным советником, который видел себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гете то колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, презирающий мир гений, то осторожный всем довольный узкий филистер»<sup>1</sup>.

Что же касается Рунеберга, то он возражал отнюдь не против филистерских тенденций в мировоззрении Гете. В том-то и дело, что для Рунеберга Гете был недостаточно филистер, слишком язычник, влюбленный в земное бытие, вновь и вновь порывавший с мещанской моралью во имя страстных исканий более совершенного общественного идеала. Грельман не хочет признать этого. Видимо, чувство ложного пиетета побуждает его изобразить дело так, будто все сколько-нибудь заметные финляндские литераторы принимали Гете в равной степени восторженно, без оговорок и раздумий. Но если он находит еще возможным искусственно «дотянуть» Рунеберга до Гете (или, вернее, низвести Гете до Рунеберга), то Снельман уже доставляет автору книги слишком много затруднений, и он предпочитает говорить об односторонности снельмановской оценки Гете, впрочем, тут же снисходительно оправдывая ее тем, что Снельман был не поэтом, а мыслителем, связанным с политикой, — довод, довольно часто встречающийся в работах финляндских исследователей. Грельмана смущает то, что Снельман, хотя он и считал Гете гениальным поэтом, тем не менее позволял себе в весьма резких выражениях говорить о его слабостях и в особенности о том, как прекраснотушные самодовольные филистеры пытались превратить эти слабости в свое духовное знамя. Посетив Германию, Снельман писал в 1841 году: «В Берлине столько говорят о таких вещах, как «schöne Seele», «zartes Wesen», что от этого становится дурно. Теперь там свирепствует культ Гете. Подражая ему, они хотят махнуть рукой на дела мира сего и обратиться внутрь себя, чтобы, как они выражаются, гармонически развивать свое маленькое «я» в духе пленительной простоты и спокойствия греческого искусства. Однако они непоследовательны в своем утонченном эгоизме. Они не собираются быть единственными носителями этой мнимой добродетели, чтобы лишь самим отстраниться от беспоконных стремлений мира; напротив, основную свою задачу они видят в том, чтобы выставить свое прекраснотушие и гармоническую образованность напоказ другим. Они не ищут гармонии в самих себе, дабы стать выше мирского суда, но требуют, чтобы мир признал их. Подобное мировоззрение, даже в том его виде, как этому учил Гете, уже эгоистично до отвращения. Но то, из чего он, благодаря своему артистическому совершенству и языческому скепсису, мог еще создать гениальное произведение ис-

<sup>1</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве. М.—Л., 1937, стр. 303.



куства, превращается уже в омерзительную карикатуру у какой-нибудь Рашель или Беттины, у которых материалом для такого самопозлащения является религия»<sup>1</sup>.

В основном это высказывание Снельмана и имеют в виду Хейккинен и Грельман, когда они говорят о его одностороннем понимании гетевской поэзии и искусства в целом. Однако Снельман оказывается здесь выше своих критиков. Гете для него не менее велик, чем для Грельмана, но велик в ином смысле. Трудно не согласиться с замечаниями Снельмана относительно обывательского «культа Гете» и иллюзий самого поэта, который, будучи не в силах до конца превозмочь в себе извечный страх мещанина перед широкими историческими движениями, иногда поддавался искушению подменять задачу борьбы за общественный прогресс вопросом о нравственном воспитании отдельной личности посредством науки, искусства, красоты, и все это при господстве феодальной скверны. Такому же искушению поддавались и многие финляндские современники Снельмана, причем они уже возлагали основные свои надежды как раз на религию, о чем с отвращением писал Снельман. И если он расценивал это как «самопозлащение», как прекраснотушный эгоцентризм и самоизоляцию от жгучих социальных проблем, то тут нет еще односторонности. Но, быть может, самым любопытным в приведенном высказывании является то, что в отличие от Рунеберга, всегда связывавшего поэзию с религией, Снельман считал причиной гениальности Гете и ставил ему в заслугу именно его «языческий скепсис», то есть, очевидно, те его сомнения и искания, которые противостояли филистерскому благодушию и приводили поэта к осознанию убожества немецкой действительности. Стало быть, творчество Гете оценивалось Рунебергом и Снельманом с различных, во многом противоположных идейно-эстетических позиций, причем Снельман здесь был гораздо ближе к истине.

Вообще следует сказать, что в буржуазном литературоведении наблюдается явная тенденция недоучитывать принципиального значения той борьбы, которая имела место в финляндской литературе 40-х годов. Исследователи видят в этой борьбе не существенную сторону литературного процесса, а нечто случайное, основанное скорее на временных недоразумениях, чем на серьезных разногласиях идейного порядка. Создается впечатление, будто все финнофилы были добрыми патриотами, в равной степени любили народ и защищали «финское дело», каждый по мере своих сил и в своей области.

Конечно, Снельман, например, не всегда последовательно вскрывал слабые стороны творчества Рунеберга. Но при этом нельзя забывать, что именно Снельман указал на ограничен-

---

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Samlade arbeten, II, s. 222.

ность рунеберговского патриотизма и что, отмечая одаренность Рунеберга, он одновременно советовал литературной молодежи не следовать по его стопам, а искать новых путей в литературе. Можно сколько угодно сослаться на юношескую дружбу Снельмана с Рунебергом, можно цитировать речь Снельмана над могилой поэта, однако, если под историей литературы понимать не жизнеописание отдельных лиц, а сложный и противоречивый процесс развития идей, в ходе которого рождаются новые литературные явления, утверждающие себя только в борьбе с обветшалыми верованиями, то нужно признать, что полемика Снельмана с финнофилами, в том числе и с Рунебергом, представляла собой важный момент в этом процессе и свидетельствовала о постепенном размежевании различных течений в финляндской литературе 40-х годов.

Насущная необходимость борьбы за объективность в оценке культурного наследия все более осознается демократическими кругами современной Финляндии. Исход второй мировой войны, участие в которой поставило Финляндию перед национальной катастрофой, дал финнам достаточно причин для новых раздумий не только над настоящим и будущим, но и над историческим прошлым. Плодотворность таких раздумий очевидна, например, из книги Р. Пальмгрена «Большая линия. От Арвидсона до революционных социалистов»<sup>1</sup>. Она примечательна своим страстным полемическим духом, в ней со всей определенностью выдвигается задача преодоления реакционных концепций в истолковании истории национальной культуры. Автор стремился выявить ее «большую линию», то есть ее демократическую струю, ее передовые традиции, и в этой связи рассматривает также деятельность Снельмана, призывая отстаивать ее исторически прогрессивное содержание от всяческих извращений. Книга Пальмгрена изобилует полемически заостренными тезисами, подчас парадоксальными по своей форме. Некоторые положения автора представляются спорными, либо требуют уточнений. Но вместе с тем в книге справедливо подчеркивается, что подлинным ценителем того исторически прогрессивного, что было в деятельности Снельмана, является финляндский пролетариат. Как указывает Пальмгрен, еще в 1905 году Ю. Мякелин, один из деятелей финляндского рабочего движения, писал, что буржуазия берет из духовного наследия Снельмана только то, что может быть использовано против народа. В те бурные дни ожесточенной классово-борьбы она именем Снельмана призывала народные массы к «разумной умеренности». «Но когда народ, — продолжал Мякелин, — потребовал, в соответствии с идеями Снельмана, уничтожить унижительные сословные при-

---

<sup>1</sup> R. Palmgren. Suuri linja. Arwidssonista vallakumouksellisiin sosialisteihin. Helsinki, 1948.



вилегии, то власть имущие ответили отказом... Они, словно к меду, липнут к тем снельмановским фразам, бесконечное повторение которых не дорого стоит, но им совсем ни к чему его здравые мысли о том, что практически нужно делать, чтобы в минуту опасности народ был сильным, сплоченным, готовым защищать свои права»<sup>1</sup>.

Определяя задачи журнальной литературы, Снельман в свое время писал: «События современности, развитие настоящего в будущее, те идеи, которые волнуют нашу эпоху и направляют ее к тому, чтобы она рано или поздно выполнила свою миссию и уступила место новой эпохе, — вот что должно быть предметом журналистики»<sup>2</sup>. Подобные мысли достаточно долговечны, чтобы, став однажды достоянием передового общественного сознания, пережить человека, высказавшего их, даже если он был непоследователен и успел потом отречься от них. И как бы современную буржуазию подчас ни смущали эти идеи, выдвинутые Снельманом более ста лет тому назад, в пору восходящего развития его класса, никому не дано вычеркнуть их из истории финляндской культуры.

<sup>1</sup> R. Palmgren. Suuri linja. s. 191.

<sup>2</sup> J. V. Snellman, Sàmlade arbeten, III, s. 528—529.

## Глава четвертая

### ПЕРЕВОДЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФИНЛЯНДИИ В 30—40-е ГОДЫ XIX ВЕКА

#### 1

Выдвигая задачу создания национальной литературы, почти все финляндские писатели, начиная с Портана, подчеркивали, что ее почвой должен быть фольклор. Без глубокого интереса к народной поэзии и вообще к национальным «древностям» нельзя себе представить общественно-литературной жизни Финляндии первой половины XIX века.

Одновременно финляндские литераторы проявляли интерес и к фольклору других, особенно соседних народов. Так, Арвидсон увлекался древнеисландскими сагами и шведскими народными песнями; Готлунд переводил на финский язык эстонские песни; Рунеберг публиковал переводы песен разных народов, в том числе саами (лопарей); Кастрен и Лённрот были знакомы с русскими и украинскими народными песнями. В письме к Плетневу от 27 мая 1844 года Грот, рассказывая о своей жизни в Гельсингфорсе, писал: «Вечером был у меня Кастрен, Лённрот, Готлунд и Барановский. Лённрот играл на кантале и пел малороссийские песни по мелодиям финских»<sup>1</sup>. Плетнев по этому поводу удивленно спрашивал, каким образом Лённрот успел выучиться не только по-русски, но и «по-малороссийски»<sup>2</sup>. А в 1846 году Грот сообщал, что послал «Илье Ивановичу» (Лённроту) «тетрадь Кулеша»<sup>3</sup>, то есть сборник украинских народных песен.

Время от времени переводы русских народных песен появлялись в финляндских газетах, в основном в «Гельсингфорс Моргонбладе»<sup>4</sup>. В этой же газете в 1840 году были напечатаны от-

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 256.

<sup>2</sup> Там же, стр. 258.

<sup>3</sup> Там же, т. II, стр. 842.

<sup>4</sup> См., напр., следующие номера этой газеты: 1837, № 78 (три песни с небольшим вступлением «Несколько слов о русской народной песне»); 1838, №№ 19, 63, 64, 72, 87, 88; 1839, № 71, 81; 1843, № 64.



рывки из «Слова о полку Игореве», причем характерно, что переводчик Ю. Лундаль, которому принадлежит также большинство переводов русских народных песен в упомянутой газете, сравнивал «Слово» с песнями Оссиана, подобно Готлунду, который ставил в один ряд с Оссианом будущую «Калевалу». В предисловии к своему переводу Лундаль писал: «Среди многих прекрасных памятников древнерусской литературы, обнаруженных на сегодняшний день усердными исследователями, прежде всего выделяется «Песнь о походе Игоря» против половцев. Высокое поэтическое вдохновение, обилие смелых, полнокровных образов, эпическая мощь и наряду с этим выражения, временами преходящие в самую нежную и следостную лирику, — таковы главные качества певца Игорева, и потому его эпическую песнь сравнивали с бессмертными песнями Оссиана»<sup>1</sup>.

Но, как уже говорилось, у части финляндских литераторов интерес к фольклору и «древностям» принимал односторонний характер. Упускалось из виду, что литература нового времени не может быть простым продолжением фольклорных традиций. Еще Арвидссон указывал, что литература, усвоив «дух» народной поэзии, должна развиваться в «новых формах». В 1821 году он писал: «Всегда было ясно, что национальное искусство и литература расцветают лишь благодаря тому, что отечественные по духу и поэтическому складу песни усваиваются новым поколением, пленяют его сердце и разум, чтобы затем отразиться в новых творениях. Когда строят здание, необходимо иметь фундамент, оно не может висеть в воздухе. И если мы хотим, чтобы у нас возникла национальная поэзия, то древние наши поэмы, саги и песни должны овладеть сердцем народа, превратиться, если так можно выразиться, в душу народную, которая затем будет творить уже в новых формах, но с подлинной, как прежде, гениальностью и мощью»<sup>2</sup>.

Однако поиски новых путей литературного развития все более наталкивались на «археологический» интерес к фольклору, и Снельман в 40-е годы делал уже акцент на том, что непременным условием создания национальной литературы является использование опыта более развитых литератур мира. Народная поэзия национальна, писал он в статье о Шекспире, но национальность в каждую новую эпоху нуждается в новой форме, которая есть результат «общения нации с другими представителями человеческой культуры». Финнам нужно больше переводить лучших иностранных авторов, чтобы усвоить и научиться выражать на родном языке «чувства, образы и стремления

<sup>1</sup> Utdrag ur Sången om Igors fälttåg. — Helsingfors Morgonblad, 1840, N 36.

<sup>2</sup> A. I. Arwidsson. Oskyldigt ingenting. Åbo, 1821, s. 44.

нового времени». Издание на финском языке произведений выдающихся зарубежных писателей Снельман считал почетной задачей Финского литературного общества. А что касается драматургии, то «нет такого художника, который мог бы оспаривать у Шекспира право первым войти в финскую литературу. Драма — это высший род поэзии, а Шекспир — величайший в мире драматург»<sup>1</sup>.

Это была установка на то, чтобы преодолеть национальную ограниченность и замкнутость, всемерно учиться у наиболее передовых культур, а вовсе не противопоставлять им финляндскую литературу.

Сходную мысль, уже применительно к русской литературе, высказал в 1844 году Фабиан Коллан, редактор газеты «Моргонбладет», причем здесь особенно подчеркивалась политическая сторона проблемы: знакомство финнов и русских с культурой друг друга должно было способствовать достижению взаимопонимания и налаживанию добрососедских отношений. Коллан писал: «Для нас теперь особенно важна русская культура, и нам следует знакомиться с нею, ибо только зная язык русской нации, ее литературу и всю ее духовную жизнь, мы сможем по-настоящему понять наших восточных соседей, столь близких теперь к нам, и добиться того, чтобы и они нас понимали, поскольку такое понимание чрезвычайно важно для нас также и с точки зрения внешних условий нашего существования. Кроме того, культура в целом, в ее высших достижениях, является общей для всех наций, как ей и надлежит быть»<sup>2</sup>.

Эти идеи Коллан стремился пропагандировать через свою газету. Еще в октябре 1840 года Грот писал Плетневу: «Коллан в будущем году будет издателем «Утреннего листка» и просил меня доставлять ему материал для известий о русской литературе»<sup>3</sup>.

Говоря о значении переводов иностранных авторов для развития национальной литературы, Снельман имел в виду переводы на финский язык. Но это пожелание осуществилось не скоро. За весьма небольшим исключением, финнам в первой половине века приходилось читать иностранных авторов еще в шведских, а не в финских переводах. На шведский язык преимущественно переводили и русских авторов.

Поскольку знатоков русского языка в Финляндии было мало, то подчас приходилось прибегать к окольным путям для знакомства с русской литературой. Еще со времен Портана финны нередко читали русских авторов в немецких и французских пе-

<sup>1</sup> J. V. Snellman. Kootut teokset, IX, s. 123.

<sup>2</sup> A. Schauman. Kuudelta vuosikymmeneltä Suomessa, I. Jyväskylä, 1924, s. 267.

<sup>3</sup> Переписка, т. I, стр. 104.



реводах, с которых позднее стали переводить и на шведский язык. Например, в 1836 году в газете «Або Ундерреттельсер» (№№ 57—60, 62) появился рассказ А. А. Бестужева-Марлинского «Красное покрывало», переведенный не с оригинала, а с французского перевода. Такое явление уже тогда казалось несколько странным и потому, с точки зрения редакции, нуждалось в объяснении. Оно гласило: «Редактор с давних пор испытывает желание напечатать в своей газете что-либо из новейших сочинений русской литературы, но так как сам он русским языком не владеет, то для исполнения своего желания вынужден был прибегнуть к переводу с перевода. Вследствие этого произведение по необходимости должно было во многом утратить свой первоначальный вид, и тех, кто читал рассказ о оригинале, мы просим о снисхождении».

К окольным путям при переводах иногда прибегали и шведы. Как сообщает А. Енсен, сборник русских былин «Князь Владимир и его богатыри», вышедший в 1840 году в Стокгольме, был переведен с аналогичного немецкого издания.

Переводы из русской литературы, изданные в Швеции, становились достоянием также финляндского читателя. Выше уже упоминалось о переводах «Ивана Выжигина» (1830) и «Дмитрия Самозванца» (1838) Ф. Булгарина. Был переведен также «Ледяной дом» Лажечникова (1840), сравнительно много издавали Марлинского: в начале сороковых годов в Стокгольме вышли его повести «Аммалат-бек», «Мулла-Нур», «Роман и Ольга», «Латник». Некоторые из этих книг (точных данных нет) были переведены О. Мерманом, преподавателем русского языка в Гельсингфорсе. Он же перевел «Капитанскую дочку» (1841) и «Героя нашего времени» (1844), причем последний роман был издан уже в Гельсингфорсе.

Кроме Пушкина, Лермонтова, а затем Гоголя и Н. Павлова, в Финляндии 30—40-х годов были попытки переводить Карамзина (отрывки из «Истории государства российского» в газете «Гельсингфорс Моргонблад», 1837, №№ 93, 95, 96), Жуковского («Вадим Новгородский» в «Васа Тиднинг», 1839, №№ 30, 31), Дмитриева («Стонет сизый голубочек» в «Або Ундерреттельсер», 1847, № 10), Ростопчину (стихотворения «Море и сердце», «Романс» в «Гельсингфорс Моргонбладе», 1842, №№ 56, 57), Подолинского (стих. «Гений» в «Гельсингфорс Моргонбладе», 1841, № 16), а также уже упоминавшихся Баратынского и Марлинского. К этому надо добавить переводы, вышедшие отдельными изданиями: повести «Наденька» Н. Кукольника<sup>1</sup>, «Кокетка» А. Рахманного<sup>2</sup>, роман Загоскина «Рославлев»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> N. Kukolnik. Nadinka. Helsingfors. 1846.

<sup>2</sup> A. Rachmanny. Koketten. Viborg, 1846.

<sup>3</sup> M. Sagoskin. Roslawleff eller ryssarne 1812. Åbo, 1850.

У русских сентименталистов и романтиков, равно как и у немцев (едва ли не самым популярным в Финляндии был Жан-Поль), финны находили ту «чувствительность», которая противопоставлялась ими рационалистической поэтике классицистов. Для своего времени это было средством воспитания литературных вкусов. Кто мог плакать в умилении от песни Дмитриева «Стонет сизый голубочек», тот, как писал Белинский, «понимал поэзию лучше того, кто видел ее только в торжественных одах на разные иллюминации»<sup>1</sup>.

Также и в пушкинской поэзии внимание финнов долгое время приковывали те ее стороны, которые прямо или косвенно могли быть согласованы с романтическими веяниями, как они воспринимались в Финляндии.

В студенческих тетрадях Лённрота обнаружены переписанные на языке оригинала стихи Пушкина «Черная шаль» и «Утопленник». Сигнеус в 1833 году опубликовал свой перевод «Талисмана». В том же году появился перевод «Цыган». Сигнеус и Рунеберг, каждый в отдельности, перевели в 1841 году стихотворение «Ворон к ворону летит», которое, как известно, является свободной обработкой шотландской народной баллады. Во всех этих произведениях финны находили что-то близкое для себя. Например, сетования Алеко на «неволюдушных городов» были сродни настроениям ряда финляндских поэтов, воспевавших единение человека с природой и в какой-то мере уже сознававших призрачность этого идеала, что особенно сказалось в поэме Сигнеуса «Чужой на родном берегу», герой которой, подобно Алеко, не находит счастья среди «детей природы». В пушкинских произведениях финнов могли привлекать «восточные мотивы», яркие своей экзотичностью («Черная шаль», «Талисман», те же «Цыганы»), либо близкая к фольклору фантастика, как в «Утопленнике» или в упомянутой обработке народной баллады. В книжной поэзии финны особенно ценили ее «фольклорность». Она приковала внимание переводчика Лундаля и к пушкинскому циклу «Песни западных славян». Когда Грот, как он сообщил в письме к Плетневу от 26 января 1841 года, дал Лундалю том Пушкина («по его желанию — перевести несколько мелких стихотворений»<sup>2</sup>), то переводчик избрал четыре песни именно из этого цикла: «Видение короля», «Песнь о Георге Черном», «Сестра и братья», «Влах в Венеции». Их переводы появились в газете «Гельсингфорс Моргонблад» (1841, №№ 45, 50, 51, 55).

Грот, а через него Плетнев, много сделали для пропаганды русской литературы и прежде всего Пушкина в Финляндии.

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. VII. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 129.

<sup>2</sup> Переписка, т. I, стр. 219.



Грот читал лекции о поэте и радовался, когда студенты увлекались пушкинскими стихами. В октябре 1845 года Грот писал Плетневу, что чтением «19 октября» Пушкина ему «удалось сильно возбудить внимание студентов»<sup>1</sup>. Лундалю Грот читал «Медного Всадника» и все «лицейские годовщины» поэта<sup>3</sup>, а о студенте Стренге Грот писал: «Стренг удивляет меня своим усердием в изучении русского языка; учит наизусть Пушкина и Жуковского, переводит, читает даже славянскую хрестоматию»<sup>3</sup>.

В 40-е годы в Финляндии были уже попытки переводить и те пушкинские произведения, в которых ощутимо сказались реалистические тенденции. В газете «Гельсингфорс Моргонблад» (1847, №№ 14—15) был опубликован отрывок из «Бориса Годунова», а через два года в той же газете (№№ 44—46) появился «Скупой рыцарь». Стихи Пушкина привлекли внимание финляндского писателя, композитора и музыковеда Акселя Ингелиуса (1822—1868). В бумагах Грота сохранилась нотная запись романса Ингелиуса на стихи Пушкина «Я вас любил»<sup>4</sup>.

Первой попыткой раскрыть финнам сложность творческого пути Пушкина и многосторонность его поэзии, не уместающейся в рамках романтизма, явилась статья о поэте, напечатанная без подписи в 1839 году в газете «Борго Тиднинг» (№№ 53, 54). Она примечательна тем, что в ней акцентируется творчество зрелого Пушкина, уже отошедшего от романтизма. Вообще эта статья представляет собой лучшее, что в ту пору писалось в Финляндии о великом русском поэте. Автор статьи подчеркивал богатство пушкинской поэзии, необычайную емкость его таланта. В статье о нем говорилось как о художнике, «который бесспорно принадлежит к числу величайших поэтических гениев нашего времени». Автор описывал дружбу молодого поэта с Жуковским, рассказывал о создании «Руслана и Людмилы» и романтических южных поэм, о том, как Пушкин освободился от «байронизма», как возмужал его талант, когда поэт остро почувствовал «потребность обратиться ближе к действительности». Вершиной пушкинской поэзии автор статьи считал «Бориса Годунова», одновременно указывая на огромное значение «Евгения Онегина» в истории русской литературы. В этом романе, писал автор, «читатель находит столь верное изображение нравов и характеров, что ему кажется, будто он сам странствует по России и повсюду общается с окружающим миром. Это произведение в целом является одним из самых выдающихся памятников русской литературы, в нем навсегда отразилась интересная эпоха, в которую жил Пушкин, и созданный им язык, гиб-

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 579.

<sup>2</sup> Там же, стр. 589.

<sup>3</sup> Там же, стр. 403.

<sup>4</sup> Рукописный отдел ИРЛИ, 16. 103, сб. 8, лл. 248—249.

кий и неисчерпаемо богатый новыми образами, изящными выражениями и оттенками. «Онегин» живет в устах публики, отрывки из него, отдельные стихи и обороты она заучила наизусть».

Автор статьи особенно подчеркивал стремление Пушкина соблюдать в художественных произведениях историческую достоверность и в этой связи говорил об исторических разысканиях поэта. Добавим, что они имели некоторое отношение и к Финляндии. О ней не раз говорится в подготовительных работах Пушкина к истории Петра. Изучая материалы по Северной войне, поэт особо выделил те места, где отмечалось важное значение Финляндии для Швеции. Пушкин цитирует слова Петра из его письма к Апраксину: «Ежели мы дойдем до Абова, то шведы принуждены будут заключить мир, ибо из Финляндии единственно получают пропитание»<sup>1</sup>. Та же мысль выражена и в другом предписании царя, приводимом Пушкиным: «... Финляндия есть м а т к а Швеции, откуда получают они не только скот и прочее, но и дрова»<sup>2</sup>. Петр, как подчеркивает Пушкин, запретил Апраксину «разорять Финляндию, ибо нам же придется разоренное исправлять»<sup>3</sup>.

## 2

Литературные вкусы и интересы передовой части финляндского общества постепенно изменялись. Однако здесь не обходилось без борьбы, тяга к реализму наталкивалась на консерватизм старых традиций, в 40-е годы еще достаточно устойчивых. Особым камнем преткновения для отдельных финляндских литераторов явились переводные произведения зарубежных авторов с ярко выраженным социально-критическим направлением. Так было, например, и с «Героем нашего времени», который вышел в 1844 году в Гельсингфорсе, в шведском переводе О. Мермана.

Творчество Лермонтова прозвучало как скорбное размышление поэта над окружающей действительностью и как суровое ее отрицание. В образе Печорина, по словам Белинского, воплощен критический дух века. Именно этот пафос отрицания, эта ненависть Лермонтова к тем условиям, в которых личность прозябала в бездействии, смутили некоторых русских критиков, равно как и финляндского рецензента, откликнувшегося на перевод романа.

Любопытно, что идею перевести на шведский язык роман Лермонтова вначале выдвинул Плетнев<sup>4</sup>. Вскоре, однако, его

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. X. Изд. АН СССР, Л., 1938, стр. 187.

<sup>2</sup> Там же, стр. 188.

<sup>3</sup> Там же, стр. 138.

<sup>4</sup> Переписка, т. I, стр. 130.



отношение к творчеству поэта изменилось, он совершенно отказывал Лермонтову в самобытном таланте. Когда Грот сообщил, что Мерман уже переводит роман, Плетнев на это ответил: «Из «Героя нашего времени» можно бы перевести только «Бэлу», да другую, где действие происходит на Черном море. А повесть о Кавказских минеральных водах для меня дрянь. Уткин Мермана на Повести Белкина, Пушкина. Тут много вечно интересного, особенно «Выстрел» и «Дочь станционного смотрителя»<sup>1</sup>.

В творчестве Лермонтова Плетнев уловил признаки социально-критического, или, как он выражался, «отрицательного» направления в литературе. Его представители обращали внимание на недуги общества, между тем как Плетнев настойчиво повторял слова Жуковского о том, что «поэзия есть добродетель», то есть художник должен находить предмет изображения в сфере идеального и не заниматься критикой общественных пороков.

Отношение Плетнева к творчеству Лермонтова в данном случае существенно, ибо он, судя по письмам, подбирал для Мермана критические материалы о писателе и тем самым мог некоторым образом воздействовать на переводчика, являвшегося одновременно автором предисловия. Для написания предисловия Мерман нуждался в фактических данных и обратился с этой целью к Гроту, который направил его в Петербург к Плетневу. Грот писал своему другу, что Мерман «ищет сведений о жизни Лермонтова; не мог ли бы он получить их от Одоевского? В таком случае снабди его нужным наставлением о жилище князя и времени, когда его можно застать»<sup>2</sup>. Плетнев вскоре сообщил, что Мерман к нему явился и что он, Плетнев, обещал подыскать статью о Лермонтове.

В 1844 году в русских журналах, как известно, появились весьма разнообразные отзывы о творчестве Лермонтова: статьи Белинского, Шевырева, Сенковского, Булгарина, Бурачка. Предисловие Мермана нельзя приравнять ни к одной из них, однако по тону автора и по некоторым его суждениям чувствуется, что он был знаком с этими статьями. Кое-что он из них заимствовал, а подчас выражал и свое несогласие с высказанными мнениями о романе, не называя, однако, имен.

Мерман не сумел осмыслить «Героя нашего времени» в широком общественном плане. Он не понял того, что скептицизм Печорина, его неудовлетворенность окружающим миром были, по выражению Белинского, следствием «переходного состояния духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет и в котором человек есть только возможность чего-то

---

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 144.

<sup>2</sup> Там же, стр. 202.

действительного в будущем»<sup>1</sup>. Мерман упрощал содержание романа, вслед за Шевыревым считая печоринский недуг новой разновидностью «дон-жуанизма» и видя в нем признак порочности современного образования. Эту «болезнь века» он считал тем более опасной, что она поражала с помощью того же оружия, которое прежде применялось против порока. Этим оружием был смех, превратившийся теперь в горькую иронию, в холодный скептицизм.

Но Мерман не соглашался с теми, кто полагал, что роман был клеветой на действительность. Он довольно настойчиво отстаивал мнение, что в романе отразилось характерное явление времени, пусть неприятное и даже «ужасающее», но имеющее корни в самой действительности. Ни о каком «пасквиле» не могло быть речи. При чтении романа, отмечал Мерман, «невольнo возникает ужасающая мысль о том, что те мрачные взгляды, которые столь обнаженно выступают в этом безыскусственном повествовании, не представляют собой какого-то внешнего наряда, в который автору вздумалось своевольно облечься»<sup>2</sup>. Герой романа, по словам Мермана, настойчиво искал твердых убеждений, он вел отчаянную борьбу с «безверием», но ни к чему положительному прийти не мог и потому пытался закрыться маской равнодушия, желая обмануть скорее самого себя, чем других. Эти рассуждения заставляют вспомнить слова Белинского о тех критиках, которые упрекали Печорина за безверие: «Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно, но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы рад иметь его, да не дается оно ему. И притом разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его? . . .»<sup>3</sup>

Если Мерман в предисловии придерживался мнения, что в «Герое нашего времени» отразился действительно существующий общественный недуг, то в рецензии, появившейся в газете «Гельсингфорс Моргонблад»<sup>4</sup>, утверждалось, что роман Лермонтова не имел ничего общего с финской жизнью. Болезнь безверия разъедала Западную Европу, а в Финляндии она была неизвестна. Переводчик, по мнению рецензента, напрасно потратил и время и талант для перевода столь «никчемной» книги. «Подобные сочинения, а иногда и получше этого насчитываются

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. IV. Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 253.

<sup>2</sup> M. Lermontoff. Vår tids hjälte, översatt från tredje upplagan av O. M. <eurman> Helsingfors, 1844. — Förord av översättaren, s. III.

<sup>3</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. IV. Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 263.

<sup>4</sup> Helsingfors Morgonblad, 1844, N 63.



целыми дюжинами во французской литературе», в которой, как утверждалось в рецензии, не было недостатка в такого рода «героях нашего времени». Чтобы убедиться в этом, рецензент советовал прочитать наугад какие-нибудь сочинения «Сю или Бальзака». Однако такие романы почитались, по мнению рецензента, только в тех кругах, которые «в литературе, как и во всем остальном, остаются рабами моды и своей собственной духовной нищеты; они ищут красоты не ради нее самой, а для того, чтобы посредством сильных впечатлений возбудить свои вялые и притупившиеся чувства для минутного сладострастия».

Эти рассуждения финляндского критика во многом напоминают статью С. Шевырева о «Герое нашего времени», напечатанную в 1841 году в «Москвитянине». Не отрицая таланта Лермонтова, Шевырев, как известно, пытался истолковать роман в духе противопоставления России Западу, полагая, что оба эти начала нашли отражение в художественных образах произведения Лермонтова. В Максиме Максимовиче, писал Шевырев, «отзывается древняя Русь», он представляет собой «цельный характер коренного русского добряка, в которого не проникла тонкая зараза западного образования»<sup>1</sup>. Печорин же, продолжал Шевырев, «принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада»<sup>2</sup>. Эта «тяжкая болезнь века» явилась следствием двух причин: «гордости духа» и сластолюбивой «низости пресыщенного тела». Но все это было только на Западе. «Печорин не имеет в себе ничего существенного, относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в Фантазии наших поэтов. . . Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазии — и в этом смысле герой нашего времени»<sup>3</sup>. Заканчивая статью о романе, Шевырев предостерегал, «чтобы призрак недуга, сильно изображенный кистью свежего таланта, не перешел для нас из мира праздной мечты в мир тяжелой действительности»<sup>4</sup>.

В статье Шевырева и в рецензии «Гельсингфорс Морганблада» на роман Лермонтова попадают даже фразеологические сходства. Шевырев спрашивал: «Но откуда же, из каких же данных у нас мог бы развиться тот же недуг, каким страдает Запад?», а финляндский критик, обличавший нравственный упадок «западных кругов», вслед за «Москвитянином» повторял: «Но где можно найти подобные круги у нас в Финляндии, в этой

---

<sup>1</sup> «Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, стр. 523.

<sup>2</sup> Там же, стр. 535—536.

<sup>3</sup> Там же, стр. 536.

<sup>4</sup> Там же, стр. 538.

простой и полной жизненных сил стране? Здесь, как мы надеемся, такого рода сочинениям не будет успеха».

Эта надежда рецензента, однако, не оправдалась. К середине века идейные взгляды и литературные вкусы некоторой части финнов заметно изменились. Их уже не удовлетворяла идиллически окрашенная поэзия, чуждавшаяся острых общественных вопросов. Значительную роль здесь сыграла борьба Снельмана за критическое направление в финляндской литературе и журналистике. Изменилась социальная психология многих читателей, наиболее чувствительных к тем бурным событиям, ареной которых стала Европа 1848 года. Уже тогда в Финляндии осознавали влияние этих событий на литературу. Примечательна в этом отношении появившаяся в 1850 году рецензия газеты «Morgonbladet»<sup>1</sup> на сборник стихов финляндского поэта Вальфрида Альфтана. Хотя Альфтан не обладал большим художественным даром, но его стихи привлекли внимание рецензента новизной содержания. Их автор отличался демократизмом своих взглядов и впоследствии оказал положительное влияние на молодого Юлиуса Векселля, угадав в нем выдающийся талант.

Рецензент отмечал, что в последние годы в Финляндии наступило некоторое поэтическое «затишье». Было время, когда на страницах газет и журналов выступало много молодых поэтов, а теперь они почему-то перестали писать. Рецензент объяснял это тем, что с той поры произошли «столь необычайные всемирно-исторические события, что они не могли не оказать хотя бы небольшого влияния также на нашу отдаленную и забытую страну. Это было время для действия и размышлений, но не для песен. На долю нас, финнов, лишь издали наблюдавших эти великие движения, остается только размышление, но мы осмеливаемся полагать, что именно эти новые думы, навеянные крупными событиями, явились причиной того, что у нас, как и везде, песен теперь меньше. Мы вовсе не хотим сказать, что этот видимый застой причинил урон нашей поэзии. Напротив, мы уверены, что те раздумья, которым в последние годы невольно предавался каждый из нас, не могли не привести к тому, что у молодых авторов появились более широкие взгляды на жизнь и ее обстоятельства; вот почему мы не сомневаемся, что у многих из них впереди есть будущее, хотя теперь может показаться, что они уже свое отпели. Как только размышления приведут к твердым и непоколебимым убеждениям, тогда песня зазвонит еще прекрасней». Стихи Альфтана рецензент расценивал как один из первых симптомов появления этих новых песен, порожденных социальными потрясениями в Европе.

---

<sup>1</sup> Morgonbladet, 1850, N 33.



Поэтическим учителем Альфтана, по словам рецензента, был уже не Рунеберг, а Генрих Гейне, поэт революции.

К так называемой «тенденциозной» литературе, отличавшейся социально-критическим направлением, некоторые критики теперь уже не относились с прежним недоверием. Несмотря на трудные цензурные условия и протесты со стороны литературных староверов, в Финляндии началась пропаганда творчества крупнейших зарубежных художников. Снельман, например, рекомендовал переводить на финский язык Бальзака и Диккенса, однако эта идея не могла быть сразу осуществлена из-за цензурного закона 1850 года, согласно которому запрещалось издавать на финском языке любые романы — как оригинальные, так и переводные. Тем не менее о зарубежных художниках-реалистах в финляндских газетах стали появляться восторженные отзывы. В том же 1850 году, когда был введен цензурный запрет, газета «Моргонбладет» напечатала переводные статьи о Бальзаке и Теккерее. В них доказывалось, что возникновение представляемого этими художниками направления в литературе было исторически закономерным, обусловленным обстоятельствами самой жизни. В статье о Бальзаке<sup>1</sup> утверждалось, что такие персонажи его романов, как Гобсек, Нюсинген и Горио, были порождением современной писателю буржуазной действительности, гениально очерченными типами девятнадцатого века. «И если вы осуждаете подобные характеры, — говорилось в статье, — то не забудьте при этом, что они ваши современники». Автор статьи писал о Бальзаке, что «никто не умел лучше его изображать современные нравы, идеи и тенденции; словом, без Бальзака история истекшего полувека будет неполной».

Хотя это и была переводная статья, однако ее появление на страницах финляндской газеты, наряду с другими выступлениями такого же направления, свидетельствовало о повышении у финнов интереса к реалистической литературе. Финляндский читатель постепенно узнавал новые литературные имена, в том числе и русских авторов. В это время финнам стал известен также Гоголь. В 1850 году вышла в шведском переводе его «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Любопытно, что Грот с Плетневым стремились пробудить у Гоголя интерес к Финляндии. В письме к А. О. Россету из Неаполя от 11 февраля 1847 года Гоголь, прося прислать ему «только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь», шутливо добавлял: «Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал потчевать меня Финляндией...»<sup>2</sup> Впрочем, усилия Плетнева и Грота не

<sup>1</sup> «Balzac». — Morgonbladet, 1850, N 71.

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений, т. XIII. Изд. АН СССР, Л., 1952, стр. 211.

были совершенно бесплодными, и Гоголь даже высказал желание приобрести книгу о финской флоре. В письме к Шевыреву от 3 сентября 1849 года Грот писал: «Гоголь, вероятно, уже воротился из своей поездки. Потрудитесь передать ему, как мне жаль было, что я не мог дожидаться его в Москве. Он просил меня достать ему финскую флору. Я и хотел тотчас же исполнить его желание, но, к сожалению, узнал, что финской флоры никогда еще не было издаваемо»<sup>1</sup>.

Еще до появления в Финляндии переводов Гоголя некоторые ее литераторы, видимо, имели представление о нем, как о выдающемся художнике. Имя Гоголя было известно, например, Ф. Сигнеусу, который во время своего пребывания в Риме посетил находившегося там автора «Мертвых душ».

Шведский перевод «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» снабжен предисловием, в котором таланту писателя дается весьма высокая оценка; переводчик писал о Гоголе со знанием дела и с любовью, подчеркивая прогрессивное значение творчества «крупнейшего русского юмориста». Гоголь, как указывал переводчик, родился и долгое время жил на Украине, среди свободолюбивого народа. Украинцы уже давно знали «республиканский быт» запорожцев, в прошлом им постоянно приходилось вести борьбу против татар, турок, поляков. В целях сохранения своей самобытности они искали защиты у России и присоединились к ней. История украинцев, природные условия их края — все это, по словам переводчика, способствовало поэтическому складу их национального характера. Украина стала песенной страной, ее народ отличается большой музыкальностью. «Их героические поэмы, песни, сказания и обычаи глубоко поэтичны. У их песен прекрасные мелодии, ибо малороссы, как и чехи, исключительно музыкальный народ»<sup>2</sup>. В последнее время украинцы стали бережно собирать народные песни, и это, по словам переводчика, было связано с пробуждением национального самосознания.

В предисловии особенно подчеркивалось, что творчество Гоголя выросло на народной почве, что он проявлял «чрезвычайный интерес к народной жизни, усердно изучая ее. Он посещал соседние ярмарки, приглашал к себе крестьян, которые с удовольствием рассказывали ему случаи из своей жизни, а также из жизни помещиков. Вследствие этого его любят низшие классы, но у него есть и много недругов, поскольку он, невзирая на лица, смело обличает дикость, невежество и суеверие, бичует судопроизводство и множество современных предрассудков, пре-

<sup>1</sup> Переписка, т. III, стр. 781.

<sup>2</sup> N. Gogol. Mirgorod. Genremålning ifrån Lilla Ryssland. Berättelse om huru Ivan Ivanovitsch råkade i gräl med Ivan Nikiforovitsch. Helsingfors, 1850. — Företal, s. 4.



ступлений и пороков»<sup>1</sup>. Переводчик ставил в заслугу Гоголю критическое направление его творчества и одновременно подчеркивал его реализм. Переводчик называл Гоголя юмористом, но по существу имел в виду сатиру. Юмор Гоголя, говорится в предисловии, поражает яркой самобытностью, отличаясь «не только от немецкого и английского», но и от юмора русских предшественников писателя. Переводчик сравнивал Гоголя с Диккенсом, особо отмечая умение обоих реалистов изображать индивидуализированные характеры. К чему бы ни прикоснулся Гоголь, все под его пером получало печать неповторимого своеобразия. «У него все плоть и кровь, действительная жизнь в ее истинности, люди, с которыми встречаешься на улице, события, которые происходят каждый день либо в городе, либо на селе, картины, которые не выдуманы, но подмечены зорким и острым глазом, чтобы быть воспроизведенными рукой уверенной, смелой, часто суровой»<sup>2</sup>.

Переводчик с сожалением писал о той духовной эволюции, которую претерпел Гоголь после написания первой части «Мертвых душ». В предисловии выражалась надежда, что после пребывания за границей Гоголь вернулся на родину «как прежде», то есть избавившись от тех заблуждений, которые привели его к опубликованию «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Ярко выраженная национальная самобытность Гоголя делала его весьма трудным для перевода. На это указывал Белинский, это понимал и финляндский переводчик, отметивший, что многие тонкости в произведениях Гоголя могут быть прочувствованы только русским человеком, на языке оригинала. Тем не менее переводчик изъявлял готовность перевести и другие сочинения Гоголя, если первый опыт будет положительно встречен общественностью.

Анонимная рецензия на перевод повести Гоголя, которую нам удалось найти в газете «Гельсингфорс Тиднинггар»<sup>3</sup>, была в общем положительной, хотя и не столь восторженной, как предисловие к переводу. Рецензент, впрочем, не удержался от сентенции, что художник, взявшийся описывать неприглядные стороны жизни, должен сам не «заразиться» житейской грязью. А чтобы избежать этого, ему надобно любить своих героев, прощать свойственные им человеческие слабости. Из этих рассуждений явствует, что рецензента несколько смущала сатирическая направленность таланта Гоголя, его «тенденциозность». Все же рецензент рекомендовал читателю познакомиться с сочинением «наиболее выдающегося писателя соседнего нам народа». Это была, по его словам, не просто комическая повесть,

---

<sup>1</sup> N. Gogol. Mirgorod, s. 6.

<sup>2</sup> Там же, стр. 5.

<sup>3</sup> Helsingfors Tidningar, 1850, N 53.

но «верное описание предмета, жанровая картина из Малороссии. Как автор тенденциозного направления, Гоголь заслуживает своей картиной высокой чести и похвалы».

Актуальной для финнов «тенденцией» в повести Гоголя, как и других его произведениях, было комическое изображение захолустного помещичьего быта. Некоторые финляндские литераторы долго идеализировали патриархальные общественные устои, простоту сельских нравов, неторопливую жизнь финляндских городов, во многом сохранивших средневековый облик. Но в 40-е годы в финляндской литературе уже наметилось ироническое отношение к той духовной косности, которая неизбежно сопутствовала замкнутому патриархальному существованию. Эта тенденция проявилась в комедиях П. Ханникайнена, а также в рассказах Снельмана, где высмеиваются захолустные провинциальные нравы. С появлением таких настроений передовым финнам стал понятен и грустный смех Гоголя над бессмысленностью существования миргородских обывателей.

Об интересе финнов к социально-критическому направлению в русской литературе свидетельствует и перевод повести Н. Ф. Павлова «Именины»<sup>1</sup>. Это была одна из его «Трех повестей», вышедших в 1835 году и высоко оцененных Пушкиным, Гоголем, Белинским. Сын крепостного крестьянина, отпущенный помещиком «на волю» и сумевший получить образование, Павлов в молодости вытерпел много унижений, прежде чем добиться признания. Тема талантливой личности, крепостного музыканта, мучительно страдающего от своего бесправия, выступает и в повести «Именины». Ее героя угнетает мысль, что крепостникам нужен лишь его талант, но что они презирают в нем человека, — ведь он только вещь для них, «лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиной. Меня хвалили, и эта похвала пахла милостью; мне удивлялись и, в знак высокого одобрения, трепали по плечу; меня называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на мое место, видно, всякий думал: «Ты гений, да дело не в этом!»

Как уже отмечалось, тема крепостничества затронута и в поэме «Надежда» Рунеберга, но получила там еще слишком идиллическое толкование. У Павлова, одного из зачинателей русской социально-психологической повести, тема эта звучит по-другому, герой «Именин» — крепостной интеллигент с «бунтующим сердцем». К повести Павлова ближе «Предатель» (1849) Фр. Берндтсона, тоже социально-психологическая повесть, в основу которой положен конфликт Даниэля Юрта с его аристократическим окружением. Хотя о непосредственном влия-

<sup>1</sup> N. Pawloff. Namsdagen. Helsingfors, 1846.



нии здесь говорить трудно, но выбор «Именин» для перевода и оригинальная повесть Берндтсона были проявлением одной и той же тенденции в развитии финляндской литературы.

3

Говоря о переводах с русского в первой половине XIX века, мы пока что касались лишь переводов на шведский язык, который в ту пору был главенствующим в литературе Финляндии. Не только русских, но и западноевропейских писателей финны тогда переводили, как правило, только на шведский. Но из этого правила были и некоторые исключения, правда, очень немногочисленные. В отношении русских авторов таким исключением явились переводы в газетах К. А. Готлунда. Насколько нам известно, это были первые переводы русской литературы на финский язык.

В 40-е годы Готлунд был знаком не только с Гротом, но и Плетневым, а также Максимовичем, украинским литератором и фольклористом, бывавшим в Гельсингфорсе. Когда Грот в письме к Плетневу вкратце передал историю заступничества Готлунда за финских крестьян в Швеции, историю, которая более подробно изложена в гротовском «Практическом журнале гельсингфорсского жителя», Плетнев в своем ответе писал, между прочим, что о приключениях Готлунда он уже слышал от Максимовича. Эта история, добавлял Плетнев, «стоит описания хорошего, как материал для его биографии»<sup>1</sup>. В дальнейшем Плетневу, однако, не понравилась страсть Готлунда к газетной полемике и его слишком пылкая «фенномания», приобретающая у него не отвлеченно-академический, а скорее социально-политический характер. Плетнев даже советовал Гроту порвать отношения с Готлундом, с чем Грот, однако, не согласился.

Примечательно, что Грот часто оказывался свидетелем негласных споров между финляндскими литераторами, и в этом смысле его письма являются источником любопытных сведений. Упомянув в письме от 4 мая 1846 года о своей встрече с Нервандером и Лаурелем, Грот сообщает, например, что «там главный разговор состоял в том, что Готлунд против их обоих отстаивал фенноманию, которая по их мнению бессмысленна, пока одни мужики говорят и читают по-фински»<sup>2</sup>. Между тем Готлунд ратовал именно за «мужиков», и с их культурой, с их языком, а подчас и с ними самими он знакомил также Грота. С Готлундом Грот читал финские пословицы, занимался финским языком. Описывая свой трудовой день, Грот в письме от

<sup>1</sup> Переписка, т. I, стр. 56.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 753—754.

7 декабря 1844 года сообщал Плетневу: «Поутру ухажу из дому еще до 10-ти часов в библиотеку, где роюсь в старых журналах, и к Готлунду, с которым прохожу все коренные слова финского языка по этимологическому лексикону... После обеда вскоре ухажу к Кастрену, у которого перевожу с русского на финский...»<sup>1</sup> А в письме от 8 ноября 1841 года Грот рассказывает, что Готлунд привел к нему финского крестьянина, который «пел довольно мило разные песни, отчасти своего сочинения», а затем, в память об этой встрече с русским литератором, оставил в альбоме Грота запись на финском языке. «В его приходе, — отметил Грот, — многие сочиняют, и Готлунд хочет напечатать их сочинения»<sup>2</sup>.

С другой стороны, у Готлунда, не без воздействия и помощи Грота, усиливался интерес к русской литературе. В письме Грота Плетневу от 31 января 1847 года мы читаем о Готлунде: «Он теперь вновь начинает издавать финскую газету и печатает перевод повести Одоевского «Южный берег Финляндии»<sup>3</sup>. Грот имел в виду газету «Суоми», которую Готлунд стал издавать после того, как его газета «Суомалайнен» была в 1846 году запрещена.

Газеты Готлунда не имели столь большого значения, как «Сайма» Снельмана, однако в истории финской (финноязычной) журналистики они все же были заметным явлением. В ту пору периодическая печать в Финляндии существовала преимущественно на шведском языке, на котором выходила и «Сайма». Шведоязычные газеты были предназначены для «образованной» публики, в основном для городского населения, среди которого был распространен шведский язык. Финноязычные же газеты, которых было очень немного, издавались почти исключительно для крестьян, не понимавших по-шведски. Такую газету — «Маамиэнен юстявя» («Друг земледельца») — основал в 1844 году и Снельман, но она существенно отличалась от «Саймы». В своей крестьянской газете Снельман обходил острые общественно-политические вопросы, ни с кем не полемизировал, ни на кого не нападал. «Друг земледельца» давал хозяйственные советы крестьянам, учил их четырем арифметическим действиям, объяснял явления природы. Не сумев придать своей газете четкого политического направления, Снельман после четырнадцатого номера передал ее в другие руки. Произошло это, видимо, по той причине, что, руководствуясь цензурными соображениями и своей собственной политической умеренностью, он не отваживался говорить с народными низами тем оппозицион-

<sup>1</sup> Там же, стр. 373.

<sup>2</sup> Там же, т. I, стр. 427.

<sup>3</sup> Там же, т. III, стр. 14.



ным тоном, каким отличалась «Сайма», за что она и была запрещена.

В отличие от Снельмана Готлунд пытался обсуждать важнейшие социальные и национальные проблемы непосредственно на языке народа. Его финские газеты имели политический характер, напоминая в этом отношении «Канаву», которую издавал в Выборге П. Ханникайнен. То полунамеками, то более откровенно Готлунд писал о социальном неравенстве. В газете «Суомалайнен» (1846, № 6) было помещено, например, стихотворение «У норвежских финнов», в котором говорится о произволе и беззаконии по отношению к народу. Ясно, что Готлунд имел в виду не только Норвегию, но и Финляндию, когда писал:

Kaikki täällä surkutteloo, suuret että pienet;  
Vaivaisilt' on varoansa varakkammat vienneet.  
Rikkaat täällä riitelöövät, köyhät verot maksaa;  
Mies on, joka lahjoillansa lakitointa jakkaa . . .  
Koiria tääll' koroitetaan, palvellaan ja kuullaan;  
Uskollist ei uskotak ja rehellistä luullaan<sup>1</sup>.

Газета «Суомалайнен» не просуществовала и года. Поводом для ее запрещения послужила сатира «Торговец религией»<sup>2</sup>, направленная против попыток правительства распространять православие в Финляндии. Правда, слово «православие» в газете не упоминалось, но намеки были достаточно прозрачными, и власти поняли, кого Готлунд имел в виду, повествуя о новоявленных «торговцах индульгенциями».

Уже в следующем году Готлунд выхлопотал разрешение издавать новую газету на финском языке — «Суоми». По духу, да и по названию она близко напоминала свою предшественницу. В первом же номере Готлунд без обиняков заявил в обращении «К читателю»<sup>3</sup>, что его новая газета «намерена твердо следовать по стопам «Суомалайнена» и открыто, не зная страха, идти войной против тех, кто желает Финляндии быть под ярмом».

Упомянутое обращение Готлунда к читателю из народа примечательно еще и в другом отношении. Здесь в категорической форме был поставлен вопрос о том, какие книги нужны народу, каким вообще должно быть его просвещение. Еще в 1840 году Снельман в известном письме к Сигнеусу подчеркнул, что задача состояла в том, чтобы покончить с духовной инертностью

<sup>1</sup> Здесь все стонут, от мала до велика; имущие отнимают у слабых их пожитки. Богачи только ссорятся, а бедняки платят подати. Здесь в почете тот, кто подкупами сумеет одолеть бесправного. . . Злым псам раздадут чины, угождают им и выказывают послушание, а честному человеку нет веры.

<sup>2</sup> Uskon kauppias. — Suomi, 1846, N 18.

<sup>3</sup> Suomi, 1847, N 1.

народа, помочь ему осознать свое угнетенное положение и внушить ему веру в «возможность лучшего», в возможность социальных реформ. Эту задачу как раз и выполнял Готлунд своими газетами. Он верил в силу правдивого слова, в то, что оно всегда найдет отклик в народе. На газете «Суоми» стоял девиз: «От слова рождается слово, от искры разгорается земля».

Однако в народе, по мнению Готлунда, имели хождение совсем не те книги, в каких он действительно нуждался. В Финляндии, как и в других странах, выходили лубочными изданиями так называемые «книги для народа», преимущественно религиозного содержания. Церковь внушала пастве недоверие к светской литературе. Готлунд с сожалением отмечал, что в результате невежества многие крестьяне считали светские книги греховными, а книгоиздатели спекулировали на культурной отсталости народа, вовсе не заботясь о его просвещении. «В особенности имеем мы в виду, — писал Готлунд, — так называемые «духовные» стихи и песни, которые выпускаются у нас каждый год, хотя это не что иное, как пустая трата бумаги». Готлунд не был атеистом, но в его понимании христианская любовь к ближнему должна была выражаться в стремлении облегчить участь социальных низов. «Духовные» же книги приносили только вред, они, как утверждал Готлунд, не содержали в себе никакой духовной пищи и лишь поддерживали невежество. Готлунд горячо рекомендовал крестьянам читать те немногие газеты, которые издавались тогда в Финляндии на финском языке в целях просвещения народа. Они, по словам Готлунда, распространяли «добрые, полезные и нужные знания», они сеяли в народе семена правды, подвергаясь за это гонениям со стороны власти имущих. Готлунд предупреждал читателя, что оппозиционным газетам «часто приходится прибегать к иносказаниям, потому что говорить открыто не всегда возможно».

Газеты самого Готлунда сильно страдали от цензуры. «Суоми» выходила с продолжительными перерывами. Особенно строгой стала цензура в связи с началом европейских революций 1848 года. Информацию из-за границы финляндским газетам разрешалось перепечатывать только из официальных органов в Петербурге. Готлунд, видимо, пытался обойти это распоряжение, однако цензура задерживала номера, как это можно понять из замечаний Готлунда, вынужденного объяснять читателям причины задержки газеты. В течение трех месяцев 1848 года «Суоми» вообще не выходила: седьмой номер вышел 18 марта, а восьмой — 17 июня.

В этом номере<sup>1</sup>, Готлунд смог, наконец, высказать свое отношение к революционным событиям в Европе. Правда, и здесь он должен был прибегать к иносказаниям и некоторые весьма

<sup>1</sup> Suomi, 1848, N 8.



серьезные вещи излагать в шутливой манере, но читатель все же мог уловить истинные мысли и чувства автора. Революция взволновала Готлунда, он воспринял ее как спасительное «чудо», как возмездие народов королям за все причиненные страдания. Революционные массы обладали огромной энергией. Готлунд писал, что за один месяц революции народы достигли большего, чем за предыдущее тысячелетие. Времена изменились, к прошлому, как полагал Готлунд, уже не было возврата. «Прежде короли правили государствами, покоряли народы и угнетали подданных, а теперь (помилуй меня господи!) народы уже имеют силу и власть над королями. И если бы это случилось хоть в одном, — ну, пусть в двух государствах, так нет же, друзья мои, — такое творится во всем исстрадавшемся мире!»

Готлунд писал, что народы Европы завоевывали себе демократические права, свободу слова и печати. Из крупных государств оставались, по словам Готлунда, только Турция и Россия, которые все еще сопротивлялись новому духу времени. Перемен к лучшему не было и в Финляндии. Сетую на цензуру, Готлунд писал, что только гражданский долг перед читателями побуждал его продолжать издание газеты «в эти трудные времена». Поскольку цензура запрещала печатать статьи о самых важных вопросах современности, то страницы газет поневоле приходилось заполнять «никчемными пустяками», как выражался Готлунд. Он справедливо отмечал, что после некоторого оживления, очень кратковременного, в финляндской журналистике вновь наступил застой.

Не имея возможности открыто писать на политические темы, Готлунд обратился к переводам с русского, причем его интересовало в основном то, что писалось в России о финнах. Этим определялся и выбор авторов. В газетах Готлунда были переведены очерк Даля «Чухонцы в Петербурге»<sup>1</sup>, повесть В. Одоевского «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия»<sup>2</sup>, повесть Н. Кукольника «Эрик Сильвановский, или завоевание Финляндии во времена Петра Первого»<sup>3</sup>, отрывки из книги Грота «Переезды по Финляндии от Ладожского озера до реки Торнео»<sup>4</sup>, а также рецензия Сенковского на эту книгу, прокомментированная Готлундом<sup>5</sup>.

Сам Готлунд русским языком не владел. В его собственном

<sup>1</sup> Suomalaiset Pietarissa. — Suomalainen, 1846, NN 14, 15, 21—23.

<sup>2</sup> Suomenmaan etelä-ranta XVIII vuosisaan alussa. — Suomi, 1847, NN 3, 9, 11—13.

<sup>3</sup> Eerikki Silvanus, eli Suomen valloittaminen Pietari ensimmäisen aikana. — Suomi, 1848, NN 15—18, 21—23, 26; 1849, N 2.

<sup>4</sup> Matkustelemisia Suomessa, Laatokan järveltä Tornion jokeen asti. J. Grotin matka-muistelmat. — Suomi, 1848, NN 2, 4.

<sup>5</sup> Muuan venäläisen matkustamisesta Suomessa vuonna 1846. — Suomi, 1847, N 38.

переводе появился в «Суомалайнене» только очерк Даля, но это был перевод не с оригинала, напечатанного в «Финском вестнике», а с немецкого перевода, заимствованного Готлундом, как он сам об этом упоминает, из газеты «Санкт-Петербургише Цейтунг». Этот финский перевод Готлунда, как и другие его материалы, легко узнать — они написаны на диалекте саво, в то время как остальные переводы, принадлежащие другим лицам, выполнены на литературном языке, в основу которого положен западнофинский диалект.

Очерк Даля «Чухонцы в Петербурге» Готлунд сопроводил собственными комментариями. Как он отмечал в предисловии, «многим финнам хотелось бы знать, что о них думают и говорят русские». Кроме того, финны интересовались и тем, как жили их единоплеменники в русской столице. У Даля, по словам Готлунда, было доброе намерение — рассказать обо всем правдиво. Однако не все в очерке удовлетворяло Готлунда. Особенно ему не нравился иронический тон автора.

Даль написал «физиологический очерк» о городских низах, о петербургских «чухонцах» — служанках, извозчиках, трубочистах, разных мастеровых людях. В очерке описывалось, как финские крестьяне привозили на городской рынок свои продукты, как они сами закупали товары в столичных лавках, часто не зная языка, пробуя все на ощупь, по-крестьянски подозрительные к «господам»; словом, это были люди «себе на уме», несмотря на всю свою внешнюю неловкость и угловатость. В очерке нет отчетливо определившегося авторского сочувствия к этим людям, чей невзрачный вид Даль все-таки описывал как человек посторонний, хотя и с видимым любопытством. Иронию Даля по отношению к финнам Готлунд воспринял как попытку во что бы то ни стало «рассмешить русского читателя».

Тем не менее, Готлунд был горд тем, что о Финляндии все чаще стали писать за ее пределами. Он объяснял это подъемом финского национального движения, усилением борьбы за самобытную финскую культуру. В предисловии к переводу повести Кукольника Готлунд подчеркивал, что в последнее время «русские, как и многие другие народы, стали обращать на нас больше внимания; похоже, что в России стало уже привычкой говорить и писать о финнах, тогда как прежде никто не упоминал о нас»<sup>1</sup>. Русские, по словам Готлунда, заметили в финнах как хорошее, так и плохое. Он указывал, что все русские литераторы, писавшие о финнах, оценили в них «серьезность, честность и отвагу, хотя мы все еще не избавились от своей необщительности, мрачности и неповоротливости»<sup>2</sup>.

О повести Кукольника Готлунд отозвался весьма сдержанно.

<sup>1</sup> Suomi, 1848, N 14.

<sup>2</sup> Там же.



Он считал ее поверхностной, особенно что касалось попыток автора обрисовать финский национальный характер. Но, с другой стороны, Готлунда привлекала описываемая в повести петровская эпоха. К той же эпохе относилось и действие в повести В. Одоевского, которую Готлунд считал наиболее значительной из всех переведенных в его газетах произведений русских авторов.

В повести Одоевского есть своеобразный финский колорит. В ней рассказывается о судьбе финской семьи в период Северной войны. Старый крестьянин Руси поет своей жене Гине, внучке Эльсе и приемному сыну Якко древние руны о борьбе рода Калевы с Похьелой. В сознании крестьян эта борьба ассоциируется с «великой враждой» русских со шведами. Сын стариков Павели и сейчас на войне. При отступлении шведских войск его застрелил вестовой, нуждавшийся в крестьянской одежде. От руки вестового погибла и Гина, а старика Руси он силой заставил перевезти себя на лодке через водопад Вуокси. В отмщение за гибель своей семьи старик умышленно направил лодку на пороги, чтобы погубить вестового и себя. Русские войска преследуют шведов, и мальчик Якко помогает русским. Они взяли его с собой в новую русскую столицу на Неве, откуда Петр отправил его вместе с другими молодыми людьми за границу. После учения царь поставил Якко во главе «типографских дел», он разбогател, приобщился к светским манерам и стал бывать в обществе. Он, однако, не забыл еще свою Суоми, где у него есть невеста, и теперь он привозит ее в Петербург. Но она, простая крестьянская девушка, не могла привыкнуть к новой для нее обстановке, она «дикарка» и слишком любит свою родину, чтобы остаться среди чужих людей, да и Якко стал для нее теперь чужим. Она уехала домой, а Якко женился на русской. Повесть написана с сочувствием к финнам, с сильным антишведским уклоном.

Готлунд нашел повесть Одоевского «прелестной и занимательной»<sup>1</sup>. Уместно напомнить, что ее высоко оценил также Белинский в рецензии на альманах В. Владиславлева «Утренняя заря», где повесть была впервые напечатана<sup>2</sup>. Она, по словам критика, «отличается теплотою и свежестью чувства, превосходным рассказом и тем «гуманическим» созерцанием, которое лежит в основании всех произведений этого писателя»<sup>3</sup>. Пересказав содержание повести, Белинский писал, что «все это так увлекательно, так полно жизни и истины, что невольно жа-

<sup>1</sup> Suomi, 1847, N 3.

<sup>2</sup> К<нязь> В. О<доевский>. Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия. — «Утренняя заря» — альманах на 1841 год, изданный В. Владиславлевым. С.-Петербург, 1841, стр. 15—128.

<sup>3</sup> Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. IV. Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 451.

леешь, почему автор не употребил большего труда для отделки этого поэтического произведения. Особенно поразительно в повести то, что все главные действующие лица ее, будучи финнами, в то же время и люди, и что в национальном элементе поэтической и грациозной героини резко пробивается общечеловеческий элемент»<sup>1</sup>.

Одоевский обладал довольно подробными для того времени сведениями о финнах. Он знал особенности их быта, свободно пользовался образами их мифологии. Белинский оценил эту осведомленность автора. «Превосходна картина финского семейства, которою открывается повесть, — писал он. — Автор делает примечание, что финны живут не деревнями, а отдельными хижинами, рассеянными далеко одна от другой на огромном пространстве, и что, вследствие этого, при национальной настроенности их духа, они все известия о том, что делается на свете, обыкновенно доходящие до них в искаженном виде, облекают в мифические образы и делают из них баснословные предания»<sup>2</sup>. Приведя длинную выписку того места в повести, где рассказывается о фантастическом единоборстве двух гигантов — русского царя и шведского короля — за «финское Сампо», Белинский заключал: «Можно ли лучше воспользоваться преданиями племени, чтобы написать поэму, которая в тысячу раз выше всевозможных «Петриад» и в которой образ Петра является столь верным и истинным действительности, в своей мифической колоссальности»<sup>3</sup>.

Оценка повести Белинским представляется даже слишком восторженной, учитывая, что вещь эта все-таки не обладает большими художественными достоинствами, на что, впрочем, намекал и рецензент, сожалея о том, что автор не приложил достаточно труда для ее «отделки».

Газеты Готлунда подчас с поразительной быстротой реагировали на выступления русских журналов. Объясняется это тем, что у Готлунда были корреспонденты в Петербурге, имевшие возможность следить за местной печатью. Наглядным примером их оперативности может служить тот факт, что появившаяся в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1847 год рецензия на книгу Грота «Переезды по Финляндии» уже 16 октября была переведена в «Суоми», газете Готлунда. Правда, переводчик, подписавшийся знаками «-l-s», ввел Готлунда в заблуждение, внушив ему доверие к рецензии Сенковского. однако сам этот отклик все же примечателен как свидетельство того, что финны уже в ту пору обладали возможностью получения быстрой информации из России.

<sup>1</sup> Там же, стр. 451—452.

<sup>2</sup> Там же, стр. 452.

<sup>3</sup> Там же, стр. 454.



Как представитель «торгового направления» в русской журналистике, Сенковский был в неладах с плетневским «Современником», а также с сотрудничавшим в нем Гротом. Последнего обижало и то, что «Библиотека для чтения» не оценила его заслуг в распространении сведений о Финляндии среди русских читателей. В 1842 году в журнале Сенковского появилась статья о «Калевале»<sup>1</sup>, написанная по Мармье, французскому автору ряда сочинений о финнах на французском же языке. Статья в «Библиотеке для чтения» начинается утверждением, что в России почти ничего не знают о финнах. Каждый год, писал автор, «посещаем мы Финляндию, но, к несчастью, ничего там не видим, ничего не слышим. Стыдно признаться, что о народе, которым окружена наша столица, мы должны узнавать все новое и любопытное из парижских журналов! Это однако ж совершенно справедливо. Не будь господина Magtner мы, несмотря на огромное число наших путешественников по северному берегу залива, ничего не знали бы о существовании у финнов большой и весьма древней эпопеи». Такое заявление, вполне понятно, показалось несправедливым и обидным Гроту, который уже в течение нескольких лет печатал статьи о финнах, их народной поэзии и литературе. На приведенный выше упрек «Библиотеки для чтения» Грот отвечал: «Развернув любую из книжек Современника за 1839, 1840, 1841, 1842 год, легко увериться, что стыд, относимый автором приведенных строк на счет русских вообще, по справедливости должен остаться только за теми, которые чтение свое ограничивают корректуркою собственного журнала. Не только имя Калевалы очень часто упоминаемо было в Современнике, но и самое содержание этой поэмы подробно изложено в XIX томе его. Что же касается до г. Мармье, то мы, при всем уважении к его достоинствам, заметим мимоходом, что если б строго исследовать генеалогию некоторых из его статей, то, может быть, иная оказалась бы, по источнику своему, немного сродни тем статьям Современника, в которых речь идет о Финляндии»<sup>2</sup>.

В течение последующих лет отношения между Гротом и Сенковским оставались неприязненными. Это отразилось и в той рецензии, которой «Библиотека для чтения» откликнулась на книгу Грота «Переезды по Финляндии». В откровенно насмешливом тоне Сенковский писал о ней, что страницы ее «сухи как финляндский гранит и бесплодны как путевые записки». Названия глав, как утверждал рецензент, не соответствовали их содержанию, читатель по заглавию ждал от них гораздо большего, чем в них было на самом деле. «Вы издали видите: Финская

<sup>1</sup> Калевала — финская языческая эпопея. — «Библиотека для чтения», 1842 г., т. 55, Критика, стр. 1—24.

<sup>2</sup> Грот Я. К. Труды. т. I, стр. 279.

литература!.. вы бросаетесь на статью с жадностью — читаете — и узнаете из нее только то, что студент Альквист ездит по Финляндии собирать народные песни! Как! в путешествии по Финляндии, в книжке толще всего Великого Княжества Финляндского, в сочинении такого романтического поэта ни слова о финской литературе — о финской мифологии? Это ужасно! Поэт нигде не одушевляется. Ему скучно. Его мечта зевает, потягивается, спит в одноколке»<sup>1</sup>.

При перепечатке этой рецензии в газете «Суоми» Готлунд еще более усилил ее ироническое звучание своими собственными примечаниями. Он намекнул на привилегированное положение Грота в Гельсингфорсском университете, на то, что он был срудием русификаторской политики правительства, которое отказывалось по-настоящему содействовать развитию финской культуры и преследовало местную печать. Имея в виду инспекторские поездки Грота по финляндским гимназиям, где преподавался русский язык, Готлунд писал о «титулованном профессоре», который «за казенный счет» объезжал каждое лето свои академические владения, чтобы установить, «насколько уже обрусели» его подопечные.

Как видно из этого примера, реакционная политика царизма в Финляндии серьезным образом мешала культурному сближению двух народов, отравляя дружбу, порождая взаимное недоверие и подозрительность. К этому следует добавить, что у Готлунда были еще личные причины для временной размолвки с Гротом. Очень самолюбивый по характеру, Готлунд был задет критическими отзывами Грота о своем поэтическом таланте. Статьи Грота о Финляндии были ему известны. Еще в письме от 19 июня 1840 года Грот сообщал Плетневу: «Лённрот сказал мне, что он только что переводил своему земляку (Готлунду. — Э. К.) отрывки из моей статьи «Гельсингфорс», и, взяв ее, начал вслух читать места оттуда»<sup>2</sup>. Статья эта была напечатана в «Современнике». Там же Грот опубликовал и свои «Литературные новости из Финляндии» (1840), где несколько страниц было посвящено Готлунду и его поэтическому сборнику «Рунола», в котором предпринималась попытка придать некий строгий вид финской мифологии по образцу античной. Грот писал о Готлунде, что «общее мнение отдает ему справедливость в блестящих дарованиях и в неутомимом трудолюбии — особенно, когда он является исследователем, но признает в нем недостаток художнических достоинств и слишком своенравную изобретательность»<sup>3</sup>.

Хотя Грот, отказывая Готлунду в поэтическом даровании, и

<sup>1</sup> «Библиотека для чтения», 1847, т. 84, Критика, стр. 28.

<sup>2</sup> Переписка, т. I, стр. 5—6.

<sup>3</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 165.



ссылался при этом на «общее мнение», но для самого Готлунда это было плохим утешением, он не мог примириться с таким приговором и сильно обиделся. Грот даже подозревал, что его друг написал анонимную статью против него<sup>1</sup>.

Но все же дружеские отношения постепенно восстанавливались — так случилось и после того, как Готлунд перепечатал рецензию Сенковского. Сам Готлунд, разумеется, не имел возможности прочитать книгу Грота и потому целиком положился на мнение рецензента и переводчика. Но у Готлунда был еще один знакомый литератор в Петербурге — Т. Фриман, который также переводил для «Суоми». Отец Фримана когда-то был крепостным в Эстляндии, но потом сумел разбогатеть, стал купцом и переселился в Петербург. Здесь его сын получил образование, после чего преподавал финский и эстонский языки в особом финском церковном училище и духовной семинарии в Петербурге, а также переводил на эти языки, по поручению синода, православные церковные книги. Когда Готлунд в своей сатире «Торговец религией» высмеивал попытки властей распространять в Финляндии православие, то здесь, видимо, учитывались и те сведения, которые мог дать об этом Фриман. Готлунд поощрял филологические наклонности своего друга и, в частности, издал его разыскания о финской грамматике. Фриман был знаком также с Я. Ютейни, под влиянием которого стал сотрудничать в выборгских финских газетах (Ютейни жил в Выборге). Впоследствии Фриман сам издавал в Петербурге газеты на финском языке.

В начале 1848 года в газете «Суоми» (№№ 2 и 4) были опубликованы отрывки из книги Грота в переводе Фримана. Из примечания Готлунда ясно, что Фриман высказал ему свое несогласие с перепечатанным в «Суоми» отзывом Сенковского на книгу и прислал свой перевод нескольких отрывков из нее. Исправляя допущенную ошибку, Готлунд теперь указывал, что книга Грота, судя по переведенным отрывкам, не была «столь пустой и никчемной, как об этом писал другой русский», то есть Сенковский. Фриман в свою очередь отвергал нападки «Библиотеки для чтения», доказывая, что в книге было много любопытного для финнов. Переводчик добавлял, что книга Грота и его статьи о Финляндии были положительно оценены также русским читателем — «как по языку, так и по духу». Фриман ссылался при этом на отзывы «многих русских газет и журналов, признавших книгу полезной». Возможно, что переводчик имел в виду и рецензию «Отечественных записок», в общем благожелательную, хотя в ней и были предъявлены некоторые серьезные претензии к автору книги. Рецензент упрекал Грота в основном в том, что он совершенно не обращал внимания на соци-

---

<sup>1</sup> См. Переписку, т. I, стр. 193.

альные и национальные вопросы, остерегаясь высказывать «высшие взгляды» на предмет, отказываясь от обобщений. Рецензенту хотелось, например, чтобы в книге был дан «общий очерк финляндского народонаселения по разным его сословиям и племенам», чтобы были охарактеризованы «отношения элементов, из которых сложилось нынешнее население Финляндии — финского, шведского и русского. Ничего подобного вы не найдете в «Переездах по Финляндии» — разве сами составите какое-нибудь, может быть и ошибочное заключение из разных незначительных случаев, о которых рассказывает г. Грот. Отчего это так? Неужели в Финляндии нет ничего такого, что сильно поразило бы путешественника своею особенностью? Отчего, например, не обратить внимания на два сословия в Финляндии — на крестьян и на духовенство?»<sup>1</sup> Рецензента интересовали социальные отношения в Финляндии, особенно крестьянский вопрос. В рецензии прямо указывалось, что «финляндские крестьяне живут под совершенно другими условиями, нежели наши в отношении прав на землю. Кроме того, все крестьяне в Финляндии знают грамоту: из этого примера нельзя ли бы было извлечь чего-нибудь полезного для нас, особенно в такое время, когда и правительство и частные люди особенно занялись распространением грамотности между крестьянами и когда в литературном мире идет презанимательный спор о том, как лучше взяться за это дело? . . .»<sup>2</sup> Приведя из книги пересказ руны крестьянского поэта Лютинена о бесправном положении финского языка, рецензент отметил подъем национального самосознания в Финляндии и высказал сожаление по поводу того, что Грот «мало обратил внимания на это стремление к возрождению финского элемента, тем более замечательное, что оно возникает в среде простого класса, не чуждого образованию: известно, что многие крестьяне финские посылают детей своих учиться в университет»<sup>3</sup>.

Упреки эти были справедливы. Грот действительно проявлял крайнюю осторожность в своих печатных выступлениях о Финляндии. Социально-политических сторон финляндской жизни он вообще не касался. Рецензент «Отечественных записок», восполняя пробелы книги, напоминал, что в Финляндии не было крепостной зависимости. А Грота такие явления, как крепостничество, отсутствие гражданских свобод, мало интересовали, о них он предпочитал не упоминать даже в частных письмах. В этом смысле у Готлунда был более критический ум, он живее откликался на важнейшие вопросы времени.

---

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1847, т. 53, Библиографическая хроника, стр. 14.

<sup>2</sup> Там же, стр. 15.

<sup>3</sup> Там же.



Связь Готлунда с Гротом не прекратилась и после того, как последний в начале 1853 года покинул Финляндию. В бумагах Грота сохранились письма к нему от Готлунда, по-прежнему интересовавшегося русской культурой. В письме от 14 марта 1859 года (на шведском языке) Готлунд просил Грота прислать ему русские книги и в связи с этим писал: «Ты, вероятно, лучше кого-либо другого знаешь, насколько плохо наша библиотека обеспечена произведениями русской литературы, особенно что касается древних периодов. Сам я, конечно, языка не знаю, но по примеру многих других нахожу выход в том, что с помощью какого-нибудь доброго приятеля одолеваю наиболее для меня интересное. Есть слишком много трудов, с которыми мне хотелось бы ознакомиться поближе; но чтобы не обременить тебя чрезмерно, я ограничиваю себя самым необходимым»<sup>1</sup>. Готлунд, в частности, просил выслать ему описание «древностей» карелов Тверской губернии, принадлежащее перу Ф. Глинка.

Упомянутое письмо Готлунда любопытно еще и в том отношении, что оно написано в напряженное для Финляндии время, когда финская общественность требовала открытия сейма и проведения ряда реформ, а царизм все еще упорствовал в своем нежелании идти на уступки, ограничиваясь одними обещаниями. Идею созыва сейма Готлунд считал «важнейшей новостью дня», повышение политической активности передовых слоев финляндского общества не внушало ему особого страха, однако он все еще сохранял свою наивную доверчивость по отношению к самодержавию, считая необоснованными распространившиеся слухи о том, что оно противилось требованиям созвать финляндский сейм<sup>2</sup>.

Подобная позиция в конце 50-х годов уже не вполне согласовывалась с воззрениями наиболее прогрессивных финляндских писателей, которых все более занимала проблема решительных действий народных масс против реакции. В развитии своих общественно-политических и литературных взглядов Готлунд не поспевал за временем, в нем было уже нечто такое, что казалось анахронизмом.

Ограниченность мировоззрения Готлунда достаточно отчетливо проявилась в его оценке революционных событий 1848 года. Вначале, как уже указывалось, он очень сочувственно отнесся к революции, однако это сочувствие продолжалось только до тех пор, пока речь шла о завоевании буржуазно-демократических свобод. Когда же на арену выступил французский и немецкий пролетариат под знаменем социализма, Готлунд обнаружил явное непонимание хода событий, разделив в этом отноше-

---

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 272, л. 3.

<sup>2</sup> Там же, л. 4.

нии участие многих представителей европейского освободительного движения.

В номере газеты «Суоми» от 8 сентября 1849 года Готлунд поместил статью<sup>1</sup>, в которой пытался определить значение революции и извлечь уроки из нее. Революция, по словам Готлунда, доказала, что короли бессильны, если они не пользуются поддержкой народа. Но свержение неугодных королей, продолжал он, еще не решает вопроса. Это дело не самое трудное. Значительно труднее установить такой порядок, который был бы лучше прежнего. Социалистические идеи Готлунду были чужды, он с неодобрением отзывался о попытках истолковать лозунг «свободы, равенства и братства» в духе имущественного равенства всех членов общества. Осуществление такого принципа означало бы, по Готлунду, подрыв «всей экономической жизни» общества. По своим умственным способностям люди не равны, и это для Готлунда служило уже достаточным оправданием имущественного неравенства. Он подчеркивал, что «речь может идти лишь о равенстве всех перед законом». Если раньше он уделял основное внимание критике существующих общественных устоев, то теперь в его рассуждениях уже настойчиво подчеркивалась мысль о необходимости разрешать классовые противоречия путем компромисса. В этом и состоял, по мнению Готлунда, главный урок революции. Восприняв его, правители и народы должны были пойти на взаимные уступки. Самой важной задачей Готлунд считал мирное урегулирование правовых отношений между государственной властью и подданными. Таким полюбовным урегулированием и представлялись Готлунду ожидаемые в Финляндии реформы, о которых упоминается в цитированном выше его письме к Гроту.

Готлунд прожил долгую жизнь, но наиболее важное значение в общественно-литературной жизни Финляндии имел ранний период его деятельности, когда в числе немногих единомышленников он впервые выступил с пропагандой идеи национального возрождения финского народа, что было связано с борьбой против феодальных общественных устоев. Оценивая роль Готлунда в развитии финской культуры, Э. Лённрот в 1854 году писал, что «почти сорок лет тому назад, в период, когда изучение финского языка было предано забвению, он со всем пылом юности, более увлеченный, чем кто-либо другой, отдал себя и имеющиеся у него средства, весьма-таки значительные, на служение финскому языку и литературе»<sup>2</sup>. Лённрот подчеркнул при этом, что дело было не просто в личных наклонностях Готлунда. Развитие финского языка и литературы стало насущной потребностью времени. Готлунд не был одинок,

<sup>1</sup> Maista muista mainitahan. — Suomi, 1849, N 7.

<sup>2</sup> A. Anttila. Elias Lönnrot, elämä ja toiminta, II. Helsinki, 1935, s. 128.



в этом же направлении, как отмечал Лённрот, трудились и другие представители национально настроенной финляндской интеллигенции. И все-таки, продолжал Лённрот, «я убежден, что энергичное выступление Готлунда, этого борца, готового пожертвовать всем во имя возрождения родного языка и литературы, значительно ускорило их развитие»<sup>1</sup>.

Со стороны Лённрота, столь много сделавшего для финской культуры, это было благодарным признанием заслуг своего предшественника.

4

Как свидетельствуют изложенные факты, в 40-е годы в Финляндии интерес к русской литературе заметно оживился. Переводы с русского появлялись не только в газетах, но и отдельными книгами. В дальнейшем, однако, переводческая деятельность временно ослабла, что было одним из пагубных последствий политики царизма в Финляндии.

В конце 40-х годов самодержавие, напуганное европейскими революциями, прибегло к ряду репрессивных мер, отразившихся на развитии литературы. «Мрачное семилетие» в истории русской журналистики коснулось и Финляндии. Были запрещены «Сайма» Снельмана, «Канав» Ханникайнена, «Суомалайнен» Готлунда. Правительство решило «обуздать газетчиков», причем особое внимание обращалось на то, чтобы оградить социальные низы от революционных веяний. Мотивируя цензурный устав 1850 года для Финляндии, генерал-губернатор Меншиков писал, что это был «запрет издавать на финском языке сочинения, которые развращают народ и уже развратили рабочий класс во Франции, университеты и бедноту — во всех странах; словом, это такое же ограничение, как и обуздание газетчиков, с той целью, чтобы эти люди не могли распространять преступность»<sup>2</sup>.

Проканцлером университета был назначен генерал Норденстам, являвшийся также губернатором Нюландской губернии. Около двадцати лет прослужив на Кавказе и привыкнув к армейским порядкам, он теперь стал вводить их в университете. Для надзора над студентами была учреждена система педелей, и 22 февраля 1851 года Норденстам доносил: «На днях университетские педели начали свою службу»<sup>3</sup>. Студенты ненавидели проканцлера, отказывались присутствовать на устраиваемых им официальных торжествах, всячески высмеивали его солдафонские затеи. Норденстаму была послана карикатура под назва-

<sup>1</sup> A. Anttila. Elias Lönnrot, II, s. 128.

<sup>2</sup> Th. Rein. J. V. Snellmanin elämä, I. Helsinki, 1904, s. 605.

<sup>3</sup> ЦГАМФ, ф. 19, д. 36, л. 135.

нием «Рисунок и описание нового Полицмейстера по системе Чингис-хана (Норденстама)»<sup>1</sup>. Проканцлер на рисунке изображен в генеральском мундире и, как гласит описание, со «шпицрутеном в руках» и «мечом палача на боку». Делом рук студентов является, по-видимому, написанное на шведском языке сатирическое «Объявление»<sup>2</sup>, в котором сообщалось, что в пасхальную ночь ожидался «полет ведьм» с участием всех цензоров, которые после шумного парада на городской площади должны были исчезнуть вместе с нечистой силой. Возглавлял это шествие, согласно «Объявлению», профессор Аминов, незадолго до того занявший в университете кафедру философии, в которой было отказано Снельману, известному своими либеральными воззрениями.

Об избрании профессора на эту кафедру Грот в письме к Плетневу от 20 сентября 1848 года писал следующее: «Скоро в консистории будет дело об определении на кафедру философии Аминова и Снельмана. Положение всех профессоров в этом случае очень затруднительно, а тем более мое. Аминова студенты терпеть не могут, между прочим, за то, что он престокий цензор; Снельман чрезвычайно популярен не только между студентами, но вообще в Финляндии. В науке он, конечно, более первого удовлетворяет требованиям молодежи и модной критике, или скорее сказать, духу времени, но — признаться — я не очень уважаю его философию. Еще я не решился, кому отдам предпочтение»<sup>3</sup>. Грот все же проголосовал за Снельмана, опасаясь, что в противном случае им будут недовольны студенты и либеральные профессора.

Однако Снельман избран не был, и у студентов появилась еще одна причина негодовать на университетские власти и на Аминова. В донесении от 24 марта 1849 года Норденстам писал: «Когда получено было здесь известие о назначении Аминова, то это, как уже прежде объяснено, возбудило против него недовольствие студентов в высшей степени и вместе с тем усилило их энтузиазм к Снельману. В этом порыве энтузиазма многие из них изъявили желание показать ему свое участие таким образом, чтобы это имело влияние на его состояние и потому решили подписаться на издаваемую им газету («Литературблад». — Э. К.) как можно в большем числе экземпляров. Потом усерднейшим партизанам его это показалось недостаточно, и они хотели было затеять подписку. Узнав об этом, я сказал Ректору, чтобы он этого не допустил, ибо общая подписка в моих глазах будет иметь вид демонстрации»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Там же, лл. 127—129.

<sup>2</sup> Там же, ф. 19, д. 30, л. 100.

<sup>3</sup> Переписка, т. III, стр. 322.

<sup>4</sup> ЦГАМФ, ф. 19, д. 36, л. 49.



Цензурный устав 1850 года, разрешая «печатание старинных летописей, саг, народных поэм или старинных народных песней», запрещал, однако, «издание на финском языке романов в подлиннике или переводах и всяких других новых сочинений, кроме тех, которые и по духу и изложению имеют исключительно целью назидание религиозное или хозяйственное, первое без прений о догматах, а последнее — чисто практическое, без теорий политико-экономических». В уставе указывалось, что чтение романов, «предполагающее читателей исключительно из простого народа, понимающего только по-фински, отвлекало бы рабочий и сельский класс от полезных занятий и во многих случаях имело бы вредное влияние на их понятия»<sup>1</sup>.

Был изменен также устав Финского литературного общества, опять-таки с той целью, чтобы ограничить прием новых членов и совершенно не принимать людей из низов. В архивном фонде финляндского генерал-губернатора Меншикова сохранился любопытный документ под названием «О последних делах Финского литературного общества и интересах финского языка»<sup>2</sup>. Этот документ примечателен прежде всего своеобразным способом аргументации. Здесь, в частности, говорится: «Устав общества изменен тем, что туда не принимаются женщины, студенты и мужики, ибо женщины ни в каких ученых обществах не участвуют; студенты должны наперед сами учиться, а мужики не могут содействовать литературе». Поскольку цензурный устав 1850 года разрешал публикацию финских народных песен, то возникла мысль напечатать под этим предлогом переводы литературных произведений о финском народе, например, поэму Рунеберга «Охотники на лосей». Именно это имелось в виду в следующем пункте названного выше документа, который гласил: «Финское общество просило позволения перевести с шведского песни и поэмы о Финляндии, на основании упомянутого Высочайшего повеления, но это не разрешено, ибо песни о Финляндии не то, что финская песня». Общество хотело также «издать путевые впечатления своих членов, потому что эти члены ездили для собирания древних саг. И это не дозволено оттого, что впечатления поехавших за сагами молодых людей не суть древние саги». В порядке протеста против введенных изменений устава Литературного общества оно намеревалось опубликовать особое отношение финляндского сената по этому поводу к генерал-губернатору. Но в этом Обществе, как гласит документ, было «отказано, потому что частные лица не могут обнародовать официальных бумаг не на их имя и даже не должны иметь с них копий».

Было бы ошибочно думать, что финское национальное дви-

<sup>1</sup> ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 5, д. 61, № 149606, лл. 1—2.

<sup>2</sup> ЦГАМФ, ф. 19, оп. 6, д. 37, лл. 84—86.

жение подавлялось только русским самодержавием. В самой Финляндии были силы, противодействовавшие этому движению. Мы уже приводили нелестный отзыв Снельмана о финляндском дворянстве, из которого, по словам издателя «Саймы», образовалась чиновничья аристократия, угнетавшая народ и пресмыкавшаяся перед царизмом. Эти реакционные силы внутри Финляндии ускорили также гибель «Саймы» и других прогрессивных газет. Т. Рейн признает, что цензурное давление на газету Снельмана не было бы столь пагубным, «если бы многие его соотечественники не питали к ней неприязни и не старались повредить ей»<sup>1</sup>.

Можно привести некоторые документальные данные, свидетельствующие о сопротивлении финляндской аристократии даже тем уступкам финскому национальному движению, которые не вызывали особых возражений со стороны русского правительства. Например, в докладе генерала Норденстама, проканцлера университета, от 29 октября 1849 года говорится: «В прошлый понедельник Финляндское общество наук (Finska Wetenskapens Societeten) имело одно из обыкновенных своих заседаний. В числе статей, рассмотренных при том, присланных обществу для помещения в издаваемых оным сочинений, была и метеорологическая статья магистра Еклёва (Eklöf) на финском языке. Большая часть присутствовавших членов (11 человек) и в голове их президент граф Маннергейм, была против внесения этой статьи в сочинения общества, потому что она написана на языке, доступном только для мужиков и феноманов, как выразился граф Маннергейм. Остальные два человека, профессор Арпе (Arppe) и доктор Кастрен (тот, который недавно возвратился из Сибири, куда он ездил по распоряжению С.-Петербургской Академии наук для изучения и сличения разных наречий финского языка) требовали внесения этой статьи, и по этому случаю возникли довольно жаркие прения, во время которых граф Маннергейм своими резкими и справедливыми аргументами совершенно уничтожил своих противников и статья г. Еклёва не была принята»<sup>2</sup>. Далее Норденстам сообщал, что на следующий день «человек 10 феноманов» устроили под окнами графа Маннергейма «кошачий концерт» (Katzenmusik).

Когда возник вопрос об учреждении при университете особой кафедры финского языка и литературы (она была учреждена в 1850 году), член финляндского сената барон Кликовстрём высказал следующие возражения по этому поводу: «По моим видам, не может и не должен иметь особую при нашем университете кафедру какой-либо другой предмет, кроме науки уже

<sup>1</sup> Th. Rein. J. V. Snellmanin elämä, I. Helsinki, 1904, s. 513.

<sup>2</sup> ЦГАМФ, ф. 19, д. 36, л. 90.



достигшей развития и распространения, или такой язык, который имеет собственную историю и вполне развитую словесность, изучение и обсуждение коих могут занимать изыскателя и доставить университетскому учителю удобные предметы преподавания. Что подобные факты не встречаются насчет финского языка, или что на многие десятилетия, быть может, столетия его нельзя будет относить к кругу общих наук, — это профессор Бломквист весьма удовлетворительным образом доказал в своем отзыве по этому предмету.

Профессор Нервандер в поданном им мнении старался сравнить финский язык с русским и в уважение того, что последний имеет особую при университете кафедру, представил о подобном преимуществе и для первого, но всякое в этом отношении сравнение должно уничтожиться, если устранить энтузиазм, и когда спокойный мыслитель сообразит, что Россия имеет тысячелетнюю историю и литературу, которая еще в течение полутора веков была разработана с невероятными успехами, Финляндия же, напротив, из всего этого не имеет ничего! Что, при таковых обстоятельствах, особая кафедра для финского языка не нужна в ученом отношении, это, как я надеюсь, доказано положительно, а что она не требуется для общего в этом крае образования — это само собою разумеется: по-фински говорит лишь простой народ, а шведский, немецкий и отчасти русский языки употребляются классами образованными. Финское самолюбие и существующий в юношестве дух эмансипации, конечно, видели бы в подобной новой кафедре рассвет будущего всемирно-исторического значения, но на этот вопрос смотрели бы, несомненно, вовсе другими глазами прочие нации, и трудно решить, не найдет ли образованная Европа круг действия нового профессора ограниченным весьма тесными пределами.

На основании вышеизложенного, и как я при том должен не упустить из виду, что на подлежащий вопрос можно смотреть также из политической точки зрения.

Что партия (fraction), которая под названием «фенноманов» в последние времена явилась с хвастливыми притязаниями, в случае Высочайшего соизволения на учреждение особой для финского языка кафедры, конечно, признали бы тот факт выражением несомненного одобрения так называемых финских стремлений (tendances), крайняя цель которых, едва ли еще предугаданная, вероятно не остановится в пределах нынешней Финляндии, то чувство и долг побуждают меня не испрашивать Высочайшего соизволения на представление университетской Консистерии об учреждении особой кафедры для финского языка и литературы»<sup>1</sup>.

В этом не очень грамотно изложенном «мнении» (приведен-

<sup>1</sup> ЦГАМФ, ф. 19, д. 16, лл. 35—38.

ный нами текст представляет собой, видимо, перевод со шведского») достаточно отчетливо отразилась позиция шведской дворянской верхушки Финляндии в вопросе о предоставлении финскому народу права на самообытное культурное развитие. Репрессии царизма встречались в Финляндии не только протестами, но и выражениями удовлетворения. 30 марта 1850 года Норденстам докладывал из Гельсингфорса: «Во всех углах города теперь толкуют то об ожидаемом запрещении печатать книги на финском языке, то о назначении кафедры для этого языка при Университете; которые радуются, а другие недовольны, как обыкновенно бывает: всем не угодишь»<sup>1</sup>. Несколько раньше Норденстам сообщал, что новый цензурный устав — это «решительный удар фенномании. Сколько уже теперь слышно, антифенноманы очень довольны этим повелением»<sup>2</sup>.

Общественная борьба в Финляндии к концу сороковых годов значительно обострилась. Более сложными стали также русско-финляндские отношения. Репрессии самодержавия дали повод для усиления антирусского национализма в Финляндии. Это почувствовал и Грот. Его деятельность в должности профессора русского языка и литературы в Гельсингфорском университете становилась затруднительной. К тому же Грот не смог найти правильной позиции в этой усложнившейся обстановке.

Еще в 1845 году, когда у него произошли первые конфликты со студентами, он встал перед вопросом, как вести себя при сложившихся обстоятельствах. «Надо бы от правительства услышать искреннее объяснение, чего оно хочет, — писал в ту пору Грот. — Если хочет все обрुшить — не достигнет цели; если хочет сохранить права и законы прежние, то к чему в сем знать по-русски? Пусть бы при вступлении в университет от всякого зависело держать или не держать экзамен в русском; здесь же он требовался бы только от тех при их выпуске, которые намерены вступить в известные ведомства. Но зато уж эти должны бы знать его со всею основательностью и подвергаться самому строгому экзамену. Теперь же и слабость и строгость со стороны профессора равно неудобны: при слабости он будет пропускать и таких, которые должны хорошо знать по-русски; а при строгости трудно будет и тем, которым это знание не так нужно.

Нужно бы особое заведение, в котором бы всему непременно учили по-русски.

Почему бы сенату не представить об этих изменениях? там сидят или колпаки или люди с предрассудками. Надобно бы, чтобы правительство истребовало по этому предмету мнение сведущих людей (Гартмана).

<sup>1</sup> Там же, ф. 19, д. 36, л. 105.

<sup>2</sup> Там же, ф. 19, д. 37, л. 20.



Если будут слишком принуждать, будет здесь то же, что в Остзейских губерниях, — всеобщее неудовольствие на правительство»<sup>1</sup>.

Вопрос о преподавании русского языка в финляндских учебных заведениях волновал Грота, а также Плетнева, который даже справлялся у наследника престола, не ожидалось ли в этом отношении каких-либо реформ, на что Александр ответил отрицательно<sup>2</sup>. Видя, что учрежденный правительством насильственный порядок внедрения русского языка среди финнов встречал сопротивление с их стороны, Грот пытался объяснить свою собственную причастность к этому делу словами: «Не я писал устав. Я только одно из орудий его исполнения»<sup>3</sup>. И надо сказать, что в этой своей роли, под впечатлением личных обид, Грот подчас рассуждал совсем в духе официальной политики царизма по отношению к финнам и даже считал желательным усиление охранительных мер. В своих «Заметках» он в 1846 году писал о Финляндии: «Не должно позволять публицистам беспрестанно толковать в газетах о праве вмешиваться в дела общественные и о стеснении цензуры. Нынешнее направление здешних газет очень вредно действует на университетскую молодежь. Издатели сами, по большей части, принадлежат к числу студентов, недавно получивших степень, и потому льстят своим сверстникам, развивают в них дух гордости. Когда есть случай, то задевают и недостатки России, например, устройство университетов.

Между студентами в сильной мере господствует *esprit de corps*, а между тем никто не руководит их мнением. Для них прошедшее — святыня; давая праздники по отделениям, они на сборное место переносят из своей обыкновенной залы портреты людей, прославившихся в истории университета. Этот дух произвел литературные стремления, которых прежде не было. Явились издатели альманахов в прозе и стихах. В этой литературной деятельности особенно замечателен энтузиазм ко всему финскому, к преданиям и поэзии финнов.

И вне университета чаще прежнего издаются финские книги и газеты для народа; в финляндско-шведских листах беспрестанно рассуждают о финской национальности и общем введении финского языка»<sup>4</sup>.

Финны, по словам Грота, втайне негодовали на правительство за то, что оно ничего не делало в пользу финского языка, отчего еще больше увеличивалась «неохота к русскому». Грот упрекал правительство и за то, что оно равнодушно смотрело

---

<sup>1</sup> Переписка, т. II, стр. 926.

<sup>2</sup> Там же, т. III, стр. 195.

<sup>3</sup> Там же, т. II, стр. 927.

<sup>4</sup> Там же, стр. 928.

на «финский дух», между тем как нужно было «овладеть им и дать ему направление по своим видам»<sup>1</sup>. Однако финское национальное движение зашло уже далеко, и «по своим видам» правительству не удавалось его направить. Снельман предсказывал это еще в 1844 году, да и сам Грот не вполне надеялся на способность самодержавия «овладеть» настроениями финнов. Желая верить, что недовольство студентов было всего лишь шалостью, сравнительно легко устранимой, он вместе с тем добавлял: «Но если финнизм владеет умами сильнее, нежели предполагать можно, то беда Финляндии»<sup>2</sup>.

Эта «беда» нагрянула в форме правительственных репрессий, о которых уже говорилось. Пребывание Грота в Финляндии становилось мало приятным для него, и когда ему предложили кафедру в Царскосельском лицее, он принял это предложение. В начале 1853 года Грот покинул Гельсингфорс, где прожил более двенадцати лет.

Но, выехав из Финляндии, Грот не перестал интересоваться ею. Время от времени он выступал со статьями по Финляндии, переписывался с деятелями финляндской культуры. Помимо прежних друзей, у него появлялись и новые корреспонденты.

В русской науке Грот справедливо считался лучшим знатком Финляндии. Показателен, например, следующий факт. В 1885 году американка Мэри Браун прислала в Петербургскую Академию наук письмо с просьбой дать отзыв о ее переводах из финляндских писателей на английский язык. Письмо это было передано Гроту как наиболее сведущему судье в вопросах финляндской литературы, и в его бумагах оно и хранится. Приводим отрывок из этого любопытного письма, в переводе с английского: «Позвольте мне узнать, — писала Браун, — не могу ли я представить некоторые мои переводы из финляндских авторов, Рунеберга и Топелиуса, для проверки в Петербургскую Академию наук, поскольку Финляндия принадлежит к России? Если нет, то какому литературному трибуналу или комитету из компетентных лиц в Финляндии смогла бы я выслать упомянутые работы, а именно переводы «Рассказов фельдшера», «Надежды», «Могилы в Перхо» и ряда других стихотворений Рунеберга?»<sup>3</sup> К письму приложены краткие рецензии из шведских, финляндских, американских газет на переводы М. Браун.

В числе финляндских корреспондентов Грота был финно-угровед А. Альквист (как поэт он известен под именем Оксанен). В частности, в письме от 2 октября 1873 года Альквист, по просьбе Грота, сообщал ему сведения о переводах «Саги

<sup>1</sup> Там же, стр. 935.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 128, л. 1.



о Фритиофе» на венгерский язык<sup>1</sup>. Грот высылал книги Альквисту, за что тот благодарил его в письме от 30 октября 1873 года, где, между прочим, читаем (в переводе со шведского): «Статью Корсакова (Меря и Ростовское княжество), которую Вы, Ваше превосходительство, хотите по своей любезности прислать мне, я уже получил в нашей русской библиотеке. Она включена в Записки Казанского университета. Те экземпляры в присланном мне книжном пакете, которые предназначены в другое место, я уже доставил по указанному адресу. Лённрот просит передать Вам сердечный привет»<sup>2</sup>.

Грот переписывался также с С. В. Гельгреном<sup>3</sup>, переводчиком рун «Калевалы» на русский язык. В начале 80-х годов он был студентом Московского университета, где изучал русский язык под руководством Ф. И. Буслаева (некоторые письма Гельгрена к Гроту отправлены из Москвы). В 1880 году из «Калевалы» был опубликован цикл рун о Куллерво в русском переводе Гельгрена<sup>4</sup>. На русский язык этот цикл переводился впервые. Прозаический пересказ «Калевалы» в ее первой редакции, изданный на русском языке в 1847 году М. Эманом и тогда же прорецензированный Белинским, не включал рун о Куллерво. На перевод Гельгрена рецензию написал Грот. Он указывал, что в переводе «имелась в виду точная передача своеобразного содержания и внутренних достоинств финской эпопеи, чему иногда по необходимости приносилась в жертву гладкость стиха. По возможности переводчик держится склада и способа выражений нашей народной эпической песни, и надо отдать ему справедливость, что это по большей части ему удается. Вообще язык перевода, за немногими исключениями, правилен и выразителен; в устах молодого иноплеменника это заслуживает особенной похвалы, часть которой должна, конечно, падать на долю его ученого наставника»<sup>5</sup>.

Сохранилось множество писем В. Лагуса к Гроту как на шведском, так и на русском языке. Историк по специальности, впоследствии ректор Гельсингфорсского университета, Лагус объездил юг России, был в Греции и Турции, печатал статьи о своих поездках. Большое внимание в письмах Лагуса к Гроту уделяется естествоиспытателю и путешественнику Эрику Лаксману, финляндскому уроженцу, сотрудничавшему во второй половине восемнадцатого века в Петербургской Академии наук.

<sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 14, л. 2.

<sup>2</sup> Там же, ф. 137, оп. 3, д. 14, л. 3.

<sup>3</sup> В Архиве АН СССР (ф. 137, оп. 3, д. 231) хранится восемь писем Гельгрена к Гроту.

<sup>4</sup> Калевала, финский народный эпос. Песни о Куллерво. Перевел С. В. Гельгрэн. Москва, 1880.

<sup>5</sup> Грот Я. К. Труды, т. I, стр. 727.

Долгое время он жил в Сибири и изучал ее природу, чем особенно заинтересовал знаменитого Линнея. В 1880 году Лагус выпустил в Гельсингфорсе книгу о Лаксмани<sup>1</sup>, которую прорецензировал Грот. Она была переведена на русский язык Э. Паландером, одним из финляндских корреспондентов Грота.

Паландер преподавал русский язык и литературу в лицее города Хямеенлинна. В письме от 10 февраля 1880 года он просил Грота просмотреть и проверить его статью о русской литературе «от времен Петра Великого до наших дней»<sup>2</sup>. Статья эта была опубликована на немецком языке в лицейском ежегоднике<sup>3</sup> и явилась первой крупной работой финляндского автора о русской литературе.

Таким образом, Грот и после отъезда из Финляндии продолжал следить за ее культурной жизнью и в меру своих сил поддерживал русско-финляндские литературные связи. Правда, его общественные взгляды к этому времени еще более устарели. В обстановке обострившейся идейной борьбы начала 60-х годов он пуще прежнего упрекал русскую журналистику за то, что она слишком много занималась общественными вопросами, отличаясь «нетерпимостью» в критике, забывая о «гуманности» и литературных «приличиях». Эти воздыхания об утраченных правилах хорошего тона, однако, не мешали Гроту сотрудничать в «Русском вестнике» Каткова, в журнале, который, по выражению Д. И. Писарева, принадлежал к «литературной полиции»: именно здесь в 1861 г. был начат поход против революционных демократов. В «Русском вестнике» Грот напечатал свою «Заметку о русской журналистике», которая и дала Писареву повод для уничтожающих насмешек. Грот, по словам критика, безнадежно устарел. Уже давно остановившись в своем духовном развитии, он придерживался тех понятий об обязанностях литератора и гражданина, какие были еще у Карамзина и Жуковского. Но кто «в шестидесятих годах повторяет то, что казалось новым и смелым в двадцатых годах, тот, конечно, должен представляться нам каким-то ископаемым литератором»<sup>4</sup>.

Все это, разумеется, необходимо учитывать при оценке роли Грота в развитии русско-финляндских литературных отношений.

<sup>1</sup> W. Lagus. Erik Laxman, hans lefnad, resor, forskningar och brefvexling. Helsingfors, 1880.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 710, л. 1.

<sup>3</sup> E. W. Palander. Uebersicht der neueren russischen Literatur von der Zeit Peters des Grossen bis auf unsere Tage. — Hämeenlinnan normaalilyseon vuosikertomus, 1879—1880.

<sup>4</sup> Писарев Д. И. Сочинения, т. I., М., 1955, стр. 291.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О деятельности Грота в Финляндии у некоторых историков финской литературы уже давно сложилась достаточно определенная точка зрения. Она заслуживает пристального внимания, ибо касается не только Грота, но самой постановки проблемы русско-финляндских культурных связей на всем протяжении XIX века.

Грота финляндские исследователи вспоминают добрым словом, подчеркивая его ум, его образованность, присущее ему чувство такта. Вот что в начале 90-х годов писал в своих мемуарах Август Шауман, касаясь университетского юбилея: «Памятным и в своем роде весьма важным событием во время юбилейных торжеств было дружественное сближение гостивших у нас русских ученых и литераторов с финляндскими коллегами. В качестве соединяющей связи тогда выступал упомянутый Я. Грот из Петербурга. Этот тонко образованный и чрезвычайно благовоспитанный молодой человек, не достигший к тому времени и тридцати лет, рано освоился со шведским языком и шведской литературой, в том числе перевел на русский язык «Сагу о Фритиофе» Тегнера; еще в 1833 году он посетил Финляндию и тогда же познакомился с Рунебергом, которого описал с теплой любовью в русском журнале. В то же время, а, может быть, позднее, он сошелся с Сигнеусом, Лённротом, Нервандером и другими финляндскими литераторами, среди которых пользовался признанием и уважением. Посредством личных связей и языковых познаний он подготавливал себе положение, которое, как вскоре стало ясно, предназначалось ему в нашем университете. Успев уже наполовину привыкнуть к нам, он явился исключительно подходящим лицом для того, чтобы в дни юбилея содействовать сближению финских писателей с русскими, своими соотечественниками»<sup>1</sup>.

С целью закрепить возникшую дружбу, продолжал Шауман, было решено выпустить совместный литературный альманах. Альманах действительно вышел, но увы! дружба все равно ока-

---

<sup>1</sup> A. Schauman. Kuudelta vuosikymmeneltä Suomessa. Muistoja elämän varrelta, I. Jyväskylä, 1924, s. 109—110.

залась неустойчивой. Хотя «в некоторых кругах», как пишет Шауман, встреча 1840 года рассматривалась как доброе предзнаменование будущего «братского союза» литературных сил России и Финляндии и даже как залог возможного «присоединения» финской литературы к русской, однако эти упования были беспочвенными, история не подтвердила их. «Вот прошло уже полвека с тех пор, — резюмировал Шауман, — а «гrotовский альманах» так и остался единичным явлением, за которым ничего подобного уже не последовало»<sup>1</sup>.

Сходная точка зрения была высказана и В. Сёдеръельмом. Пример 1840 года, писал в начале XX века Сёдеръельм в своей монографии о Рунеберге, заслуживал, казалось бы, всяческого подражания, но, вслед за Шауманом, автору остается только пожалеть, что этот эпизод русско-финляндской дружбы никогда уже не повторился: в дальнейшем «лучшие элементы Финляндии и России» так и не узнали друг друга ближе. Впрочем, в отличие от Шаумана, Сёдеръельм не ограничился простой констатацией факта и выражением своих сожалений, но попытался дать ему объяснение. В поисках причин он сослался на обоюдные языковые затруднения, а главное — на различие «традиций» у русских и финнов, различие якобы столь глубокое и непреодолимое, что всякое сближение между этими двумя народами всегда было бы, по словам Сёдеръельма, «чем-то принудительным и искусственным». Упомянув еще о характере политических отношений между Россией и Финляндией, Сёдеръельм утверждал, что совокупность всех этих обстоятельств и привела к тому, что «предпринятый в 1840 году, при столь благоприятных предзнаменованиях, шаг не дал, однако, каких-либо дальнейших результатов. Грот с увлечением продолжал знакомить Россию с финляндско-шведской литературой, прежде всего с произведениями Рунеберга, посредством переводов и статей, но когда он после своего назначения в Гельсингфорский университет попытался действовать в обратном направлении, никто больше не пожелал следовать по избранному им пути»<sup>2</sup>.

Обратимся еще к А. Анттила, к более современному исследователю. В монографии о Лённротте, вышедшей двумя частями в 1931—1935 годах, Анттила писал о Гроде и его альманахе: «это русско-финляндское сотрудничество, начавшееся в чрезвычайно благоприятных условиях, никогда по-настоящему не достигло развития. Сперва мешали языковые затруднения, а когда они уменьшились, то политические противоречия открыли почти непроходимую пропасть между двумя народами. В этом отношении альманах, опубликованный в память двухсотлетнего

<sup>1</sup> Там же, стр. 110—111.

<sup>2</sup> W. Söderhjelm. J. L. Runeberg, hans liv och hans diktning, II. Helsingfors, 1906, s. 89.



юбилея университета, поистине является приветом минувших времен»<sup>1</sup>.

Во всех этих высказываниях финляндских исследователей слышен один общий лейтмотив, который можно передать словами: Да, русско-финляндские культурные связи пережили свою зарю, но она была слишком мимолетной и, не успев по-настоящему заняться, уже навсегда погасла. Можно считать такой исход вполне естественным, можно сожалеть об этом, но преодолеть роковое различие «традиций», заполнить «пропасть» между финнами и русскими нельзя, это не во власти народов.

Верно ли это? Верно ли прежде всего то, что русско-финляндские литературные связи ограничиваются по существу только деятельностью Грота финляндского периода? Даже по отношению к самому Гроту такое утверждение, как мы уже видели, несостоятельно. Связи Грота с финнами не прекратились и после его отъезда из Финляндии.

Что же тогда означал тот кризис, который обнаружился в русско-финляндских литературных отношениях к середине XIX века? А он несомненно был, отрицать его не приходится. Уже отмечался тот факт, что в результате реакционных актов самодержавия финны заметно утратили вкус к переводам с русского и восстановили его только значительно позже.

Но означал этот кризис лишь то, что русско-финляндские литературные отношения уже не могли развиваться в старом русле. Наступил новый этап и в общественном и в литературном движении.

Вплоть до конца 40-х годов непосредственные связи между литераторами Финляндии и России осуществлялись главным образом на официальной основе. Университетский юбилей 1840 г. был торжеством сугубо официального порядка и отмечался парадными речами в честь отсутствовавшего на юбилее наследника престола Александра, числившегося канцлером университета. Несколько официальный характер носил и тот званый обед, который был дан Плетневым в честь встречи русских литераторов с финскими, хотя не следует думать, что они были неискренни в выражении своих чувств. Правда, Грот подчас мучился от сознания двойственности своего положения в университете, от того, что он был не только частным лицом, дружески настроенным к финнам, но и, по его словам, «орудием исполнения» правительственной политики. Однако такого рода сомнения не исключали того, что и Грот, и его финляндские друзья все еще питали надежду на добрые намерения самодержавия. Эту иллюзию правительство стало внушать финнам сразу же после 1809 года, и она была существенным моментом

---

<sup>1</sup> A. Anttila. Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta, I. Helsinki, 1931, s. 356.

в тех попытках русско-финляндского культурного сближения, которые предпринимались в первой половине XIX века.

Из этого еще нельзя делать вывода, что подобное сближение было совершенно безрезультатно. Нет, оно дало свои плоды, финны в какой-то мере познакомились с литературной жизнью русского общества, а русские узнали о литературе финнов. Но иллюзии оставались иллюзиями. А когда они были уже отчасти развеяны репрессивными мерами царизма, то результатом этого явились не только обоюдные разочарования и упреки, но и поиски новых путей идейно-литературного сближения, уже на иной почве.

Как отмечалось, еще Снельман в сороковые годы писал о неизбежности столкновения интересов финского национального движения с политикой самодержавия в Финляндии. С другой стороны, Белинский в своих рецензиях высказал осуждение и тревогу по поводу финнофильской концепции народности, которая импонировала и Гроту, и Соллогубу, и Шевыреву. Это был не тот союз, к которому должны были стремиться финны.

В Финляндии хорошо была известна реакционная политика русского самодержавия, там знали о крепостничестве в России, о бедствиях ее народа. Постепенно узнавали и о том, что в России были люди, протестующие против самодержавно-помещичьей системы угнетения, готовые пожертвовать жизнью во имя свободы и прогресса. О восстании декабристов, которое стало известно Арвидссону, косвенно упомянул также Сигнеус, заявивший, что за вольнодумные стихи в Финляндии грозила ссылка в Нерчинские рудники. Здесь уместно привести выдержку из донесения осведомителя, который 20 апреля 1836 года сообщал: «Финляндцы распустили в Або слух, что в Новгороде расформирован, нынешним великим постом, драгунский полк — за либерализм»<sup>1</sup>. Дошли в Финляндию и слухи об аресте петрашевцев, о чем 14 мая 1849 года докладывал генерал Норденстам<sup>2</sup>.

К 30-м годам относится одна весьма любопытная дневниковая запись З. Топелиуса. Его общественные взгляды, особенно в ту пору, были неустойчивы и непоследовательны; в начале 40-х годов он стал редактором газеты «Гельсингфорс Тиднингар», которую Снельман справедливо называл консервативной. Однако в условиях свирепой реакции и Топелиуса иногда охватывала искренняя тревога за будущее финского народа, и, видимо, в одну из таких минут он записал в 1837 году следующую мысль: «У нас все же есть еще союзник в этой великой борьбе за духовную жизнь или смерть. Это — нарастающая сила юного времени. По своей природе она духовна, это вечный дух, кото-

<sup>1</sup> ЦГАМФ, ф. 19, оп. 6, д. 3, л. 90.

<sup>2</sup> Там же, д. 36, л. 64.



рый объемлет народы и толкает их вперед по пути просвещения. Со временем эта сила проникнет и в Россию, чтобы оружием, более мощным, чем у нас (финнов. — Э. К.), бороться за торжество правды над окутавшим мир туманом. И если мы сумеем выстоять до той поры, значит мы спасены, и тогда Финляндия одержит самую прекрасную победу из всех когда-либо одержанных ею побед»<sup>1</sup>.

В этих словах выражена надежда на какие-то изменения в России, на какое-то пробуждение ее внутренних сил, способных облегчить и судьбу финского народа. Правда, это были слишком туманные упования, сама идея прогресса воспринималась Топелиусом только в абстрактно-символической форме, как победа света над тьмой, не связанная с жестокой борьбой реальных общественных сил. И когда Топелиус впоследствии узнал о действиях революционных народников в России, он отнесся к ним отрицательно, не находя для них оправдания. Однако приведенные слова Топелиуса все же показательны в том отношении, что в них отразились первые попытки финнов как-то увязать будущее своей страны с развитием общерусского освободительного движения.

В дальнейшем, особенно в периоды наступления реакции, в Финляндии уже более определенно высказывалась надежда на то, что в России найдутся силы, способные поддержать национальные устремления финнов. В письме к Гроту от 18 февраля 1870 года В. Лагус, отмечая недовольство в Финляндии мерами правительства и особенно жалуясь на цензурные притеснения финляндской прессы, писал: «Да настанет скорее тот день, когда в нашу защиту выступит русская печать»<sup>2</sup>.

О Финляндии в начале 60-х годов уже писал «Колокол». Герцен и Огарев исходили из общности интересов русского и финского народов в их борьбе с царизмом. Они выступали за политическую самостоятельность Финляндии, представляя ее в будущем демократической страной, дружественной по отношению к освобожденной России. «Для нас, — писал Огарев в 1863 году, — самостоятельность Финляндии становится такою же дорогою, внутреннею мыслью и целью, как для финнов коренное преобразование России из петербургской в народную и федеративную»<sup>3</sup>.

В обстановке революционной ситуации в России Герцен и Огарев стремились к объединению всех оппозиционных сил, в том числе и финского национально-освободительного движения. В письме к Эмилю Квантену, финляндскому эмигранту

<sup>1</sup> V. Vasenius. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, III. Stockholm, 1918, s. 140.

<sup>2</sup> Архив АН СССР, ф. 137, оп. 3, д. 519, л. 7 (об.).

<sup>3</sup> Литературное наследство, т. 61. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 521.

в Стокгольме, Огарев писал: «Возбуждение финского вопроса печатно и изустно уже тем равно полезно для русских и для финнов, что заставит русское правительство вздрогнуть и зашататься еще и с новой стороны, на которую оно не обращало достаточного внимания»<sup>1</sup>. Отношения финляндской эмиграции с издателями «Колокола» остаются пока что неизученными. Но уже сейчас ясно, что со стороны Огарева это была практическая попытка сближения лучших элементов Финляндии и России, если пользоваться выражением В. Сёдерельма.

В дальнейшем в защиту Финляндии выступили, как известно, русские большевики во главе с В. И. Лениным, призывая финляндский пролетариат к общим действиям против буржуазно-помещичьего строя.

Невозможность русско-финляндских культурных связей иногда мотивируется финляндскими исследователями еще и тем, что в культурном отношении финны якобы «не могли научиться многому у России»<sup>2</sup>. Неизвестно, что имеется в виду под словом «многому», но даже в первой половине XIX века, как показано выше, переводы русских авторов до какой-то степени участвовали в формировании молодой литературы Финляндии. Если применительно к этому периоду пока затруднительно указать на примеры прямого влияния русской литературы на финляндскую, то бесспорно во всяком случае, что пробудившийся интерес финнов к творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя не был бесплодным. Знакомая с ведущими явлениями в русской и других европейских литературах, где социально-критическое направление сложилось раньше, чем в Финляндии, финны могли лучше уяснить себе путь будущего развития своей собственной литературы. Тем более это справедливо для более позднего времени — начиная примерно с последней четверти XIX века. Русская литература привлекала финляндских писателей своим гуманизмом, чуткостью к большим социальным проблемам, непримиримостью ко всему, что уродует человеческие отношения. Еще в 1916 году исследователь северных литератур К. Тиандер не без основания писал, что «струя социального обличения в финской литературе является непрерывным плодом ее сближения с русскими идейными течениями»<sup>3</sup>.

Одну из примечательнейших страниц в истории русско-финляндских литературных связей вписал А. М. Горький. Лично знакомый с некоторыми выдающимися деятелями финляндской культуры и высоко ценивший ее достижения, он немало сделал для того, чтобы их оценила также и европейская обществен-

<sup>1</sup> Там же, т. 63, стр. 150.

<sup>2</sup> W. Söderhjelm. J. L. Runeberg, II. Helsingfors, 1906, s. 89.

<sup>3</sup> К. Тиандер. Литература Финляндии. В книге: «Отечество», т. I, Петроград, 1916, отд. II, стр. 23.



ность. Финны в свою очередь, узнали в Горьком не только великого художника слова, но и политического борца, последовательного пролетарского интернационалиста, защитника всех угнетенных народов. В период реакции, когда царизм после поражения революции 1905 года начал новое наступление на права Финляндии, Горький по просьбе финляндской общественности выступил в декабре 1907 года с особой статьей в защиту финнов, опубликованной в европейской печати. Этот пример показывает, что и в начале XX века между прогрессивными представителями русской и финляндской культуры сохранялось взаимопонимание, что их тесное общение приносило пользу, как бы это ни отрицалось некоторыми буржуазными исследователями.

Стало быть, тщетно оплакивать встречу русских и финских литераторов в 1840 году как прекрасную, но последнюю и обманчивую зарю неисполнившихся надежд. Русско-финляндские литературные связи не исчерпываются этой встречей. Последовавшие за нею осложнения были не «вечным проклятием», а лишь признаком того, что в истории русско-финляндских культурных отношений завершился один период и начинался другой, связанный с первыми попытками прогрессивных сил обоих народов найти общий язык для совместной борьбы за свое социальное и национальное освобождение.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Из всех опубликованных библиографических пособий наиболее подробные сведения о русских переводах финляндской литературы XIX и начала XX вв. и статья о ней в дореволюционных русских изданиях можно найти в библиографическом приложении, составленном В. М. Смирновым, в «Сборнике финляндской литературы» под ред. В. Брюсова и М. Горького (П-град, 1917, стр. 476—487). Там же даются ссылки на более ранние русские библиографические источники, включая работу М. Бородкина «Финляндия в русской печати. Материалы для библиографии» (СПб. — П-град, 1902—1915).

В нашем библиографическом перечне упоминается только наиболее основное как на русском, так и на финском и шведском языках. Сведения о взаимных художественных переводах, вышедших в первой половине XIX в., даются в тексте книги, в подстрочных ссылках, и здесь не повторяются. Включены лишь основные русские переводы более позднего времени, учитывая, что они могут представлять практический интерес для русского читателя. Кроме сборников финляндской литературы, называются отдельные издания стихов Рунеберга в русских переводах, тогда как художественная проза З. Топелиуса не включается, поскольку из его творчества, охватывающего почти весь XIX в., в книге рассматривается только политическая лирика 40-х годов.

Из множества литературоведческих работ на финском и шведском языках указываются далеко не все. Для удовлетворения более глубокого интереса к финляндскому литературоведению следует, естественно, обратиться к библиографическим справочникам, изданным в Финляндии.

### I

Бейсов П. Из истории Вольного общества. («Парижская лекция» В. К. Кюхельбекера, «Воспоминания о Баратынском» Н. Коншина). — Сб. «Литературный Ульяновск», изд-во «Ульяновская правда», 1955, стр. 188—221.

Воспоминания Н. Коншина о Баратынском. — «Русская литература», 1959, № 3, стр. 126—132.

Белинский В. Г. Рец. «Утренняя заря, альманах на 1841 год, изданный В. Владиславлевым». — Полн. собр. соч., изд-во АН СССР, М., с 1953 г., т. IV, стр. 448—457. (Здесь, на стр. 451—454, о повести В. Одоевского «Южный берег двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета, изданный Я. Гротом». — Т. VI, стр. 108—115. Рец. «Альманах в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета, изданный Я. Гротом». — Т. VI, стр. 235—236. Рец. «Семейство, или Домашние радости и огорчения. Роман шведской писательницы Фредерики Бремер». — Т. VIII, стр. 101—105. (На эту рец. откликнулся Я. К. Грот в «Москвитяине», 1844, ч. II, стр. 171—186).



Рец. «Парижские тайны. Роман Эжена Сю». — Т. VIII, стр. 192—197. (Здесь ответ Белинского Гроту по поводу романа Фр. Бремер).  
Рец. «Главные черты из древней финской эпопеи Калевалы. Морица Эмана. Гельсингфорс, 1847». — Т. X, стр. 272—278.

Бородкин М. М. О «Рассказах прапорщика Столя». Гельсингфорс, 1901.

Брюсов В., Горький М. Сборник финляндской литературы. Под ред. В. Брюсова и М. Горького. П-град. 1917. (Включает «Обзор политического, общественного и экономического развития Финляндии в течение последних ста лет» Э. Неванлинна, стр. 1—31, и «Очерк истории финляндской литературы XIX и XX вв.» В. Тарккяйнена, стр. 32—90. В числе переводчиков поэзии В. Брюсов и А. Блок).

Вознесенский А. К. Н. Батюшков в Финляндии. Гельсингфорс, 1916.

Гордлевский В. Дом Рунеберга в Борго. — «Русск. Мысль», 1901, т. VI, стр. 54—66.

Грот Я. К. Труды. Под ред. К. Я. Грота, т. I. Из скандинавского и финского мира (1839—1881). Очерки и переводы. Спб., 1898. (Том включает все напечатанное Я. К. Гротом о Финляндии и ее литературе, статьи о Лённротте, Рунеберге, Сигнеусе и переводы их произведений). Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, I—III. Под ред. К. Я. Грота. Спб., 1896.

Коринфский А. А. Из поэтов Финляндии. — В сб. стихотворений «Поздние огни». Спб., 1912, стр. 596—613. (Стихотворения Рунеберга, Стенбека, Топелиуса и др.)

Л. Г. Современная финляндская литература и отношение к ней западноевропейской критики. — «Русск. Мысль», 1900, т. VII—IX, стр. 71—99, 62—90, 155—164.

Львовский Л. Король Фьялар. Критич. очерк. — «Новый мир», 1903, № 109, стр. 171—175.

Мандельштам И. Л. Рунеберг и его поэзия. — «Вестник Европы», 1904, № 3, стр. 228—258.

Морозов В. М. К вопросу об идейно-общественной позиции журнала «Финский вестник». — «Ученые записки Карело-Финского Государственного университета», т. V, вып. I, Петрозаводск, 1955, стр. 85—112.  
«Финский вестник» в борьбе против литературно-общественной реакции. — «Ученые записки Петрозаводского государственного университета», т. VI, вып. I, Петрозаводск, 1957, стр. 49—66.

Морозов П. О. Финская литература в ее прошлом и настоящем. — «Вестник Европы», 1902, № 7—8, стр. 187—228, 571—620.

Нович Н. Поэты Финляндии и Эстляндии. Спб., 1898. (С кратким предисловием и примечаниями в конце книги, где даются сведения о финляндских поэтах).

Плетнев П. А. Двухсотлетний юбилей Александровского университета. — Соч., и переписка, изданные Я. К. Гротом. Спб., 1885, т. I, стр. 433—444.  
Финляндия в русской поэзии. — Соч. и переписка, т. I, стр. 445—466.

- Рейн Т. Иоган Вильгельм Снельман, Историко-биографический очерк. Сокращ. перевод со шведск. П. И. Иванова. СПб., 1903.
- Руднев Я. И. Родная страна в родной поэзии. Северный край. Финляндия. СПб., 1908. (О Финляндии стр. 29—44. Стихотворения Рунеберга, Стенбека, Топелиуса и др.).
- Рунеберг И. Л. Мелкие стихотворения. Пер. В. Головина. СПб., 1862.  
4 песни из «Рассказов Фенрика Столя». Пер. В. Головина. Гельсингфорс, 1905.  
Поэма «Король Фьялар». Пер. Д. Садовникова. — «Огонек», 1881, № 12—16.
- Тиандер К. Литература Финляндии. — «Отечество. Сборник национальных литератур России», т. I, П-град, 1916. Отд. 2-ой, стр. 3—27. (На стр. 28—71 даются переводы из финляндских авторов.)

## II

### 1. ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ФИНЛЯНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Haila, V. A ja Heikkilä, K. Suomalaisen kirjallisuuden historia. 4. painos. Helsinki, 1953.
- Havu, I. Isänmaan kirjallisuuden vaiheet. Helsinki, 1942.
- Hedvall, R. Finlands svenska litteratur. Borgå, 1917.
- Kallio, O. A. Uudempi suomalainen kirjallisuus, I—II. 2 p., Porvoo, 1929.
- Koskimies, R. Elävä kansalliskirjallisuus. Suomalaisen hengen vaiheita 1860—1940, I—III. Helsinki, 1944—1949.
- Koskimies, R. Finsk litteraturhistoria. Lund, 1955.
- Krohn, J. Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet. Helsinki, 1897.
- Leino, E. Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki, 1910.
- Schück, H. och Warburg, K. Illustrerad svensk litteraturhistoria. 3. uppl., I—VIII. Stockholm, 1926—1952.
- Suolahti, G. Suomen kulttuurihistoria. Toim. G. Suolahti ym. I—IV. Jyväskylä-Helsinki, 1933—1936.
- Tarkiainen, V. Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki, 1934.

### 2. ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФИНЛЯНДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.

- Arwidsson, A. I. Tutkimuksia ja kirjoitelmia. Helsinki, 1909.
- Berndtson, Fr. Noveller och teckningar. Helsingfors, 1851. Valda dikter. Helsingfors, 1882.
- Chydenius, A. Valitut kirjoitukset. Porvoo, 1929.
- Göttlund, K. A. Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa. Päiväkirja v. 1817 matkalta. Helsinki, 1928. Otava, I—II, Tukholma, 1829—1832.
- Juteini, J. Kirjoja, 1—9. Viipuri, 1856—1858.
- Koskimies, A. V. Agricolasta Juteiniin. Kirjallis- ja kielihistoriallisia näytteitä vanhemmasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Toim. A. V. Koskimies. Helsinki, 1921.
- Porthan, H. G. Tutkimuksia. Helsinki, 1904.
- Runeberg, J. L. Samlade skrifter. Under redaktion av G. Castren och M. Lamm. I—XI. Helsingfors-Stockholm, 1935—1956.  
Samlade arbeten. Normalupplagan. Utgif. af C. G. Estlander och Hj. Appelqvist. I—VIII, Helsingfors, 1899—1902.  
Kootut teokset, I—IV. Porvoo, 1906—1927.



- Setälä, E. N. Suomen kansalliskirjallisuus. Valikoima Suomen kirjallisuuden huomattavimpia tuotteita. Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen ja V. Laurila. I—XV. Helsinki, 1930—1943.
- Sjögren, A. J. Über die Finnische Sprache und ihre Literatur. St.-Petersburg, 1821. Tutkijan tieni. Helsinki, 1955.
- Snellman, J. V. Samlade arbeten, I—X. Helsingfors, 1892—1898. Kootut teokset, I—XII. Porvoo, 1928—1932.
- Topelius, Z. Samlade skrifter, I—XXXIV. Stockholm-Helsingfors, 1904—1907. Kootut teokset, I—XIII. Helsinki, 1930—1932.

### 3. ИССЛЕДОВАНИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПО ПРОБЛЕМАМ ФИНЛЯНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Anttila, E. Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta, I—II. Helsinki, 1931—1935.
- Aspelin, E. Lauri Stenbäck. Helsinki, 1901.
- J. L. Runebergin suomalaisuus. Helsinki, 1904.
- Brydolf, E. Sverige och Runeberg, 1830—1848. Helsingfors, 1943.
- Castren, G. J. L. Runeberg. Stockholm, 1950.
- Castren, L. Nuori Arwidsson ja hänen ympäristönsä. Helsinki, 1944.
- A. I. Arwidsson isänmaallisena herättäjänä. Helsinki, 1951.
- Danielson-Kalmari, J. R. Tien varrelta, I—III. Porvoo, 1928—1930.
- Ek, S. Nationella gestalter i Runebergs ungdomsdiktning. Malmö, 1940.
- Ekelund, K. A. Fredrika Runeberg. Helsingfors, 1942.
- Enkvist, H. Venäläinen vaikutus Runebergin Nadeschda-runoelmaan. — «Valvoja-Aika», 1930, s. 372—385.
- Estlander, C. G. Uppsatser om J. L. Runeberg. Helsingfors, 1914.
- Graner, M. Z. Topelius' kärlekslyrik. Helsingfors, 1946.
- Grellman, H. Goethes Wirkung in Finnland. Von Porthan bis Lönnrots Tod. Helsinki, 1949.
- Haltsonen, S. Puškin Suomen kirjallisuudessa. — «Valvoja-Aika», 1937, s. 73—92.
- Havu, I. Lauantaiseura ja sen miehet. Helsinki, 1945.
- Hedvall, R. J. L. Runeberg och hans diktning. 2. uppl. Åbo, 1941.
- Heikel, Y. A. J. L. Runeberg, hans liv och hans diktning, I—II. Helsingfors, 1926.
- Heikinheimo, I. Kaarle Aksel Gottlund. Elämä ja toiminta, I. Porvoo, 1933.
- Heikkinen, H. J. V. Snellman ja nykyajan kulttuurikriisi. — «Valvoja», 1918, s. 191—213.
- Hirn, Y. Runebergskulten. Helsingfors, 1935.
- Jensen, A. Puškin in der schwedischen Literatur. — Jagič-Festschrift, Berlin, 1908.
- Kiparski, V. Suomi Venäjän kirjallisuudessa. Helsinki, 1948.
- Koskimies, R. Fr. Cygnaeus kirjaillijana ja ajanilmionä, I—II. Porvoo, 1923—1925.
- J. L. Runeberg. Elämä ja työ. Porvoo, 1936.
- Porthanin aika. Tutkielmia ja kuvauksia, 1956.
- Lagerlöf, S. Topelius. Utveckling och mognad. Stockholm, 1920.
- Laurent, K. Topelius saturunoilijana. Porvoo-Helsinki, 1947.
- Laurila, K. S. Erään ikuisen taistelun muudan vaihe. Runebergin ja Stenbäckin välinen kiista aatehistoriallisessa valaistuksessa. Helsinki, 1937.
- Några drag i J. V. Snellmans estetiska åskådning. — Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, bd. 271, 1938, s. 197—226.
- Lehmusto, H. J. V. Snellmann ja hänen asemansa Hegelin koulukunnassa. Helsinki, 1923.
- J. V. Snellman ja suomalaisuus. Jyväskylä-Helsinki, 1935.
- Meurman, A. J. V. Snellman. Helsinki, 1901.
- Mikkola, J. J. Ensimmäiset suomalaiset stipentiaatit Venäjällä. — Kirjassa: Hämärän ja sarastuksen ajoilta. Porvoo, 1939, s. 206—229.
- Nervander, E. Blad ur Finlands kulturhistoria. Helsingfors, 1900.
- Fredrik Cygnaeus. Muistokuva. Helsinki, 1907.
- Nordenstam, G. M. Runeberg i översättning. — «Finsk Tidskrift», bd. 130, 1941, s. 76—89.
- Nurmio, Y. Suomen sensuuriolot Venäjän vallan alkuaikoina, vv. 1809—1829. Porvoo-Helsinki, 1934.

- Nyberg, P. Z. Topelius. En biografisk skildring. Helsingfors, 1949.  
Suom.: Z. Topelius. Elämäkerrallinen kuvaus, I—II. Porvoo, 1950.
- Palmen, E. G. Antti Chydenius. Helsinki, 1903.
- Palmgren, R. Suuri linja. Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin. Kansallisia tutkielmia. Helsinki, 1948.
- Rein, Th. J. V. Snellman, I—II. Helsingfors, 1895—1901.  
Suom.: J. V. Snellmanin elämä, I—II. 2. painos. Helsinki, 1904—1905.
- Rein, Th. Några ord om J. V. Snellman som skönlitterär kritiker. — «Joukahainen» 1906, s. 11—28.
- J. L. Runebergs hundraårsminne. Festskrift den 5 februari 1904. Helsingfors, 1904.
- Salokas, E. Maallinen arkkirunoutemme Ruotsin vallan aikana. Helsinki, 1923.
- Salomaa, Y. E. J. V. Snellman. Elämä ja filosofia. Helsinki, 1944.
- Sarlin, A. Z. Topelius. Elämä ja toiminta. Helsinki, 1917.
- J. L. Runeberg. Hans lif och verksamhet. Helsingfors, 1904.
- Schauman, A. Kuudelta vuosikymmeneltä Suomessa. Muistoja elämän varrelta, I—II. 2. painos. Jyväskylä, 1924—1925.
- J. V. Snellmanin muisto. — «Valvojan» juhlaulkaisu, 1906.
- Strömborg, J. E. Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg, I—IV. Helsingfors, 1880—1901 (ny uppl. 1928—1931).
- Suova, E. Aurora-seuran sanomalehti 1771—1778. Turku, 1952.
- Söderhjelm, W. J. L. Runeberg, hans lif och hans diktning, I—II, Helsingfors, 1904—1906.  
Profiler ur finskt kulturliv. Helsingfors, 1913.  
Åboromantiken och dess samband med utländska ideströmningar. Borgå, 1915.
- Talvio, Maila. J. L. Runeberg. Helsinki, 1900.
- Talvioja, K. A. Jaakko Juteini ja hänen kirjallinen toimintansa. Heinola, 1914.
- Tarkiainen, V. Snellman kotimaisen kaunokirjallisuuden arvostelijana. — «Valvoja», 1909.
- Teljo, J. Valtio ja yhteiskunta J. V. Snellmanin valtiofilosofiassa. Helsinki, 1934.
- Terning, O. Han blev de ungas diktare. Z. Topelius. Stockholm, 1948.
- Tideström, G. Runeberg som estetiker. Helsingfors, 1941.
- Tigerstedt, E. N. Topelius-studier. — Skrifter av Svenska Litteratursällskapet i Finland, bd. 294, 1943, s. 1—107.
- Törnud, A. Flickan från Kahra i Topelius' liv och diktning. Åbo, 1948.
- Vasenius, V. Z. Topelius, hans liv och skaldegärning, I—VI. Stockholm, 1912—1930.  
Suom.: Z. Topelius ihmisenä ja runoilijana, I—VI. Helsinki, 1912—1933.
- Vest, E. Zachris Topelius. En biografisk studie. Helsingfors, 1905.



## SOOME KIRJANDUS JA VENEMAA (1800—1850)

Käesolev raamat, mis on kirjutatud arhiivimaterjalide, kirjandusperioodika, arvukate uurimuste ning publikatsioonide põhjal, püüab anda ülevaate vene-soome kirjanduslike suhete arengust XIX s. I poolel, sealjuures silmas pidades kirjandusliku protsessi iseärasusi Venemaal ja Soomes. Autor pühendab suurt tähelepanu soome kirjandusajaloole, selle mitmesuguste voolude iseloomustamisele, eeldades, et taoliste küsimuste väljaselgitamiseta paljud vene-soome kirjanduslike suhete episoodid ei leia küllaldast kirjandusajaloolist valgustamist.

Vastastikuseid kultuurilisi huve võis täheldada soomlaste ja venelaste juures juba XVIII s. H. G. Porthan oli tuttav M. M. Heraskovi loominguga, eriti tema ülevaatega vene kirjandusest, ja oma folkloristlikes uurimustes püüdis ta kaasa tõmmata ka vene rahvaluule materjali. Teisest küljest, Porthani uurimus soome rahvaluulest jõudis kaudsel teel vene lugejani — itaallase Giuseppe Acerbi raamatu kaudu, millest katkend avaldati 1806. a. vene ajakirjas.

Pärast Soome ühendamist Venemaaga, eriti Aleksander I liberaalse poliitika ajajärgul, hindasid paljud soome kirjamehed positiivselt seda fakti, et Soomele oli nüüd kindlustatud püsiv rahu. Aegamööda kujunes välja soome rahvuslik liikumine, mis tol ajal avaldus peamiselt just kirjanduses. Võrsus isegi vene-soome kultuurilise koostöö mõte, mida kaitses eriti A. J. Sjögren oma raamatus «Über die finnische Sprache und ihre Literatur» (1821). Sjögren tundis hästi vene kultuuri ja oli isiklikult tuttav selle mitmete esindajatega (poet F. N. Glinka ja teadlane I. Loboiko, kes omakorda ilmutasid huvi Karjala, Soome ja Skandinaavia vastu). Teine soomlane aga, A. J. Hipping, kes oli Venemaa Kirjandushuviliste Vabatahtliku Ühingu liikmeks ja kaastööliseks, avaldas Peterburis rea ajaloolisi uurimusi ja soome kirjanduse kohta artikli, mille tõlkis vene ajakirja jaoks V. Braikevitš.

Käesolevas töös pühendatakse tähelepanu ka K. A. Gottlundi ühiskondlikule ja kirjanduslikule tegevusele, mis arenes põhiliselt küll alles valgustuslike traditsioonide sõiduvees; see peegeldus ka tema hinnangus Peeter I reformidele Venemaal.

Kuid juba 10-ndate aastate lõpul tekkis soome kirjanduses romantiline vool, mis oli seotud klassitsismi ning valgustusajastu ideoloogia kriitikaga. Seda kriitikat teostati nii progressiivsetelt kui ka konservatiivsetelt positsioonidelt, vastavalt kahele põhilisele tendentsile soome romantismis. Mõned «Turu romantikutest», propageerides rahvaluulet ja nähes selles rahvusliku kirjanduse arengu tähtsat allikat, idealiseerisid aga ühtlasi soome küla patriarhaalset eluviisi ning õigustasid soome ühiskondliku elu seisvat iseloomu. Nii näiteks J. G. Linsén astus välja talupoegade hariduse vastu, J. J. Tengström aga keelas üldse soome rahvale õiguse aktiivsele ajaloolisele tegevusele. Patriarhaalne Soome hakkas vastanduma kodanlikule Euroopale, mis oleks nagu astunud «ebaloomulikule», ajalooliselt ebaseaduspärasele arenguteele. Teistsugust pitserit kandis aga A. I. Arwidssoni, Turu romantismi kõige silmapaistvama esindaja publitsistlik tegevus. Käesolevas raamatus tuuakse ära tema kontseptsioon dünaamilisest arengust looduses ja ühiskonnas, kontseptsioon, mille valgusel ta vaatles ka kirjanduslikke nähtusi, eelkõige romantikute võitlust klassitsistide vastu. Võideldes «rahvusliku äratamise» eest, Arwidsson, erinevalt Linsénist, rõhutas ühiskonna poliitilist harimist, nõudes kodanikuvabadusi ja terve rea feodaalsete institutsioonide ärakoostamist. Arwidssoni tegevus aga keelati varsti ametivõimude poolt ära.

Vaadeldes romantismi kui üldeuroopalikku nähtust, tuginesid Turu romantikud teiste maade rahvuslike kirjanduste kogemusele ja pidasid üheks tähtsamaks ülesandeks soome lugeja kirjanduslike huvide avardamist. Soomes hakatakse tõlkima saksa, inglise ja prantsuse kirjandust. 1825. a. ilmus A. S. Puškini romantilise poeemi «Kaukasuse vang» tõlge, perioodikas ilmusid esimesed artiklid vene kirjandusest.

Teiselt poolt aga, vene kirjanikud (näit. Orest Somov, üks vene romantismi teoreetikuid) hakkasid üha enam tajuma seda tõsiasja, et Venemaal asustavad paljud rahvad, et igaühel neist on oma elutingimused, oma tavad ja tõekspidamised, oma «kohalik koloriit». Hakkavad kajama üleskutsed reprodutseerida see Venemaa paljurahvuseline pale, omandada kunsti vahenditega rahva elu kogu mitmekesisus. Seilega on aga seotud ka soome teema ilmumine rea vene kirjanike loomingus: K. N. Batjuškovil ja J. A. Baratõnskil, kes külastasid Soomet, aga ka A. S. Puškinil, kes ei meenuta Soomet mitte ainult oma värssides, vaid ka ajaloolistes uurimustes.

40-ndates aastates võib märgata vene-soome kirjanduslike suhete tunduvat elavnemist. Nende arengule aitas tunduval määral kaasa J. K. Grot, kes viibis peaaegu 12 aastat Soomes ja keda sidusid paljude soome kirjanikega isikliku sõpruse sidemed. Grot avaldas ajakirjas «Sovremennik», mida andis tol ajal välja P. A. Pletnjov, artikleid soome kirjanike kohta ja nende teoste tõlkeid. Oma



ülikoolis peetud loengutes ja sõbralikes vestlustes tutvustas Grot soomlasi vene kirjandusega, andis juhtnööre tõlkijaile jne. 1840. a. toimus Helsingis vene ja soome literaatide kohtumine, kaks aastat hiljem aga ilmus vene-soome kirjanduslik almanahh, mille andis välja Grot. Peale Groti kirjutasi Soomest ka veel V. G. Belinski, F. Deršau, V. F. Odojevski, V. Sollogub, N. V. Kukolnik, F. V. Bulgarin. Need olid erinevate poliitiliste veendumuste ja kirjanduslike maitsetega inimesed, Soomesse ja tema kirjandusse suhtusid nad erinevalt. Soome ajalehtede veergudel aga puhkes vahete-vahel poleemika selle üle, mida kirjutati Venemaal soomlastest, nagu see näiteks toimus juhtumi puhul F. V. Bulgariniga. Selles seoses, et täpsustada ühiseid lähtepunkte ja lahkuminekuid erinevate vene ja soome literaatide vahel, on käesolevas raamatus osutatud tähelepanu ühiskondlik-kirjandusliku võitluse mõningatele peamistele momentidele Soomes ja Venemaal, samuti ka üksikute soome kirjanike — J. L. Runebergi, F. Cygnaeuse, S. Topeliuse, J. W. Snellmani loomingule.

J. L. Runeberg, selle ajajärgu suurim soome poeet, jaatas oma värsside ja kriitiliste artiklitega kirjaniku õigust kujutada lihtrahva, soome talupoegade elu. Poeedi andekuse juures oli sellel asjaolul tohtu tähtsus soome kirjanduse edaspidisele arengule, see kindlustas tema luulele laialdase populaarsuse. Runeberg rikastas tunduvalt soome poeesiat, eriti lüürikat, mitte ainult temaatilises, vaid ka kunstilises suhtes, ta võttis tarvitusele uued žanrid, andis õnnestunud näiteid rahvaluule kasutamisest, esimesena näitas, kuidas võib luulevahenditega kujutada rahvuslikke iseloomu ja kodukandi loodust. Kuid samal ajal aga tema luules ja esteetilistes vaadetes eksisteerisid konservatiivsed jooned, mille tagajärgi Runebergil tuli sageli «ületada» soome kirjanduse edaspidise arengu käigus. Peamiseks konservatiivseks momendiks tema esteetikas oli see, et ta kujutas patriarhaalse talupoegkonna elu selle liikumatuses nagu ideaalset eksistentsi. Runebergi arvates peab poeet tajuma, ümbritsevat tegelikkust nagu midagi täiuslikku, ühiskondlikud vastuolud olid tema jaoks ebaolulised, põhiliseks osutus harmoonia, mida poeet ongi kohustatud kujutama. Runebergi esteetika välistas tegelikkuse mahajäänud külgede kriitika eluõiguslikkuse, ei lubanud kajastada võitlust ühiskondliku progressi eest. Patriarhaalse elulaadi idealiseerimine, kirjanduse rahvapärasuse piiratud mõistmine, soomlaste alandlikkuse ja sotsiaalse passiivsuse allakriipsutamine soomlaste rahvusliku omapära põhiliste iseloomujoontena — soome kirjanduses Runebergi poolt esindatava suuna just need küljed muutusidki poleemika objektiks vene ajakirjanduses. Runebergi rahvuslikkuse käsitus leidis toetamist V. Sollogubi, S. P. Ševõrjovi, osaliselt ka J. K. Groti poolt. Teiselt poolt Belinski arendades võitlust vene slavofiilidega, tegi samal ajal terve rea sügavaid tähelepanekuid mõningate soome kirjanike silmaringi piiratuse kohta, astudes välja katse vastu kujutada neid soomlaste

nõrkusi nagu positiivseid omadusi ja kasutada neid võitluses kirjandusliku arengu eesrindlike tendentside vastu.

Mõnevõrra teises suunas kui Runebergi poeesia, arenes F. Cygnaeuse looming. Cygnaeus oli uute tuulte suhtes tundlikum, — kui reas maades kasvas võitlus feodalismi vastu, tunnetas ta teravalt ajastu murrangulist iseloomu. Ta teostes kajastuvad sageli sotsiaalsed kokkupõrked, türanniavastased ideed. Ta suhtus kriitiliselt laialdaselt levinud kujutlusse soome rahvuslikust iseloomust, tõestades runode põhjal Kullervost, et rahva pikameelelisust ei saa ülendada absoluutseks. Kuid siiski rahva kättemaksu idee mitte ainult ei veedelnud, vaid ühtlasi ka kohutas teda. Nende kõhklus-tega oli seotud ka tema traagilisuse käsitlus.

Uueks nähtuseks soome 40-ndate aastate kirjanduses oli S. Topeliusē poliitiline lüürika, milles peegeldus poeedi meeleolu revolutsioonilise tõusu perioodil mitmetes Euroopa maades.

Käesolevas töös valgustatakse J. K. Groti sõprust soome kirjani- ke ja ajakirjanikega, nende püüdlust kahe naaberrahva vastas- tikuseks kultuuriliseks lähenemiseks. Groti kaasabil õppisid soom- lased aegamööda eraldama vene kirjanduse tõepoolest suuri näh- tusi teisejärgulistest. Selle näiteks võiksid olla vaidlused Soomes F. V. Bulgarini ümber, kes alul saavutas soomlaste hulgas teatud tunnustatuse, kuid kelle prestiiž hiljem aga langes. Raamatus tuuakse ära Groti käsikirjalised märkmed, milles ta avaldas oma suhtumist nii Bulgarinisse kui ka soome ajalehtede vaidlustesse Bulgarini üle.

Ühtlasi juhitakse tähelepanu sellele, et Grot ja Pletnjov ei ilmutanud erilist sümpaatiat 40-ndate aastate soome ja vene kirjanduse mõningate eesrindlike nähtuste vastu. See avaldus eriti nende suhtumises J. W. Snellmani kirjanduslik-publitsistlikku tegevuses. Trükisõnas Grot teda üldse ei meenutanud, aga isiklikus kirjavahe- tuses avaldas ta sageli halvustavat arvamist Snellmani kohta, pidades viimast meelte ülesässitajaks, laiduväärsete ideede alga- tajaks.

Käesoleva raamatu autor vaatleb peamiselt Snellmani kirjan- dus-kriitilist tegevust, millel oli tohutusuur tähendus soome kirjan- duse edasise arengu suhtes. Snellmani ühiskondlikele ja esteetilis- tele vaadetele on iseloomulik historismi printsiip. Lähtudes Snell- mani vaatekohast, peab kunstnik kujutama tegelikkust selle areng- us, vastandlike tendentside võitluses. Suur kunst on alati olnud seotud progressiivsete ühiskondlike liikumistega, ja poeet ei tohi neid «võõrastada», ei tohi eemale hoiduda «poliitikast», kui selle all mõista rahvaste püüdemist vabaduse ja progressi poole. Soome kirjanduse aeglustatud arengut seletas Snellman maa üldise maha- jäämusega, rahvuslike huvide piiratusega, ühiskondliku teadvuse arenematusena rahva laialdastes kihtides. Kirjanikul, tema arvates, lasub ülesanne äratada ühiskond.

Kuigi Snellman, nagu Runebergki, kõneles tegelikkusega «lep-



pimisest», pidas kumbki siiski silmas tegelikkuse eri külgi, mida mõningad uurijad aga ei arvesta. Runebergi arvates tähendas leppimine patriarhaalse elulaadi idealiseerimist, kuna aga Snellman suhtus sellesse eitavalt, pidades seda Runebergi loomingu nõrgaks küljeks. Snellman aga selle vastu kutsus üles «leppimisele» ühiskondliku arengu progressiivsete tendentsidega, mille suhtes jäid kurdiks paljud soome kirjanikud.

Snellmani vaatekohast muutuvad iga uue ajaloolise ajastuga ka kunsti sisu ja vorm. Ajalooliselt ei arene mitte ainult kunsti objekt, elav tegelikkus, vaid ka kunst ise. Snellman näiteks kiinnitas, et tema kaasaegse ajastu tormilisele iseloomule vastab mitte idülliline, vaid pigem dramaatiline poeesia. Samuti muutus ka rahvalooming — Snellman osutas töölispoesia ilmumisele Inglismaal.

Oma esteetiliste vaadete esitamisel polnud Snellman mitte alati järjekindel, nendel lasub tema maailmavaate klassikalise piiratuse pitser. Kuid sellest hoolimata oli Snellmani kirjanduskriitiline tegevus soome esteetilise mõtte arengus suureks sammuks edasi.

Käesolevas töös vaadeldakse samuti ka Snellmani suhtumist Venemaasse ja slaavi rahvaste kultuurisse, ühtlasi ka tema ilukirjanduslikke teoseid, sealhulgas jutustust «Armastus ja armastus», mille venekeelne tõlge avaldati Deršau poolt ajakirjas «Finski Vestnik».

Ajakirja «Finski Vestnik» ilmumine oli vene avalikkuse Soome ja Skandinaaviamaade vastu kasvava huvi resultaadiks. Selle ajakirja veergudel avaldati mitmeid artikleid ja ilukirjanduslikke teoseid Soome kohta.

Käesolevas töös on eri peatükk pühendatud vene kirjanduse tõlgetele Soomes 30—40-ndatel aastatel. Seoses kasvava huviga rahvaluule vastu hakkasid soome ajakirjade veergudel ilmuma vene rahvalaulude tõlked. Samuti avaldati katkend «Igori sõjaretke loost» koos tõlkija eessõnaga. Ühtlasi tõlgiti ajalehtedes I. I. Dmitrijevi, V. A. Žukovski, A. S. Puškini, J. A. Baratõnski, A. Marlinski ja teiste autorite üksikuid teoseid. Mõnel juhul tõlkijad, kes ei osanud vene keelt, tõlkisid mitte originaalist, vaid teistest keeltest. Soomes tunti ka vene kirjanduse Rootsis ilmunud tõlkeid.

40-ndatel aastatel ilmusid vene autorite teosed Soomes juba eri väljaannetena, näiteks M. J. Lermontovi «Meie aja kangelane», N. V. Gogoli «Jutustus sellest, kuidas Ivan Ivanoviõtš läks tülli Ivan Nikiforoviõtšiga», N. F. Pavlovi «Nimepäev» jt. Sel ajal tärkas Soomes juba huvi välismaiste realistide loomingu vastu. Tõlked vene ja teistest euroopa kirjandustest leidsid vastukaja soome kriitikas, aitasid kaasa lugejate maitse arengule ja teatud määral mõjusid kaasa ka kirjanduslikus protsessis.

40-ndatel aastatel kerkis Soomes üles küsimus maailmakirjanduse suurimate esindajate tõlkimisest mitte ainult rootsi, vaid ka soome keelde, mis Snellmani arvates pidi kaasa aitama soome

rahvusliku kirjanduse arengule. Kuid alguses teostus see idee nõrgalt, eriti seoses 1850. a. tsentsuuriseadusega.

Vene autorite esimesed soomekeelsed tõlked ilmusid K. A. Gotlundi ajalehtedes. Siin trükiti V. F. Odojevski ja N. V. Kukolnikovi jutustused Põhjasõjast, V. I. Dali essee Peterburi soomlastest, katkendid J. K. Groti Soome reisimärkmetest.

XIX s. I poolel kujunesid vene-soome kirjanduslikud suhted veel demokraatliku liikumise suhtelise nõrkuse tingimustes mõlemal maal. Nn. «rahvuslik ärkamine» Soomes alles algas, klassivastulude arenematuse tagajärjel Soomes oli enamik soome XIX s. I poole kirjanikest veendunud, et tsarism ei hakka takistama soome rahva kultuurilist arengut. Nõnda oletasid ka venelased, kes hästi tundsid Soomet, näiteks J. K. Grot. Tema ja ta soome sõbrad lootisid, et vene-soome kultuuriline koostöö võib õitseda tsaarivalitsuse eestkostete all, kes sel perioodil soosis soome rahvuslikku liikumist. Tõsi küll, Snellman Soomes ja Belinski Venemaal, kumbki oma seisukohast, suhtusid kriitiliselt taolistesse illusioonidesse, mis hajusid aga alles pärast seda, kui soome rahvuslikus liikumises ilmsid tendentsid, mis sattusid vastuollu isevalitsuse huvidega. 40-ndate aastate lõpul, seoses euroopa revolutsioonidega, tugevdas valitsus survet Soomele, püüdes seal maha suruda opositsioonilisi meeleolusid. Koos sellega langes ka valitsuse poliitika prestiiž, soomlased pettusid selles silmnähtavalt, Grot aga, kelle olukord Soomes tunduvalt komplitseerus, otsustas sealt lahkuda.

Mõningad soome uurijad hindavad seda vastastikust pettumust mineviku illusioonides nagu kõikide lootuste järsku kokkuvarisemist, kui asitõendit sellest, et vene-soome kultuuriline koostöö osutub üleüldse võimatuks. Kuid nii rääkida, see tähendab alahinnata faktide uurimist, lahtiütlemist ajaloolisest vaatekohast antud probleemi suhtes.

Nii soome kui ka vene poolelt vastastikune kultuuriline koostöö XIX s. I poolel toimus veel väljaspool vähimatki tajutavat seost võitlusega tsarismi vastu. Just see asjaolu teatavas mõttes «kergendaski» tol ajal vene-soome kultuuriliste suhete teostamist, kindlustades talle tsaarivalitsuse õnnistuse. See avaldas mitmeti mõju ka kirjanduslike sidemete rajamisele, kuigi teiselt poolt, isevalitsuse poliitika Soome suhtes jäi ühtlasi ka teatavaks piirirajaks nende arengu jaoks, piirirajaks, mis ületati alles XIX s. II poolel, siis kui kultuuriline koostöö hakkas teostuma tsarismi tõketest hoolimata ja nendest mööda minnes.



## SUOMALAINEN KIRJALLISUUS JA VENÄJÄ (1800—1850)

Teoksessaan, joka on kirjoitettu arkistoaineiston, kaunokirjallisten aikakausjulkaisujen, lukuisten tutkielmien ja teosten pohjalla, on tekijä yrittänyt luoda katsauksen venäläis-suomalaisten kirjallisten yhteyksien kehitykseen XIX vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla varten ottaen kirjallisuuden kehitysprosessin erikoisuudet Venäjällä ja Suomessa. Verrattain suurta huomiota on tekijä kiinnittänyt suomalaisen kirjallisuuden historiaan, sen eri suuntien luonnehtimiseen otaksuen, että ilman tämänkaltaisten kysymysten selvittämistä jäisivät monet venäläis-suomalaisten kirjallisten yhteyksien episodit vaille riittävää historiallista tulkintaa.

Suomalaisten ja venäläisten keskinäiset kulttuuriharrastukset hahmottuivat jo XVIII vuosisadalla. H. G. Porthan tunsi M. M. Heraskovin tuotannon, muun muassa tämän katsauksen venäläiseen kirjallisuuteen, ja pyrki kansanrunouden tutkimuksissaan käyttämään hyväkseen myöskin venäläistä folkloreaineistoa. Toisaalta Porthanin tutkielma suomalaisesta kansanrunoudesta tuli välillisesti venäläisen lukijan tietoon (italialaisen G. Acerbin kirjan välityksellä, josta katkelma oli julkaistu v. 1806 venäläisessä aikakausjulkaisussa).

Sen jälkeen, kun Suomi yhdistettiin Venäjän valtakuntaan ja varsinkin Aleksanteri I:n liberaalisen politiikan kaudella monet suomalaiset kirjailijat arvioivat myönteiseksi sen tosiseikan, että Suomi oli nyt saanut pitkäaikaisen rauhan. Vähitellen alkoi muovautua suomalainen kansallinen liike, mikä niihin aikoihin ilmeni etupäässä kirjallisuudessa. Heräsi myöskin venäläis-suomalainen yhteistyön aate kulttuurin alalla, jota muun muassa A. J. Sjögren puolusteli kirjassaan «Über die finnische Sprache und ihre Literatur» (1821). Sjögren tunsi hyvin venäläisen kulttuurin ja oli eräiden sen edustajain kanssa henkilökohtainen tuttava (esimerkiksi runoilijan F. N. Glinkan ja tiedemiehen I. Loboikon kanssa, jotka puolestaan osoittivat mielenkiintoa Karjalaa, Suomea ja Skandinaviaa kohtaan). Eräs toinen suomalainen, A. J. Hipping, kuului avustajajäsenenä venäläisen kirjallisuuden harrastajain seuraan, julkaisi Pietarissa useita historiallisia tutkielmia sekä artikkelin Suomen kirjallisuudesta, minkä V. Braikevitsh oli kääntänyt venäläistä aikakausjulkaisua varten.

Teoksessa kiinnitetään huomiota K. A. Gottlundin yhteiskunnalliseen ja kirjalliseen toimintaan, joka kehittyi pääasiallisesti vielä valistusajan traditioiden mukaisesti, mikä heijastui myöskin hänen antamassaan arviossa Pietari I:n Venäjällä suorittamista uudistuksista.

Mutta jo ensimmäisen kymmenluvun lopulla syntyi Suomen kirjallisuudessa romanttinen suunta, johon liittyi klassisismiin ja valistusideologian kritiikki. Tätä kritiikkiä harjoitettiin sekä edistyksellisistä että taantumuksellisista näkökohdista käsin suomalaisen romantiikan kahden perusvirtauksen mukaisesti. Eräät «Turun romantikoista», jotka propagoivat kansanrunoutta nähden siinä kansallisen kirjallisuuden kehityksen tärkeän alkulähteen, idealisoivat samanaikaisesti Suomen maaseudun patriarkaalista järjestystä ja puolustelivat maan yhteiskunnallisen elämän jähmettyneitä muotoja. Esimerkiksi J. G. Linsén esiintyi talonpoikaiston valistamista vastaan ja J. J. Tengström kielsi yleensä suomalaiselta kansalta oikeuden aktiiviseen historialliseen toimintaan. Patriarkaalinen Suomi asetettiin vastakohtaksi porvarilliselle Euroopalle, joka oli muka astunut «epäluonnolliselle», historiallisesti lainvastaiselle kehitystielle.

Toisenluontoista oli Turun romantiikan huomatuimman edustajan A. I. Arwidssonin sanomalehtimiestoiminta. Teoksessa esitetään hänen filosofiset katsantokantansa, varsinkin hänen konseptionsa dynaamisesta kehityksestä luonnossa ja yhteiskunnassa, jonka valossa hän tarkasteli myöskin kirjallisuuden ilmiöitä, ennen kaikkea romantikkojen taistelua klassisisteja vastaan. Puhuessaan «kansallisen herätyksen» puolesta Arwidsson korosti, toisin kuin Linsén, yhteiskunnan poliittista valistamista vaatien kansalaisvapauksia ja useiden feodaalisten instituutioiden lakkauttamista. Mutta vallanpitäjät kielsivät Arwidssonin toiminnan.

Pitäen romantiikkaa yleiseurooppalaisena ilmiönä Turun romantikot nojasivat toisten kansojen kansalliskirjallisuuden kokemuksiin ja pitivät tärkeimpänä tehtävänä suomalaisen lukijakunnan kirjallisuusharrastusten laajentamista. Aletaan kääntää saksalaisten, englantilaisten, ranskalaisten romantikkojen teoksia. V. 1825 ilmestyi ruotsinnoksena A. S. Puškinin romanttinen runoelma «Kaukasian vanki», aikakausjulkaisuissa ilmestyi ensimmäisiä kirjoituksia venäläisestä kirjallisuudesta.

Toisaalta venäläiset kirjailijat (esimerkiksi Orest Somov, eräs venäläisen romantiikan teoreetikoista) käsittivät yhä syvällisemmin sen tosiasian, että Venäjällä asuu paljon eri kansoja, että jokaisella niistä on omat elinehtonsa, omat tapansa ja uskomuksensa, oma «paikallinen koloriittinsa». Alkaa kuulua kehoituksia kuvata näitä Venäjän monikansallisia kasvoja, luonnehtia taiteellisesti kansan elämää kaikessa monipuolisuudessaan. Tähän liittyi myöskin Suomi-aiheen ilmestyminen useiden venäläisten kirjailijain, mm. Suomessa käyneiden K. N. Batjuškovin ja J. A. Baratyns-



kin tuotantoon; samalla A. S. Puškin mainitsee Suomen ei vain runoissaan, vaan myöskin historiallisissa tutkielmissaan.

Huomattavaa vilkastumista venäläis-suomalaisissa kirjallisissa suhteissa tapahtuu 40-luvulla. Näiden yhteyksien kehitykseen vaikutti huomattavassa määrin J. K. Grot, joka eli Suomessa lähes kaksitoista vuotta ja jolla oli läheiset ystävyys-suhteet monien Suomen kirjailijoiden kanssa. Grot julkaisi kirjoituksia suomalaisista kirjailijoista sekä venäjännöksiä heidän teoksistaan «Современник»-julkaisussa, jota niinä vuosina toimitti P. A. Pletnev. Yliopistoluennossa sekä ystävällisissä keskusteluissa hän tutustutti suomalaisia venäläiseen kirjallisuuteen, antoi neuvoja kääntäjille jne. V. 1840 oli Helsingissä järjestetty venäläisten ja suomalaisten kirjailijain kohtaaminen, ja parin vuoden kuluttua ilmestyi Grotin julkaisema venäläis-suomalainen kaunokirjallinen albumi. Grotin lisäksi kirjoittivat Suomi-aiheesta V. G. Belinski, F. Deršau, V. F. Odojevski, V. Sollogub, N. V. Kukolnik, F. V. Bulgarin. Nämä edustivat erilaisia poliittisia vakaumus- ja erilaisia kirjallisia makuja, he suhtautuivat eri tavoin Suomeen ja sen kirjallisuuteen. Suomen lehdissä syntyi usein väittelyä siitä, mitä Venäjällä kirjoitettiin suomalaisista, niin kävi esimerkiksi F. V. Bulgarinin kirjoitusten johdosta. Tarkoituksella täsmentää eräiden Venäjän ja Suomen kirjailijain keskinäistä lähestymistä sekä heidän erimielisyyksiään kiinnitetään kirjassa huomiota eräisiin yhteiskunnallisen ja kirjallisen taistelun tärkeimpiin seikkoihin Suomessa ja Venäjällä sekä eräiden Suomen kirjailijain kuten J. L. Runebergin, F. Cygnaeuksen, S. Topeliuksen ja J. W. Snellmanin tuotantoon.

Suomen tämän kauden suurin runoilija J. L. Runeberg lujitti runoillaan ja arvostelevilla kirjoituksillaan kirjailijain oikeuksia kuvata tavallisen kansan, suomalaisen talonpoikaiston elämää. Tällä seikalla, ottaen huomioon runoilijan lahjakkuuden, oli valtava merkitys suomalaisen kirjallisuuden myöhemmälle kehitykselle ja se teki hänen runoutensa laajalti tunnetuksi. Runeberg rikastutti huomattavasti suomalaista runoutta, varsinkin lyriikkaa, ei vain tematiikan alalla, vaan myöskin taiteellisessa mielessä. Hän toi uusia kirjallisuuden lajeja, esitti onnistuneita esimerkkejä kansanrunouden hyväksikäytöstä, osoitti ensi kerran, kuinka runokeinoin voidaan kuvata kansallisia luonteita ja kotiseudun luontoa. Mutta hänen runoudessaan sekä esteettisissä katsomuksissaan oli myöskin konservatiivisia piirteitä, minkä johdosta suomalaisen kirjallisuuden kehittyessä edelleen oli usein «voitettava» Runeberg. Huomattavimpana konservatiivisena piirteenä hänen estetiikkassaan oli se, että hän kuvasi patriarkaalisen talonpoikaiston elämän ihanteelliseksi ikäänkuin tapahtuvaksi jossain muuttumattomassa olevaisuudessa. Runebergin katsantokannan mukaan runoilijan tuli tajuta ympäröivä todellisuus jonain ehdottomana, yhteiskunnalliset ristiriidat olivat hänelle toisarvoisia, tärkeintä oli sopu-sointu, jota runoilija olikin velvollinen kuvaamaan. Runebergin

estetiikka kielsi todellisuuden jälkeenjääneiden puolien arvostelun oikeudenmukaisuuden, se ei sallinut kuvata yhteiskunnallisen edistyksen puolesta käytävää taistelua.

Patriarkaalisten elämäntapojen idealisointi, rajoittunut käsite kirjallisuuden kansanomaisuudesta, suomalaisten alistuvaisuuden ja sosiaalisen passiivisuuden alleviivaaminen heidän kansallisen luonteensa peruspiirteinä — nämä suomalaisessa kirjallisuudessa Runebergin edustaman kirjallisuussuunnan eri puolet joutuivatkin polemiikin kohteeksi venäläisessä aikakaus- ja sanomalehdistössä. V. Sollogub, S. P. Sevyrev ja osittain J. K. Grot ottivat myötätunnolla vastaan Runebergin käsityskannan kansanomaisuudesta. Mutta Belinski, joka oli alkanut taistelun venäläisiä slavofiilejä vastaan, lausui useita vakavia huomautuksia myöskin eräiden Suomen kirjailijain näköpiirin rajoittuneisuudesta. Hän vastusti yrityksiä kuvata nämä heikkoudet ansioksi ja käyttää niitä hyväksi taistelussa kirjallisuuden kehityksen edistyksellisiä tendenssejä vastaan.

Hiukan toiseen suuntaan kuin Runebergin runous kehittyi F. Cygnaeuksen kirjallinen tuotanto. Hän oli herkempi uusille ajanvirtauksille, hän käsitti terävästi murroskauden luonteen, jolloin useissa maissa voimistui taistelu feodalismia vastaan. Cygnaeuksen teoksissa heijastuvat usein sosiaaliset yhteentörmäykset, taistelu-vaatteet tyranniutta vastaan. Hän suhtautui kriittisesti laajalti levinneeseen käsityskantaan suomalaisesta kansallisuonteesta todistellen Kullervo-runoilla, että kansan pitkämielisyyttä ei saa kohotta absoluutiksi. Mutta kansan kostoate ei ainoastaan vetänyt häntä puoleensa, vaan myöskin pelotti. Tähän Cygnaeuksen horjuvaisuuteen liittyy myöskin hänen käsitteensä traagillisesta.

Uutena ilmiönä 40-luvun suomalaisessa kirjallisuudessa oli myöskin S. Topeliuksen lyriikka, jossa heijastui runoilijan mieliala aikana, jolloin useissa Euroopan maissa oli vallankumouksen nousukausi.

Teoksessa valaistaan J. K. Grotin ystävyyttä suomalaisten kirjailijain ja lehtimiesten kanssa, heidän pyrkimyksiään kahden naapurikansan keskinäiseen kulttuuriseen lähentymiseen. Grotin myötävaikutuksella suomalaiset oppivat vähitellen erottamaan venäläisessä kirjallisuudessa todella suuret ilmiöt toisarvoisista. Esimerkin tarjoavat väittelyt Suomessa F. V. Bulgarinista, joka alussa tuli jonkin verran tunnetuksi suomalaisten keskuudessa, mutta jonka prestige sittemmin putosi. Karhun teoksessa esitetään otteita Grotin käsikirjoituksista, joissa tämä on ilmaissut suhteensa Bulgariniin sekä Suomen sanomalehtien kirjoitteluun hänestä.

Samalla kirjassa osoitetaan, että eräitä 40-luvun suomalaisen ja venäläisen kirjallisuuden edistyksellisiä ilmiöitä kohtaan Grot ja Pletnev eivät tunteneet erikoista myötätuntoa. Tämä ilmeni muun muassa heidän suhteessaan J. W. Snellmanin kirjalliseen ja sanomalehtimiestoimintaan. Grot ei tästä yleensä maininnut kirjoi-



tuksissaan, mutta yksityisissä kirjeissään hän usein puhui Snellmanista paheksuvasti pitäen tätä älyjen «kiihottajana», paheksuttavien aatteiden levittäjänä.

Karhu tarkastelee pääasiassa Snellmanin toimintaa kirjallisuusarvostelun alalla, jolla oli erittäin suuri merkitys suomalaisen kirjallisuuden kehitykselle. Snellmanin yhteiskunnallisille ja esteettisille katsomuksille oli luonteenomaista historiallinen periaate. Snellmanin katsantokannan mukaan taiteilijan on kuvattava todellisuutta kehittyvänä, vastakkaisten tendenssien keskinäisessä taistelusasa. Suuri taide on aina sidottu yhteiskunnan progressiivisiin liikkeisiin, eikä runoilija saa kaihtaa niitä, hän ei saa karttaa «politiikkaa», jos tällä ymmärretään kansojen pyrkimystä vapauteen ja edistykseen. Snellman selitti suomalaisen kirjallisuuden hitaan kehityksen maan yleisellä jälkeenjääneisyydellä, kansallisten harrastusten rajoittuneisuudella, laajojen kansankerrosten yhteiskunnallisen tietoisuuden kehittymättömyydellä. Hänen mielestään kirjailijan tehtävänä on herättää yhteiskunta.

Vaikka Snellman samoin kuin Runeberg puhui «sovinnon» välttämättömyydestä todellisuuden kanssa, niin he kumpikin tarkoittivat todellisuuden erilaisia puolia. Tätä seikkaa eivät eräät tutkijat ota huomioon. Runebergille sovinto merkitsi patriarkaalisen järjestelmän idealisoimista, kun taas Snellman suhtautui siihen kielteisesti pitäen sitä Runebergin tuotannon heikkona puolena. Hän päinvastoin kehoitti «sovintoon» yhteiskunnallisen kehityksen edistyksellisten tendenssien kanssa, joille monet suomalaiset kirjailijat jäivät kuuroiksi.

Snellmanin katsantokannan mukaan jokaisen uuden historiallisen aikakauden muuttuessa muuttuu myöskin taiteen sisältö ja muoto. Ei ainoastaan taiteen objekti, elävä todellisuus, vaan myöskin itse taide kehittyi historiallisesti. Snellman esimerkiksi vakuutti, että hänen aikakautensa myrskyistä luonnetta vastasi pikemminkin dramaattinen kuin idyllinen runous. Muuttui myöskin kansanrunous, Snellman muun muassa viittasi työväen runouden ilmestymiseen Englannissa.

Esteettisten mielipiteittensä tulkinnessa Snellman ei ollut aina johdonmukainen, siihen on jättänyt leimansa hänen maailmankatsomuksen luokkarajoittuneisuus. Mutta siitä huolimatta hänen kirjalliskriittillinen toimintansa oli suurena edistysaskeleena esteettisen ajattelun kehityksessä Suomessa.

Kirjassa tarkastellaan myöskin Snellmanin suhdetta Venäjään ja slaavilaisiin kansoihin sekä hänen kaunokirjallisia teoksiaan, mukaanluettuna kertoelma «Rakkautta ja rakkautta», josta venäjännös oli julkaistu F. Deršauin «Финский Вестник» julkaisussa.

Tämän julkaisun ilmestyminen oli, kuten kirjassa osoitetaan, Venäjän yhteiskuntapiirien Suomeen ja Skandinaviaan kohdistuneen kasvaneen mielenkiinnon tuloksena. Siinä julkaistiin eräitä Suomea koskevia kirjoituksia ja kaunokirjallisia teoksia.

Eri luku on kirjassa omistettu venäläisen kirjallisuuden käännöksille Suomessa 30—40-luvulla. Kansanrunouteen kasvaneen mielenkiinnon yhteydessä Suomen sanomalehdissä alkoi ilmestyä venäläisten kansanlaulujen käännöksiä. Julkaistiin katkelma «Igorin laulusta» ja kääntäjän alkulause siihen. Sanomalehdissä julkaistiin myöskin I. I. Dmitrijevin, V. A. Zhukovskin, A. S. Puškinin, J. A. Baratynskin, A. Marlinskin ym. venäläisten kirjailijain eräitä teoksia. Kun venäjän kieltä ei osattu käännökset tehtiin eräissä tapauksissa toisenkielisestä painoksesta eikä alkuperäisestä. Suomessa tunnettiin myöskin Ruotsissa ilmestyneet venäläisen kirjallisuuden käännökset.

40-luvulla ilmestyi Suomessa jo erillisinä teoksinakin ruotsinoksia venäläisten kirjailijain teoksista, kuten esimerkiksi M. J. Lermontovin «Aikamme sankari», N. V. Gogolin «Kertomus siitä, kuinka Ivan Ivanovitsh ja Ivan Nikiforovitsh riitaantuivat», N. F. Pavlovin «Nimipäivät» ym. Näihin aikoihin heräsi Suomessa jo mielenkiinto eri maiden realististen kirjailijain tuotantoon. Venäjän sekä muiden Euroopan maiden kirjallisuuden käännöksiä arvosteltiin Suomen lehdistössä, mikä vaikutti lukijain kirjallisen maun kehitykseen ja jossain määrin myöskin kirjallisuuden kehitysprosessiin.

Suomessa heräsi 40-luvulla kysymys maailman kirjallisuuden huomatuimpien edustajain teosten kääntämisestä ei vain ruotsin, vaan myöskin suomen kielelle. Tämän piti Snellmanin käsityksen mukaan edistää suomalaisen kansallisen kirjallisuuden kehitystä. Mutta alkuajoina tätä aatetta toteutettiin heikosti, varsinkin vuoden 1850 sensuuriasetuksen vuoksi.

Ensimmäisiä venäläisten kirjailijain teoksia ilmestyi suomenoksina K. A. Gottlundin toimittamissa lehdissä. Niistä julkaistiin V. F. Odojevskin ja N. V. Kukulnikin kertomuksia suuresta Pohjan sodasta, V. I. Dalin kuvaus Pietarin suomalaisista, katkelmia J. K. Grotin matkakuvauksista Suomesta.

Venäläis-suomalaiset kirjalliset suhteet XIX vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla muovautuivat sellaisten olojen vallitessa, jolloin demokraattinen liike kummassakin maassa oli vielä suhteellisen heikkoa. Niin sanottu «kansallinen herätys» Suomessa oli vasta alkanut, luokkavastakohtien heikon ilmenemisen johdosta maassa XIX vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla suurin osa Suomen kirjailijoita oli vakuuttunut siitä, että tsaarinnan valta ei tulisi asettamaan esteitä Suomen kansan kulttuuriselle kehitykselle. Samoin oletivat ne venäläisetkin, jotka tunsivat hyvin Suomen olot, kuten J. K. Grot. Hän ja hänen ystävänsä Suomessa toivoivat, että venäläis-suomalainen yhteistyö kulttuurin alalla tulee kukoistamaan tsaarinhallituksen hoivissa, joka siihen aikaan suhtautui suosiollisesti suomalaiseen kansalliseen liikkeeseen. Tosin Snellman Suomessa ja Belinski Venäjällä, kumpikin katsantokantansa mukaisesti, suhtautuivat kriittisesti tällaisiin illusioneihin, jotka



haihtuivat vasta sen jälkeen, kun suomalaisessa kansallisessa liikkeessä ilmeni pyrkimyksiä, mitkä johtivat yhteentörmäykseen itsevaltiuden etujen kanssa. Euroopan eri maissa tapahtuneiden vallankumousten yhteydessä tsaarinhallitus voimisti 40-luvun lopulla painostusta Suomen suhteen pyrkien tukahduttamaan siellä heränneet oppositiomielialat. Tämä johti siihen, että hallituksen poliittikan arvovalta laski, suomalaiset pettyivät sen suhteen suuresti. Grot, jonka asema Suomessa tuli hyvin vaikeaksi, päätti siirtyä maasta pois.

Eräät suomalaiset tutkijat ovat arvioineet entisten illusionien molemminpuolisen pettymyksen kaikkien toiveiden vararikkoutumiseksi, todisteeksi siitä, että venäläis-suomalaiset kulttuuriyhteydet eivät yleensä voi olla mahdollisia. Mutta tällainen arviointi merkitsee tosiasioden tutkimisen ylenkatsomista, kieltäytymistä probleeman historiallisesta käsittelystä.

Niin suomalaisten kuin venäläistenkin taholta käsitettiin yhteistyö kulttuurin alalla XIX vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla vielä täysin irrallisena yleisvenäläisestä vapausliikkeestä. Tämä seikka määrättyssä mielessä «helpotti» siihen aikaan venäläis-suomalaisten kulttuuriyhteyksien toteuttamista ja takasi niille hallituksen suosion. Se vaikutti myöskin kirjallisten suhteiden aikaansaamiseen, vaikka itsevaltiuden politiikka Suomessa jäi samanaikaisesti määrätynlaiseksi rajaksi näiden suhteiden kehityksessä, rajaksi, joka murrettiin vasta XIX vuosisadan toisella puoliskolla, jolloin kulttuurista yhteistyötä ryhdyttiin toteuttamaan vastoin tsaarinhallituksen asettamia esteitä ja sivuuttaen ne.

## FINLÄNDSKA LITTERATURHISTORIA OCH RYSSLAND (1800—1850)

Boken, som är skriven på grundval av arkivmaterial, litterära periodiska tidskrifter och ett stort antal undersökningar och publikationer, utgör ett försök att ge en överblick över utvecklingen av de rysk-finländska litterära förbindelserna under första hälften av 1800-talet under hänsynstagande till de speciella egenheterna i litteraturutvecklingen i Ryssland och Finland. Stort utrymme ägnar författaren åt den finländska litteraturhistorien, åt karakteristiken av olika riktningar inom denna, eftersom han anser att många avsnitt i de rysk-finländska litterära förbindelserna utan en utförligare belysning av dylika problem icke kunna bli litteraturhistoriskt tillfredsställande klarlagda.

Gemensamma kulturella intressen mellan finnar och ryssar kunna konstateras redan under 1700-talet. H. G. Porthan var bekant med M. Cheraskovs arbeten, bl. a. dennes översikt av den ryska litteraturen, och i sina folkloristiska undersökningar sökte han också utnyttja ryskt folkloristiskt material. Å andra sidan blev Porthans undersökning av den finska folkpoesin indirekt känd för ryska läsare (genom italienaren Acerbis bok, ur vilken ett avsnitt 1806 trycktes i en rysk tidskrift). Också K. Gananders «rysk bröllopsvisa» behandlas.

Efter Finlands anslutning till Ryssland i synnerhet under epoken för Alexander I:s liberala politik, fanns det många finländska litterära personligheter, som positivt bedömde det faktum, att Finland nu kunde njuta av en varaktig fred. Gradvis växte en finsk nationell rörelse fram, vilken vid denna tid företrädesvis kom till uttryck i litteraturen. Nu uppstod även tanken på ett rysk-finländskt kulturellt samarbete. Denna tanke förfäktades bl. a. av A. J. Sjögren i hans bok «Über die finnische Sprache und ihre Literatur» (1821). Sjögren kände väl till rysk kultur och var personligen bekant med några av dess företrädare (poeten F. Glinka och vetenskapsmannen I. Lobjko, vilka i sin tur hyste intresse för Karelen, Finland och Skandinavien). En annan finne A. Hipping var medlem och medarbetare i Fria sällskapet av vänner till den ryska vitterheten och offentliggjorde i Petersburg en rad historiska undersökningar samt en artikel om finländsk litteratur, vilken översattes för en rysk tidskrift av V. Brajkevitj.



I boken uppmärksammas även K. A. Gottlunds litterära och samhällskritiska verksamhet, vilken företrädesvis ännu löpte i upplysnigstraditionernas fåror något som även avspeglade sig i hans bedömning av Peter den Stores reformer i Ryssland.

Men redan mot slutet av 1800-talets första decennium föddes den finländska litteraturens romantiska skola, vilken intimt förbands med kritik av klassicismen och upplysningsideologin. Denna kritik fördes utifrån såväl progressiva som konservativa positioner, i överensstämmelse med de två huvudströmningarna inom den finländska romantiken. En del bland «Åbo-romantikerna», vilka propagerade för folkpoesin och i den sågo en viktig källa för den nationella litteraturens utveckling, idealiserade samtidigt det patriarkaliska levnadssättet i den finländska byn och funno samhällslivets stillastående i landet vara i sin ordning. Linsén exempelvis ställde sig emot böndernas upplysning och Tengström fränkände överhuvud det finska folket rätten till aktivt historiskt handlande. Man ställde upp det patriarkaliska Finland som en motsats till det borgerliga Europa, som ansågs ha beträtt en «onaturlig», historiskt lagvidrig utvecklingsväg.

En annan karaktär hade den publicistiska verksamhet, som bedrevs av A. I. Arwidsson, den mest framstående inom Åbo-romantikerna. Boken redogör för hans filosofiska åsikter, erkännerligen hans föreställning om en dynamisk utveckling i naturen och samhället, i ljuset av vilken han även betraktade litterära företeelser och framför allt romantikernas kamp mot klassicismen. I sin kamp för «ett nationellt uppvaknande» lade Arwidsson, till skillnad från Linsén, vikt vid allmänhetens politiska upplysning, krävde medborgerliga friheter och upphävandet av en rad feodala institutioner. Men Arwidssons verksamhet blev inom kort stoppad av myndigheterna.

Åbo-romantikerna, som betraktade romantiken som en allmäneuropeisk företeelse, stödde sig på andra nationallitteraturs erfarenhet och sågo som en av sina viktigaste uppgifter att vidga de finska läsarnas litterära intressen. Tyska, engelska och franska romantiker började översättas i Finland. År 1825 utkom en översättning av Pusjkins romantiska poem «Fången i Kaukasus», i tidskrifterna doko de första artiklarna om rysk litteratur upp.

Å andra sidan började ryska författare (exempelvis Orest Somov, en av den ryska romantikens teoretiker) att alltmera inse det faktum, att Ryssland beboddes av en mängd folk, vart och ett av dem med sina livsvillkor, sina seder och trosföreställningar, vart och ett med sin «lokalfärg». Röster började höras, som uppmanade till att söka fånga och återge Rysslands mångnationella ansikte, att konstnärligt utnyttja hela folklivets mångfald och omväxling. Härmed sammanhänger att ett finskt tema dyker upp hos en rad ryska författare — hos Batusjkov och Baratynskij, vilka bägge

besökte Finland, och även hos Pusjkin, som omnämnt Finland inte bara i sina dikter utan också i sina historiska arbeten.

På 1840-talet blevo de rysk-finländska litterära förbindelserna märkbart livligare. Till utvecklingen bidrog i betydande grad Ja. K. Grot, vilken tillbringat omkring 12 år i Finland och vilken med vänskapsband var förenad med många av dess författare. I tidskriften «Den Samtida», vilken vid den tiden utgavs av P. A. Pletnev, publicerade Grot artiklar om finländska författare samt översättningar av deras verk. I sina universitetsföreläsningar och i sina privata samtal med vänner och bekanta gjorde han finnarna bekanta med den ryska litteraturen, gav råd till översättare etc. År 1840 ägde i Helsingfors ett möte rum mellan ryska och finländska litteraturrepresentanter, och två år senare utkom en rysk-finländsk litterär kalender, utgiven av Grot. Förutom Grot skrevo om Finland Belinskij, Dersjau, Odojevskij, Sollogub, Kukolnik, Bulgarin. Det var människor med olika politiska övertygelser och litterära smakriktningar, och till Finland och dess litteratur hade de olika inställning. I finska tidningar blossade en och annan gång upp polemik mot vad som i Rysland skrevs om finnarna, såsom exempelvis i fallet Bulgarin. För att härvid precisera beröringspunkterna och meningsskiljaktigheterna mellan olika ryska och finska skriftställare belysas i boken vissa viktiga moment i den litteratur-sociala kampen i Finland och Ryssland ävensom enstaka finska författares verk — Runebergs, Cygnæus', Topelius', Snellmans.

I sina dikter och kritiska artiklar fastslog Runeberg, denna epoks störste finländske skald, diktarens rätt att framställa det enkla folkets, den finske bondens liv. Detta, jämte skaldens begåvning, hade en ofantlig betydelse för den finska litteraturens vidare utveckling, då hans poesi blev i vidaste kretsar populär. Runeberg berikade i betydande utsträckning den finländska poesin, särdeles lyriken, icke endast i tematiskt utan även i konsnärligt hänseende, han införde nya genrer, gav lyckade prov på utnyttjande av folkloristisk poetik och var den förste som visade hur man med poesins medel kan skildra nationella karaktärer och naturen i hembygden. Men samtidigt fanns där i hans poesi och estetiska värdeuppfattningar också konservativa drag, vilket har gjort att man ofta fått försöka «komma över» Runeberg under loppet av den finländska litteraturens fortsatta utveckling. Det dominerande konservativa inslaget i hans estetik, var att han framställde det patriarkaliska bondeståndets liv som ett i sin orörlighet idealiskt levnads-sätt.

Diktaren måste enligt Runebergs åsikt uppfatta och anamma den omgivande verkligheten såsom något fullbordat, sociala motsättningar voro för honom oväsentliga, det grundläggande var harmonin, som det var diktarens uppgift att skildra. I Runebergs estetik fanns ej rum för en rättmätig kritik av vad som var föråld-



rat och efterblivet i verkligheten, den gav icke möjlighet att spegla kampen för socialt framåtskridande.

Idealiseringen av den patriarkaliska levnadsordningen, den inskränkta uppfattningen av litteraturens folklighet, framhävandet av finnarnas ödmjukhet och sociala passivitet såsom de grundläggande dragen i nationalkaraktären — det var dessa sidor i den finländska litteraturriktning, som Runeberg företrädde, som blevo föremål för polemik i den ryska pressen. Runebergs uppfattning av folklighet möttes med instämmande av Sollogub, Sjevvyrev och till en del av Grot. Belinskij å andra sidan, vilken låg i strid med de ryska slavofilerna, gav uttryck åt en rad allvarliga anmärkningar om vissa finländska författares begränsade horisont och uppträdde mot försök att framställa dessa svagheter såsom förtjänster och utnyttja dem i kampen mot progressiva tendenser i litteraturutvecklingen.

I en något annan riktning än Runebergs poesi, utvecklade sig Cygnæus' författarskap. Han var mera känslig för nya vindar, han var djupt medveten om epokens karaktär av brytningstid, under vilken i en rad länder kampen mot feodalismen fick ökad omfattning. I Cygnæus' verk avspeglas ofta sociala konflikter, och där finns också idéer om kamp mot tyrannerna. Han hade en kritisk inställning till den vitt spridda uppfattningen om den finska nationalkaraktären, och han visade med runorna om Kullervo som exempel, att man icke kan upphöja folkets förmåga till tålmod i absolutum. Tanken på en folkets hämnd inte endast tilltalade honom emellertid utan skrämde honom samtidigt. Hans uppfattning av det tragiska sammanhänger med denna vacklan.

En ny företeelse i 1840-talets finländska litteratur var vidare Topelius' politiska lyrik, i vilken skaldens stämningar inför den revolutionära livaktigheten i en rad europeiska länder vid denna tid funno uttryck.

I boken belyses Grots vänskap med finländska författare och journalister, deras strävanden att kulturellt ömsesidigt närma de bägge grannfolken till varandra. Med hjälp av Grot lärde sig finnarna undan för undan att skilja de verkligt betydelsefulla företeelserna i rysk litteratur från de av sekundär betydelse. Som exempel härpå kan tjäna striden i Finland omkring Bulgarin, som till en början förvärvade ett visst rykte bland finnarna, men vars anseende sedermera deklinerade. I boken citeras manuskript, där Grot gjort anmärkningar om sin inställning både till Bulgarin och till de finländska tidningarnas debatt om honom.

Samtidigt visas, att Grot och Pletnev icke hyste någon särskild förståelse för vissa progressiva företeelser i den finländska och ryska litteraturen under 1840-talet. Detta kom framför allt till synes i deras inställning till Snellmans litterära publicistiska verksamhet. I tryck omnämnes denna överhuvudtaget icke av Grot, och i sin brevväxling yttrade sig Grot ofta ogillande om Snellman, som

han ansåg vara en sinnenas «uppviglare», en man som förde fram anstötliga idéer.

Bokens författare behandlar huvudsakligen Snellmans litteraturkritiska verksamhet, vilken hade en oerhörd betydelse för den finländska litteraturens vidare utveckling. För Snellmans sociala och estetiska åsikter är den historiska principen utmärkande. Konstnären skall enligt Snellmans uppfattning spegla verkligheten i dess utveckling, i kampen mellan motsatta tendenser. Den stora konsten är alltid förbunden med progressiva rörelser i samhället, och skalden skall icke stå främmande för dessa, han skall inte ställa sig utanför «politiken», om med denna menas folkens strävanden efter frihet och framsteg. Den finländska litteraturens fördröjda utveckling såg Snellman som en följd av landets allmänna efterblivenhet, snävheten i de nationella intressena, det utvecklade sociala medvetandet hos breda lager av folket. På författarna föll enligt hans mening uppgiften att väcka samhället.

Fastän Snellman liksom Runeberg talade om «försoning» med verkligheten, hade de dock härvid olika sidor av verkligheten i tankarna, vilket en del forskare icke taga hänsyn till. För Runeberg betydde «försoningen» en idealisering av det patriarkaliska livssättet, under det att Snellman härvidlag hade en negativ inställning och ansåg denna idealisering vara en svaghet hos Runeberg. Han, däremot, uppmanade till «försoning» med de progressiva tendenserna i samhällsutvecklingen, inför vilka många finländska författare stodo likgiltiga.

Enligt Snellmans uppfattning ändrades med varje ny historisk epok också konstens innehåll och form. I historien utvecklas inte bara konstens objekt, den levande verkligheten, utan även den själv. Snellman hävdade exempelvis att icke den idylliska utan snarare den dramatiska poesin passade hans samtid med dess stormiga karaktär. Också folkkonsten ändrade form — Snellman pekade bland annat på uppkomsten av en arbetarpoesi i England.

Snellman var inte alltid konsekvent i utläggningen av sina estetiska åsikter. De präglas av den klassmässiga begränsningen i hans världsåskådning. Men icke desto mindre utgjorde hans litteraturkritiska verksamhet ett stort steg framåt i det finländska estetiska tänkandet.

I boken behandlas även Snellmans förhållande till Ryssland och de slaviska folkens kultur ävensom hans skönlitterära arbeten, däribland novellen «Kärlek och kärlek» vilken i rysk översättning trycktes i «Finske Budbäraren» av F. Dersjau.

Skapandet av denna tidskrift var, såsom påpekas i boken, en följd av den ryska allmänhetens ökade intresse för Finland och Skandinavien. I denna tidskrift publicerades ett antal artiklar och skönlitterära verk om Finland.

Ett särskilt kapitel ägnas i boken åt översättningar ur rysk litteratur i Finland under 1830- och 1840-talen. I samband med det



ökade intresset för folkpoesi började översättningar av ryska folkvisor att förekomma i finländska tidningar. Också ett avsnitt ur Igorskvädet trycktes med förord av översättaren. I tidningarna översattés även enstaka verk av Dmitrijev, Zjukovskij, Pusjkin, Baratynskij, Marlinskij och andra. I några fall voro översättningarna på grund av översättarens bristande kunskaper i ryska gjorda icke från originalet utan från andra språk. I Finnland voro dessutom kända översättningar ur rysk litteratur, vilka utkommit i Sverige.

På 1840-talet utkommo verk av ryska författare redan i egna upplagor, exempelvis Lermontovs «Vår tids hjälte», Gogols «Berättelse om hur Iván Ivanovitj råkade i gräl med Ivan Nikiforovitj», och andra. Vid denna tid hade i Finland redan intresset för utländska realisters verk vaknat. Översättningar ur ryska och andra europeiska litteraturer funno eko i den finländska kritiken, de medverkade till att utveckla läsarnas smak och deltog i viss utsträckning i den litterära utvecklingsprocessen.

På 1840-talet ställdes i Finland frågan om översättningar av de förnämsta representanterna för världslitteraturen inte endast till svenska utan även till finska språket vilket enligt Snellmans mening skulle komma att gynna den finska nationella utvecklingen. Men denna tanke blev under den första tiden mycket svagt förverkligad; särskilt stod detta i samband med 1850 års censurlag.

De första finska översättningarna av ryska författare trycktes i K. A. Gottlunds tidningar. Här publicerades V. Odojevskijs och N. Kukolniks berättelser om nordiska kriget, V. Dahls studie om finnarna i Petersburg, avsnitt ur Ja. Grots reseanteckningar från Finland.

Under 1800-talets första hälft utbildades de rysk-finländska litterära förbindelserna under en tid av relativ svaghet vad gällde demokratisk rörelse i de bägge länderna. Det s. k. «nationella uppvaknandet» i Finland hade just börjat, till följd av att klassmotsättningarna voro föga utbildade i landet var majoriteten av företrädarna för den finländska litteraturen under 1800-talets första hälft övertygad om att tsarismen icke skulle lägga hinder i vägen för det finska folkets kulturella utveckling. Detsamma ansågo de ryssar, som voro väl bekanta med Finland, exempelvis Grot. Han och hans finländska vänner hoppades på att det rysk-finska kulturella samarbetet skulle kunna blomstra under tsarregeringens beskydd vilken vid denna tid gynnade den finska nationella rörelsen. Visserligen förhöll sig Snellman i Finland och Belinskij i Ryssland kritiskt till dylika illusioner, men de skingrades inte, förrän det inom den finska nationella rörelsen uppträdde tendenser, som kommo i konflikt med självhärskarmaktens intressen. Mot slutet av 1840-talet, i samband med de europeiska revolutionerna, ökade regeringen sitt tryck på Finland i sin strävan att kväva oppositionella stämningar där. Samtidigt föll regeringspolitikens anseende, finnarna blevo

märkbart desillusionerade över den, och Grot, vars ställning i Finland hade betydligt komplicerats, beslöt att lämna landet.

Denna ömsesidiga besvikelse över de illusioner man en gång hyst, betraktas av vissa finländska forskare som slutet på alla förhoppningar, som bevis på att ett rysk-finskt kulturellt samarbete överhuvud är omöjligt. Men att så framställa saken innebär att man underlåter att studera fakta, att man avstår från en historisk syn på problemet.

Både från finländsk och från rysk sida var det ömsesidiga kulturella samarbetet under 1800-talets första hälft tänkt utan någon som helst förnimbar förbindelse med den allmänryska befrielse-rörelsen. Just denna omständighet «underlättade» vid denna tid etablerandet av rysk-finländska kulturella kontakter och tillförsäkrade dem regeringens välvilja. Detta hade även ett flerfaldigt inflytande på etablerandet av litterära sidan samtidigt forsatte att maktens politik i Finland å andra sidan samtidigt fortsatte att utgöra en gräns för dess utveckling, en gräns, som kunde övervinnas först under 1800-talets senare hälft, då det kulturella samarbetet började förverkligas med kringgående av och trots tsarismens halsjärn.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . 5

### Глава первая

**Финляндское просветительство и «або-романтизм». Русско-финляндские литературные связи первой трети XIX века . . . . . 15—112**

Финляндские просветители конца XVIII века (А. Чудениус, Г. Портан, К. Ганандер) и их интерес к русской культуре. Присоединение Финляндии к России и оценка этого события финляндскими литераторами. Общественно-литературная деятельность К. А. Готлунда. Характеристика «або-романтизма». А. И. Арвидсон и его газета «Або Моргонبلاد». «Або-романтики» и русская литература. К. Н. Батюшков о Финляндии и книга «Тринадцать дней, или Финляндия». Зарождение идеи русско-финляндского культурного сотрудничества; связи А. Шёгрена с Ф. Глинкой, А. Гиппинга с В. Брайкевичем. Финляндская тема в творчестве Е. А. Баратынского и А. С. Пушкина.

### Глава вторая

**«Гельсингфорские романтики» и их связи с Я. К. Гротом . . . . 113—196**

Общие замечания о финляндском романтизме 30—40-х годов. Приезд Я. К. Грота в Финляндию. М. Кастрен и его поездки в Россию. Интерес Э. Лённрота к русской культуре. Творчество Ю. Л. Рунеберга и его дружба с Я. К. Гротом. Поэзия Фр. Сигнеуса. Политическая лирика З. Топелиуса в 40-е годы.

### Глава третья

**Русско-финляндские литературные отношения и общественная борьба 197—270**

Полемика финляндских газет о Ф. Булгарине в конце 30-х — начале 40-х годов. Русско-финляндский «Альманах в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета». Рецензия В. Г. Белинского на «Альманах» и его полемика с В. Соллогубом и Я. К. Гротом по вопросам финляндской и шведской литературы. «Финский вестник» Ф. К. Дершау о Финляндии. Публицистика и литературно-критическая деятельность Ю. В. Снельмана в 40-е годы; отношение к нему Я. К. Грота и П. А. Плетнева.

## Глава четвертая

Переводы русской литературы в Финляндии в 30—40-е годы XIX века . . . . .	271—309
---	---------

Интерес финляндских литераторов к русскому фольклору и переводы русских народных песен в финляндских газетах. Пушкин в переводах на шведский язык. Отклики в Финляндии на шведские переводы «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова и «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя. Переводы русских авторов на финский язык в газетах К. А. Готлунда в 40-е годы. Репрессии царизма по отношению к Финляндии в связи с европейскими революциями 1848 года и усилением финского национального движения. Отъезд Я. К. Грота из Финляндии и его дальнейшие связи с нею.

Заключение . . . . .	310
Библиография . . . . .	317
Резюме на эстонском языке . . . . .	322
Резюме на финском языке . . . . .	328
Резюме на шведском языке . . . . .	335



Эйно Карху  
ФИНЛЯНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И РОССИЯ  
1800—1850

Оформление Г. Панта  
Эстонское Государственное Издательство  
Таллин, Пярнуское шоссе, 10

Редактор П. Васильев  
Художественный редактор Р. Тунгла  
Технический редактор И. Вахтре  
Корректоры Н. Круглова и А. Зиниченко  
Сдано в набор 17/IV 1962. Подписано к печати  
2/VII 1962. Бумага 60 × 90, <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печатных ли-  
стов 21,5. Учетно-издательских листов 22,78.  
Тираж 1500. МВ-06137. Заказ № 3836.  
Типография имени Ханса Хейдеманна,  
Тарту, Юликооли, 17/19. II

Цена руб. 1.20

## Опечатки

стр.	строка	напечатано	должно быть
328	11 снизу	kulttuurin	kulttuurin
330	17 сверху	vakaumusia	vakaumuksia
331	22 снизу	kohotta	kohottaa
332	10 сверху	taistelusasa	taistelussa



